ISSN 0130 – 6545

11. 1988

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Вдохновение

На 1-й и 4-й страницах обложки —
Земля
Вода

Цветные иллюстрации номера — работы индийского художника Кришны Хеббара

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ с 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 ноябрь 1988

Содержание

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ — Под конвоем заботы *(Роман. Вступление и перевод с немецкого М. Рудницкого)* 3

ТОМ ГАНН — Стихи *(Переводы с английского Олега Юрьева, Леонида Аринштейна, Виктора Топорова, Дмитрия Закса)* 101

АЛОНСО САМОРА ВИСЕНТЕ — Новеллы *(Перевод с испанского А. Косс)* 106

АРТУР МИЛЛЕР — Часы Америки *(Пьеса. Перевод с английского Т. Голенпольского, С. Кибирского. Вступление Г. Злобина)* 123

Литературное наследие

АЛЕН — Суждения *(Составление, вступление и перевод с французского С. Зенкина)* 153

ФЕРНАНДО ПЕССОА — Стихи. Из «Книги тревог» *(Вступление А. Гелескула. Переводы с португальского Г. Зельдовича, А. Гелескула, Т. Родименко)* 181

Публицистика

Л. СТЕПАНОВ — Принцип Питера, теорема Антонова и другие открытия века 190

Критика

А. ЗВЕРЕВ — Крушение утопии 206
Т. МОТЫЛЕВА — Духовная драма Бехера 216

Антирубрика

По страницам болгарского журнала «Апропо» 224

К нашим иллюстрациям

А. Т. Орлов — Кришна Хеббар 232

Наши гости

Л. Харлап — Гизела Эльснер (ФРГ) 235

Среди книг

Издано в СССР

Р. Хлодовский — Судьба и выбор Цецилии Кин *(Ц. Кин. Выбор или судьба)* 237

Издано за рубежом

Тимо Вихавайнен — Что читает Финляндия? 239

Советская литература за рубежом 242

Из месяца в месяц 243

Авторы этого номера 254

© «Иностранная литература», 1988

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ

Под конвоем заботы

РОМАН

Вступление и перевод с немецкого М. РУДНИЦКОГО

Нравственные уроки Генриха Бёлля

Время постепенно, но неумолимо отодвинуло от нас даты публикаций первых книг Генриха Бёлля, вышедших в русском переводе в середине 50-х годов, отодвинуло и противоречивые 60-е, когда книги писателя издавались у нас исправно, и застойные 70-е, когда их перестали печатать вовсе, а теперь вот норовит отодвинуть в прошлое, в историю литературы, и сами даты его жизни, замкнув их в непререкаемые скобки: (1917—1985). Так сложилось, что в восприятии многих наших читателей старшего и среднего поколений имя Генриха Бёлля прочно связалось с периодом послесталинской оттепели, когда отпадали заблуждения и страхи, потрескивал по швам «железный занавес» и ко многому, в том числе и к лучшим достижениям зарубежной культуры, приоткрылся доступ.

Именно в ту пору вошел в нашу жизнь еще почти безвестный западногерманский писатель, поразив вдохновенной поэтичностью и исповедальной честностью размышлений о судьбах своего народа, о трагических и горьких ошибках его недавнего прошлого, о нерешенных и тревожных проблемах его настоящего, о мучительно-нерасторжимой связи настоящего с прошлым,— поразив, наконец, неистовостью стремления во что бы то ни стало сказать правду, как бы она горька ни была, и доискаться до правды, сколько бы ее ни прятали и ни замазывали патокой лжи. Думаю, в те времена не столько художественное мастерство (это само собой, и тут с каждой книгой мы радовались за автора все больше), но именно это вот подвижническое, беззаветное, совестливое служение правде, бесстрашие, с которым художник смотрел в глаза истории, притягивали нас к Бёллю, сообщая нашему отношению к зарубежному автору совершенно особую, теплую, родную краску. Было что-то неопровержимо поучительное в его нравственной позиции, столь близкой корням и истокам нашей литературы, поучительное и насущно необходимое. Искусство Бёлля вселяло веру, что суверенное бытие личности способно противостоять лжи и тирании, что не бывает свободы вне правды и нравственности.

И вот перед нами еще одна книга Генриха Бёлля, дошедшая до нас с опозданием почти в десять лет. Новая, теперь уже посмертная встреча с автором.

Читателю, который знаком с Бёллем давно, со времен «Дома без хозяина» и «Хлеба ранних лет», «Бильярда в половине десятого» и «Глазами клоуна», уверен, не понадобятся никакие предварительные объяснения — он спокойно может это предисловие перелистнуть. Его ничуть не смутит, а уж тем паче не остановит некоторая затрудненность первых страниц этого романа, где Бёлль как бы не похож на самого себя, а похож скорее на Фолкнера с его напряженно-монологичной, «круто замешанной», замкнутой в себе и на себе прозой, в мир которой надо проникать с усилием и потом какое-то время в нем обживаться. Такой читатель, не сомневаюсь, и проникнет и обживется, тем более что сверхусилий от него не потребуется, а Бёлль очень скоро предстанет самим собой, и взволнованные голоса его героев властно втянут нас в орбиту повествования. Такого читателя, возможно, удивит, но не отпугнет, необычный для Бёлля выбор главного персонажа этой книги — человека из когорты «сильных ми-

© Kiepenheuer und Witsch, 1979

ра сего», газетного магната, богача, чьим отнюдь не хозяйским, скорее растерянным и скорбным взглядом нам предстоит поначалу окинуть панораму событий и хитросплетения отношений, где так неожиданно и жестко в судьбах самых близких людей столкнулись разные, подчас непримиримые жизненные позиции, разные нравственные модели существования человека в обществе. Да, прежде Бёлль таких персонажей не слишком жаловал, в его художественном мире они выступали как воплощение всего человечески «неинтересного», как убогие «продукты» социальной мимикрии, унылого и безрадостного приспособленчества — не в пример людям «простым», по своему социальному статусу «маленьким», но внутренне независимым, а потому сохранившим в себе истинное величие. Читатель, ждущий встречи с такими, привычными и полюбившимися героями Бёлля, не ошибется в ожиданиях и, несомненно, сумеет оценить глубину и своеобразие авторского замысла, которым это наше внутреннее движение от недоуменной тревоги (да тот ли это Бёлль?) к радостному узнаванию (тот! тот самый!) заранее учтено и заложено в динамику книги, где трудности, намеренно созданные при вхождении, на пороге, и последующий наш путь от сложного к простому, от следствий к причинам, от непонимания к ясности помогают воспроизвести и пережить мучительную работу сознания, разрывающего путы лжи, самообмана, умственной неволи ради обретения правды, свободы и достоинства.

Как почти о всяком произведении Бёлля, о романе «Под конвоем заботы» можно сказать, что это книга о западногерманской действительности той поры, когда книга создавалась. Можно, ничуть не погрешив против истины, констатировать, что роман вобрал в себя характерные приметы и злободневные проблемы современного западногерманского общества, затронул самые чувствительные болевые точки, в частности феномен терроризма. Можно вспомнить и о том, что в ФРГ этот роман (как, впрочем, и каждая новая книга писателя) вызвал ожесточенные споры, главное место в которых занимал отнюдь не анализ художественных достоинств или недочетов, а вопрос о том, оправдывает Бёлль террористов или осуждает. Можно, наконец, обратить внимание читателей на то обстоятельство, что избрание главного героя романа на пост президента некоего Объединения — деталь чрезвычайно значимая, в ней распознается намек на судьбу Ханса Мартина Шляйера, главы объединения немецких предпринимателей, сперва похищенного, а затем убитого террористами. Есть в книге и другие, прямые и косвенные отсылки к конкретным событиям, связанным с деятельностью печально известных «красных бригад» в 70-е годы. Стоило бы, наверно, порассуждать и о степени достоверности изображенных в книге «мер безопасности», упомянув об интервью Бёлля, данном вскоре после публикации романа, в котором писатель в ответ на вопрос, где здесь кончается правда и начинаются сатира и гротеск, поведал много интересного и поучительного о своих наблюдениях за жизнью западногерманских политиков, заметив в заключение, что, видимо, по части «мер безопасности» действительность западных стран в скором времени «обгонит любую сатиру»[1].

Для понимания того, как прозвучал роман на родине автора в 1979 году, в пору его выхода в свет, все эти сведения, вероятно, важны. С другой стороны, роман нисколько не потеряет в глазах тех, кому нет дела до страноведческих подробностей. Как и всякое большое искусство, искусство Бёлля силой художественного обобщения легко преодолевает национальные границы.

Да, в каком-то смысле роман «Под конвоем заботы» — это попытка Бёлля со своих позиций дать ответы на наболевшие вопросы, вставшие перед западным обществом относительно недавно, когда многие, до поры скрытые недуги, конфликты и противоречия позднекапиталистического мира вдруг прорвались наружу сперва, еще в конце 60-х годов, стихийным и, как казалось, необъяснимым «молодежным бунтом», а затем и вспышками терроризма. На родине Бёлля, в стране, еще незадолго до того по праву гордившейся своим «экономическим чудом», ценившей стабильность и порядок, столь резкая смена социального климата повлекла за собой нагнетание атмосферы страха и нетерпимости ко всем формам инакомыслия, «запреты на профессии», травлю «радикалов» в средствах массовой информации (объектом нападок не раз становился и сам Бёлль — только за то, что призывал сограждан сначала попытаться понять «бунтарей», а уж потом применять к ним «меры воздействия»). Но проблематика романа много шире и глубже, она позволяет взглянуть на недавние политические потрясения западного мира в свете общечеловеческих ценностей, близких каждому, и именно потому многое в этих потрясениях объясняет.

Главная мысль, внятно прочитывающаяся в идейном контексте книги Бёлля, делает честь его социальной зоркости: и молодежный бунт конца 60-х годов, и последующий разгул терроризма — это не причина, это следствие недугов современной западной цивилизации. Именно поэтому террористы как таковые хотя и упоминаются в романе, косвенно участвуют в развитии событий, но неизменно пребывают где-то на периферии повествования, как бы совершенно в ином мире, а угроза, исходящая от них, приобретает очертания мифического рока.

Нет, создавая этот роман, Бёлль вовсе не помышлял о своей вариации «Бесов». В центре книги совсем другая проблема — проблема существования человека внут-

---

[1] Случайно оказавшись свидетелем незапланированной прогулки президента США по Арбату в мае этого года, автор этих строк имел возможность воочию наблюдать работу американских телохранителей и убедиться в проницательности высказанного Бёллем прогноза.

ри социальной системы, где из человеческих отношений вытравлена человечность, где под видом насущных жизненных ценностей общество навязывает и подсовывает людям ценности безжизненные, обманные, противные человеческой природе: культ преуспеяния, престижа, успеха любой ценой вместо творческого самораскрытия личности, культ сексуальной вседозволенности (или порнографическую иллюзию вседозволенности) вместо любви; штампованный суррогат мысли (особенно мысли политической) вместо свободы суждения; наконец, штампованный суррогат речи, обрекающий человека на многословную немоту. (Чего стоит одно только словечко «милый», которое, словно товарный ярлычок, то и дело приклеивается в романе к любому персонажу тревожным символом полнейшей обезлички.)

С удивительной эмоциональной конкретностью Бёлль дает читателю почувствовать, что такое — явное и скрытое, узаконенное и негласное — подавление человеческого в человеке по самой сути своей есть н а с и л и е и с неизбежностью влечет за собой протест, возмущение, а в конечном счете в крайних формах — и вспышки ответного насилия. Писатель не оправдывает террористов и не осуждает их, он в отличие от многих своих сограждан в меру своего понимания пытается их объяснить и делает это очень деликатно, тактично, лишь изредка заглядывая в души «бунтарей»,— в его романе, построенном в давних добрых традициях бёллевской прозы на чередовании внутренних монологов, «бунтари» (да и то бывшие) нечасто берут слово. Но и этого достаточно, чтобы увидеть связь между протестом «бунтующей молодежи» и последующей идеологией и практикой терроризма. Общество не пожелало понять этих людей, прислушаться к их сомнениям, оно их попросту сломило и выбросило на задворки жизни. Именно в жестокости, в бездумной и тупой ярости, с которыми было подавлено всякое инакомыслие, Бёлль видит истоки терроризма. Да, это зло — но это о т в е т н о е зло.

Так, исподволь, вырисовывается главный конфликт этого романа — конфликт между правдой и ложью, подлинностью и подделкой в жизни человека, в жизни общества. Внимательный читатель, думаю, заметит, что конфликт этот пронизывает не только тематику, но и весь художественный строй книги. Взять хотя бы фабулу, сооруженную, казалось бы, по всем канонам низкопробной массовой беллетристики: полицейский комиссар выслеживает террористов, те, в свою очередь, охотятся на заправил западногерманского капитала, которых поэтому неусыпно стерегут сотрудники службы безопасности,— плюс к тому парочка любовных треугольников, в одном из которых участвует дочка миллионера и ее охранник. Чем не сюжет для разухабистого бульварного боевика? Но в том-то и загвоздка, что в мертвенную, почти ходульную сюжетную схему Бёлль, как птиц в клетку, поместил поразительно узнаваемых, поразительно живых людей, которые подлинностью своих мыслей и чувств, а под конец романа — и подлинностью поступков сумеют положить конец своей неволе.

Конечно, велик соблазн поразмышлять на материале этого романа о том, как Генрих Бёлль, честный художник и беспощадный реалист, пришел к осознанию исторической обреченности буржуазного общества. Тем паче, что текстуально книга вроде бы и дает к тому немало оснований: несколько раз, устами разных героев, здесь высказана мысль о неизбежном торжестве социализма. (Правда, заметим в скобках, речь всякий раз идет о разном социализме, а в ключевой, ударной реплике неспроста сказано: «к а к о й - н и б у д ь социализм победит обязательно».) Боюсь, однако, такой разговор заведет нас в область рассуждений, Бёллю не свойственных. С тем же успехом, вспомнив героев других бёллевских книг — Катарину Блюм, убивающую продажного газетчика («Потерянная честь Катарины Блюм», 1974), отца и сына Грулей, спаливших армейский джип («Чем кончилась одна командировка», 1966), старуху Фемель, стрелявшую в министра («Бильярд в половине десятого», 1959),— можно сделать вывод о давних террористических наклонностях самого писателя, что, кстати, не раз инкриминировалось ему иными западными рецензентами. В ответ на подобные инвективы Бёлль неизменно подчеркивал, что не следует путать заостренное выражение х у д о ж е с т в е н н о г о конфликта с идейными убеждениями художника. Вопрос отношения Бёлля к идеологии и практике буржуазного общества, к идее социализма и реальному социализму — предмет, видимо, иной, гораздо более пространной статьи. Завершая же это вступление, хочется сказать о другом.

Думаю, возвращая Генриху Бёллю долг нашей благодарной памяти, нам пора спросить себя: почему его книги, написанные в другой стране, в условиях иной социальной системы, столь много говорят нашему уму и сердцу? Почему трудная и неравная борьба бёллевских героев за право быть собой, за собственную свободу и достоинство так волнует нас, а нравственные уроки этой борьбы так созвучны и нашим чаяниям? Не пора ли признаться себе, что кое-какой опыт существования в обществе, которое закрывает глаза на свои болезни, не терпит инакомыслия, не поощряет стремления человека к «самостоянью» — что такой опыт имеется, увы, и у нас. И не настолько далеко в прошлое ушел этот опыт, чтобы мы успели напрочь о нем забыть.

Разумеется, речь не о прямых исторических и социальных аналогиях. Но почва для сопоставления, безусловно, есть. И, как знать, если бы не было этой почвы, возможно, Бёлль и не добавлял бы к слову социализм ностальгически-туманное «какой-нибудь».

Персонажи и поступки, события и ситуации, проблемы и конфликты созданы в этом романе исключительно прихотью авторского вымысла. Если же они хоть в чем-то обнаруживают сходство, путь даже отдаленное, с так называемой действительностью, автор в этом — как всегда — неповинен.

Моим сыновьям Раймунду, Рене и Винсенту — с глубокой признательностью

I

В день закрытия съезда, перед самыми выборами, на последнем, решающем заседании страх внезапно исчез. На смену страху пришло любопытство. Неизбежные в таких случаях интервью он давал уже почти весело, сам изумляясь, сколь стремительно пухнет его должностной словарь: «прирост», «взлет», «примирение», «автономия тарифов», «баланс взаимных интересов», «опыт прошлого», «виды на будущее», «синхронность включения в общий старт»,— и всему этому он даже успевал сообщить личностный оттенок, деликатно дав понять, что и сам стоял у истоков возрождения демократической прессы, осознает все преимущества, но и опасности консолидации, а заодно и неоценимую роль рабочих, да и профсоюзов; словом, если и борьба, то не друг против друга, а только вместе. Кое-что из сказанного даже на его слух звучало почти правдоподобно, если бы не беспощадные, скальпельные выкладки Рольфа и сумрачные прорицания Кортшеде — при всей несовместимости отправных посылок они всегда казались ему гораздо убедительней. Забавы ради он расцвечивал свои монологи блестками историко-культурной и даже искусствоведческой эрудиции: соборы и Менцель [1], Бисмарк и Ван Гог, чья социальная, а в сердцевине, возможно, и социалистическая страстность, чей миссионерский пыл не просто и не сразу, но в конечном счете воплотились в его искусстве; Ван Гог и Бисмарк как современники; оброненные мельком, как бы случайно, эти раздумчивые сентенции внесли в его речь новые, неожиданные краски, ведь от него ждали рассуждений об экономике, политике и прочих сугубо прозаических материях. Он же вдруг вновь ощутил в себе ту, лишь на первый взгляд врожденную, способность элегантно импровизировать, которая так выручала его еще лет сорок назад на семинаре у Труклера, верой и правдой служила ему и после на бессчетных редакционных совещаниях, но никогда прежде не осеняла его перед столь обширной аудиторией.

Слова слетали с языка сами собой, почти автоматически образуя фразы, речевые блоки и не мешая думать о своем — о том, когда же и почему внезапно улетучился страх: наверно, в тот миг, когда он понял, что выбор, вероятно, падет на него и, значит, его «з а ф и н д и л я т» на самую верхотуру, где страх вообще непереносим, и вот, видимо, тогда, размышлял он, давая очередное — которое по счету? — интервью, он вдруг нутром ощутил, что от страха лучше избавиться вовсе. Лучше уж никакого страха — только любопытство; и вот тягостный, месяцами длившийся страх — за свою жизнь, за жизнь Кэте, Сабины, Кит — разом исчез. Все равно «те» его «достанут», наверно, даже прикончат, весь вопрос: КТО и КАК, вот что теперь будоражило любопытство, и даже его чувства к Сабине обрели иную окраску — забота, а не страх. Да, у него есть все основания позаботиться о дочери.

За последние месяцы страх незаметно вошел в привычку, стал чем-то вроде инстинктивной техники безопасности. В душе не оставалось места для заботы; а теперь если и страх, то не перед чем-то, а за кого-то: за Сабину и Герберта, за Кэте с ее глупостями (за

[1] Адольф фон Менцель (1815—1905) — немецкий живописец и график. *(Здесь и далее прим. перев.)*

нее, правда, меньше всего), а еще — это его удивило — за Рольфа. Неумеренная набожность Сабины давно его беспокоит, хотя втайне вызывает и зависть, а этот Фишер, его зятек, на подростковое обаяние которого все они «купились» — не то, даже Кэте признала, что он «типичное не то», он ей не пара. Деляческая сноровка, с которой он запродает Сабину и собственного ребенка, теперь-то всем им раскрыла глаза. А над Кэте по части денег надо бы попросту учредить опеку: она раздает всем кому не лень да и на себя не скупится, из-за чего рано или поздно влипнет в крупные неприятности, если, чего доброго, уже не влипла.

Вот о чем он думал в жарком свете юпитеров, косясь на микрофоны, которые, точно ручные гранаты, придвигались все ближе к лицу; Ампланжер безупречно все подготовил: очередность интервью, кофе и минеральная, а в перерывах неизменное опрыскивание одеколоном — все катилось само собой, в два ряда, и даже каверзные вопросы о семье не выводили его из равновесия. И пока на полосе «задних мыслей» он перебарывал в себе «технику безопасности», стараясь вытеснить страх теплом заботы, на другой, внешней полосе, отвечая на беспардонные расспросы о Рольфе, Веронике, Хольгере и даже Генрихе Беверло (интересно, они уже пронюхали, что у него есть и второй внук по имени Хольгер?), он тем временем размышлял: нельзя ли назвать то, что он испытывает, чувством «веселой озабоченности»? Он выразил искреннее и горькое сожаление о Веронике и ее участи, не позволил отмежевать себя от Рольфа, хотя наводящими вопросами его усиленно к этому подталкивали, признал лишь, что сын наделал немало ошибок, подчеркнув, однако, что за ошибки эти Рольф понес наказание, не скрыл и серьезной, глубокой тревоги о судьбе Хольгера (старшего, ибо о Хольгере-младшем, им, судя по всему, пока ничего не известно).

Эта двурядность мыслей,— пожалуй, ее можно было назвать и шизофренией на почве контактов с журналистами — даже стала слегка его забавлять: оказывается, вовсе не трудно отстреливаться холостыми словесными очередями от ехидных, с подковыркой, вопросов, а думать при этом о Сабине, которая в последнее время сама не своя (кто-то смутил ее душу, не иначе — Кольшрёдер) и с тем большей истовостью ищет утешения у мадонны. Зато куда трудней другое: вверяя микрофонам свой, только с виду непринужденный, прореженный интеллигентным покашливанием речитатив, прощаться с мечтой, которая столько лет его согревала; мечтой увидеть Кит, девушкой или молоденькой женщиной, в его замке, полюбоваться, как она бродит по тропинкам парка, заглядывает в оранжерею, кормит уток у пруда,— нет сил оборвать этот фильм, отрешиться от этих кадров своей мечты, отказаться от любимой игры, в которую, если верить убийственным прорицаниям Кортшеде, ему не суждено сыграть никогда; не то что девушкой — даже десятилетней девчушкой Кит не пройдет по комнатам его замка, не будет в них жить, этому не бывать, теперь уже не бывать.

Где-то там, за слепящей завесой юпитеров, съезд доживал последние часы: наспех опрокидывались прощальные «посошки», шоферы тащили к машинам чемоданы, члены правления прихлебывали остывший кофе, сопровождая сдержанными хлопками его очередное, как они считали, особенно важное и особенно удачное интервью,— и тут Плифгер, его предшественник, не смог отказать себе в прощальном жесте: подскочил к нему в перерыве и с обычной своей снисходительностью (скорее чисто профессиональной, вовсе не адресованной лично ему — снисходительностью стального магната к «какой-то там прессе»), изображая крайнее, почти оскорбительное изумление — будто раньше все они держали его за престарелого дурачка,— прямо-таки почти сердечно пожал руку и похвалил:

— Да вы отлично справляетесь, дорогой Тольм, просто бесподобно! Нам остается только еще раз поздравить себя с таким замечательным избранником!

А Климм, человек Цуммерлинга, прикинулся, будто так ошарашен его, Тольма, «краснобайством», что это и впрямь смахивало на оскорбление.

Действительно ли он прочел в лице Блямпа что-то вроде зависти? Во всяком случае, Блямп был поражен, это точно — легкостью, с которой он выполняет свои новые обязанности, его почти бесшабашным весельем в тот час, когда он, Блямп, рассчитывал позабавиться его слабостью, затравленным видом, жалким лепетом,— ведь ему наконец-то удалось «зафиндилить» (он так прямо всем и говорил) Тольма «куда следует», на самый уязвимый пост, в самую опасную точку, и никто не мог предположить, что новая должность окажется ему настолько к лицу, что он, вопреки ожиданиям, так уверенно справится с новой ролью, подумать только, именно он, Фриц Тольм, который в последнее время сдает на глазах, а идеологически всегда был не слишком на высоте, этот слабак и неженка, «тростью, ветром колеблемая», смутьян и сомнительный элемент в их железной команде, к тому же «как-то там», непонятно как, но по семейной линии, повязанный с «теми»,— словом, идеальная в своей уязвимости мишень.

Да, несомненно: Блямп был поражен и, наверно, втайне усомнился, уж не дал он маху, предложив его кандидатуру, подбросив его фамилию в усталый гомон обалдевшего от бесплодных трехчасовых дебатов собрания — после того, как столько других кандидатур были отведены либо взяли самоотвод; именно его, Фрица Тольма.

А лимузины все подкатывали и подкатывали к подъезду, в них загружались чемоданы, взад-вперед носились водители, охранники в штатском спешили занять свои посты, телевизионщики и радиокорреспонденты укладывали аппаратуру, позвякивала посуда, пустые бутылки рядком составлялись в ящики, и в эту минуту, когда пресса, урвав свое, уже готова была от него отступиться, он вдруг понял, что держится все-таки не так легко и раскованно, говорит не так свободно, как хотелось бы, а мысли движутся по двум полосам не так гладко, не параллельно, иной раз все же задевают друг дружку,— а коли так, он рискнет закурить: с чувством, с толком, но и почти с жадностью, на секунду вновь ощутив себя молодым, как в былые годы, когда он — студентом после особенно нудного семинара или молодым офицером после особенно удачного отступления — с наслаждением делал первую затяжку; и смотри-ка, шкет, мальчишка-фотограф, все еще не уставший караулить свою удачу, тут же его подловил и отщелкал — как он достает из кармана мятую пачку сигарет (вспышка), извлекает оттуда белоснежную бумажную трубочку (снова вспышка), собственноручно, не дожидаясь, пока кто-нибудь подскочит с зажигалкой, чиркает спичкой (еще один блиц), и у него мелькнула мысль (уж настолько он разбирается в журналистике, уж этому-то даже он успел научиться, хоть многие, почти все, привыкли его попрекать: мол, «при деле сидел, за делом глядел, а дела не разумеет»), но тут он нутром почуял, что этими снимками карьера пареньку обеспечена: седовласый, почтенный старикан, известный своей вальяжной обходительностью и в то же время чуточку легкомысленный, словно до настоящей солидности, когда человек действительно «имеет вес», ему самой малости недостает,— вот он, в полный рост, прическа слегка растрепалась, одет с иголочки и все же с налетом небрежности, стоит как ни в чем не бывало, будто ему и вправду нечего бояться, и даже попыхивает сигаретой, точно какой-нибудь юнец, а не новоиспеченный президент, и в руках у него мятая пачка сигарет и спички в потрепанной упаковке,— стоит с победным ви-

дом, хотя на самом деле он побежденный, а истинный победитель — Блямп.

Ну вот Блямп и определил его туда, куда всегда хотел,— на самый верх, где у него не будет ни сна, ни покоя, ни передышки, вообще никакой личной жизни, где, у всех на виду, его попросту затравят угрозами и доконают мерами безопасности,— а он за каких-нибудь два часа открыл в себе спасительную двурядность мыслей и именно теперь, вопреки всему, снова обрел личную жизнь, детей и внуков, обрел Кэте и уже не страшится речей, которые ему нужно будет произносить, пресс-конференций, которые его заставят вести, интервью, которые ему придется давать. Вон, оказывается, сколько еще в нем силенок, а он и не знал, вон какие обоймы мыслей, которых он еще не высказал, мнений, от которых не терпится освободиться, гладких формулировок, заготовленных на все случаи жизни,— пусть спрашивают что угодно, он не боится этих писак, ни нахальных, ни подобострастных, ни даже нахально-подобострастных, и хоть про него говорят, что он при деле сидел, за делом глядел, а дела не разумеет, журналистскую шатию он знает как облупленную и нахалов всегда предпочитал подхалимам — как-никак он тридцать два года шеф «Листка» и повидал их достаточно, видел, как они приходят и уходят, нагляделся на их взлеты и падения и, между прочим, всегда умел с ними ладить, хоть так и не смог понять, что же такое журналистика, сколько ни жужжали ему на разных конференциях, что «жур» означает «день», до него только сейчас дошло, что это значит: целый день ради злобы дня мило болтать перед микрофонами и камерами под скрип заточенных карандашей все, что катится по полосе «передних мыслей»,— вот чему научился он в те минуты, когда страх за собственную жизнь внезапно его отпустил.

А ведь среди кандидатов — вечная история — опять называли и Кортшеде, но он на сей раз даже не приехал, и опять посыпались намеки на его «наклонности», из-за которых он якобы непригоден для такого поста, «совершенно непригоден, хотя способностей его никто не оспаривает».

Вот так и получилось, что Блямп все-таки вышел на него, а Ампланжер опять остался в тени; ох уж этот Блямп с его мерзкой физиономией, прямо «рожа» да и только, с его солдафонскими замашками, постаревший, но не утративший молодецкой прыти, никакой не сердцеед, обыкновенный бабник. Любопытно было впервые за тридцать пять лет видеть Блямпа почти смущенным, во всяком случае в растерянности: уважительный кивок, а потом все-таки удар исподтишка, да какой внезапный:

— Значит, у Фишеров пополнение? Только из газет и узнаешь: одна в спортивной хронике что-нибудь тиснет, другая — в светской. А ты, конечно, молчок. Даже Кэте, когда я ей сказал, и то поразилась. — Блямп пристально наблюдал за его реакцией и, конечно, понял, что он тоже впервые об этом слышит. Так Сабина беременна? А ему ничего не сказали? И откуда этот многозначительный тон, словно речь о чем-то скандальном, о какой-то пикантной сенсации? Журналисты вроде пока ничего не разнюхали, иначе сегодня непременно бы спросили: «С какими чувствами вы ожидаете пополнения в семействе Фишеров?» Да, за сообщением Блямпа, за его вопросом что-то кроется, а он ничего не знает. — Ну, поздравляю, поздравляю. И с дебютом, ты был просто великолепен, придется теперь повнимательней читать в газетах раздел культурной жизни, а то за тобой не угонишься. И конечно, с будущим внуком. Значит, через четыре месяца? Ну, будь здоров.

Все кончилось раньше времени, Кэте еще не вернулась от Сабины; в дни заседаний, а тем более съездов она всегда скрывалась,

только после обеда, за чаем и кофе, разыгрывала роль хозяйки дома, потчевала всех своим печеньем и маленькими пирожными, она всегда питала слабость к птифурам, которые сама пекла в своей уютной кухоньке, и все это очень мило, приветливо, гостеприимно, будто и не по обязанности вовсе,— болтала с мужчинами, заботилась о секретаршах, которые, похоже, и правда в ней души не чаяли, выспрашивали кулинарные советы, переписывали рецепты. «Нет, подумать только, и как это вам удается!» В те два-три часа, когда в святая святых допускались женщины, она звала их к себе наверх посудачить, угостить чаем и ликерами, иногда даже демонстрировала наряды, терпеливо выслушивая охи и ахи, поддерживая беседу — о детях, внуках, планах на лето, и не делала различий между законными женами и «подругами» гостей — наедине с ним она без церемоний звала их любовницами,— со всеми была ровна и мила, всех умела мгновенно к себе расположить, а «подруг», недавних стюардесс, секретарш, продавщиц, если те с непривычки робели в «высшем свете», успевала даже тактично ободрить. Спокойно, не роняя достоинства, парировала колкости и пресекала все попытки позлословить о Рольфе или Катарине, Веронике или Хольгере-старшем, отстаивала Герберта, которого числили по разряду «чокнутых», и холодно пропускала мимо ушей лицемерные сочувствия по поводу ее — теперь уже семилетнего — внука, чье местопребывание никому не известно. «Эта женщина, нынешняя подруга вашего сына, Катарина, она ведь коммунистка, верно?» — и она отвечала: «По-моему, да, но лучше бы вы спросили у нее об этом сами, я, знаете, не люблю судить о людях по их политическим взглядам». Намеки на похождения их зятя Эрвина, на жизнь «бедняжки» Сабины — она спокойно выслушивала и это. И даже постоянное присутствие охранников, торчавших в доме повсюду — в коридорах, на балконе, в кладовках,— не могло вывести ее из равновесия.

Да, без Кэте ему сейчас трудно. Если Сабине через четыре месяца рожать, значит, скоро пойдет уже шестой — и она никому ни слова не сказала. О ком бы ни ронял Блямп свои каверзные замечания — о Рольфе, Катарине, Герберте, Хольгере-старшем,— в одном, по крайней мере, сомневаться не приходилось: фактам они соответствуют. Раз он сказал «через четыре месяца», значит, через четыре, даже если сама Сабина за такую определенность не поручится. Это информация из источников Цуммерлинга, а его люди не только «прослушивают пульс времени», они и лоно знатных дам прослушивают, и лучше, нежели сами эти дамы, знают, с какого дня отсчитывать задержку, это диагносты особого пошиба, они, должно быть, расспрашивают горничных и аптекарей, роются в мусорных бачках и медицинских картах, прослушивают, ясное дело, и телефоны, и все это, разумеется, только во имя общественного блага. Кэте, будь она в курсе дела, от него-то, наверно, не стала бы скрывать, и уж совсем непонятно, почему молчит Сабина? Раз Блямп что-то вычитал в спортивной хронике, значит, это как-то связано со скачками; нет, он не кинется к телефону и не станет звонить, хотя ему очень хочется. А больше всего ему хотелось бы сейчас подняться к Кэте и выпить с ней чаю. Он уверен, она не позволила бы себе и тени насмешки по поводу его избрания, даже если в глубине души — но, видно, этого ему уже никогда не узнать — она и потешается; конечно, она уже все слышала по радио в машине или у Сабины по телевизору и, скорее всего, ужаснулась, она же понимает, что Блямп не просто хочет еще больше его запугать — Блямп решил его уничтожить.

Наконец-то в зале кончилась трескотня, телевизионщики, радиокорреспонденты и газетчики убрались восвояси, и он может на ми-

нутку спокойно присесть без риска ослепнуть от фотовспышек; он почувствовал, как по лицу паутиной расползается усталость, почувствовал буквально кожей, по которой бороздами пролегли морщины,— да, эта забавная и азартная игра, эта беготня мыслей по двум дорожкам изрядно его утомила, а еще одну сигарету ему никак нельзя. Он ненавидит унылые препирательства с Гребницером, своим врачом, а уж Ампланжер, будьте уверены, представит тому полный отчет: три на заседании, одну после обеда и еще одну во время пресс-конференции. Ампланжера без долгих дебатов, даже без единого голоса против снова избрали ответственным секретарем, и хоть этот Ампланжер птенец из его гнезда — он ведь начинал в «Листке» под крылышком своего папаши, в «Листке» оперился, на «Листке» сделал карьеру,— а чей он на самом деле человек, не поймешь: может, Блямпа, а может, даже и Цуммерлинга. Вежлив, образован, услужлив, даже мил, он редко показывает зубы, но уж если показывает, то страшнее всего в улыбке, более жуткой улыбки, так сказать, улыбки со скрежетом зубовным он ни у кого не встречал. В семье Ампланжеров улыбались все: он сам, его жена, четверо детей, а злые языки утверждали, что со дня на день в его доме начнут улыбаться собака, кошка и даже волнистые попугайчики. Улыбка Ампланжера давно стала притчей во языцех, ее боялись как огня, когда Ампланжер заведовал в «Листке» кадрами, он на всех страх наводил. Кто-то из «стариков», тех, кто работал в «Листке» с самого начала и с кем можно поговорить по душам, ему рассказывал, что даже поговорка такая ходила: «Если Ампланжер улыбнулся, тебе хана».

Но сейчас — неужто Ампланжер тоже устал, настолько устал, что даже не в силах ему улыбнуться?

И вид у него был почти человеческий, когда он подсел рядом и тоже устремил взор на зелень парка; и белый воротничок вокруг шеи чуть-чуть потемнел и замахрился, видно, Ампланжеру тоже пришлось попотеть, даже прическа не выглядела безупречной, словом, он казался почти живым человеком, когда заговорил:

— Выкурите еще одну, господин доктор, я никому не скажу.

Но он в ответ только покачал головой и спросил:

— Что там было в газетах насчет моей дочери и ее беременности?

— Ваша дочь Сабина отказалась от подготовки к предстоящему первенству, что дало толчок некоторым домыслам, я распоряжусь все тщательно проверить. Информация господина Блямпа меня самого чрезвычайно удивила. А теперь, если позволите, вам надо бы прилечь. День был безумный, даже меня и то доконал, вам лучше подняться к себе, а я тогда со спокойной совестью отправился бы домой. Разрешите заметить: с журналистами вы разделались бесподобно, просто блеск.

— Мне уже завтра приступать? Я имею в виду — сидеть в кабинете?

— Нет, у нас только на послезавтра намечено маленькое торжество, что-то вроде приема для наших рядовых сотрудников, ведь большинство заведующих вы и так знаете. А на завтра у нас ничего нет.

— Я еще посижу, а вы идите, не беспокойтесь. Кланяйтесь от меня жене и детям.

— Думаю, излишне вам объяснять, что все меры безопасности, предпринимавшиеся в отношении господина Плифгера, теперь автоматически распространяются на вас. Если не возражаете, господин Хольцпуке посвятит вас во все тонкости — мне, разумеется, это тоже нетрудно, но он предпочитает инструктировать своих подопечных сам, и я не хотел бы его обижать. В таком случае, если я смею полагать, что вы в моей помощи не нуждаетесь и даже считаете ее излишней, я готов удалиться.

— Благодарю, и всего доброго. Значит, до послезавтра.

Больше всего ему хотелось сейчас просто уйти — пешком, через двор, по замковому мосту, по аллее, и так до самой деревни, а там, не торопясь, от дома к дому, добрести до церкви, посидеть, а может, даже и помолиться; потом он постучался бы к Кольшрёдеру, напросился бы на кофе, потолковал о житье-бытье, но только не о боге, о боге он с Кольшрёдером беседовать не любит, наверно, потому, что тот священник. Постоял бы возле родительского дома, приземистого, хоть и в полтора этажа, отделанного теперь асбестовой плиткой,— там, по традиции, опять живет учитель, молодой, у него машина, жена в джинсах, он пристроил к дому гараж, а на месте грядок разбил газон, неизменно густой и ухоженный; на зеленой траве разбросаны пестрые пластмассовые игрушки двоих его детей. Он и впредь не сделает того, что давно и строго-настрого себе запретил; не попросится зайти, чтобы осмотреть дом изнутри: две клетушки со скошенным потолком в мансарде, внизу — горница, кухня, чулан для утвари, в подвале — прачечная и кладовка; сейчас там, наверно, все по-другому, интересно, где они ванную оборудовали, внизу или наверху? Он вспомнил бы родителей, брата Ханса, все уже давно в земле, родители тут, рядышком похоронены, а брат далеко, очень далеко, если там вообще было что хоронить. Прямое попадание. «Катюша», сталинский орган. Надо бы сходить на родительскую могилу, Кэте там бывает чаще, чем он, она ездит в Ной-Иффенховен, на тамошнее кладбище, где перезахоронены ее родители, а на обратном пути заглядывает и к его старикам, приносит цветы, покупает медные гильзы для свечек, она и надгробья новые заказала, скульпторы — совсем молодые ребята, он только наброски видел, роза и крест, в мраморе, для обеих могил один и тот же орнамент с незначительными вариациями, но он не любит кладбища, никогда не любил туда ходить, даже на похороны, не то что некоторые, прямо-таки обожают чужие похороны.

А еще он бы повспоминал о молочном супе, такого супа ему уже не отведать, ни в войну, ни после ему так и не довелось воскресить тот божественный вкус, и даже Кэте — а она бесподобно варит супы — тут бессильна, хотя он сотни раз про этот суп ей рассказывал: островки взбитого белка, легкий, едва слышный — у Кэте он всегда чуть-чуть резковат — привкус ванили, но главное — ощущение воздушности, когда все прямо тает во рту, у нее же суп то слишком густой, то жидковат, оно и понятно, рецепта он не знает, только вкус запомнил, а вот его-то и не вернуть, как не вернуть иные запахи, особенно тот — прелый запах осенней листвы из темных глубин двора, там, в Дрездене, когда он обнимал Кэте в дешевой меблирашке.

Острее всего воспоминания о субботах: после исповеди ритуал мытья, в цинковом корыте, потом суп, бутерброд с маргарином, по счастливым дням — какао, и даже воспоминание об исповеди не в силах вытравить воспоминание о супе. Он постоял бы возле дома Пюцов, возле дома Кельцов, позаигрывал бы с мыслью — заранее зная, что ничего такого не сделает,— зайти и поздороваться с Анной Пюц (про которую он хоть знает, что ее теперешняя фамилия Коммерц) или с Бертой Кельц (про которую он не знает ничего, даже нынешней фамилии), просто зайти, сказать «добрый день» и заглянуть в лица этих старых женщин. Они бы, конечно, смутились, ведь он теперь живет в замке и вообще важная персона. А он бы силился разглядеть сквозь их морщины лица тех девчонок, в которых более полувека назад был так сильно, до беспамятства, влюблен — в Берту, когда ему было тринадцать, в Анну, когда ему было четыр-

надцать, одна блондинка, другая брюнетка, ему не давали покоя их девичьи глаза, груди, ноги, локоны, он ходил за ними по пятам, выслеживал, пытался целовать, тискал при малейшей возможности, и они не обижались, только отмахивались, им, наверно, было не привыкать, другие мальчишки вели себя не лучше, а ответное женское любопытство в них еще не проснулось, не то что у Герлинды Тольмсховен, но то было позже, и потому он никогда не знал, как отвечать в исповедальне на злополучный вопрос: «Один или с кем-то?» — а в том, что одному из двух этих грехов любой мальчишка его возраста предается несомненно, отец Нупперц был убежден свято; как считать — было это «с кем-то», когда он, подкараулив девчонку, порывался ее потискать или просто просил — на что они иногда соглашались, причем обе с каким-то завороженным, почти торжественным удивлением,— посмотреть ей в глаза, и он, клятвенно пообещав, что все будет «без рук», смотрел, долго, глубоко, упоенно и неизменно держал слово. Как считать — это «с кем-то»: заглядывать в девичьи глаза, ища и открывая в них неведомо что? А невыносимые расспросы Нупперца: рукоблудит ли он во время субботнего купания, настойчивые советы мыться не в слишком горячей воде, а лучше всего в плавках,— эти рекомендации только навели его на идеи, о которых он прежде и представления не имел. Нет, это было уже чересчур, больше он к исповеди не ходил, и с тех пор ничто не омрачало воспоминаний о субботе (его передернуло при мысли, что бедняжка Сабина совсем недавно и вправду специально приезжала сюда исповедаться, и у кого? — у Кольшрёдера!), осталось только купанье и молочный суп, распаренное лицо матери над плитой, Ханс, подсовывавший ему свое какао,— сам он, как правило, вскоре смывался, его ждали иные радости, послаще всякого какао,— отец, которого, по счастью, обычно не было дома, с рюкзаком за плечами он колесил на велосипеде по окрестностям в поисках дешевой земли, у него это было вроде болезни, он жаждал владеть землями, даже если это были заболоченные, заросшие камышом и осокой, бросовые земли разорившихся крестьян. Да, отец жаждал стать землевладельцем и притом был ведь вовсе не прекраснодушный мечтатель, а строгий, даже ненавистный учитель, вдобавок еще и вегетарианец, он надевал рюкзак, садился на велосипед и уезжал искать «участки», вожделенные землевладения, он коллекционировал сотки и квадратные метры, сколотил под конец несколько гектаров совершенно бесплодной земли, ворошил свои бумаги и квитанции, сортировал выписки из поземельных книг, купчие — все по закону, все заверено у нотариуса,— потом чахотка, смерть (а все же эти несколько гектаров вокруг Иффенховена, Блюкховена и Хетциграта помогли матери худо-бедно перебиться после войны: недвижимость она меняла на еду, всю землю — сотку за соткой — обратила в молоко, масло и картошку, потом, когда поднялся угольный бум, крестьяне за эти участки получили неслыханные барыши). Когда он умер, вся деревенская детвора вздохнула с облегчением, вздохнули и Анна Пюц, и Берта Кельц, а особенно мальчишки, которые и теперь, уже дедушками, пугают внучат рассказами о грозном учителе Тольме, про которого никто даже толком не знал, хоть католик ли он «на худой конец», в смысле — «настоящий», «добрый» католик, потому как в церковь-то он хаживал и за порядком присматривал, а вот в исповедальне и у причастия его никто не видывал, ни здесь, ни в соседних деревнях, где он пропадал по воскресеньям, приманивая крестьян своим диковинным рюкзаком, велосипедом и скудной наличностью, из коей он предлагал жалкие задатки, дабы тут же, сразу после мессы и непременно при свидетелях, ударить по рукам, скрепляя таким образом уговор, над смехотворностью которого крестьяне потешались промеж собой ничуть не меньше, чем над «чудным» покупателем: длинный, костлявый, смурной какой-то, к тому же и не пьет, попро-

сит воды принести или стакан молока,— словом, кащей да и только. Мать была совсем другая, у нее были хоть какие-то радости жизни: дом, грядки, цветы, дети, кухня, церковь, работа в союзе матерей, богомолье, и она никогда не падала духом, а иной раз,— правда, редко, ох, как редко — ей удавалось даже пробудить улыбку на отцовском лице, когда она припоминала времена их блюховенской юности, своих и его родителей, которые, как теперь выяснилось, всю жизнь просидели на несметных угольных залежах.

Надо бы сходить на могилу, посмотреть, как там Кэте распорядилась цветами, взглянуть на мраморную плиту с розой и крестом, на горящую свечку в медной гильзе. Он бы и в церковь зашел, поборов давнюю неприязнь к Кольшрёдеру, с ним хоть об архитектуре и живописи поговорить можно. Да и о музыке; а может, и в дом Коммерцов заглянул бы, там ведь живут нынешние тесть и теща Рольфа, родители Катарины, Шрётеры. Хотя он и сейчас еще, пятьдесят лет спустя, немножко стыдится того, чем занимался тогда иной раз вместе с Петером Коммерцом и Конрадом Вергеном, про себя называя это «один, но с кем-то». Эти двое живо его просветили, едва он спросил, что имеет в виду старик Нупперц, когда пристает насчет «рукоблудия»,— лучше бы ему остаться тогда в неведении, во власти грез, тем более что вскоре он и Герлинду встретил, как только начал ездить в городскую школу. Потом стал помогать ей по математике, здесь, в этом замке; конечно, посягнуть на ее грудь или ноги он не отважился, как-никак графиня, но в глаза заглядывал, глубоко-глубоко и небезответно, потому что в один прекрасный день она решила «покончить с этим делом», сказав ему с неповторимым фривольным озорством:

— Помилуем друг друга.— И добавила: — Только без комплексов, дорогой Фриц. Ты у меня не первый и, наверно, не последний, а я знаю, что я у тебя первая.

И эта девушка, что слыла в деревне «язвой», а то и просто «дрянью бесстыжей», вдруг стала податлива, как воск, нежна и покорна до бездыханности, и он никогда не забудет вспышку безумной радости, озарившую ее лицо, то счастье, которое ему всегда хотелось назвать благодатью; не забудет он и ее улыбку, когда та же радость снизошла и на него. Ликуя, а не раскаиваясь, шел он исповедываться, шел в последний раз — лишь бы избавиться от ненавистного «с кем-то», лишь бы раз и навсегда распрощаться с исповедью, а быть может, и с церковью, которая еженедельно заставляет покаянно виниться в том, что он час спустя без всякого раскаяния сделает вновь. Он не забудет откровенное, более чем нескромное пыхтенье Нупперца и его жадный, якобы от гнева задыхающийся голос, его глупый вопрос «с кем же?», относившийся к чему угодно, только не к тайне исповеди; к тому же, ведь он прекрасно знал ответ, почти вся деревня знала, и все знали, что рано или поздно дело раскроется, оно и раскрылось; остальное было обычно и неизбежно: Герлинду отправили в закрытый интернат, но ему, ко всеобщему изумлению, от дома не отказали. Поговаривали даже, что старая графиня не только все предвидела, но, мол, хотела, чтобы так оно и вышло; она к нему благоволила, это было ясней ясного, и он снова стал помогать — уже брату Герлинды, Хольгеру, и тоже по математике; какое благо — хоть иногда он мог теперь подкинуть матери немного деньжат, да и себе кое-что купить. Кроме того, были ведь велосипеды, и даже бдительность кёльнских монахинь имела свои границы. А Герлинда настояла на своем «неотъемлемом, богом и церковью освященном» праве выбрать себе другого, менее осведомленного в ее личной жизни исповедника. Были не только велосипеды, были еще и парки и квартиры подруг Герлинды, особенно одна, около Южного вокзала, где они, распахнув окно, слушали поезда, и Герлинда смеялась, когда он просил заглянуть ей в глаза; он знал, и она знала: он

не найдет того, что искал в глазах Берты, в глазах Анны, но он находил нечто иное, тоже важное: прощанье с исповедью и молочным супом.

Сколько раз, заходя потом в эту церковь и поглядывая на незыблемую новоготическую исповедальню, он мог бы торжествовать при мысли, что они, преемники Нупперца, если не все, то многие, сами угодили теперь в силки секса, которые столетиями раскидывали для других. Где и кому сами-то они исповедуются во всех своих «с кем-то», а тем паче во всех своих «один», как и чем искупают свои грехи? Что творится за стенами их уютных и просторных квартир, за стенами их роскошных, модно обставленных «хижин», планировку которых столь беспощадно и точно растолковал ему Рольф, за стенами, где обретаются все эти приживалки, экономки, троюродные кузины или как их там еще, и ни один из них ни разу не сподобился объяснить, отчего все так устроено, что расцвет мужской силы, молодости, желания, да и вожделения приходится на те «лучшие» годы, когда жениться еще рано или попросту нельзя, денег нет, и ты волей-неволей идешь к девкам, к «доступным» женщинам, к коим, несомненно, принадлежала и Герлинда, либо обрекаешь себя на безрадостное «один», которое всегда было ему не слишком по душе? Да и откуда бы взяться этому «с кем-то», если не повстречаешь такое счастье, такую удачу, как Герлинда,— почему, коли на то пошло, они не провозгласят всех Герлинд святыми? До сих пор, с того самого дня, когда он сразу от Герлинды пошел к своей последней исповеди, он всякий раз, напросившись к Кольшрёдеру на кофе, снова и снова втайне упивается своим триумфом, смесью торжества, грусти и отвращения, убеждаясь, что Кольшрёдер, вне всяких сомнений, с этой Гертой, своей экономкой, как говорится, живет во всех смыслах, значениях и оттенках этого слова; об этом, впрочем, и так все знают, никто никогда этого и не отрицал, слишком явно все видно — как он мимоходом гладит ее по крашеным рыжим волосам, как соприкасаются их руки, когда она наливает ему кофе, интимности и свойской ласки, тут, пожалуй, куда больше, чем в постели, если бы кто их в постели застукал; во взглядах и жестах давняя, привычная близость, столь же неприглядная, сколь и трогательная, особенно у нее, пышногрудой, цветущей сорокалетней женщины в джинсовой юбке и легкой, воздушной блузке, в вырезе которой она даже не боится кое-что показать,— нет, тут уж не было никакого очарования влюбленности, один вороватый блуд, для него это до сих пор потрясение. Наверно, во всем этом не было бы ничего дурного, если бы все было в открытую, если бы не беспрестанное нытье об испорченности других, разглагольствования об их вонючем целибате, не сетования на распущенность молодежи да и всего рода людского — уж по крайней мере, не из уст Кольшрёдера! Благочинный распад, сытое, со вкусом и по последней моде, комфортабельное разложение — нет, ему просто больно это видеть, и потом, черт побери, как они исхитряются обойтись без детей, ведь должны же они что-то предпринимать, что-то из того, что другим запрещают? Тогда кто, черт возьми, в чем и перед кем должен исповедоваться, кто кому и что отпускать? Как-никак он лично на своем веку ни разу, ни секунды не помышлял стать священником, не принимал, да и в жизни не принял бы обет целомудрия, не возжелал жены ближнего своего — даже Эдит была не замужем. Благочинное растление, распад, можно сказать, прямо под стенами церкви, и все же одного у нее не отнимешь, кофе она варить умеет, эта Герта, на вид, кстати, вполне приглядная особа, кроткая, с ласковым голосом и крашеными рыжими локонами,— но что-то в ее облике отдает борделем, и ему всегда это претило, именно потому, что приходил-то он не в бордель. Но он все равно нет-нет, да и захаживал к ним, всегда незваным гостем, уже почти не чувствуя триумфа, только отвращение и грусть,

ведь когда-то все это кое-что для него значило, а для многих и поныне значит немало, для Сабины и Кэте особенно, да и для него все еще, от поры до поры, значит куда больше, чем полагают эти ханжи, умеющие так элегантно, со всеми удобствами разъезжать по накатанной колее, из которой они столько миллионов, если не миллиардов, честных людей выпихнули, «одних» или «с кем-то». Куда ни глянь — всюду только безупречная штукатурка фасадов, за которыми хаос, распад и тлен.

С Кэте ни о чем таком не поговоришь. Она наивна и в каком-то смысле все еще правоверна, он не рискнет на это посягнуть. К тому же, ведь ничего и не докажешь, да и нечего доказывать. Герберт — тот только посмеивается, для него церковь давно уже звук пустой, но не для Рольфа, Рольф сознает, что церковь на него повлияла, как сознает и Катарина и Сабина,— в этом деле он за Сабину боится даже больше, чем за Кэте, да, Сабине он давно и от всего сердца желает любовника, милого, открытого парня, пусть даже из клуба верховой езды. Он почти уверен, что с Эрвином Фишером у нее нелады, в том числе и по части «с кем-то». Он, понятно, и заикнуться об этом не посмеет, тут ведь ничего не докажешь, да и не обсуждают такие вещи, и все же: Сабина заслуживает настоящей любви, а не этого подонка, которого он наедине с Кэте иначе как «пугалом» не зовет.

Кэте собиралась вернуться от Сабины к шести. Сейчас только полпятого, машин во дворе не видно, прощаться ни с кем не надо, он вполне успел бы прогуляться до деревни. Но об этом теперь и думать нечего, не может он просто так взять и уйти, даже на свой страх и риск. Блямп в своем откровенно издевательском поздравительном адресе правильно написал: «Отныне ты принадлежишь себе еще меньше, чем прежде, а своей семье еще меньше, чем себе». И даже если бы он рискнул, ведь не станут же они, в самом деле, удерживать его силой,— а вдруг? — все равно не может он подложить такую свинью этим молодым, неутомимым ребятам-охранникам, даже если он сам будет кругом виноват, спросят-то с них, а случись с ним что, и вину свалят на них, и ответственность, и позор. К тому же, он твердо обещал Хольцпуке не устраивать никаких демаршей самому и не допускать эскапад со стороны Кэте, более того — предупреждать его, ежели Кэте таковые замышляет. Ей удалось несколько раз незамеченной ускользнуть через парк, потом перелесками до Хетцигрота, поймать там такси и удрать в город; и хотя в городе ее быстро обнаруживали (благо маршрутов не слишком много, две давнишние подруги, адреса которых, разумеется, известны, два кафе — Гецлозера и Кента, обувной салон Цвирнера, два модных магазина — Хольдкрампа и Бреслицера, да еще четыре излюбленные церкви) и потом «вели», однажды даже от самой стоянки такси (Хольцпуке, наверно, уже успел условиться со всеми таксопарками в округе), все равно это было крайне неприятно, причиняло массу ненужных хлопот и треволнений, что в конце концов признала и сама Кэте, объявив, что окончательно «обращена» и «смирилась с тюрьмой Тольмсховен».

Он ни секунды не сомневается, что все меры безопасности, сколь бы преувеличенными и безумными они ни казались, оправданны. Он обязан и хочет относиться к ним с пониманием, он и так порой не на шутку тревожится за нервы этих ребят, и его не слишком успокаивают заверения Хольцпуке, что все они под постоянным наблюдением психолога, некоего Кирнтера, отличного специалиста. Он по себе знает: есть много вещей, о которых он никогда не скажет Гребницеру, своему врачу. Например, о смертной скуке, которая охватывает его в огромном кабинете «Листка». А идти в деревню *с сопровождением* — нет, он не пойдет. Что подумает о нем хотя бы этот молодой Тёргаш, дожидаясь, пока он посидит в церкви,

а потом еще наведается к священнику, про которого каждый, а уж Хольцпуке наверняка, знает, чем он там со своей Гертой занимается, и который к тому же — после того, как Вероника додумалась позвонить Кэте именно туда, в дом священника,— видимо, сам того не ведая, угодил «под колпак»? Возможные домыслы конвоиров от чего хочешь охоту отобьют. Хольцпуке их ему представил: Тёргаш, Цурмак, Люлер, «очень слаженная группа, где все прекрасно дополняют друг друга, отлично зарекомендовала себя при охране вашей дочери, зятя и внучки». Разумеется, он на всякий случай осведомился у Сабины по телефону, хоть и знает, что телефон прослушивается (без этого никак не обойтись), и она всех троих очень хвалила, особенно Тёргаша, которого назвала «очень серьезным, внимательным и вежливым молодым человеком».

Опять Сабина, не идет она из головы,— отчего в последнее время она буквально дня не может прожить без Кэте, звонит ей, зовет к себе, приезжает сама? Наверно, все из-за этого идиота Фишера, который, похоже, просто потеряет веру в свои мужские достоинства, если бульварные журналы вдруг перестанут расписывать его сексуальные геройства.

Нет, не может он просто так взять и пойти в деревню — тут не только меры безопасности, но еще и ноги, они что-то плохо его слушаются, он даже не знает толком, что его больше удерживает: ноги или неотступный конвой. Это веселое, такое новое чувство легкости после того, как исчез страх,— ногам оно еще не передалось, в ногах по-прежнему тяжесть, скованность и холод до самых щиколоток. Под руку с Кэте он бы, наверно, еще рискнул, а в одиночку — нет, неудобно, вдруг оплошает, придется на кого-то опереться, хотя бы на молодого Тёргаша, что может пагубно сказаться на его бдительности; конечно, его мог бы проводить и Блуртмель, но и Блуртмеля не хочется беспокоить, что они — и Блуртмель тоже — подумают, когда он внезапно остановится перед домом Пюцов или перед домом Кельцов, впрочем, не важно, что они подумают, просто их мысли, их домыслы убьют его воспоминания, и он не сможет воскресить милые лица двух девочек, и в церкви тоже, где он присядет в тишине, один, будет смотреть на исповедальню, на высокие новоготические окна, с грустью и отвращением размышляя о том, что и по сей день до конца в нем не изжито: о мерзких расспросах Нупперца, которые способны были отравить любую красоту, любую поэзию — даже тоскливую радость пресловутого «один»? Одна эта мысль — «а что подумают они?» — убивала остальные, убивала воспоминания о милых девочках, когда-то столь благоразумных и желанных, о грозном любопытстве Нупперца, обо всем, что было у него «с кем-то». Пожалуй, лучше вовсе не возвращаться к местам своих воспоминаний. Мешают ведь не конвоиры, что неотступно бредут по пятам, а их мысли и домыслы, которых у них, вероятно, и нет вовсе.

Он пошел по лестнице, лифт вызывать не стал, не хотелось еще и в лифте снова, в который раз, видеть лица задержавшихся с отъездом гостей — Поттзикера, Хербстхолера, да и любого из тех, кто мозолил ему глаза все эти четыре дня нескончаемых заседаний, — Блямпа, который, возможно, все еще где-то тут, друзей, врагов, официантов. Эта вечная неловкость при встречах в лифте, вымученные улыбки, когда не знаешь, куда деть руки, и пепел с сигары или сигареты стряхнуть некуда (сколько же можно просить Кульгреве распорядиться насчет пепельниц в лифте, придется перепоручить это Амплангеру, уж тот не подведет), и эти вечные шуточки по поводу Тольмсховена, «замка его мечты»; некоторые так вообще считают чуть ли не своим долгом в издевку величать его — «Фридрих фон Тольм с резиденцией в Тольме», хотя он, Фриц Тольм, никакой не дворянин, просто родом из деревни, которая обязана своим названием графской семье и ее фамильному замку. При этом ведь все, да-

же Блямп, в конце концов вынуждены были признать покупку замка «гениальной идеей». Ремонт и модернизация целиком себя оправдали, даже с финансовой стороны; два аэропорта в тридцати, третий в сорока минутах езды, а в крайнем случае можно испросить разрешение на посадку на аэродроме английских ВВС, до того вообще рукой подать. Это ж куда удобнее, чем по нескольку дней, а то и неделями снимать гостиницы, которые всем обрыдли. Он долго и тщетно убеждал руководство объединения купить замок, потом махнул рукой и купил сам — у графа Хольгера фон Тольма, последнего в роду отпрыска мужского пола, который давно переселился в южную Испанию, все свое время посвятил женщинам и игорным фишкам, безуспешно пытаясь пробиться в международную элиту плейбоев, и являл собой печальное олицетворение распада, в своей откровенности, впрочем, куда более симпатичное, нежели разложение церковников, замазанное штукатуркой благонравия. А Хольгер даже зубы и волосы не уберег. Он еще больше поглупел, стал сентиментален, при случае не прочь был пустить слезу, бедолага Хольгер, на которого он, Тольм, никогда не умел сердиться, а тем более злиться, не умел с юных лет — ведь именно Хольгер покрывал их с Герлиндой шашни, обеспечивал алиби, помогал устраивать встречи; Хольгер, которого война наградила неудавшейся карьерой летчика и свирепыми запоями, годный только на роль неотразимого завсегдатая казино и распорядителя чужих удовольствий, вечно терся при штабах, организовывал званые обеды, добывал икру, поставлял начальству шампанское и женщин, дослужился-таки до майора, хотя под конец был уже настолько слаб в коленках, что сам себе боялся в этом признаться. И пусть этот Хольгер ему чуточку в тягость, все равно он его должник и готов всю жизнь выплачивать тот юношеский долг, даже если Хольгер постепенно действительно станет ему неприятен, этот жалкий человек, позабытый всеми друзьями-приятелями, «абсолютная развалина», как он сам себя называет. Но для него, размышлял он, медленно, очень медленно поднимаясь по лестнице,— для него Хольгер навсегда останется милым мальчуганом, с которым они на «велике» укатывали в Кёльн якобы для осмотра церквей и музеев или за новыми деталями для игрушечной железной дороги, а то и «просто так», а Герлинда уже ждала где-нибудь, обычно на Мозельштрассе, готовая встретить его счастливым смехом и, как сказали бы сегодня, «сверху без».

Тут он невольно улыбнулся: за Тольмсховен он ведь явно переплатил, и все ради Хольгера и Герлинды, которая тоже вдруг объявилась невесть откуда, неожиданно добропорядочная, располневшая, уже на седьмом десятке, замужем за простым смертным, без всяких «фон»,— некто Фоттгер, доктор юриспруденции, служит в министерстве иностранных дел — она улыбнулась, даже покраснела слегка, чего с ней раньше не случалось, сказала:

— Деньги нам вовсе не помешают, детям ведь надо учиться, пока мы с мужем по свету колесим. И я очень рада, что замок перейдет к тебе. А еще — я иногда думаю: зря я тебя не удержала, даже не пыталась. С тобой было хорошо, ты был еще совсем ребенок.

Потом, когда после нотариуса они зашли в кафе Гецлозера и Фоттгер, судя по всему социал-демократ, принялся защищать восточную политику, она, по счастью, даже не подумала с ним заигрывать: никаких доверительных прикосновений, вздохов, томных взглядов — ничего, и слава богу, все равно ничего бы не вышло. Она ведь никогда не была особенно хорошенькой, привлекательной — да, но не хорошенькой и, наверно, давно уже не была легкомысленной. А еще он вспомнил о старой графине, которая так о нем заботилась. С непонятным упорством настаивала, чтобы он доучился, защитил диплом, и была особенно добра к Кэте. И вот он вернулся в Тольмсховен новым хозяином и сразу предложил замок Объединению в

качестве постоянной резиденции. Тут все было — телетайп, телефонная связь, лифты, вышколенный и абсолютно надежный персонал, сауна, излюбленный всеми игорный салон, где можно перекинуться в покер, а если охота, то и во что-нибудь поазартней, да и с Кульгреве ему повезло (хоть тот и забывает про пепельницы в лифте) — предупредителен, скромен, работает с душой. А решающим аргументом оказалось (тогда-то и речи об этом не было) идеальное расположение замка с точки зрения безопасности: широченный ров с водой, превосходно просматривающийся французский парк (пусть сколько угодно называют его «доморощенным Версалем», пусть смеются, сидя в своих роскошных пузатых виллах, задавленных «добротным» шифером снаружи, лоснящихся медью внутри) — до самого леса гарантирован безупречный обзор. Даже в плане вложения капитала замок с его отлично оборудованной кухней и подсобными помещениями сулил выгоды: в случае чего его запросто можно продать под первоклассный отель, если бы — и тут он подумал о детях, которым Тольмсховен всегда был не по душе, подумал о внуках,— если бы... если бы не мрачные прорицания Кортшеде, которые перечеркнули все надежды, все планы; ведь, в конце концов, замок представляет и немалую историко-архитектурную ценность, заложен в XII веке, перестраивался и достраивался во все последующие века, это же наглядное пособие по истории архитектуры — и ничего, ничего не останется. Все ближе карьеры, все ближе электростанции, все гуще дымные облака на горизонте. «Сносить и копать, копать и сносить»,— так это у Блямпа называется. И тихий Кортшеде тоже подтвердил:

— Все давно решено, даже то, что еще и не решено вовсе. Сам увидишь — они все будут заодно, профсоюзы и работодатели, государство и церковь,— (он всегда почему-то упоминал о церкви со странным смешком, словно это вздорная и своенравная старая дева из богадельни),— все давно решено, и случится еще на твоем веку: все снесут, камня на камне не оставят, так что лучше уж тебе подготовиться. Самое страшное — это когда профсоюзы и работодатели заодно. Энергоресурсы, занятость — да ты сам все прекрасно знаешь.

Четыре пролета, одиннадцать ступенек, и каждую он знает как родную, до мелочей, до малейшей щербинки, он помнит, где медные прутья на ковровой дорожке разболтались и надо следить, чтобы не споткнуться. Он яростно, если верить архитекторам — «с почти необъяснимым упорством», отвергал все предложения подправить лестницу, заменить дорожки, и они, конечно, правы, сентиментальность необъяснима, да и откуда им знать, сколько раз в юности он поднимался, а случалось, и крался по этой лестнице, чтобы проникнуть в комнату Герлинды, где теперь обосновался Блямп.

Он устал, он чувствовал годы — старость свинцом заливала ляжки, норовя переползти ниже колен; и он опять ощутил страх, теперь уже новый: придется переезжать, выметаться — но куда, куда? Во всей деревне камня на камне не останется, ни лужка, ни травинки, ни единого деревца на кладбище, и он не мог поверить — неужели они и новоготическую исповедальню потащат с собой, неужели Кольшрёдер возьмет с собой свою Герту — туда, в Ной-Тольмсховен, где он поселится в еще более шикарном доме, повесив рядом Шагала и Уорхола [1], неужели все, все стронется с родных мест — девочки-старухи Анна и Берта, крестьяне со всем хозяйством и даже кладбище, как это уже случилось с Айкельхофом, как это было с Иффенховеном? Айкельхоф семья ему так и не простила, даже Рольф, а уж Кэте и подавно, а ведь должны бы понять, что тут он совершенно бессилен и безгласен, совсем не боец, да и не был им

[1] Энди Уорхол (род. в 1927) — американский художник-авангардист, также кинорежиссер.

никогда, должны понять, что и деньги тоже манили, деньги и новая недвижимость, а все из-за незабвенной бедности, что въелась в него с детства, и еще, наверно, из-за отцовской жажды земли. И потом — ну почему, черт возьми, именно тут, где все они родились, выросли, жили,— почему именно тут оказалась такая прорва угля?

Гребницеру так и не удалось приучить его к трости, и теперь он прикидывал, что смешнее: вот так цепляться за перила или ковылять по лестнице с тростью, а то, может, призвать на помощь Блуртмеля, который, конечно же, будет готов в любую секунду его подстраховать. Рано или поздно ему останется только трость или лифт, если не то и другое вместе, а потом в один прекрасный день и кресло-каталка, куда Блямп уже сейчас с превеликим бы удовольствием его усадил. Президент в инвалидном кресле, добренький, седой, интеллигентный,— это же просто лакомый кусок для журналистов, он прямо слышит, как они взахлеб сравнивают его с Рузвельтом, а его либеральные методы управления с рузвельтовским «новым курсом» — аналогия столь же немудрящая, сколь и неизбежная; у них всегда под рукой ворох сравнений, штампов, даже аллегорий, целые обоймы таких же идиотских банальностей по любому поводу и на все случаи жизни; а какой это будет для них подарок, если «те» — кто? когда? как? — однажды «достанут» его прямо в кресле, желательно, правда, чтобы кинокамера оказалась поблизости, дабы запечатлеть, как он, весь в крови, вываливается из кресла, а кресло вприпрыжку катится вниз по лестнице, тут уж сравнения не миновать — кино, «Броненосец «Потемкин». Лестница — детская коляска, лестница — кресло-каталка, и, конечно же, оператор чертыхнется: «Проклятье, почему лестница такая короткая, всего одиннадцать ступенек, здесь же нужен долгий план!» — и еще, чего доброго, чтобы продлить план, спихнет заляпанное кровью кресло в следующий лестничный пролет.

Он вздрогнул — Блуртмель распахнул перед ним дверь, едва он прикоснулся к ручке; подумалось: «Так вот и будет, это будет кто-то, кого я хорошо знаю, кому доверяю, кто выдержал все проверки». Черт возьми, что это Блуртмель — научился видеть сквозь стены? Или кто-то успел ему сообщить: «Подошел к двери, сейчас возьмется за ручку». Не исключено, ведь они, или по крайней мере один из них, обязательно караулят наверху, укрывшись где-нибудь в нише, за дверным косяком, в темном углу, за выступом стены, и у каждого переговорное устройство. И у Блуртмеля оно есть, так что любой охранник мог — просто по дружбе — предупредить: мол, старик на подходе. Одно нехорошо — когда дверь так внезапно открылась, он от неожиданности споткнулся и чуть не упал, Блуртмелю пришлось его подхватить, неприятная и совершенно излишняя демонстрация его физической немощи, которую, конечно же, припишут его общему состоянию, а не тому чисто техническому казусу, что дверь подалась внезапно и слишком легко. Он, слава богу, еще в силах нажать дверную ручку и войти в комнату без посторонней помощи.

Подобное повышенное предупредительное внимание давно стало для него приметой все более строгого заточения, когда любая забота, даже невинный жест вежливости кажутся проявлением бдительности и, значит, угрозы. До сих пор жуть берет, стоит лишь вспомнить, какого ужаса нагнал на них Кортшеде, когда взвизгнул и как безумный кинулся бежать вокруг стола заседаний, и все из-за того, что официант без предупреждения щелкнул зажигалкой, давая ему прикурить; внезапная тень за спиной, мягкий щелчок зажигалки, который вполне можно принять за бесшумный выстрел,— все это лишило его остатков самообладания, бесшумная вежливость его доконала; не переставая вопить, он метался вокруг стола, потом бро-

сился к двери, дверь на замке, он бегом обратно, он не мог остановиться, и никто не мог его удержать, пока, наконец, Ампланжер буквально не стиснул его в объятиях, но он вырвался (что дало Блямпу, который любит пройтись насчет гомосексуальных наклонностей Кортшеде, повод для циничной шуточки: «Как святой Иосиф от жены Потифара»), оставив в руках у Ампланжера свой пиджак, после чего пришлось уже попросту «брать» его с помощью полицейских, те обучены приемам и применили их весьма энергично; выглядело все это довольно жестоко, но, наверно, так надо, они его схватили, зажали ему рот и не выпускали, пока не подоспел Гребницер со шприцем,— Кортшеде ойкнул, дернулся, обмяк, его отнесли в его комнату и приставили к нему медсестру, пока за ним не приехали домочадцы.

Блуртмель — вид у него был слегка сконфуженный — помог ему дойти до кресла у окна, принес стакан минеральной, плеснул немного виски и сказал:

— Ваша жена просила передать, что вернется примерно через час, к шести, я тогда подам чай и тосты. А пока приготовлю ванну.

В свое время им стоило немалых трудов отучить Блуртмеля называть Кэте не иначе как «ваша супруга» или «милостивая госпожа». Ему претят подобные церемонии, Кэте их вообще не переносит, и все же на первых порах все просьбы отказаться от чопорных обращений Блуртмель воспринимал со скрытым негодованием, как вероломное посягательство на его неотъемлемые права. В конце концов удалось это уладить, сведя все к шутливой игре. Теперь всякий раз, стоило Блуртмелю произнести «ваша супруга» или «милостивая госпожа» (он в таких случаях смущенно признавался: «опять вырвалось»), он «платил штраф» — сигарету, которую обязан был положить в изящную малахитовую шкатулку, подаренную Тольму одним советским человеком.

Недавно в Тролльшайде, в санатории, куда он ездил навестить Кортшеде и где они, укрывшись от дождя, пили чай на веранде, тот исповедался ему в своих потаенных страстях, сила которых, а особенно зависимость Кортшеде от некоего Петера, зависимость, которую даже сам Кортшеде называл «кабалой», его просто потрясла. Этот Петер числился особо опасным преступником, его стерегли денно и нощно, а тем более во время их с Кортшеде ночных свиданий; он проходил первым номером по делу о шантаже и разбое с убийством, и ночь напролет микрофоны прослушивали каждый звук, жадно отлавливая «существенные для следствия» детали, а возможно, и полное признание обвиняемого.

— Мне пришлось на это пойти, иначе ему не разрешили бы со мной видеться, и представляешь, хочешь верь, хочешь нет, мальчик меня любит, а я его предаю. Сам посуди, на что я после этого годен: дверь в доме скрипнет — я вздрагиваю, или вот сейчас, извини, ты чашкой о блюдечко задел, а я чуть не заорал.

Это он, Кортшеде, сулил Тольмсховену еще только четыре, от силы пять лет. Кэте он решил ничего не говорить — зачем волновать ее раньше времени, какой смысл? Трудно представить, что ничего, ничего здесь не будет, только экскаваторы, ленты транспортеров, насосы — и провалы карьеров, в которых гуляет ветер, и еще одна электростанция, изрыгающая облака; замок у него откупят, ему щедро заплатят за эту реликвию, этот осколок древности, в стародавние времена пожалованный в награду за победоносную битву некоему Тольму, воевавшему то ли за, то ли против испанцев, вместе с хозяйкой-графиней, которая была то ли против испанцев, то ли за них и которую силой выдали за него замуж. Они снесут и перекопают все, церковь и замок, дом Кельцов, и дом Пюцов, и дом Коммерцов тоже, и тихую беседку в саду священника, где летом так приятно было посидеть и

вышить вина, пруд и мостик, уток и сов — горемыка-сова, ей-то куда податься?

— Все давно решено, Тольм, давно и бесповоротно, задолго до всех дискуссий и гражданских инициатив, которым они позволят шуметь сколько влезет, понимаешь, поезд ушел, он еще не тронулся, но уже ушел, там же миллиарды тонн, и ничто, ничто их не остановит, они до этих тонн дорвутся — поверь мне, до самого Хетциграта и дальше ни кола ни двора не останется, ни одно деревце не устоит, ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине, они до голландской границы дойдут, а в один прекрасный день и голландцев подроют, если там тоже обнаружится уголь... Это бесполезно, Тольм, говорю тебе, дорогой Фриц, совершенно бесполезно, так что если ты намерен и дальше перестраивать Тольмсховен, воля твоя, деньги тебе, конечно, возместят с лихвой, но труды, хлопоты, нервотрепка — зачем тебе это? Лучше не связывайся. Поверь, чертежи готовы, сметы подбиты, дело на мази.

Бедняга Кортшеде, в тот дождливый день, там, в Тролльшайде, за чашкой чая на веранде, он ведь жить не мог без своего Петера и без уколов. А потом с улыбкой добавил:

— И ты, конечно, знаешь или по крайней мере догадываешься, что «Листок» тоже отпадет — Цуммерлингу и мне. Цуммерлинг загребет его не хуже, чем экскаваторы твой замок. Надо было тебе получше за своим хозяйством смотреть, Фриц, в газетах не только культурную страничку читать, но и в экономический раздел заглядывать. И еще мой тебе совет: никогда ничего не затевай против клана Фишеров, ты же знаешь, у Цуммерлинга есть фотографии, доказывающие их причастность к Сопротивлению, они неопровержимы. Благонамеренный текстиль против либеральной газетенки, нет, добром это не кончится, при твоих-то сомнительных родственничках — Рольф, Вероника, Катарина,— и думать забудь! Поостерегись, Фриц!

После инцидента с Кортшеде в их разговорах об охране и безопасности от былой иронии не осталось и следа; разве что Блямп иной раз позволял себе колкости исподтишка. Их отношение к сотрудникам охраны тоже изменилось, после припадка Кортшеде и речи быть не могло о прежнем дружелюбном подтрунивании, а уж после истории с именинным тортом Плифгера и вовсе стало не до шуток,— вот когда прибавилось работенки у психолога Киртера, вот когда Хольцпуке, начальнику службы охраны, пришлось проводить долгие собеседования, вежливо требуя «надлежащего понимания», в конце концов его люди всего лишь исполняют свой долг, да ведь и им, подопечным, наверно, тоже не хочется рисковать жизнью, значит, надо спокойнее относиться к неизбежным, хотя, он согласен, и неприятным процедурам, как-то: предварительный осмотр кабинки при посещении туалета или особо придирчивая проверка приезжающих в замок «посетительниц», и, уж конечно, он в первую очередь просил бы — убедительно просил бы — впредь избегать эскапад вроде тех, что время от времени позволяет себе Кэте. Как будто безопасность — что внешняя, что внутренняя — еще возможна! Он-то знает: все эти профилактические меры хоть и необходимы, но ничего не способны предотвратить.

И все же как приятно, как покойно смотреть в окно, поверх террасы, туда, где за широким рвом раскинулся парк, и воображать семейное торжество, на которое когда-нибудь снова соберутся все дети и внуки; летний вечер, праздник под открытым небом, бумажные фонарики — раньше дети называли их «китайцами»,— скромный домашний фейерверк для внуков, шарики мороженого в вазочках, жаровня, мясо на вертеле, коктейли, да все, что душе угодно; и как горько сознавать, что об этом пока (если б только пока) нечего и думать — какие уж тут семейные сборища, когда в списке «факторов повышенной опасности» значится даже один из его сыновей, а его

зять отказывается «сесть за один стол с этим типом, который даже после ноября семьдесят четвертого имел наглость назвать своего ребенка Хольгером [1]». Еще четыре года, от силы пять... Ничего, пока еще рано страшиться переезда, но он знает, что страх уже поселился в нем и гложет душу: «ни одна улитка не убережет свою раковину, ни один крот не отсидится в своей кротовине...»

А уж «те» позаботятся, чтобы у него больше не было семейных праздников, и среди «тех» — его бывшая невестка, она тоже с ними, теперь это уже почти несомненно, и еще некто, кого он на свои деньги обучил банковскому делу и кто в Айкельхофе так часто бывал у него в гостях.

По счастью, Блуртмель с течением лет научился угадывать его настроение — похоже, он все еще переживал недоразумение с дверью. Потому и вышел из комнаты, не дожидаясь, пока хозяин попросит ненадолго оставить его одного, и даже подвинул на расстоянии вытянутой руки малахитовую шкатулку, хотя Гребницер строго-настрого наказал: ни в коем случае не держать сигареты под рукой! Но он лучше достанет свою смятую пачку, там вроде еще оставалась одна сигарета, да, вот она. Кривая, увечная, почти сломанная, но он ее выправил, разгладил, закурил — смотри-ка, тянется. При ближайшем рассмотрении в пачке обнаружилась еще одна сигарета, сломанная,— он скрепя сердце выбросил пачку; голод курильщика, память о нем засела глубже, чем память о простом голоде, засела так же глубоко, как память об исповедальне и о Герлиндином «помилуем друг друга», так же глубоко, как прелый запах осенней листвы в Дрездене; это память об унизительных «собеседованиях», а по сути — допросах, когда какой-нибудь хлыщ, пуская струи ароматного дыма прямо ему в лицо, одну за одной потягивал превосходные виргинские сигареты и небрежно швырял их куда-то за спину, на пол, почти целенькие, не докурив и до половины; он помнит, чего стоило тогда отказаться от предложенной сигареты, но он догадывался: сигаретой у него хотят выманить признание в том, чего он никогда не совершал. Он и ведать не ведал, что его крестный, дядюшка Фридрих, которого он и не помнил толком — ну, объявлялся иногда на день рождения, приносил подарки,— что этот дядюшка именно ему завещал «Бевенихский листок» и что никто, никто из его родичей ни разу не приложил руку к пресловутой ариизации. Да, в январе сорок пятого он участвовал в войсковых передвижениях, а проще говоря, то и дело отступал в районе баварско-чешской границы, но не более того, хотя и не менее; да, диплом он защитил по теме «Прирейнская сельская архитектура XIX века» и только здесь, в лагере, узнал, что является законным владельцем «Бевенихского листка». Эти сигареты, груды виргинских сигарет, которые они выбрасывали, можно сказать, едва пригубив,— об этом он мог рассказать только Кэте, больше никому, тем паче Блямпу, хоть именно там, в лагере, они и познакомились. Вот уж кто действительно был нацист (текстиль, они всей семьей по уши увязли в текстиле) и всегда и всюду, во «всех житейских передрягах», как он сам бахвалился, «имел все наилучшее» — в военное и мирное время, в плену и на воле, в хижинах и дворцах «всегда имел только все наилучшее». В лагере он безошибочно учуял самого продажного офицера и посулил тому

[1] В начале ноября 1974 года в тюремном заключении после длительной голодовки скончался западногерманский террорист Хольгер Майнс (1941—1974) один из членов террористической организации Баадера — Майнхоф, которая к тому времени считалась ликвидированной. Однако смерть Майнса всколыхнула новую волну террористических акций первой из которых было похищение и убийство 10 ноября 1974 года председателя Верховного суда Западного Берлина Гюнтера фон Дренкмана; выяснилось, что террористское подполье отнюдь не сломлено и что многие соратники Баадера и Майнхоф все еще на свободе.

выгодные сделки, в которых он, Блямп, готов был посредничать. Земельные участки, застроенные и незастроенные, с разрушенными и уцелевшими домовладениями, он точно знал, сколько долларов и кому надо предлагать, благо вся поземельная книга округа Доберах была у него в голове, знал, где окопались самые злостные нацисты, даром что сам из их числа, как и у кого из их домочадцев, а то и у них самих, трусливо прятавшихся по подвалам, откупить за добрые старые доллары их дома и участки в порядке, как он выражался, «деариизации» — через посредников, разумеется; а с долларами те могли благополучно смыться на все четыре стороны, так что Блямп одним выстрелом убивал двух зайцев: нацистам помогал бежать, офицеру — обогащаться, и, понятное дело, вправе был рассчитывать на комиссионные, с обеих сторон и, само собой, в долларах, на которые он тоже мог то тут, то там отхватить участок, само собой, через подставных лиц, кто же в ту пору разрешил бы нацисту такого калибра приобретать участки прямо из лагеря. Ходили темные слухи, будто Блямп в сопровождении небольшой, но дружной команды американцев «чистил» подвалы разбомбленных банков, если верить слухам, они просто подъезжали на бронетранспортере, взламывали сейфы и несгораемые шкафы, гребли все подчистую, «гребли деньги и ценности чуть ли не лопатой», благо вокруг царили хаос и запустение; вскорости Блямп был уже своим человеком в комендантском бараке, ему разрешали звонить по телефону, отлучаться из лагеря, американцы всюду таскали его с собой, и в бордель тоже, и это в ту пору, когда все, все они, стоило им завидеть женщину, даже издалека, какую ни на есть, готовы были чуть ли не разрыдаться; их, соседей по бараку, он пичкал хвастливыми подсчетами своих эрекций, целыми блоками приносил сигареты и в знак особой милости разрешал иногда понюхать, чем доводил их до исступления; вот так этот «текстильный гений» сделался гением недвижимости; глядя на него, совсем нетрудно было представить, как он орудует под сводами банковских подвалов. А вскоре его сделали — как же это тогда называлось? — «окружным текстиль-уполномоченным».

Нет, Блямп слишком хорошо знает его слабость к табаку, он и сейчас, стоит закурить, ухмыляется и многозначительно бормочет себе под нос: «О, Виргиния! Ах, Виргиния!»; и всюду у Блямпа свои люди, всюду у него есть прикрытие — в верхах и в тылах, по эту, а может статься, и по ту сторону океана, нет, такого с кашей не съешь; конечно, не только Блямп, все они знают о его слабости, но не знают, откуда она,— только Кэте, ей он все рассказал, но даже ей невдомек, что с сигаретами все обстоит точно так же, как с молочным супом: ему не воскресить тот вкус, тот запах, тот виргинский аромат — его не вернешь, сколько ни ищи, сколько ни гонись за ним, а он и курит-то, может быть, только для того, чтобы его вернуть, но, увы, тщетно.

За лесом уже сумерки, в розовом закатном небе сереют кроны старых деревьев, могучих вековых исполинов, к которым скоро полетит сова; деревья до́роги ему больше, чем замок, он иной раз спрашивает себя: не из-за деревьев ли купил все имение, ведь в Айкельхофе были почти такие же; бесшумно и уверенно пролетела сова, быть может, та самая, что жила у них в Айкельхофе и по вечерам вылетала из башенки, устремляясь к кромке леса, а они с Кэте провожали ее глазами. В первый раз, когда сова призрачной тенью отделилась от башенки, Кэте испугалась, вцепилась ему в плечо и прошептала: «Уедем отсюда! Уедем!» — за двадцать лет до того, как им и вправду пришлось уезжать. Еще она боится совиных криков, и перед грозой, когда вороны и скворцы, внезапно снявшись со своих гнезд, стремительно улетают куда-то вдаль, она и теперь испуганно вцепляется ему в плечо.

Ничто не омрачает вида за окном, не слышно ни отъезжающих машин, ни ровного гудения лифта, ни сытого хохота Блямпа, способного заглушить даже лифт, этих триумфальных раскатов смеха, с которыми он всем и каждому возвещал, как ему наконец-то удалось добиться избрания «одного из старейших наших членов, одного из лучших в наших рядах», и это в ситуации, когда отвод или самоотвод был совершенно исключен, просто невозможен — наготове было множество штампованных аргументов, которые он сам же был вынужден отбарабанить в своих интервью: «В час наивысшей опасности... Когда каждый из нас выдерживает проверку на прочность... Наша стойкость...» Разумеется, тут самое время выбрать именно его, наиболее уязвимого, самого слабого, к тому же повязанного с «теми» узами родства, именно его и как раз в ту пору, когда любому ясно, что родственные узы только усугубляют его уязвимость,— и все равно ни в частной беседе, ни наедине с собой, ни тем более публично он не отрекся от Рольфа. Это был вопрос, публичного ответа на который более всего страшились его друзья и враги и менее всего — он сам; все видео- и магнитные пленки запечатлели одни и те же стереотипные формулировки:

— Это мой сын, он преступил закон, понес заслуженное наказание и с тех пор живет в согласии с законом.

Его так и подмывало, впадая в библейский пафос, возгласить: «Сей есть сын мой наивозлюбленный, в котором мое благоволение». И даже вопрос о Веронике был ему нипочем:

— Это моя бывшая невестка, ее подозревают в тяжких преступлениях, местонахождение ее неизвестно. При разводе, еще до преступлений, суд присудил ей моего внука, который исчез вместе с ней. Да, у него наша фамилия, моя и моего сына.

«Заблудшие дети?» — нет, это не те слова, ему иногда кажется, что они пришельцы из иных галактик, обитатели других планет, тут не годятся обычные мерки и обычные слова. «Безумцы?» Опять-таки слишком житейское, слишком земное определение. Да, с Беверло он тоже знаком, тот нередко бывал у него в гостях и казался ему очень милым. «Милым?» Да, «милый» ведь тоже понятие растяжимое, оно мало что говорит о самом человеке, о том, чего от него ждать, на что он способен. Пожалуй, на «милых» не следовало бы слишком полагаться. В конце концов, преступность ведь не сегодня родилась, да и убийство со времен Авеля тоже не бог весть какая новость.

Рано или поздно они его все равно «достанут». (Кто? Когда? Как?) Нет, страх не возвращался, его окончательно вытеснило любопытство, в глубине которого, впрочем, уже копошился другой, новый страх — изгнание из Тольмсховена. Вполне вероятно, что Блямп просто решил его использовать как подсадную утку — старик, немощный и больной, доходяга, такой только и годится на роль жертвы, такого сам бог велел выкатить под пули — на лестницу, в инвалидном кресле. «Броненосец «Потемкин». Не какой-нибудь пошлый буржуй с бычьим загривком — добренький, седовласый, культурный, милый старичок, такого очень бы украсил терновый венец. Но он не хочет никакого венца, он предпочел бы спокойно пить чай и наблюдать за полетом птиц — элегантным и величавым парением крупных пернатых хищников и суетным, торопливым порханием прочих шустрокрылых, из которых ему особенно милы ласточки. И чтобы рядом, где-нибудь в уголке, сидела Кэте — с вязаньем или за роялем, на котором она иногда любит, хоть и не очень-то умеет, тренькать; и трое внучат, из которых сразу двоих зовут Хольгер, одному семь, он где-то далеко, в Ираке или в Ливане, а другому три, этот в Хубрайхене, в двадцати километрах отсюда, бойкий карапуз, а он даже не знает толком, какая у карапуза фамилия. Ему до сих пор так и не удалось выяснить, живет Рольф с Катариной просто так или все-

таки женился. Неловко спрашивать об этом Хольцпуке, начальника охраны, и уж тем более неловко просить его навести справки. Кэте — та могла бы, она могла бы спросить Рольфа или Катарину напрямик, а он не решается, он заранее знает, что услышит в ответ: «Если тебя действительно интересуют эти формальности, если вся эта дребедень тебя хоть сколько-нибудь волнует,— пожалуйста, давай исключительно ради твоего спокойствия считать, что мы женаты (или не женаты). Ненужное зачеркнуть». Вопрос этот мог быть для них существенным лишь по тактическим соображениям и, разумеется, временно, из-за каких-нибудь бумаг, но помимо этих соображений никакого интереса не представлял, не стоил даже упоминания. Пожалуй — да нет, почти наверняка,— они не женаты, ведь тогда Катарине полагается какое-то пособие; но сам по себе «вопрос брака» их не интересовал, для них его просто не было. То есть в техническом и, как следствие, политическом смысле — конечно, но больше ни в каком. К религии и церкви они относились точно так же. Разумеется, они существуют, это не подлежит сомнению, но когда Рольф добавлял: «как картошка, она ведь тоже растет», в самом сравнении слышался назидательный намек — дескать, картошка имеет природное право на существование, кроме того, от нее польза, человек ею кормится, но религия и церковь — какой от них прок? Они, безусловно, существуют, в этом не приходится сомневаться, но не более того. Тут просто не о чем говорить, не о чем спорить, а что отец Ройклер в Хубрайхене был к ним добр, дал им кров, принял их под свою защиту и покровительство, оградил от нарастающей, хотя и скрытой вражды, предоставил в их распоряжение свой огромный сад за смехотворно низкую «натуральную оплату» яблоками, картошкой и яйцами, так они объясняли его доброту отнюдь не религиозностью и тем паче не церковным саном, а его человеческими качествами, что он — и притом именно вопреки религии и церкви — остался или стал человеком, да еще и подчеркивали, что отсутствие доброты в данном случае было бы куда «типичней»; они даже готовы признать, что благодарны ему, вообще считают его «очень милым и человечным», но, в конце концов, встречаются очень милые и человечные капиталисты и даже милые советские коммунисты, милые либералы, и сами они в некотором роде тоже вполне милые люди.

Откуда это в них — для него загадка; ведь все, все они — Рольф и Катарина, Вероника и даже Беверло — лет десять назад были всерьез верующими, почти ревностными прихожанами, и разве что пресловутое «один или с кем-то» не мучило их до такой степени, как его в их годы; яростное негодование против церкви, ненависть к религии, стремление опровергать ее с пеной у рта, оскорблять чувства других верующих, например Кэте и Сабины, в которых эти чувства еще столь живы, да и его собственные, пусть они живы больше в воспоминаниях,— это он еще мог бы понять; но им даже воспоминание не причиняет боли, вот они и стали в его глазах «инопланетянами», пришельцами с другой звезды, из иных галактик. Хотя ведь ему не горек чай, который он у них пьет, и хлеб, что он у них ест, и яблоки, которые они кладут ему в машину; ведь это его дети, а чай, хлеб, суп и яблоки — все такое земное и здешнее. Но его страшит неземная чуждость их мыслей и дел. Не холодом от них веет, а именно чуждостью, от которой можно ждать всего, в том числе и внезапного выстрела, и взрыва гранаты,— но все же и этот страх сменился теперь любопытством: Рольф, его родной сын, который выращивает помидоры, окапывает яблони, держит кур, сажает картошку в Хубрайхене, в роскошном старом саду священника за высокой каменной стеной; а живут в лачуге, иначе не скажешь, хотя лачуга на вид даже веселенькая, они ее покрасили, и герань в окошках; с красным эмалированным бидоном ходят по вечерам за

молоком к крестьянину Гермесу, иногда заглядывают в один из двух деревенских кабачков, пьют пиво, и Хольгер с ними — ему берут лимонад,— прямо-таки идиллия, сплошная идиллия без малейшего привкуса горечи. Они давно уже не пытаются растолковать крестьянам и рабочим *свою*, да, именно *«свою»* модель социализма, не реагируют на оскорбительные пьяные выкрики, не заводят разговоров о сельскохозяйственной политике, забастовках и дорожном строительстве, не вступают в беседы с заносчивыми болтливыми юнцами-мотоциклистами, улыбаются, потягивают пиво, говорят о погоде; и все же за всем этим — где? в чем? — за всей этой идиллической оболочкой, в которой даже намека нет на искусственность (сияющий свежей побелкой домик, зеленые ставни, красная герань), таится нечто, отчего впору прийти в ужас: какое-то жуткое спокойствие, уверенность и ожидание — но чего, чего? Катарина по-прежнему без работы, правда, несколько деревенских женщин доверяют ей своих детей, она ходит с ними гулять, в лес и в поле, рассказывает им сказки, а в дождливые дни в доме священника, в зале занимается с ними гимнастикой, учит танцевать и петь,— разумеется, ей за это платят,— и когда он думает о Рольфе и Катарине, об этом их жутковатом спокойствии, на смену страху приходит не только любопытство, но и зависть. Они под надзором, но хоть не под охраной, и ему иной раз кажется, что такая жизнь много лучше, ведь с тех пор, как Вероника начала им звонить, все они — он, Кэте и Сабина — угодили и под охрану, и под надзор. Рольф, тот, похоже, вполне освоился, видно, и вправду, что-то смыслит в моторах, если у кого забарахлит трактор или там «хонда» [1], его частенько зовут на подмогу, и машину священника он держит в большом порядке, а миляга священник приглашает их в гости, то на кофе, то на рюмочку,— правда, от разговоров на религиозные темы упорно уклоняется.

Трудно поверить, что оба они — и Рольф и Катарина — еще каких-нибудь двенадцать, даже десять лет назад ходили в церковь, к Кольшрёдеру: милые, симпатичные молодые люди с молитвенником под мышкой, и это в те годы, когда Кольшрёдер куда более гневно, чем сейчас, клеймил упадок нравов. И их ничуть, нисколечко не задевает, что теперь сам Кольшрёдер стал жертвой этого упадка. Они находят абсолютно «логичным», что он спит со своей Гертой,— правда, «логичным» в другом смысле, нежели крестьяне, те все списывают на природу. Их совершенно не возмущает, не оскорбляет их вкус (для них это не вопрос вкуса), что молоденькие девушки, желая чего-то добиться от Кольшрёдера — выпросить церковный зал для танцев, кинофильма, наконец, просто для молодежного диспута,— идут к нему и без всякого стеснения «дают на себя посмотреть», с большей или меньшей откровенностью «показываются», иной раз даже в присутствии Герты. Рольф и Катарина не считают это мерзостью, впрочем, естественным тоже не считают,— просто, на их взгляд, таков уж сам «порядок» и «условия», подчиняющие человека «порядку», а естественного тут, конечно, и в помине нет; они усматривают тут совершенно особую форму угнетения, симптом распада и гнилости, и их почти радует, что симптом проявляется столь неприкрыто. Они и Ройклеру, своему милому священнику, прочат сходную участь,— дескать, он тоже жертва системы, и ему тоже придется тяжко, только он, мол, не станет предаваться буржуазной похоти, а просто сложит с себя сан; по нему и сейчас видно, достаточно взглянуть, как он держится с женщинами и девочками — с какой-то скорбной болью, отрешенно и скованно; конечно, он им нравится, и они бы рады его выручить, подыскать ему хорошенькую девицу или молодую женщину, чтобы он с ней сбежал. Они, кстати, не считают, что Кольшрёдер в своем роде «тоже че-

[1] Марка мотоцикла.

ловек»,— напротив, он, по их мнению, в классическом виде воплощает и реализует в себе бесчеловечность системы. Бесчеловечность же проявляется в том, что человека на «законных основаниях» обездоливают, да еще в рамках правовой системы, которая имеет свое, особое правосудие, и все это в демократическом (ха-ха!) государстве: сперва с него берут обет целомудрия, а потом втихаря позволяют держать при себе Герту и сквозь пальцы смотрят на сомнительные забавы с девочками, и эта негласная терпимость во сто крат унизительнее, потому что в любую минуту против него можно использовать обе формы права — церковное, а при необходимости и мирское, ибо если это правда, что девчонки дают ему «на себя посмотреть», то ничего не стоит подвести эти шалости под статью «принудительное растление»,— с учителем-леваком они бы наверняка так и обошлись, пожелай он хоть разок полюбоваться прелестями своей ученицы.

И все же в них сохранилась деликатность милосердия и способность сострадать, которую милосердие дарует: в присутствии Сабины или Кэте они никогда не говорили о Кольшрёдере, не говорили о Ройклере, с которым и правда были ужасно милы — Рольф присматривал за его машиной, ремонтировал ему дом, не дом, а прямо хоромы, двенадцать комнат, из которых восемь пустуют, они усматривали в этом «беззастенчивый подкуп квартирными ценами». Совестливому человеку — а Ройклер, в отличие от Кольшрёдера, человек совестливый — тут есть от чего сойти с ума: иметь под боком восемь пустующих комнат, зная, пусть хотя бы приблизительно, во что людям обходится плата за жилье, восемь свободных, полностью обставленных комнат, в том числе епископская, где за последние шестнадцать лет его преосвященство соизволило однажды даже не переночевать, а всего лишь переодеться, эти восемь комнат, которые Ройклер не имел права сдать, куда он не имел права никого впустить даже задаром,— на языке Рольфа и Катарины это был самый настоящий «шантаж посредством ритуальных традиций, выродившихся в бездумное расточительство». Ройклер охотно уступил бы им часть своего дома, но не имел права, он мог отдать им только сторожку в саду, две комнатки с верандой и кухней, примерно в пять раз меньше той площади, что пустовала у него в доме. «Нигилизм,— говорил Рольф,— какой ни одному нигилисту и не снился».

Как бы там ни было, они с Ройклером прекрасно ладили, держались с ним дружелюбно, хотя и на свой жутковато-спокойный лад, подчеркнуто ровно, на удивление благоразумно, а подчас и с неожиданной сердечностью. И все же, наверно, все это лишь маскировка. Наверно, они решили годика три-четыре отсидеться в Хубрайхене, пожить в своем побеленном домике с зелеными ставнями и геранью в окошках, добиться доверия и уважения окружающих. С Рольфом уже советовались насчет огорода, с Катариной — насчет детей (прилежание, основательность, упорство — этого им не занимать!), и все же в один прекрасный день, поднакопив этого незримого, этого жутковатого спокойствия, они ударят из засады,— нет, отречься он от них никогда не отречется, но ручаться за них он тоже бы не стал.

А вдруг кто-то из них — Рольф или Катарина — и есть тот самый «кто?». Возможно ли? А почему бы и нет? Пожалуй, скорее уж Рольф, чем Катарина, в Катарине все-таки есть то душевное тепло, то самое, которое он, но только про себя (вслух он никогда бы такого не произнес, даже сквозь двурядность мыслей), называл «коммунистическим теплом», оно напоминало ему о коммунистах времен его детства, времен его юности — о Хельге Циммерляйн, например, его сокурснице, которая умерла в заключении, или о старике Лёре, единственном в их деревне, кто голосовал за Тельмана,— дети к нему

так и липли, за что его и прозвали Крысоловом,— оно есть, это коммунистическое тепло, недаром его еще в студенческие годы так тянуло в красные кабачки.

Нет, скорее уж Рольф, чем Катарина,— у Рольфа в глазах какая-то непостижимая даль, подернутая странной дымкой скорби, плотной завесой, загадочной и почти непроницаемой, особенно когда он играет с сынишкой, с Хольгером, усаживает его на колени или, высыпав из мешочка кубики на пол, принимается строить с ним дом,— в такие минуты он подолгу держит сына на руках и в его взгляде застывает холодная нежность и чужая, нездешняя грусть. Есть что-то жуткое в этом омуте, подернутом ледком нежности и скорби,— такими же глазами он смотрит на Катарину, когда мельком трогает ее за плечо или касается ее руки, давая ей прикурить, принимая у нее чашку,— как же далеки эти мимолетные ласки от вороватой блудливости аналогичных жестов Кольшрёдера! В них говорит немота отчаяния, немота обреченной и давней решимости — только вот на что?

Конечно, то была роковая ошибка судьбы — отпускать его учиться банковскому делу вместе с Беверло, но ведь он так об этом просил. А потом — он ведь даже устроился на работу в один из филиалов Блямпа, был тих и прилежен, пока не начал швыряться камнями, переворачивать и поджигать машины, за коим занятием и познакомился с Вероникой. Он никогда не говорит о своем старшем сыне, не упоминает о Веронике и Беверло, но по сей день от корки до корки прочитывает все биржевые и экономические разделы в газетах и завел странную, неприятную манеру за чашкой чая или кофе, за стаканом молока ни с того ни с сего сухим и отрешенным шепотом изрекать:

— В сегодняшней газете я между строк обнаружил сотню покойников. Впрочем, возможно, только девяносто девять, но не исключено, что и сто двадцать.

Это звучало холодно, точно, информативно — словно штабная сводка из района боевых действий. Рольф тоже так и не сумел растолковать ему «экономические процессы», как любил выражаться Кортшеде,— даже те экономические процессы, что разыгрывались в «Листке» и вокруг «Листка», он никогда в них толком не разбирался, отгораживался от них. А почему, он и сам до сих пор гадает — то ли от лени, то ли из безразличия? Амплангеры, сперва старший, потом младший, отбили у него всякий интерес к этому делу, они ему заявляли: «Вы уж предоставьте это нам».

Блуртмель, к счастью, человек с юмором, что он неоднократно доказывал точными и остроумными репликами, когда вел машину, накрывал на стол, во время массажа, купанья или одеванья,— это юмор опытного массажиста, который досконально изучил чувствительность своего пациента, знает, какие границы переступать не следует и как, не причиняя боли, затронуть самый больной нерв. Он мог, например, как бы невзначай обронить:

— Все-таки позволю себе заметить, что господина генерального директора Блямпа жизнь никогда не била, как вас, и не будет бить.

Блуртмель обнаруживал едва различимые отметины времен детства и юности, военных и послевоенных лет, времен плена, нащупывая следы забытых болезней кишечника и желудка, следы малярии и тифа, шрамы и пустяковые царапины и приговаривал:

— Все это глубоко сидит, не просто под кожей, а куда глубже. Нет, господин доктор, толстокожим вас никак не назовешь.

Это, конечно, опять-таки был камушек в огород Блямпа. Блуртмель говорил даже о «грузе ответственности», который они «сами тащить не хотят, вот на вас и взвалили», и, похоже, намекал, что именно тут первопричина свинцовой тяжести в его ногах,— отвращение к «Листку», смертная скука, что охватывает его в те редкие

часы, когда он сидит за своим огромным письменным столом, давно уже ничего, ничегошеньки не решая; он обронил «Листок», выпустил из рук, а другие подобрали, он лишь номинально числился хозяином, а заправлял делами старший Амплангер по указке Блямпа. Он только муляж, имитация самого себя и незаменим в этом качестве; клюнул на верняк, на легкие барыши, на куш пожирнее,— все-таки у Блуртмеля удивительные руки, от них проясняется в голове, не то что от расспросов Гребницера, тот иногда беседует с ним часами, но так ни разу и не нащупал корней недуга; дело ведь не в органических изменениях, в конце концов, и инфаркта у него не было, и кровь превосходная — откуда же этот свинцовый холод в костях? Временами, сидя за своим письменным столом — воплощение бессилия в «цитадели власти», в самом «сердце капитализма»,— он не на шутку боится, что его и правда разобьет паралич, богатство его будет неотвратимо пухнуть и расти, а сам он, озабоченный лишь тем, как бы не «извести» лишнюю сигарету, впадет в абсолютную неподвижность.

И вот новый пост, на котором от него тем более не ждут самостоятельных решений, даже если предположить, что он на таковые способен. Они — не только Блямп, но и Поттзикер, и Климм, а особенно Амплангер — вполне ясно дали понять: он хорошо сыграл свою роль. Блямп неспроста, конечно, упомянул о культурном разделе в газетах — это недвусмысленный и ехидный намек на статьи, которые он, Тольм, от случая к случаю печатает в «Листке»: Босх, Дали и тому подобное. В его лице объединение наконец-то получило «культурного» президента, то есть нечто сугубо для дам.

Блуртмель постучал, услышал слабое «да-да», вошел и сообщил:

— Ванна готова.

Он явно сконфужен и, конечно же, никогда больше не откроет дверь столь неловко, не выставит хозяина обессилевшим стариком, который валится с ног на пороге,— никогда. Он смущен этой своей промашкой, первой за семь лет, но, вероятно, Хольцпуке лично взял его в оборот, отдавал ему приказы по переговорному устройству: «Доктор Тольм, наш президент, очень устал, он из последних сил взбирается по лестнице, теперь он на площадке, берется за ручку — пора!» — вот он едва и не очутился у Блуртмеля в объятиях. С такой же скрупулезностью и покушения готовят: загадочный «КТО?» сразу принял новое обличие, материализовался в вопросе: а если это Блуртмель? Почему бы и нет? Он улыбнулся Блуртмелю и медленно встал. Разумеется, о Блуртмеле все известно: анкета и биография, вкусы и привычки, известно, кто его подруга, анкета и биография этой подруги, ее привычки и вкусы — но мыслей-то его не знает никто. Кому дано оценить и предугадать, на что способен этот деликатный, чувствительный и потому, вероятно, душевно неустойчивый человек? Уж он-то наверняка достаточно сведущ в анатомии, чтобы придушить старика в ванной и не оставить никаких улик, инсценировав заурядную смерть вследствие очевидного одряхления. Инцидент с дверью его насторожил, прежде Блуртмель никогда не посягал на его самостоятельность в некоторых вещах, позволяя ему собственноручно открывать дверь, закуривать, производить необходимые гигиенические манипуляции в уборной. Ведь вот и Кортшеде он больше двадцати лет знает — утонченного и изящного Кортшеде, который с тихим величием правит своей империей (сталь и бумага, банки и недвижимость) и который, оказывается, разрешил прослушивать шепот своего любимого Петера.

— Да, сейчас иду,— сказал он, улыбнулся и подумал: «Нет, еще не сегодня, сегодня уж точно нет».

II

Она все-таки отправила Блюм вместе с Кит за молоком, хоть молоко ей сегодня не нужно и с собой она его тоже не возьмет; Кит настаивала на этом ритуале, непременно сама хотела нести бидон, по крайней мере в один конец, пока бидон пустой, и полдороги обратно. Все-таки два литра для нее еще тяжеловато. Она обожает смотреть на корову, ей нравится теплый дух стойла, а для Блюм эти походы за молоком — желанный предлог «перемолвиться словечком» с Беерецами, они примерно ровесники, всем около шестидесяти, к тому же состоят в каком-то дальнем родстве, и у них всегда найдется что обсудить из прошлого, настоящего и будущего: каким, например, будет Блорр через десять, а то и двадцать лет, ежели строительство вилл и дорог и дальше пойдет нынешними темпами. Или в который раз погадать, кто же из тридцати четырех избирателей деревни сподобился голосовать за СДПГ, целых семь голосов, и тут, как ни раскинь, все равно подозрение падало только на новеньких, тех, что арендовали и отремонтировали бывший дом священника,— люди они, конечно, симпатичные, но их не поймешь, на вид очень даже либеральные, но голосуют наверняка не за либералов, Блёмеры — он архитектор, она адвокатша, дети уже взрослые, четыре машины, а еще брат адвокатши, вечно с трубкой, этот, судя по всему, вообще ничего не делает, только по дому и в саду,— вместе с совершеннолетними детьми как раз семеро и выходит. Главное, у них всегда найдется что обсудить, да и дорога в оба конца займет полчаса, а то, глядишь, и больше — ей надо побыть одной до прихода мамы, до прихода ее славной Кэте, надо мысленно попрощаться с Блорром, и тут она поймала себя на том, что думает о молоке: будет ли Эрвин его пить, поставит ли ему Блюм его любимую сладкую простоквашу, куда вообще девать эти последние два литра из многих и многих литров молока, что они брали у Беерецов, по два литра целых пять лет ежедневно, это ведь тонны получаются. Но ей не до вычислений, слишком она взвинчена, опять этот страх, на сей раз снизу вверх, словно горячая волна, возникшая где-то в пятках, вздымается по ногам, захлестывает живот, тяжелым душным угаром теснит грудь, пока не доберется до головы; а иногда, наоборот, волна идет сверху вниз, сперва ударяет в голову и потом медленно сползает к ногам,— а Гребницер, которому отец по-прежнему верит безоговорочно, только одно и твердит: это от беременности. Конечно, от беременности бывают всякие страхи, но у нее, она чувствует, это вовсе не от беременности, нет, это совсем другой страх, не тот, привычный, ставший повседневным страх, что они похитят Кит, а может и ее, или попросту прикончат ее, Эрвина, а то и всех их вместе (она представила, как кто-то перечеркивает ее фотографию и пишет под ней: «отработано»), не тот непостижимый, безотчетный, хотя и вполне отчетливый страх, а совсем другой — осязаемый, близкий, определенный, а она никому не может о нем поведать. Сразу на два страха, да еще такой силы, ее просто не хватает, потому, наверно, прежний безотчетный страх вытесняется другим, новым, осязаемым. И так уже три месяца, с тех пор как она окончательно убедилась, что беременна, и не от Эрвина, который до того четыре месяца ни разу к ней не приблизился, во всяком случае так, чтобы от этого можно было забеременеть.

Иногда она даже подумывала о самоубийстве: выпить какую-нибудь дрянь — и дело с концом. Удерживало ее не столько твердое, с детства укоренившееся сознание, что это тяжкий грех, а скорее мысли о Кит, о Хуберте, о родителях и братьях, даже о Катарине и племянниках,— и только в последнюю очередь, в наименьшей мере, это она прекрасно понимала, ее удерживала мысль об Эрвине Фишере, ее муже. Уйти от него ей совсем нетрудно, и вот она решилась уйти ни с кем не посоветовавшись — просто отослала Блюм и Кит

за молоком, как будто все по-старому. Но по-старому ничего, ничего больше не будет. На сей раз их отправился сопровождать Кюблер, он тоже, как и все прежние охранники, как и Хуберт, вежливо отклонит неизменное предложение зайти в дом и пропустить рюмочку, останется во дворе, сосредоточенный, неприступно корректный, не выпуская из вида калитку и ворота; а ее тем временем столь же бдительно охраняет Ронер, этот не выпускает из виду уязвимые точки коттеджа — террасу, на которой она сейчас стоит и смотрит на деревню, и заднюю дверь, что ведет в сад. Больше всего все они не любят сумерки, из-за этого сейчас, поздней осенью, походы за молоком пришлось перенести на пораньше, но все равно, сколько бы она ни надеялась, что Блюм, как обычно, заболтается, до наступления сумерек здесь оставаться нельзя, иначе опять будут неприятности с Хольцпуке — тот не то чтобы злится, но не может сдержать недовольства, когда они не соблюдают его советов и указаний, он снова и снова твердит — и с полным правом, она знает по Хуберту,— что у его людей нервы на пределе, что их привлекут к ответственности, если... Ведь, в конце концов, вся эта история с именинным тортом Плифгера совсем не шуточки, отцу и так уже снятся летающие тарелки, которые будто бы пикируют на них с Кэте, а недавно, после того случая с уткой, он уже и птиц стал бояться, да вон и старик Кортшеде от щелчка зажигалки чуть с ума не сошел. И еще эта пачка сигарет у Плутатти — жуть.

Она за Хуберта боится, не за себя; она-то уж как-нибудь разделается с Эрвином и всей кликой, переживет скандал и вой своры Цуммерлинга; она рада ребенку, который так весело бузит у нее в животе, но она боится за его отца, за Хуберта, за того, с кем уже полтора месяца не может даже словом перемолвиться; с тех пор, как он стал охранять отца и Кэте, ей удавалось лишь несколько раз мельком увидеть его силуэт, скорее даже почти тень на верхней лестничной площадке замка, но ни поговорить с ним, ни позвонить, ни написать ему она не смеет — из-за Вероники она не только под охраной, но и под надзором, хорошо еще, ни отец, ни Рольф, ни Кэте не проболтались, что она и с этим Беверло когда-то дружила, ведь он же был любимчиком отца и другом Рольфа, чьей женой была тогда Вероника.

Она и за Хельгу боится, жену Хуберта, хоть совсем ее не знает, знает только, что блондинка, очень добрая и что зовут ее Хельгой; а еще знает, что у них есть сын, милый мальчуган, зовут его Бернхардом и скоро ему к первому причастию идти; она знает адрес, но поехать туда, конечно же, нельзя, Кюблер и Ронер, новые охранники, глаз с нее не спускают, ведь не может же она под охраной Кюблера или Ронера заявиться к Хуберту, встать перед домом и ждать, пока не выйдет Хельга с Бернхардом. Развод — нет, для Хуберта это исключено, а Эрвин, тот все еще так и пыжится от гордости, думая, что она на третьем месяце, когда на самом деле пошел уже шестой.

Четыре месяца его не было — Сингапур, Панама, Джакарта, Гонконг, трудные переговоры в интересах «Пчелиного улья», его благословенной фирмы, налаживал производственные связи филиалов, выискивал подрядчиков, руководил монтажом оборудования, вербовал нужных людей, с успехом завершил все эти важные мероприятия и сияющий вернулся домой. Надо и с Эрвином поговорить, пока он случайно не встретится с Гребницером и тот не поздравит его «с пополнением», которое состоится через четыре месяца и которого Эрвин ожидает только через шесть,— здорового малыша, от здоровой матери и здорового отца. «А приступы дурноты у вашей супруги пусть вас не беспокоят, это нормально, это в порядке вещей». Эрвин успел уже великодушно заявить: «Даже если снова будет девочка — все равно устроим праздник!» Разумеется, он пригласит прессу, в первую очередь позаботится о журналах: «Пополнение в «Пчелином улье»,

пополнение в избушке у Фишеров»,— «избушкой» они называют их роскошную виллу.— «Новая радость у нашей многообещающей наездницы Сабины Фишер из рода Тольм, одной из самых охраняемых женщин страны»! Теперь все это пойдет насмарку, ни шампанского, ни фейерверка в саду; где-то в укромном месте — только где? где? — она разрешится от бремени сыном или дочерью полицейского. Где? Наверняка не здесь, в Блорре, наверно, и не в Тольмсховене, тогда, может, у Рольфа, если там найдется для нее комнатка? С Катариной вполне можно об этом поговорить, да и с Рольфом, пожалуй, тоже, но сперва надо все сказать Хуберту, нельзя посвящать в это других, не сказав ему, нельзя ничего решать без него, без Хельги и Бернхарда, обязательно надо поговорить с Хубертом, пока эти не пронюхали и не начали распускать слухи,— тут ведь еще одно, и для Хуберта это так же серьезно, как и для Хольцпуке: «злоупотребление служебным долгом».

Если бы Хуберт был не так серьезен; но он ей нравится какой есть, нравится до смерти, она просто сохнет по нему и не убоялась бы никакого скандала, хоть сейчас подошла бы к нему и при всех повисла у него на шее, если бы не Хельга и Бернхард; нет, только не это, она не хочет причинять боль женщине, которую совсем не знает, которая ничего ей не сделала и наверняка не сделает,— вот бы просто поехать к ней, поговорить, но через голову Хуберта она не может, не имеет права.

Хорошо, что сейчас приедет мама, ее дорогая Кэте, приедет и заберет ее к себе, в Тольмсховен; там он будет с ней рядом, и уж там-то она улучит возможность с ним поговорить.

Еще задолго до того, как Эрвин уехал «доводить до ума» свои «производственные циклы», или как они там еще называются, все, что было между ними, не доставляло ей особой радости. Всякий раз он с пугливой предусмотрительностью, а то и раздраженно спрашивал: «А ты приняла?» — хоть и знал, что она боится этих пилюль, да и вера не позволяет, но она глотала, и только после ее утвердительного кивка он подступал к ней с ласками; а у нее все чаще пропадало настроение, возникало не то чтобы отвращение или ненависть, но что-то другое, отчего настроение никак не возвращалось,— наверно, жалость к этому мужчине, который, казалось, излучает спортивность, слывет превосходным наездником, танцором, теннисистом, даже яхтсменом, а недавно увлекся еще и полетами на воздушных шарах и водными лыжами и который никак не может... (даже в мыслях ей не удается произнести некоторые вульгарные словечки, которыми кишат иные страницы иллюстрированных журналов и описания неживых, сплошь подстроенных порносцен в бульварных книжонках, словечки, которые ей приходилось слышать и на «непринужденных» светских приемах, и от своей бывшей соседки Эрны Бройер), жалость к этому мужчине, которому так трудно добраться до своего счастья, иной раз у него совсем ничего не выходит, и он тогда во всем винит ее. С тех пор она не очень-то верит полушутливым признаниям, которые он нашептывал ей, вернувшись из очередного вояжа, из Лондона или Бангкока: «Небось, сама догадываешься, на что способен одинокий мужчина, которого занесло в такую даль от его сладкой женушки...» Не очень-то ей верится, но слушать все равно противно, не важно, правда или нет, а от «сладкой женушки» ее просто тошнит, и она порой спрашивала себя, а знает ли он, на что может быть способна одинокая женщина, хотя вовсе не думала о чем-то таком, что ее соседка, Эрна Бройер, без обиняков припечатывает матерным словом. С недавних пор слово это перестало считаться запретным и на светских раутах, где иные дамы из самых, так сказать, респектабельных кругов любили поразглагольствовать о своих «титьках», а

мужчин называли не иначе как «фраерами». С этими «фраерами» они охотно ездили поразвлечься в азиатские страны, в «теплые края», где процветают совсем иные, нежели в Европе, любовные нравы. Нет, она не станет клясть свое воспитание, ругать строгих монахинь, но что-то в ней треснуло и надломилось в тот день, когда она попыталась облегчить душу у Кольшрёдера. Он до того настойчиво интересовался подробностями, что у нее возникло мрачное подозрение, это было ужасно, мерзко, он хотел знать буквально обо всем, даже о том, что у нее было с Хубертом и как было! Но тут она просто вскочила и убежала, никогда, никогда больше никакой исповеди! Никогда, лучше уж поболтать с Эрной Бройер или у Фишеров, у родителей Эрвина, там частенько бывают в гостях такие веселые, элегантные, фривольные святые отцы, они бы только рассмеялись, признайся она на исповеди: «Я совершила прелюбодеяние». То были совсем другие святые отцы, в любую минуту готовые на своеобразный стриптиз церковника, они кичились безнаказанностью своих «устойчивых» любовных связей, иногда даже являлись в сопровождении партнерш. Куда ни глянь, всюду распад и тлен, а еще страх — не за собственную жизнь и не страх скандала, страх за Хельгу и Хуберта, для которого все это так же серьезно, как для нее, и не может быть по-другому, дай бог, чтобы ему больше повезло с исповедником...

А еще страх потерять добрых соседей, страх перед растущей неприязнью жителей Блорра, который из-за нее превратился в «притон легавых». После истории с именинным тортом Плифгера контроль еще больше ужесточили. Тут-то и раскрылся роман соседки Эрны Бройер с шофером ее мужа; такая милая, такая добрая, привлекательная женщина, не очень уже молодая, ближе к сорока, с ней так славно было поболтать у забора о цветах, о хозяйстве, обменяться кулинарными рецептами, получить в подарок пучок салата или головку цветной капусты, пригласить на чашечку кофе, а раньше, до того, как контроль ужесточили, она иногда за Кит приглядывала, простая, совершенно нормальная женщина, которая так переживала, что у нее нет детей, несколько театрально сетовала на свое «бесплодное лоно», уточняя при этом, что «муж тут ни при чем, у него дети от первого брака, это все я»; она очень милая, эта Эрна Бройер, родом из Хубрайхена, дочь того самого крестьянина Гермеса, у которого Рольф берет молоко, темноволосая, чуть располневшая красотка, она еще жаловалась, что «мой никогда не ходит со мной на танцы», они ее несколько раз приглашали, когда устраивали вечеринки с танцами в саду, на площадке у бассейна, с лампионами, шампанским, пуншем и прочими забавами, и Эрвин очень даже лихо с этой Эрной отплясывал, разгоряченная, чуть запыхавшаяся Эрна Бройер была на верху блаженства, и ее муж, он постарше, пожалуй за пятьдесят, тоже был на верху блаженства, просто сиял от удовольствия, что его Эрна наконец-то «как следует поразмялась». Очень милый получился вечер, они и других соседей позвали, Клобера, владельца автотранспортной фирмы с женой и семнадцатилетней дочкой, ярой поборницей пляжной моды «сверху без», что она доказывала не только в теории, но и на практике; Хельмсфельда, редактора из «Листка», который глубокомысленно, судя по реакции остальных гостей, пожалуй, слишком глубокомысленно, рассуждал о терроризме. Даже Блюмы пришли, и Беерецы прислали своего старшего сына, который много с ней танцевал. Эрна Бройер была совершенно счастлива в тот вечер, а ее муж с великодушной улыбкой старался не замечать поцелуев, которые она под шумок дарила Хельмсфельду,— позже, когда другие гости ушли, тот, оставшись на кофе, вовсю, хотя, на ее взгляд, совершенно напрасно напуская на себя иронию, восторгался «вульгарным эротическим шармом этой Бройер».

Но потом Цурмаку и Люлеру показалось подозрительным, что перед домом Бройеров слишком уж часто и в основном по утрам, между

десятью и двенадцатью, останавливается серый «мерседес», оттуда вылезает молодой, по-юношески долговязый мужчина лет под тридцать, одетый не совсем так, как можно было бы ожидать от обычного посетителя дома Бройеров, слишком уж непритязательно, даже не в джинсах, а в дешевых вельветовых штанах, и длинноволосый сверх той меры, которая тогда в модных журналах и даже в полиции считалась «нормальной» и допустимой; не то чтобы он был совсем нечесаный, этот парень, нет — просто степень его патлатости превышала общепринятую, к тому же, как выразился Цурмак, во всем его облике, в манере ходить враскачку, в движениях рук и плеч была какая-то «подозрительная разболтанность», какую ему, Цурмаку, прежде доводилось видеть только в фильмах о молодежных демонстрациях и беспорядках, им такие фильмы специально показывают, чтобы они учились распознавать «этих типов». Так вот, он не выглядел шалопаем из дискотеки, это трудно описать точнее, но была в его движениях не только юношеская вихлявость, но и какая-то угловатость,— словом, Цурмак усмотрел в его облике «что-то политическое». Визиты наносились не реже двух раз в неделю, и хотя по номеру серого «мерседеса» легко удалось установить, что это одна из машин Бройера, а молодой человек за рулем — его шофер, который часто ездит по всевозможным поручениям хозяина в банк, к клиентам, в учреждения и фирмы (Бройер был владельцем часового и ювелирного магазинов, как позже выяснилось, на грани банкротства, слишком уж широко он размахнулся, а часы и побрякушки себя не окупали, в этом деле в ту пору как раз наступил кризис),— разумеется, о парне деликатно, с предельной деликатностью навели справки: его звали Петер Шублер, бывший студент, изучал социологию, не доучился, участвовал в демонстрациях и даже швырял в полицейских помидорами, что документально зафиксировано на фотопленке. А поскольку дом Бройеров стоит, можно сказать, вплотную к «избушке» Фишеров — женщины иной раз по утрам махали друг другу из своих кухонь, а с террасы Бройеров можно было беспрепятственно и бесцеремонно разглядывать плавательный бассейн в саду Фишеров,— следовательно... Одного этого было достаточно, чтобы задуматься, не выполняет ли этот Шублер роль наводчика,— короче, когда в следующий раз серый «мерседес» остановился у калитки Бройеров, Цурмак выждал минут пять и направился вслед за посетителем, позвонил, подождал для порядка, снова позвонил и еще подождал; ну, а потом началась самая настоящая свара, потому что на третий звонок дверь наконец отворили, на пороге возник Шублер, мягко выражаясь, не вполне «корректно» одетый, за ним вышла Эрна Бройер в халатике и закатила сцену,— в общем, это была как раз одна из тех ситуаций, которые в старину называли «двусмысленными» или «щекотливыми». Этот человек, без стеснения заявила Эрна Бройер, ее любовник, и законом это пока что не запрещено. Она категорически требует, чтобы ее муж ничего не узнал. Но любовник — это ведь тоже может оказаться только прикрытием. Эти типы на все способны, а «поработать» в интересах дела любовником у такой красотки — подобным «заданием» вряд ли кто побрезгует.

Все, конечно, открылось, и тут Бройер уже не стал умиляться, на его взгляд это было слишком, он разошелся с Эрной; все кончилось заурядненшим омерзительным скандалом со всеми вытекающими отсюда последствиями и лютой ненавистью к «этим Фишерам», ибо, «живи мы в другом месте, а не в этой дыре, где кишмя кишат легавые, никто бы ничего не узнал». Остальные соседи тоже стали нервничать из-за всей этой «вечной полицейской возни». Да и кому понравится, когда кругом на каждом шагу торчат полицейские с рациями и камерами. Блорр, эта крохотная деревенька, где всего-то и есть что двенадцать домов, четыре коттеджа, заброшенная часовня и ветхий дом священника, и так весь как на ладони, тут все друг

друга знают и ни от кого не укроешься, а у кого, «у кого,— вопрошал Хельмсфельд,— нет своих маленьких тайн или, на худой конец, просто знакомых, чьи движения и манера держаться могут показаться предосудительными в политическом смысле?» У него, к примеру, есть подруга, Эрика Пёлер, ей около тридцати, так ее уже несколько раз подвергали не то чтобы допросу, но весьма обстоятельным собеседованиям, и все из-за того, что она слишком часто приезжает в Блорр и к тому же на машине дешевой марки, которая почему-то считается «студенческой»,— а эта Эрика, хоть она левых убеждений и социолог, ни теоретически, ни, упаси боже, практически не склонна к насилию, в каких бы формах оно ни проявлялось.

И Клобер, владелец автотранспортной фирмы, после скандала с Эрной Бройер тоже занервничал. Ведь и к нему нередко приезжают гости в солидных машинах, и тоже все больше по утрам, между десятью и двенадцатью, деловые партнеры, клиенты, и, как позже объяснил ей Хуберт, «он, вероятно, замешан во всяких темных делишках, может, контрабанда или уклонение от налогов, если не что похлеще, так что доскональная проверка его посетителей и их занятий ему вовсе не по душе, вот он и занервничал».

В конце концов, от них до Клоберов всего четыре гаражных крыши, из окна их ванной комнаты можно беспрепятственно наблюдать, как теперь уже восемнадцатилетняя Фридель Клобер, сидя на веранде, на практике доказывает свое пристрастие к моде «сверху без». Однажды она застукала за этим занятием Эрвина — из ванной он изучал девушку в бинокль и даже не подумал оторваться от окуляров, когда она вошла, только сосредоточенно пробормотал: «Черт, ишь, выставляется, но она может себе это позволить».

Нет, прежнего дружелюбия в отношениях с соседями уже не было, Хельмсфельд ныл, у Бройеров в семье полный развал, а Клоберы неприкрыто выказывали ледяную холодность. Да и крестьяне — разве не стали они здороваться как-то прохладно, даже отчужденно? Разве не ощущала она эту прохладцу, чтобы не сказать неприязнь, идя вместе с Кит за молоком, и не потому ли в последнее время все чаще отправляет в эти походы Блюм? Одни Блёмеры, казалось, ничего не замечают или вида не подают, они заканчивают ремонт и грозятся по этому случаю закатить пир на весь мир. Прежнего покоя, прежней идиллии в Блорре как не бывало, но, быть может, когда она уедет, все образуется, а она будет изредка наведываться в гости — к Хельмсфельду на чай, к Блюмам и Беерецам на кофе — и снова увидит Блорр, каким он был когда-то, и давно пора выбросить из головы мысли о самоубийстве, ведь у нее есть Кит и будет еще ребенок, у нее есть Хуберт, вот только бы укрыться — но где? где? — от вездесущего надзора. Уехать куда-нибудь, где тебя никто не знает и не опознает, наверно, за границу, на море, вместе с Кит и новорожденным, у нее будут алименты от Эрвина, отец тоже будет помогать, да и сама она сумеет подзаработать переводами или вязаньем, а может, и тем и другим. Вон как все хвалят ее французский, а вязать — уж что-что, а это она умеет, лучшей учительницы, чем мама, чем Кэте, не сыскать. Да, она уедет, будет вязать, будет переводить — переводы отец обеспечит,— только прочь, прочь из Блорра, прочь из Германии.

В проеме между домом и гаражом возник Ронер и тихо, очень вежливо попросил ее уйти с террасы, зайти в дом и закрыть за собой дверь. Она кивнула, зашла, закрыла: значит, смеркается. При мыс-

ли, что уже сегодня, очень скоро придется покинуть Блорр, ей вдруг стало больно, слезы сами покатились по щекам, она задернула шторы. Она полюбила эту деревушку и этот дом, хоть на ее вкус он, пожалуй, чересчур модный, слишком все открыто и многовато стекла, полюбила здешние деревья, старые дубы, буки и каштаны, прогулки с дочкой, походы за молоком, запах домашнего хлеба, крестьянские дворы — все то, что отчасти заменило ей родной Айкельхоф. Полюбила утренние прогулки верхом: возьмешь у Хермансов лошадь, оседлаешь и — айда по полям и лесам.

Эрвин, конечно, настоял на том, чтобы известить о ее беременности прессу, ведь ей пришлось на время отказаться от верховой езды и до начала первенства она точно не сможет возобновить тренировки. Да и как ездить — ей ведь нужна охрана, кто-то должен ехать рядом, значит, надо искать полицейского, который умеет держаться в седле. Нет, от таких прогулок все равно никакой радости. Раньше она еще могла позволить себе кое-какие развлечения — взять и отправиться вечером на концерт, особенно когда у них выступал этот молодой русский, который так прекрасно играл Бетховена, или на выставку, помнится, ей нравились репродукции одного молодого художника, а он тогда как раз выставлялся. Но с тех пор, как все надо заранее «согласовывать» и, стало быть, испрашивать для себя конвой, у нее пропала всякая охота развлекаться.

Что скажут крестьяне, если обнаружится, что она ждет ребенка вовсе не от Эрвина, а от полицейского, от самого молодого и строгого полицейского из предыдущей команды, как раз от того, которого все они слегка недолюбливали. Всегда серьезный, сосредоточенный, крестьянин Херманс так про него и сказал: «Больно уж въедливый», а все из-за того, что Хуберт отчитал его сына за какие-то ржавые железяки, хотя, казалось бы, какое дело службе безопасности до ребячьих проказ. Мальчишка рыскал по всей округе, излазил весь лес, кусты и овраги в поисках оружия и боеприпасов, оставшихся со времен войны, и, конечно, Хуберт прав, это совсем не игрушки, сколько людей в здешних лесах — и взрослые крестьяне, и детишки — подорвались на старых гранатах, кого ранило, а кого в клочья разорвало, она пылко — может, чересчур пылко? — заступалась за Хуберта, доказывая его правоту. Да, Хуберт очень серьезен, как и она, он просто не умеет быть легкомысленным в таких вещах. И Блорр ей уже не в радость: гулять — под конвоем, за молоком — под конвоем, в часовню, куда она так любила приносить цветы к образу богоматери,— под конвоем, помолиться деве Марии — под конвоем, поболтать с крестьянами о боге и о жизни, о скотине, детях, погоде, о церкви и государстве — все под конвоем. Разрушенное соседство. А горькая участь Эрны Бройер — ведь это прямое следствие мер безопасности; теперь она ютится с этим Шублером в его малогабаритной квартирке, ищет работу, пока безрезультатно, Шублер тоже ищет работу — и тоже безрезультатно. Бройер подал на развод, дела его совсем плохи, он окончательно обанкротился, дом стоит нежилой, объявлен к продаже и охраняется теперь, именно потому, что пустует, с удвоенной строгостью, приезжающих покупателей подвергают проверке, разгневанный маклер уже пригрозил вчинить судебный иск на возмещение ущерба, поскольку, по его словам, стоимость дома, разумеется, упала с той поры, как Блорр превратили в «полицейский участок», поговаривали даже о создании некоей инициативной группы «потерпевших от безопасности», к коей группе уже присоединились Клоберы,— по слухам, организация была отнюдь не местного масштаба, с отделениями в разных уголках страны, ибо потерпевших очень много.

А она тосковала по Хуберту, она ждала маму, чтобы та забрала ее отсюда в Тольмсховен, туда, где Хуберт несет сейчас свою службу. Уж она улучит момент, найдет подходящую возможность, в край-

нем случае уговорит Кэте устроить прием для всех работников безопасности и их семей — внизу, в большом зале, где обычно проходят заседания. А что, отличная мысль: собрать всех этих людей в знак благодарности, можно заказать оркестр, для детей пригласить кукольный театр, тогда она сможет наконец поговорить с Хубертом, познакомиться с Хельгой и Бернхардом, а уже потом пойдет искать совета у кого-нибудь, кому доверяет больше, чем этому мерзкому, жутковатому Кольшрёдеру. С братом, Рольфом, поговорить, наверно, не мешает, хотя проку от этого мало; Эрвин так ему и не простил, что он назвал своего мальчика Хольгером, «первого Хольгера, того, который от Вероники,— это я еще могу понять, это семь лет назад было, но чтобы и второго, от Катарины, и это **после** ноября семьдесят четвертого — нет уж, увольте, эта ветвь вашего семейства для меня больше не существует! И вообще — поджигать автомобили, бросаться камнями — что это такое, в конце концов?!» Рольф подойдет к делу с «практической стороны», он все еще, несмотря ни на что, очень деловой, даже слишком, умом, чисто абстрактно, он, наверно, поймет, что «прелюбодеяние» должно ее мучить, но начнет рассуждать, почему по отношению к Фишеру это вовсе никакое не «прелюбодеяние», зато, мол, по отношению к Хельге — да, тут действительно есть над чем подумать. Умом он, конечно, кое-что еще помнит, но душой — нет. Герберт, второй брат, тот, конечно, сумеет ее немножко развеселить, но и от него проку не будет, он начнет смеяться, даже не заметит ее печали, будет только радоваться, «потому что в тебе зреет новая жизнь, ты понимаешь, сестренка, какая это радость — новая жизнь!» — и скорее всего посоветует ей попросту уйти от Фишера, чтобы на новом месте — да где же, где? — начать, как говорится, с нуля. Видимо, лучше всего поговорить с Катариной. Все-таки они почти ровесницы, да и ладили друг с другом, никогда не ссорились, вот только ее смущают и настораживают политические рассуждения Катарины, когда та начинает «проводить системный анализ»,— звучит порой очень даже соблазнительно, но в таких делах никакой системный анализ не поможет (а вдруг?). Что же делать, если она, несмотря ни на что, была и останется католичкой и в церковь будет ходить — даже целое стадо похотливых кольшрёдеров ее не остановит. И Хуберт такой же, для них это серьезно, очень серьезно, совсем не забава, не банальный «романчик на стороне», Катарина поймет, ведь она всегда ненавидела порно и «буржуазный промискуитет». Катарина, наверно, приведет к ней психиатра, а тот первым делом велит ей даже слово такое забыть — «прелюбодеяние». Вообще-то не исключено, что Эрвин согласится признать ребенка своим, лишь бы избежать позора и скандала — позор для него страшнее любого скандала,— милостиво предложит дать ребенку свою фамилию, а уж потом, со временем, расстаться или даже развестись. Она на это не пойдет. С Фишером она ни дня больше жить не будет. Она тоскует по Хуберту, по его рукам, губам, голосу, по бесконечной серьезности в его глазах.

С отцом поговорить? Нет, ему она не сможет исповедаться. Он, правда, совсем не ханжа, все-таки у него был роман с этой Эдит, да и об истории с молодой графиней в деревне до сих пор вспоминают, хоть уже почти пятьдесят лет прошло. Отец, конечно, отнесется «с пониманием», но он очень застенчив, и она тоже. А Эрвина он никогда не любил и только обрадуется, что «наконец-то мы избавились от этого типа», он будет к ней добр, ее милый папа, предложит переехать с Кит и будущим новорожденным к ним в замок и о Хуберте позаботится, он будет очень ласков — и не сможет ей помочь, когда Эрвин «без всяких церемоний» начнет борьбу за Кит, что-что, а уж бороться без всяких церемоний Эрвин умеет. Его особенно уязвит то, что никогда не уязвило бы отца: что это человек «не их круга», «какой-то полицейский». Разумеется, он скоро женит-

ся снова, для престижа, для «Пчелиного улья» ему совершенно необходима «спутница жизни» — красавица, к тому же спортивная, вдобавок домовитая (что там еще значилось в каталоге ее собственных рекламных добродетелей?), и, конечно, любая из этих грудастых потаскушек с удовольствием за него выскочит. Не надо обладать большой фантазией — а фантазия у нее есть, на этот счет и монахини и Рольф были одного мнения,— чтобы вообразить, какая буря поднимется в газетах, в том числе, вероятно, даже и в «Листке». Тут уж ничего не поделаешь, нужно будет, как Рольф, «просто отсидеться». «Это как взрыв в старом клозете: дерьмо летит во все стороны, кое-что, конечно, перепадает и тебе, но ведь, в конце концов, есть теплая вода, можно отмыться».

Ничего, она сумеет отсидеться, и все пройдет. А вот жить с Фишером — нет, она больше не может, ни дня. Встречать его, когда он — счастливый глава семьи в ожидании потомства — возвращается домой, есть с ним за одним столом; моясь, оставлять открытой дверь в ванную, на чем он настаивал, объявляя это своим супружеским правом, «потому что тебе тоже есть что показать сверху без». Она с трудом заставляла себя есть, втихомолку плакала в те часы, когда Кит спала после обеда, плакала иногда и средь бела дня, не таясь от доброй Блюм, которая только сокрушенно приговаривала: «Да поговорите вы с кем-нибудь, ведь вас гложет что-то, и это вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете, и не из-за охраны, хотя от нее любой с ума сойдет».

Может, с Блюм поговорить? С добросердечной незамужней Блюм, сестрой здешнего крестьянина, которая в свои без малого шестьдесят бодро помогает ей по дому и на кухне, при уборке неизменно пользуется только мылом и содой, с презрением отвергая все эти «дурацкие новомодные порошки», а нашатырь и уксус считает самым верным дезинфицирующим средством; с толстухой Блюм, которая теперь иногда остается у них ночевать, укладывает волосы незатейливым узлом и расхаживает в юбках по последней моде тридцатых годов. Есть что-то пугающее и почти непристойное в ее манере курить за работой — сигарета торчком, глубокие, жадные затяжки. «Курить, дорогая госпожа Фишер, мы в войну научились, когда нас тут, в Блорре, бомбили и артиллерия пуляла вовсю. И мне понравилось, и до сих пор нравится. А уж тогда сколько литров молока я у братца стибрила, сколько картошки утащила в обмен на табачок и все никак не брошу». Эта женщина, которая потеряла в войну «своего суженого» и которую «ни к кому другому не тянуло, вот я ни с кем и не решилась, не могла просто, а ведь уже ребенка ждала от моего Конрада, и нашлись охотники жениться даже на беременной, все равно, а тут как раз похоронка; Днепропетровск — я это слово вовек не забуду, я его на тот свет с собой возьму и спрошу там у кого следует, что нам в этом Днепропетровске понадобилось, на что этот Днепропетровск моему Конраду сдался,— вот у меня и случился выкидыш, а я так хотела ребеночка, пусть даже без мужа». Неужели она, эта женщина, о чем-то догадывается, а может, просто что-то знает, когда твердит ей, что все это «вовсе не из-за ребенка, которого вы ждете», хотя ведь на самом-то деле все именно из-за ребенка. Может, они были недостаточно осторожны, когда Блюм в сопровождении Цурмака или Люлера отправлялась вместе с Кит за молоком или просто прогуляться по деревне, ничуть не смущаясь автомата, с которым Цурмак вышагивал за ними следом; может, она что-то приметила — взгляд, жест, мимолетное прикосновение на ходу, что-то углядела летом, когда она нежилась у бассейна, или когда Хуберт украдкой — ах, всегда эта спешка, эта невыносимая и неизбежная спешка! — целовал ее в прихожей, либо в те мгновенья, когда он обнимал ее в углу, за дверью и она вверялась ему всецело? Блюм-то, уж конечно, давно знает, что между ней

и Эрвином только нелады и скрытые раздоры. Неужели она поняла, что за всем этим кроются не только «другие женщины», но и другой мужчина? Да, с Блюм вполне можно было бы поговорить, но посоветовать или помочь она, видимо, не сумеет, как и отец; эта Блюм отважно перенесла позор своей безмужней беременности, и все же то был не такой позор, ведь каждый знал, что в следующий отпуск ее Конрад собирался на ней жениться, она уже приберегала яйца и карточки на масло для свадебного пирога, и с мясником уже было договорено, чтобы к свадьбе нелегально забить свинью, она и на небе предстанет перед очами всевышнего со своей суровой жалобой: «Днепропетровск — что нам там понадобилось?»

Прочь, прочь отсюда, скорей бы приехала Кэте, она заберет Кит и уедет, сегодня же, пока он не вернулся домой, не надо будет больше запирать дверь в гостиную, где она вот уже несколько дней ночует, выслушивать его попреки и жалобы, когда он, настаивая на «своем праве», пытается к ней вломиться,— наверно, он не стал бы так рьяно домогаться своих прав, узнай он, что она не на третьем месяце, а уже на шестом.

В Тольмсховене Хуберт будет рядом, они, наверно, смогут поговорить или даже поцеловаться, а то и, несмотря на беременность, найти какой-нибудь счастливый угол за дверью, им ведь не привыкать. Только однажды он побыл с ней несколько часов ночью, он стоял на посту на террасе, она его впустила — в тот день Кит была у родителей, заснула, и ее оставили ночевать; а она не могла заснуть, сперва стояла у окна, смотрела сквозь проем в занавесках на долину, где далеко на горизонте мерцали подсвеченные, словно на арене цирка, корпуса электростанций, но вовсе не потому, что они несут людям свет, как растолковал ей однажды старый Корштеде, а из соображений безопасности, чтобы в случае аварии легче было обнаружить утечку, и для создания декоративного эффекта «индустриального пейзажа», но это именно подсветка, а не освещение, освещать там ничего нельзя, иначе сразу будет видно, «сколько всякой дряни они втихую спускают ночью». За деревьями, внизу, в долине, они отлично видны, эти мерцающие фасады, а сердце билось и билось, как — как что? Сердце билось давно, ведь она прекрасно знала, что в десять он должен сменить Цурмака, а было уже половина одиннадцатого, и последняя полоска летнего заката меркла на горизонте, чуть в стороне от нелепо ярких фасадов. Но он еще не закончил обход, и она даже не казалась себе потаскушкой, когда отперла дверь на террасу, дрожа от страха, получится у них или нет, ведь до этого все бывало только в углу за дверью,— и вот он появился, целеустремленный, решительный, в этой его решимости было что-то мальчишеское, она даже невольно улыбнулась — он шел напрямик, мимо маленького заросшего кувшинками пруда, по склону, сломал по пути, как потом выяснилось, несколько роз, вот его рука ухватилась за ручку, и вот он уже в комнате, запутался в занавеске, высвободился, «вас я не видел,— признался он позже,— меня ослепило, но я вас чуял, да, чуял, то есть, наверно, надо сказать, чувствовал, чувствовал, что вы где-то тут, что вы меня ждете»; но тогда они ни слова друг другу не сказали, безмолвно и как-то по-хозяйски, отчего ей стало немножко не по себе, он включил свет, задернул занавески, чтобы рассмотреть ее голую, ведь прежде, в углу за дверью, он не мог видеть ее наготу, и только потом погасил свет и лег к ней, пистолет на ночном столике, рация на полу. Лишь позже, когда он снова занял свой «пост», а она сварила кофе, они смогли поговорить, он на террасе, она в комнате у открытого окна, между ними на подоконнике кофейник, две чашки и рация, они говорили долго, до рассвета, но так и не перешли на «ты». Он не признавался ей в любви, сказал только, что желал ее с первого взгляда, с первого дня, как стал ее охранять, а еще рассказывал о себе, как ему было тоск-

ливо в школе, потому что всегда хотелось работать, в смысле — делать что-то руками, и он работал — сперва на стройке, потом на конвейере, «только, знаете, всей этой романтики ненадолго хватило», и тогда он пошел в полицию, да, потому что «любит порядок», чем и навлек на себя презрение отца, тот, видите ли, считает себя юристом и теперь жалуется, что сын, мол, роняет престиж семьи; обстоятельно, даже как-то излишне обстоятельно, стал объяснять ей про свою фамилию — Тёргаш, и почему она пишется через «ё», а не через «о», этому «ё» он придавал какое-то особое значение, хотя, на ее взгляд, никакой разницы, что в лоб, что по лбу; но он построил целое этимологическое толкование,— дескать, кто-то из его дальних предков служил в Баварии у некоего Тёргаша, то ли графа, то ли епископа, управляющим, а вовсе не был торгашом, вот фамилия и передалась, потому и важно написание через «ё», не то чтобы все это показалось ей занудством — слишком было хорошо беседовать с ним через подоконник, пить кофе и смотреть на занимающуюся зарю,— но серьезность, с которой он посвящал ее в свои этимологические разыскания, несколько ее встревожила. А она рассказала ему о своем детстве, о своей юности, об Айкельхофе. Айкельхоф перешел им по наследству вместе с «Листком» — это была старомодная вилла восьмидесятых годов прошлого столетия, какую в те времена мог себе позволить пусть не богач, но все же достаточно состоятельный владелец типографии и провинциальной газеты. И вот эта вилла, вместе с типографией и газетой, досталась отцу, который ведь был из бедняков, а тут вдруг такой шикарный дом, огромные комнаты, особенно внизу, столовая и гостиная, в кухне хоть танцуй, и даже гардеробная, там самая маленькая комната все равно была больше, чем любая в их нынешнем замке, пока внизу не оборудовали конференц-зал. Теннисный корт. Все было немножко запущено, но уютно, эту уютную запущенность Кэте очень берегла, особенно сад, из-за которого они то и дело шутливо препирались: можно называть его парком или нет. Старые фруктовые деревья, лужайки, и ни одного идиотского газона, которые она так ненавидит. Летние праздники, бумажные фонарики на ветвях, танцверанда, которую отец специально для нее велел сколотить прямо в саду, и слезы первой, болезненной и пронзительной влюбленности в мальчика, которого звали Генрих Беверло — «да-да, **тот самый** Беверло, по вине которого вы тут стоите, благодаря которому мы сейчас рядом стоим, а совсем недавно рядом лежали, а до этого много раз в углу за дверью... да-да, именно по вине и благодаря»,— она помнит его испуг при слове «благодаря», и она рассказала об этом не по годам пытливом и умном мальчике с мечтательными глазами и совсем не спортивной фигурой, который стеснялся танцевать, из-за чего все над ним подтрунивали, ну, танцевать-то она его научила, летними вечерами они потом без конца танцевали на веранде, в саду, а если был дождь, уходили танцевать в дом.

Вот о чем она рассказала той летней ночью, но ни слова не проронила о Фишере, ни слова о Хельге, ни слова о Кит и Бернхарде, не сказала и о том, что, вероятно, уже беременна, а сутки спустя они совсем потеряли голову, у него опять было ночное дежурство, но на сей раз Кит спала с ней, а Фишер, только что вернувшийся из своего вояжа, дрых в соседней комнате. Она почувствовала горечь, но и облегчение, когда на следующий день его перевели в Тольмсховен. А еще она рассказала ему об Элизабет, третьей жене Блямпа; только они подружились, как та исчезла, уехала обратно в Югославию. «С его женами всегда так: если и попадется милая, обязательно вскоре исчезнет. У нее там на юге отель, она все время меня приглашает, но как туда поедешь с такой свитой охранников?» Она рассказала и об их вилле под Малагой, где она обычно изнывает от скуки,— рассказала многое, почти все, никому прежде она столько о

себе не рассказывала. Разумеется, она не сразу, не с первого взгляда вверила себя Хуберту, но этот молодой полицейский сразу показался ей симпатичным, симпатичнее остальных, да и по возрасту они, наверно, ровесники, не исключено, что он даже на год-два моложе. Она не знает, сколько лет Бернхарду, детей теперь очень рано ведут к первому причастию, но вдруг Хуберту все-таки тридцать, тогда он на два года старше,— и вот с ним, именно с ним у нее случилось то, во что она никогда бы не поверила, считала для себя абсолютно невозможным и готова была поклясться в этом любой клятвой: что она будет принадлежать не своему, чужому мужу, тому, кто никогда, ни под каким видом не спросит: «А вы не забыли про пилюлю?» И это при том, что возможностей было сколько угодно, и заигрываний, и почти недвусмысленных предложений — в конном клубе, на теннисе, на вечеринках; иные претенденты были просто очаровательны, Цуммерлинг-младший, например, очень даже мил, веселый, ироничный, этот все принимал не слишком всерьез, то и дело над ней подтрунивал: «Сабина, дорогая, ну почему мы всегда так серьезны?» Так нет же, Хуберт, именно он, и она даже не знает, как это получилось, постепенно или сразу, неотвратимо или случайно, по ее или по его воле, все вышло само собой, а уж неотвратимо или случайно, это пусть решают боги,— просто он был тут, рядом, стоял, ходил вокруг, и так неделями, почти два месяца, и днем и ночью, но в одном она совершенно уверена: с Цурмаком или Люлером это было совершенно исключено, немыслимо, хотя они оба тоже очень милые ребята и добросовестные, знают каждый кустик, каждое дерево, каждую кочку, изучили все углы и закоулки в доме, в саду и на соседних участках, а уж план дома помнят назубок, включая гардеробную и кладовку, гладильню и чулан, гараж и сарай с садовым инвентарем, въездные ворота и летнюю кухню на террасе, где Блюм в хорошую погоду чистит овощи и картошку, приглядывая за Кит, которая обожает участвовать во всех кулинарных процессах; они, разумеется, прекрасно помнят и расположение так называемой «мастерской» — Фишер однажды надумал столярничать, но вот уже год к инструментам не притрагивается и в «мастерскую» не заходит,— и сауны в подвале, и обеих ванных комнат, они знают каждый уголок в доме, в саду и по соседству, и всем им не по душе, что в доме такие огромные окна. Приуныла она после того, как ей посоветовали не отправлять больше Кит в детский сад, а походы за покупками утратили всякую радость из-за постоянного конвоя. Детский сад в Блюкховене действительно при всем желании невозможно было «взять под контроль» — народу полно, детей приводят и уводят, тут же подвозят еду, входов и выходов не счесть, одноэтажные коттеджи разбросаны по парку где попало, тут же рядом кустарник, клумбы, детские площадки, с одной стороны школа, с другой — бассейн, и никаких заборов, планировка ведь открытая, так и задумано, все время подъезжают и уезжают машины, не станешь же обыскивать их все подряд — а после истории с плифгеровским тортом приходится проверять и поставки на кухню,— кроме того, некоторые родители начали роптать, дескать, их-то детям ничего не угрожает (что в корне неверно: «похитить,— сказал Хуберт,— могут любого ребенка, и моего тоже»), а постоянная охрана, чтобы не сказать наздор, нервирует детей, чревата психической травмой да и бессмысленна, потому что «эти если уж вдарят, то все равно из-за угла», их не перехитришь.

Пришлось оставлять Кит дома, к Грёбелям, где дочка любила играть с Руди и Моникой, ей теперь тоже нельзя: Грёбели весьма прозрачно дали понять, что не потерпят одного, а тем более нескольких полицейских у себя в доме или на участке, это травмирует детей. Пришлось держать Кит дома, заниматься с ней самой, играть,

рисовать, рассказывать сказки или отправлять ее на кухню «в подмогу» Блюм; летом еще куда ни шло, выручал бассейн, возле которого есть песочница, качели, деревянная горка, а с недавних пор — это была ее идея, навеянная детскими воспоминаниями об Айкельхофе, где Кэте соорудила для них нечто похожее,— и «свинская лужа», яма с песком, глиной и водой, где Кит буквально купалась в грязи, строила замки и крепости, ей разрешалось дрызгаться там сколько душе угодно, в жаркую погоду голышом, когда прохладней — в штанишках, а потом шагом-марш в ванную или под душ. Но прошло еще некоторое время, и ей опять-таки не то чтобы запретили — ей настоятельно отсоветовали ходить в Блюкховен на рынок, а она, да и Кит так любили туда ходить! Повязав платок, усадив Кит в коляску, с корзиной в руке, она так любила потолкаться в этой давке, в гуще людей, почувствовать их прикосновения, даже их запахи, она нарочно шла туда, где больше народу, и ей было не страшно, пока ей весьма наглядно не живописали все опасности этих походов. Сколько там закутков и проулков, которые не просматриваются, проходов между ларьками и прилавками, сколько легковушек и грузовиков, владельцы которых ставят их где попало, лишь бы разгрузить матрасы и яйца, кур и зелень, все, что привезли; в этой неразберихе похитить ребенка — плевое дело, хвать — и нет его, она и оглянуться не успеет, а потом ищи-свищи среди этих ларьков, прилавков, автомобилей, рыскай по всем закоулкам и проходам, там даже предварительный, профилактический контроль организовать немыслимо, что уж говорить о чрезвычайной ситуации. Пришлось отказаться и от рынка; теперь ей все доставляли на дом, а если уж очень нужно было пойти в город, Кит оставалась с Блюм. Но разумеется, все, что ей доставляли на дом, тщательно проверялось: каждая буханка хлеба, каждый пучок салата, и даже для более интимных вещей, которые ей присылали из аптеки, не делалось исключения; а она и в этих вещах ужасно старомодна и краснеет всякий раз, когда обследуется очередной пакет из аптеки. Тут волей-неволей возникает и нервозность, и раздражение, и противоестественная интимность в отношениях, которые совсем не должны бы к этому располагать. И все трудней делать вид, будто так и надо, и постоянно терпеть в доме или где-то поблизости присутствие двоих, а то и троих, но уже всенепременно и обязательно одного постороннего мужчины. Постоянно помнить, как ты одета, когда выходишь в коридор или в холл, идешь в ванную, из ванной или в туалет; к тому же, «при исполнении» эти люди категорически отказываются от еды, разве что выпьют чашечку кофе, когда же их время кончается, они мгновенно, до неприличия быстро, исчезают, будто им невтерпеж поскорее унести ноги с этого клятого места, а ей так хочется иногда поговорить с кем-нибудь из них почеловечески, расспросить про жену и детей, про квартиру и работу, но все ограничивается мимолетными вежливыми улыбками и сигаретами, которыми она время от времени угощает их, а они ее. Ей так хочется узнать, как они живут, о чем думают, скучают ли на службе, устают ли и как вообще их нервы все это выдерживают?

Эрвин держится с ними нарочито вальяжно, с налетом панибратства, этакий бывалый офицер запаса; заводит разговоры о футболе, пиве и женщинах, которых, если его послушать, только и надо, что «заваливать»,— он явно недооценивает душевную деликатность этих людей, не только Хуберта, но и Цурмака и Люлера, ради которых он по понедельникам старательно зазубривает результаты очередного футбольного тура, хотя интересуются этим вовсе не Цурмак и Люлер, а, к ее удивлению, Хуберт, но, конечно, совсем не в такой, нарочито простецкой, вульгарно-пролетарской форме, как это преподносит Фишер: на каком-то полупохабном, блатном жаргоне, когда не сразу

разберешь, что имеется в виду — то ли игровые достоинства футболистов, то ли их мужские потенции. Эрвин ведь никого, кроме себя, не слышит, он все знает лучше других,— громогласно на весь дом, словно у себя на фирме, он в разговорах с ней то и дело склоняет «этих легавых», ничуть не стесняясь их присутствия, а они этого не любят, слишком часто их так обзывают другие люди, при других обстоятельствах, им это прямо нож острый, и даже если он говорит про «легавых» в шутку и как бы в кавычках («Ну, что, как поживают наши славные легавые?»), им это слово все равно не нравится, даже в кавычках. Вот почему они так холодно отказываются, когда он предлагает им сигареты, а если он трогает кого-то из них за рукав или, еще того хуже, похлопывает по плечу, их прямо передергивает.

Да, очень трудно жить вот так, привыкая к постоянной близости посторонних и в то же время никакой близости не допуская; вот почему она вовсе не считала «грязным» — наоборот, естественным — то, на что намекал Эрвин: дескать, она, когда ложится загорать у бассейна, возбуждает у полицейских «грязные фантазии». «Даже если ты разляжешься в чем мать родила — это их не касается, они обязаны не реагировать». Хуберт признался, что хотел ее с первого дня, что она его возбуждает, он говорил не о любви — о вожделении, а ведь кроме него были и эти двое, ничем не занятые здоровые мужчины, они слонялись вокруг, ходили, стояли, глазели, а потом наступили месяцы, долгие месяцы, когда глава семьи вообще не появлялся дома, его не было ни днем, ни теплыми летними вечерами, ни ночью, когда она без сна лежала одна,— и так день за днем, только скука и беспросветная тоска, так что в конце концов даже добряк Цурмак, мужчина уже, можно сказать, в годах, остепенившийся, ему почти сорок,— и тот не выдержал и сказал ей однажды: «Да что вы все дома сидите? Сходили бы в гости, на вечеринку к кому-нибудь, а за девочкой мы присмотрим». Только после этого она решилась выбраться в город — ей давно хотелось присмотреть себе новые туфли в обувном салоне Цвирнера, примерить платья у Хольдкампа и Бреслицера, Кит она оставила с Цурмаком и Блюм, поехала с Люлером, который торчал в салоне Бреслицера у всех на виду, ни дать ни взять частный детектив, и когда она вошла в примерочную кабину, пока переодевалась, она вдруг просто кожей ощутила какой-то особый наэлектризованно-эротический дух этого заведения с его розовым плюшем, тяжелыми занавесями, взбитыми, воздушными кружевами, почти физически осязаемую интимность, которая все еще обволакивала ее, когда она вышла из кабины. Что-то с ней было, что-то передалось ей вместе с этим воздухом,— наверно, думала она, так бывает в дорогих борделях,— какое-то размягченное бесстыдство, приглашение, зазывность, оставшаяся без ответа, и на обратном пути она чуть было не тронула за плечо беднягу Люлера, про которого знала, что тот холостяк и вообще веселый малый, так ей было его жалко, к счастью, она вовремя спохватилась, сообразив, что ничем хорошим это не кончится. Впервые в жизни она поняла, что имела в виду ее грубовато-прямодушная соседка Эрна Бройер, когда как-то раз обронила: она, мол, по горло сыта всеми этими разговорами о любви и страстях, просто иногда хочется, чтобы ей «как следует вставили», и мужчинам очень часто хочется просто «вставить», не больше и не меньше; а бедняга Люлер, наверно, еще и слышал, сколько она заплатила за оба платья, почти две восемьсот, ему это, конечно, показалось совсем недешево.

Ну вот, а потом, уже весной, она досталась, она доверилась Хуберту, среди бела дня, пока Блюм возилась на кухне, а Кит с удвоенным восторгом дрызгалась в своей свинской луже, потому что ей наконец-то удалось осуществить свой коварный замысел: в то утро Кит, наверно, раз сто подзывала Хуберта, канючила и требовала, чтобы тот подошел поближе. Когда же он в конце концов поддался на уговоры и подошел, она с ног до головы забрызгала его грязью, а он

от растерянности еще и поскользнулся,— словом, пришлось пригласить его в дом для основательной чистки; потом, много позже, уже поняв, что беременна, она много раз спрашивала себя, но и до сих пор не знает, зачем пошла вместе с ним, хотя он и без нее прекрасно знал, где ванная и где найти полотенца. Но она пошла с ним, отвела его в ванную, даже открыла ему дверь и достала с полочки полотенце и тряпки,— тут-то они и не совладали с собой. Похоже, она первая: провела рукой по его щеке. Это вышло непроизвольно, она ни о чем таком даже не думала, но ни секунды не сопротивлялась, когда он вдруг сжал ее в объятиях и начал стаскивать с нее бикини — он делал это уверенно, ловко, но она знала, чувствовала, что уверенность напускная. Он вошел в нее со вздохом, и она приняла его, она вверилась ему с радостью и, встречая его поцелуи, вдруг ощутила, что знает его наизусть — его запах, его шершавый подбородок, его зубы, и эти светлые, такие серьезные глаза, и волосы на затылке,— она не только все ему позволила, она соглашалась, она кивала, хотя он впился в ее губы, она все ему позволила прямо тут, в углу за дверью, и даже успела толкнуть ногой дверь; совсем рядом, на террасе, Блюм перебирала салат, в саду Кит возилась в своей свинской луже, и все это в солнечный майский полдень, за четверть часа до обеда; после она сама удивилась — страха почти не было, только радость и какая-то шальная уверенность; она быстро привела в порядок купальник, в холле посмотрела в зеркало, поправила волосы, а он остался в ванной — ему ведь надо было еще отмыть глину с куртки и брюк. Некоторое время спустя он вышел на крыльцо, повесил куртку сушиться на солнце, погрозил пальцем Кит и ушел за гараж, ей же в тот день больше ни слова не сказал, вообще избегал говорить с ней в чьем-либо присутствии, и потом тоже, только иногда шептал, стоя за ее шезлонгом или из-за кустов у бассейна: «Ах, госпожа Фишер!», ведь они по-прежнему были на «вы», хотя все чаще улучали мгновения для свиданий. Им-то сразу было ясно, что это не минутный обман чувств, не мимолетное «приключение», подстроенное прихотью обстоятельств, не банальный «эпизод», о котором легко можно забыть. Нет, все было куда серьезней, засело глубоко и затягивало все глубже, усугубляясь множеством мелочей, которые она прежде посчитала бы откровенным бесстыдством. Теперь же ее почти не удивляла отчаянная смелость их торопливых объятий в гардеробной, где она вверялась ему в темноте среди развешанных пальто,— они облюбовали это место, потому что он в случае чего мог сделать вид, будто идет из туалета, а она бы спряталась за грудой одежды, эти несколько секунд могли спасти положение. В саду, проходя мимо, он иногда как бы невзначай останавливался и заговаривал с ней, рассказывал о полицейской школе, а она вспоминала об Айкельхофе, который стерли с лица земли,— с ним ей даже об этом было легче говорить, чем с кем-либо еще. К братьям с подобными разговорами лучше вообще не подступаться, Эрвин тоже отмахивался: «Пустые сантименты, нашла что оплакивать, вчерашний день». Отец об этом и слышать не хочет, даже злится, что с ним редко бывает, наверно, его все еще совесть мучает, а Кэте молчит, для нее это самая горькая утрата, Айкельхоф и Иффенховен, где она родилась и выросла, ведь теперь там все разрыто, теперь там хозяйничают экскаваторы, словно огромные звери, они вгрызаются зубастыми ковшами в зеленые лесные чащи, все сминая на своем пути, безлично-свирепые, такие большие и добродушные на вид и такие беспощадные в работе, они заглатывают землю и выплевывают ее далеко-далеко, они эксгумируют мертвецов — ну, конечно же, с предельной почтительностью,— они крушат церкви и часовни, деревни и замки, а Кэте говорит, что, когда едет через Ной-Иффенховен, где отстроенные заново дома и церкви стоят как игрушечные, ее пробирает дрожь.

Да, ее тоже пробирает дрожь. Дрожь, стоит подумать о Кит, розо-

вощекой, золотоволосой Кит, которая сейчас щебечет у Беерецов в коровнике; дрожь, стоит вспомнить о радостной готовности, с какой она при малейшей возможности вверялась Хуберту в любом углу, в ванной и в гардеробной; дрожь, стоит подумать о Хельге, хотя — вот ведь странно — по отношению к Фишеру или к Хуберту она не чувствует себя прелюбодейкой, только из-за Хельги; стоит вспомнить, с какой невозмутимостью выходила она из укромных уголков, из ванной или из гардеробной, когда Блюм была тут же, рядом, и Кит в своей детской, а она с улыбкой, подмазав губы, наскоро поправив прическу, как ни в чем не бывало шла к ним; дрожь, стоит подумать как деловито, с какой-то птичьей сноровкой, она оглядывала Хуберта, устраняя следы своих поспешных ласк, и при этом сама себе дивилась — откуда в ней это, откуда она все это знает, где, у кого научилась столь хладнокровно, как ни в чем не бывало совершать то, что было, есть и во все времена останется прелюбодейством; откуда у нее эта повадка, ведь ее никто ничему такому не учил, откуда же тогда «у нашей милой, славной, доброй и верной женушки, у нашей пчелки, у нашего золотца», откуда у нее эта опытность, причем с самого первого раза, когда она вышла из ванной, а Блюм перебирала на террасе салат? Видит бог, такого с ней прежде не случалось, с ней — нет, и тем не менее она с улыбкой кивнула Блюм и спокойно пошла в сад, где все так же беззаботно играла ее дочурка.

Может, Хельга ее поймет и будет ей его уступать — иногда, на время; позволит ей любить его, и он сможет видеться с ребенком, где-нибудь в Италии или в Испании, где она будет жить. Он такой серьезный, с таким рвением относится к своей работе, он даже любит свою профессию. «Порядок и безопасность для всех». Только вот слишком уж педантичен и вполне мог бы предотвратить беду с Эрной и Петером... странно, она его хочет, хочет быть с ним, спать с ним, но жить с ним? Нет, вряд ли, ничего хорошего из этого не выйдет, как не выходит сейчас, судя по всему, у Петера с Эрной; они ведь тоже поначалу хотели только... ну, да, спать друг с другом, а потом вот влюбились, по-настоящему, пожалуй, Петер полюбил Эрну даже больше, чем она его, она ведь не скрывала, что сперва хотела только одного: чтобы он ей «как следует вставил», так — в своей вульгарной, но честной манере — она изъяснялась. А теперь он жить без нее не может, а она без него, и им плевать на скандал и на разъяренного Бройера, плевать на бесконечные повестки и допросы; он теперь хочет во что бы то ни стало жить со своей Эрной, удержать ее, даже жениться на ней, и в любви стал просто неистов,— но ей, ей не по себе в его крохотной квартирке, слишком бедно, слишком дешево, а ведь и бунгало Бройера, и Петер в любовниках, все это могло продолжаться вечно, если бы не идиотская охрана и слежка. А теперь Эрна звонит и чуть ли не матерится, забыла, что они были на «ты», давно уже не называет ее «моя дорогая пчелка без жала», с ядом и ненавистью в голосе говорит: «А теперь, многоуважаемая госпожа Фишер, послушайте, что я вам скажу...» — и она слушает, но не слышит, мыслями она далеко-далеко, и всех до смерти жаль, и все до смерти надоели: Эрна, Эрвин, Петер, Кюблер, Ронер, Клобер, а тут еще, едва солнышко пригреет, эта полуголая нимфа наверху на террасе со своей томной, зазывной музыкой.

И все же ей недостает Эрны Бройер. Она все-таки очень милая, такая прямодушная, что на уме, то и на языке,— милая, даже когда без стеснения рассказывает о своей супружеской жизни и о том, как она любит «это дело — ну, с мужчинами, вы ведь понимаете, о чем я...». И еще: «Я ведь ужасно завожусь от всей этой порнографии, которую мой старик, ну, Бройер, домой притаскивал, завожусь просто до беспамятства, а ему того и надо, только мне с ним ни холодно, ни жарко, вот я и пожалела этого мальчика, он всегда так пылко, так жадно на меня смотрел, а оказалось, что это любовь, настоящая

любовь, я с ним про всю порнографию сразу и думать забыла, такое разве заранее угадаешь. Так нет же, треклятые легавые все испортили. Это бы еще годы тянулось, но этим ищейкам всюду надо совать свой нос, и все из-за всех вас и ваших дерьмовых миллионов — я-то тут при чем? Ну, пущу я утром к себе Петера — вам-то какое дело? Никакого. А теперь вот склоки с Бройером из-за кроватей и чемоданов, из-за тряпок и мягкой мебели, он даже цветной телевизор мне оставлять не хочет,— да не плачьте, не плачьте вы, милая пчелка, я ведь не желаю вам зла, нет, да с вами ничего такого и не случится, вы по-другому устроены, не то что я».

И вот — случилось, ничуть не иначе, чем с Эрной, которая, конечно же, вверилась своему Петеру точно так же, как и она Хуберту,— «сразу и с радостью».

Когда-нибудь (когда?) она ему все расскажет об Айкельхофе и о том времени, расскажет, как жила в интернате у монахинь, а может, и о том самом Беверло, который тогда, лет десять — двенадцать назад, принадлежал к «молодежи наших надежд», молодежи, на которую «делали ставку», за которую боролись партии, объединения и союзы, на которую со всех сторон сыпались поощрительные стипендии; все думали, что он будет изучать германистику или театроведение, во всяком случае, посвятит себя культуре и будет отстаивать «нашу» (чью?) точку зрения. Считалось, что он консерватор (кто бы ей хоть раз толком объяснил, что это значит?) и даже реакционер (не худо бы и на этот счет услышать что-нибудь вразумительное), считалось, что он католик, даже набожный,— она сама до сих пор набожная католичка, считает себя таковой, даже несмотря на Кольшрёдера и Хуберта, но тоже не очень понимает, что это значит. Но Беверло пошел изучать банковское дело, сперва здесь, потом в Америке, вместе с Рольфом, защитил диссертацию (что-то про Латинскую Америку), вернулся, стал еще лучше танцевать, но вокруг рта появилось что-то циничное, почти подлое, ему уже мало было ее целовать, он хотел большего, но он ей такой не нравился, и тогда он сказал с прежней своей мечтательностью: «Когда из года в год имеешь дело только с деньгами — с настоящими, большими деньгами, не теми, которые, возможно, у тебя сейчас в сумочке, а теми, которые работают,— тут поневоле станешь либо подлецом и циником, либо круглым идиотом. Кому же хочется быть идиотом?» В последний раз она его видела на свадьбе Рольфа и Вероники, он произнес остроумный тост, даже про «Листок» сумел ввернуть так, чтобы отцу не было обидно; да, отца все они любят, и Кэте тоже, и ведь не так уж давно все это было. Если слухи и сообщения хотя бы наполовину верны, получается, что все это именно из-за него, из-за Генриха Беверло, охрана и слежка, несчастье Эрны Бройер, растревоженные соседи, ярость Клоберов, история с именинным тортом Плифгера и даже ребенок, которого она ждет от Хуберта.

Беверло — это теперь почти сон, как и дом в Айкельхофе, который быстро, на диво быстро сожрали экскаваторы. «Сносить и копать, копать и сносить, уголек все окупит»,— таков лозунг Блямпа, и ведь в конце концов за ветхий Айкельхоф они получили столько, что отец смог купить замок. Рольф тогда прикинул все расходы и доходы с 1880 года, чтобы подсчитать размер прибыли — компьютер выдал результат в сколько-то десятков тысяч процентов, во всяком случае все они сошлись на том, что «за такую старую развалюху цена просто безумная», но дело не только в несусветных барышах, отец должен был подать пример, ведь сколько было шуму, сколько протестов, когда стало известно, что весь Иффенхофен собираются сносить и раскапывать. Иногда, проезжая грунтовой дорогой от Хетицграта до Хурбельхойма, она останавливает машину и с обочины долго

смотрит в огромный, нескончаемый карьер, пытаясь найти то пустое место, где когда-то стоял Айкельхоф, место, где когда-то был Иффенховен. То-то была радость археологам, которым позволили какое-то время покопошиться и поквохтать над всеми этими римскими, франкскими и даже, кажется, какими-то еще дофранкскими, кельтскими, что ли, горшками, черепками и захоронениями, эту их радость и сегодня можно оценить в краеведческом музее, а уж сколько было написано монографий, сколько диссертаций защищено. Горшки и кости, камни и черепки, горы черепков, там, в музее, есть даже отдельная витрина: «Находки в Иффенховене» — и другая, поменьше: «Находки в бывшей усадьбе Айкельхоф, ныне — угольный карьер».

Конечно, отец не смог сказать «нет», к тому же на него наседало все правление: «Если уж вы, Тольм, заупрямитесь, если ты, Тольм, заупрямишься, чего тогда ждать от простых людей, на чью сознательность в вопросах экономической и энергетической стратегии мы так рассчитываем?» И развернулись работы, пошло-поехало, ломать не строить, часовню и церковь, деревню и кладбище, обветшалый графский замок каких-то там Хетцигратов — все под нож и под ковш, под корень, точнее с корнем, вековые дубы и каштаны, заборы и живые изгороди — долой, сносить и копать, копать и сносить, разумеется, нигде живого места не осталось, да и с чего бы, когда им так нужен уголь. Изгнание из Айкельхофа, изгнание из Блорра, да и дни Тольмсховена, если верить тому, что иногда нашептывал ей Эрвин, тоже сочтены. Неужели всего восемь лет назад она была на свадьбе у Рольфа и Вероники и в последний раз танцевала с Беверло, который потом чуть было не дал волю рукам; но нет, она уже не была влюблена, она уже тогда его боялась, особенно когда услышала, как он, только недавно произнеся такой приятный тост за здоровье отца, завел с ним куда менее приятный спор о свободе; оба чуть навеселе, отец, как всегда, размягченный, а Беверло был беспощаден, на примере предстоящего выселения из Айкельхофа он доказывал отцу, насколько несвободны даже самые свободные в мире свободного предпринимательства: ведь он, Тольм, не может не видеть, что для его жены этот переезд — страшный удар, что его дети чувствуют себя чуть ли не беженцами, да и сам он к этой развалюхе привязан, а деньги у него и так есть, «Листок» ведь процветает, так что все словеса о «свободе», «обстоятельствах» и «необходимости» — что это еще, как не благопристойное прикрытие самой обыкновенной экспроприации? Семь лет, всего семь лет назад отец с Кэте въехали в замок после всех ремонтов и перестроек — и вот опять все на снос, под ковши и бульдозеры, и опять цена будет в семь, если не в тридцать раз выше той, что они заплатили. «Твой старик только прикидывается простачком, а на самом деле похитрее всех нас — у него все окупается, да еще с какими барышами!»

Вояжи Эрвина по всему свету тоже, конечно, окупаются — все эти договоры и контракты, станочные парки и технологические циклы, он только посмеивается над профсоюзами («помогают как миленькие!») и все усерднее строит из себя плейбоя, хотя она-то знает, как трудно ему добраться до своего счастья, но тут, может, и правда все дело в ней, она ведь думает только о Хуберте, только о нем одном, особенно после той ночи, которую они провели вместе, после упоительного и безмолвного свидания, когда он смотрел на нее, она на него, после кофе на подоконнике в предрассветный час, когда на кромке неба занималась заря, а с другой стороны вдалеке светились, как в цирке, фасады электростанций, в чьих топках сгорают Иффенхофен и Айкельхоф. Хуберту никогда бы не пришло в голову спросить у нее: «Вы не забыли принять пилюлю?» — и, судя по всему, у него даже в мыслях не было что-либо предпринимать против «последствий», ни полсловом, ни намеком он не пытался побудить ее к тому, чего она никогда, никогда в жизни не сделает, он только ужасно об-

радовался, но и испугался, когда она сказала, что беременна, дал понять, что Хельга, наверно, очень огорчится, но не из-за того, что будет ребенок, это уж точно. Его эта весть потрясла, но он встретил ее со всей серьезностью своей бесконечно серьезной души — и это как раз в те дни, когда Эрвин, только что вернувшийся то ли из Сингапура, то ли откуда-то еще, она не помнит точно, сиял от счастья и был с ней любезен, как никогда, засыпал цветами, украшениями и экзотическими безделушками ее, Кит и даже Блюм, он прямо лучился обаянием юности, которым в свое время так ее обворожил. Он буквально носил ее на руках — от прихожей, через гардероб, мимо тех самых пальто, среди которых они с Хубертом столько раз укрывались, пронес ее через холл в гостиную, а оттуда в спальню, на кровать, и она отдалась, но не вверилась ему, а он — неужто и вправду? — прошептал: «Я ведь люблю тебя, надеюсь, ты еще не забыла, и знаешь, по-моему, нашей малышке Кит скучно одной, то есть я имею в виду—может, тебе пока что не стоит принимать? Но потом все-таки не смог удержаться от одной из своих дурацких шуточек: «А коли так — зеленый свет, полный газ и никаких ограничений!»

А Кит уже два месяца была не одна, и все время эти шуточки, эти пошлые, заранее придуманные, якобы импровизированные остроты, когда она выполняла с ним свои супружеские обязанности, и эти вечеринки у его родителей, в чем-то вульгарные до такой степени, какая даже Эрне Бройер не снилась. Ссора с Эрной ужасно ее мучит, ссора, в которой никто не виноват, только обстоятельства, хотя в обстоятельствах этих, если верить Рольфу, отцу и Катарине, виноват Генрих Беверло, а еще ее бывшая невестка, Вероника Тольм, урожденная Цельгер, дочь хетцигратского врача... Вероника уже дважды звонила, в первый раз она от страха даже трубку выронила, это был действительно ее, такой знакомый, светлый и ясный голос, «ангельское сопрано», как называли его монахини, колокольчатые переливы которого так украшали их хор, а иногда выводили божественное соло с органной галереи: о, ее «Господи, помилуй!» о, ее «Agnus Dei» [1], о, эти блаженные часы майских молений, когда серебристый голос Вероники славил деву Марию,— и разве не этот голос сделал ее, Сабину, столь страстной почитательницей Пресвятой Девы, разве не этот голос звучит и сегодня еще будет звучать в ней, когда она пойдет в Блорр в часовню, принесет туда цветы, прошепчет свое «Аве», поставит свечки и, наверно, поплачет — о себе, о Хуберте, о ребенке в своем лоне, о Хельге, и Бернхарде, и Кит, и о Веронике, которая тогда так вот запросто позвонила (откуда? откуда? откуда?) и спросила: «Ну, как вообще жизнь?» — и рассмеялась, услышав (после того, как она наконец подобрала трубку с пола) ее испуганное дыхание и снова спросила: «Ну, как вообще жизнь?» — на что она ответила: «Охрана и слежка, ты сама прекрасно знаешь, почти как в тюрьме». На что Вероника: «В *этом* я не виновата».— «И Генрих тоже?» — спросила она.— «О, он считает, считает без конца, скажи Рольфу, что с Хольгером все в порядке» — и гудки. А несколько месяцев спустя она позвонила снова, сказала: «Ах, милая моя пчелка, мне так жаль, мне так горько, ты помнишь еще наших славных монашек? Хочешь, я тебе спою?» И спела «Мария, майская царица...», и потом опять только гудки.

Она рассказала Хуберту, ему она не могла не сказать, он только посмеялся, кивнул: «Да нам все это известно, шеф-то уж точно в курсе, вы не волнуйтесь, все фиксируется, может, нам и вправду удастся их засечь, тогда мы их живо сцапаем, вам же лучше будет. Учтите, кстати, что все ваши звонки тоже прослушиваются, так что, милая

[1] Агнец Божий *(лат.)*.

Сабина, никогда не звоните, никогда, и не пишите. И мне тоже нельзя вам звонить и тем более писать, ни в коем случае, а меня скоро отсюда переведут...»

Уже почти стемнело, когда Блюм вернулась с Кит от Беерецов; она не принимала слишком всерьез так называемые «меры безопасности», говорила, что ни в какую безопасность все равно не верит, а уж особенно в безопасность «от этих» — «от них все одно не убережешься, эти пожалуют, когда им вздумается, как снег на голову, что днем, что ночью». Кит сияла от радости: она впервые сама, от порога до порога, несла домой молоко, целых два литра, только с тремя передышками, а еще ее угостили орехами и каштанами, она хотела немедленно их зажарить — в саду, на костре, «когда папа приедет»,— от этих слов ей стало больно, она как-то сразу поняла: Кит очень привязана к отцу, значит, она и ей причинит боль, да притом какую, и она сказала:

— Мы сейчас уезжаем вместе с бабушкой Кэте, поджаришь каштаны у дедушки, он будет очень рад.

— Мы там заночуем?

— Да.

— Тогда я оставлю папе немножко орехов и каштанов. А как же молоко?

— В холодильник поставим, ничего с ним не будет.

— Мне уже собираться?

— Только кукол возьми, а я прихвачу немного белья.

— Знаете,— сказала Блюм, когда Кит вышла,— напрасно вы думаете, что соседи к вам переменились. Конечно, когда полиция в деревне уже который месяц торчит — такое никому не понравится. Но на вас никто зла не держит. Это все те... Вы ведь не на одну ночь уезжаете, верно?

— Как вы догадались? Вы что-то знаете, Мария, скажите же мне...

— Ничего я не знаю, госпожа Сабина, то есть не то чтобы я знала, я просто вижу, чувствую, что-то вас гложет, и это не из-за ребенка, это что-то другое, хуже. Чайку выпьете? Или кофе?

— Да нет, мама с минуты на минуту приедет. Скажите, вы считаете, мне лучше остаться?

— Нет, поезжайте, так будет лучше, по-моему... Поезжайте. Мне вот не к кому было уйти, когда дома меня донимали, разве что к сестре, так она в городе, и надолго у нее не останешься, только до вечера, квартира-то тесная, муж с работы придет, дети — повернуться негде, а в монастырь я сама не пошла, хоть меня бы, наверно, взяли, даже с ребенком. Радуйтесь, что вам есть к кому уйти, и ступайте с богом.

— А вы со мной поедете, если я... не плачьте, Мария, пожалуйста, не плачьте, я ведь вернусь.

— Не вернетесь вы! Может, в Блорр заглянете, проведаете нас, но в этот дом—нет. А я с вами поеду, если... сами знаете. И еще одно я вам скажу, чтобы уж ничего промеж нами не осталось, вы ведь всегда были ко мне добры: ребенок у вас не от мужа, а к тому, от кого ребенок, вам нельзя...

— И вы знаете от кого?

— Нет.

— Правда нет?

— Клянусь. Просто я умею считать, а пять месяцев назад,— тут она улыбнулась,—ну вот, но чтобы при такой-то охране да слежке и чтобы никто не заметил, нет, удивительно, просто жуть берет, про вас ведь ничего такого не скажешь.

— А жуть берет из-за меня?

— Да нет, просто чудно: на какие хитрости человек горазд. А вот и ваша матушка. Не забывайте меня, коли надо что, вы-то мне всегда нужны. Может, все-таки поставить чай?

— Нет, спасибо, я хочу уехать, пока муж не вернулся.

Стоя в дверях, она смотрела, как водитель — это был не Блуртмель — вылез из машины, отворил Кэте дверцу, потом подошел к Кюблеру; нет, это и не Хуберт, хотя вполне мог приехать и он, этот какой-то новенький, по виду скорее из Объединения, чем из полиции. А вот и Кэте — она всегда так рада, когда видит маму; ей ведь уже к шестидесяти, а выглядит она все лучше и лучше. У нее удивительное лицо, вроде бы такое спокойное, но и взволнованное, а вот с парикмахершами ей не везет, правда, сегодня все обошлось: ей очень к лицу этот пышный, с белой проседью узел, но на сей раз она, видно, и правда чем-то взбудоражена, в руке кулек, наверно конфеты, она ведь собиралась пить чай; она поцеловала Кит, потом ее и сказала, нет, почти выкрикнула:

— Ты уже слышала?

— Нет. А что такое?

— Его сделали президентом, Фрица, твоего отца, у них и вправду хватило наглости, они его выбрали, я только что слышала по радио; так что долго рассиживаться не могу, надо скорей домой, он там один. Теперь нам крышка, ни минуты покоя, все на людях. Блямп своего добился.

— Господи, кто бы мог подумать, папа ведь уже старый и болен.

— Зато им он прекрасно подходит, сама знаешь: седенький, добренький, культурный, ведь Плифгер наотрез отказался. А он у нас обходительный, и голос по радио очень даже бодрый, я сама слышала. Он, конечно, делает вид, будто для него это большая честь. Доверие, ответственность и все такое. Но ты-то, доченька, ты, оказывается, беременна, и уже на шестом месяце, а мы ничего не знаем!

— Значит, Гребницер все-таки проболтался?

— Да нет, Блямп нам сказал, это надо же, именно Блямп, он вычитал в какой-то спортивной заметке, Гребницер нам только месяц сказал, а что тут плохого? Почему ты скрывала? Ты что, не хочешь ребенка?

— Ну что ты, мама...— С ума сойти, про ребенка такое сказать.

— Тогда в чем дело? Что-нибудь с Эрвином?

Она кивнула — прямо в прихожей, двери настежь, но она кивнула, хотя что скажешь кивком, очень много и ничтожно мало, все и ничего. Разве объяснишь, как тошно, как противно ей всякий раз после исполнения пресловутого супружеского долга, не столько даже до или во время, а именно после, когда он болтает без умолку, ни секунды не способен помолчать и полежать тихо, просто молча, — а сперва все эти механические, заученные ласки, такие чужие, будто взятые напрокат, весь этот бездарный спектакль, упоение ролью «опытного мужчины», «бесподобного любовника», тогда как Хуберт — да, в такие минуты она думает о Хуберте, не может не думать, пусть это мучительно, пусть бесстыдно, ей все равно,— он просто гладит ее лоб, брови, ворошит ей волосы, иногда даже смущенно трогает ее за кончик носа, Хуберт, который так ласков, тих и нежен вначале и так спокоен и серьезен потом,— а у Эрвина вечно эти жалкие, вымученные, идиотские остроты, все, ну просто все до единой позаимствованные из лексикона радиослужбы дорожного движения! «Опять мы пренебрегли правом преимущественного проезда, ха-ха-ха!» «Зато в этот поворот мы вписались классно!» — разве объяснишь Кэте, разве кому-нибудь объяснишь, тем более судье на бракоразводном процессе, до чего могут довести эти попугайские шуточки, когда ты и так через силу выплачиваешь свой злополучный супружеский долг? А он, судя по всему, так ценит свое чувство юмора, что просто не может без них. Шуточка до: «Зеленый свет — и никаких запрещающих знаков!» Шуточка после: «Все пробки и шлагбаумы позади, приехали, можно вылезать — ха-ха-ха!»

— С Эрвином нелады? Но это, наверно, нормально, на шестом-то месяце? То есть, это, конечно, серьезно, доченька, но ведь не окончательно?

— Ах, мама, я не могу с ним больше жить, видеть его не могу! Я сейчас же еду с тобой в Тольмсховен, только вот Кит возьму,— она горько усмехнулась,— и еще, пожалуй, вязанье.

— Что значит: не могу жить, не могу видеть? Во время беременности это бывает сплошь и рядом, в таких случаях жена просто уезжает погостить к маме!

— Это я и намерена сделать, вот только Кит соберет своих кукол...

— Как? А чай? А полчасика поболтать с мамой?

— Нет. Никакого чая. А поболтаем по дороге, да и дома успеем наговориться. И потом, мама, неужели ты так и не научилась считать: если я на шестом месяце, когда, по-твоему, я, ну, скажем так, зачала?

— Месяцев пять назад, я полагаю.

Она решительно не понимала, в чем дело, эта милая, пожилая женщина, которую годы только красят, только облагораживают, она была единственной из всех «правленческих баб», как называет их Эрвин — и тут он, как ни странно, одного мнения с Рольфом,— единственной, на кого приятно посмотреть, кто выделялся и вкусом, и манерами, вот разве что прическа иногда подкачает, наверно, девочкой она мечтала о локонах и до сих пор не вполне изжила эту мечту, но в остальном — выделялась и осанкой, и речью, и каким-то особым достоинством, а ведь всего-навсего дочь обнищавшего садовника из Иффенховена, который вконец прогорел на своих экспериментах с розами и тюльпанами, потому что совершенно не умел считать, как не научилась считать и его дочь Кэте, хотя ей это важное умение очень бы пригодилось, а уж в таких вещах способность к счету ей и вовсе отказывала; она искренне недоумевала, почему всех так веселит рождение младенца уже через пять-шесть месяцев после свадьбы, она так и не догадывалась, что она, Сабина, ну да, уже до свадьбы, хотя ведь и она сама, как нетрудно подсчитать, если, конечно, Рольф не из достославной когорты семимесячных, тоже уже до свадьбы; но, черт возьми, должна же она сообразить, что девять месяцев — это девять, а пять — это пять и что, если она сейчас на шестом, значит, никак не могла она забеременеть от Эрвина, о чем Блюм, конечно, давным-давно догадалась, ведь летом мама сама над ней подтрунивала: твой Эрвин, мол, совсем от рук отбился, вон как надолго сбежал...

— Нет, мы уедем сегодня, сейчас же, а вязанье ты мне одолжишь. И потом, мама, неужели ты не помнишь, где был Эрвин пять месяцев назад?

Наверно, нельзя было вот так сразу, точно обухом,— Кэте раскрыла рот, побледнела, выронила кулек, из которого рассыпалось печенье, как раз в том углу, где она в последний раз, прощаясь с Хубертом, вверилась ему, между зеркалом и дверью туалета, там, где на стене прикноплен омерзительный рекламный плакат «Пчелиного улья», семейного предприятия Фишеров: молоденькая красотка нагишом входит в улей, а выходит разодетой в пух и прах. *«Улей — наряды для Евы»* — только сейчас, стоя перед матерью, она вдруг подумала, какая жуткая нелепица этот плакат: кто же по доброй воле полезет нагишом в пчелиный улей, кто поверит, что там шикарные платья, когда любому дураку ясно, что там разъяренные пчелы? А Кэте, до которой наконец-то дошло, уже не бледная, сняла очки, подобрала кулек и сказала:

— Нет, доченька, быть не может, чтобы ты...— Но к счастью, против ожиданий, не задала самого простого вопроса, которого она боялась больше всего: «Кто же он?»

— Да, я,— ответила она как можно спокойней.— Я потом, после все объясню, а сейчас, мама, милая, пожалуйста, прошу тебя, уедем отсюда, видишь, Кит уже и кукол собрала.— Больше всего ей сейчас хотелось выкрикнуть в это родное, такое испуганное, такое невинное лицо одно из словечек Эрны Бройер, они куда честнее и пристойнее прибауток Эрвина, скабрезностей Фишеров, и тут она вдруг поняла: еще одно ее подгоняет, ведь там, в Тольмсховене, Хуберт, им надо срочно поговорить, и, конечно же, она никому его не выдаст, никому не назовет его имя, хотя бы из-за Хельги и Бернхарда, никому!

А еще — почему бы не подумать и об этом? — из-за его работы, из-за его службы; выгнать его, конечно, не выгонят, но если все раскроется, неприятности у него будут наверняка, начальству все это вряд ли понравится, тем более что он ведь был «при исполнении».

— Ну, хорошо,—решила Кэте,—тогда едем, я тоже спешу, Тольм там один и, наверно, совсем убит, надо его утешить. Теперь-то мы уж точно попадем под первую степень безопасности.— И неожиданно шепотом спросила:— Она не звонила больше?

— Нет.

— А мне звонила. Застала меня у Кольшрёдера и знаешь что сказала? «Никогда не ходите на чай к Блямпу». И больше ничего, а когда я ей сказала: «Возвращайся, деточка, приезжай!» — она мне ответила: «Не могу, и рада бы, да не могу» — и все.

Кит уже радовалась печенью, предстоящим прогулкам с дедушкой, каштанам, которые они будут жарить на костре. А Блюм все плакала, не то чтобы с горя, скорее просто так, «от чувств», а когда Кэте пристально на нее глянула, смешалась и вдруг спросила:

— А с молоком что делать?

— Спросите у мужа, может, он будет молоко, или кашу, или молочный суп. Если нет — отдайте Хермсфельду или разлейте по мискам и отнесите кошкам к дому Бройеров, там сейчас пусто. И не надо плакать, ладно?

Она попросила водителя ненадолго остановиться у часовни, зашла, вытерла глаза, успокоилась, ей как-то сразу стало легче, почти легко; нет, Хуберта она удерживать не станет, если он, конечно, сам не захочет. Так будет лучше для Хельги, для Бернхарда, ведь у мальчика скоро первое причастие. А цветов у мадонны больше чем достаточно, Беерецы, Блюм, женщины Хермансов позаботились об этом еще в месяц Розария[1], они частенько приходили сюда помолиться, иной раз даже и без священника, и она приходила тоже.

И хотя водитель, новенький, которого Сабина и видела-то в первый раз, все мог услышать, Кэте сокрушенно вздохнула:

— Ах, детка, детка.— И, покачав головой, уже шепотом добавила: Господи, до венчания, когда любишь и скоро свадьба — это еще куда ни шло. Но чтобы в браке — и с другим?

III

Блуртмель все приготовил, проследил за температурой воды, добавил эссенций, помог раздеться, расшнуровал ботинки; нагибаться ему страшновато, Гребницер советует резких наклонов вовсе избегать; куртку, брюки, исподнее — это все он может сам и помогать себе не позволяет, а вот носки и ботинки приходится препоручать Блуртмелю, и в ванну тот ему помогает влезть, а по сути — почти несет его в ванну, приговаривая:

[1] Розарий — цикл молитв у католиков, месяц Розарий — октябрь.

— Опять вы похудали, опять как перышко, мне ведь весов не нужно, я и так чувствую — грамм шестьсот-семьсот сбросили, не меньше.

И конечно же, едва он коснулся воды ногами и ягодицами, тут же напомнил о себе мочевой пузырь (попытки уладить это дело до купания, как обычно, кончились ничем), пришлось, завернувшись в полотенце, снова плестись в туалет. Блуртмель тем временем колдовал над ванной, проверил ладонью температуру воды, добавил горячей, плеснул еще немного эссенции.

Он оборудовал ванную с таким расчетом, чтобы видеть в окно, которое специально для этой цели пришлось пробить пониже, кроны деревьев и небо — оно здесь почти никогда не бывает голубым. Сегодня, судя по всему, ветер с юго-востока, в окне, уже превратившись в облака, проплывают шлейфы электростанций, с виду совершенно безобидные облака, идиллические, совсем как настоящие, как на полотнах голландцев, как у раннего Гейнсборо или Констебля, но в двенадцати километрах к западу они вбуравились в небо столбами дыма, совершенно безвредного, как клятвенно заверял его Кортшеде, потому что это не дым, а просто водяной пар, из которого ведь и образуются облака, так что это всего лишь «погода»; а когда ветер с севера или с северо-запада, небо ясное, безоблачное, но какое-то белесое, и только в редкие дни — он все никак не соберется подсчитать, сколько их в году,— небо по-настоящему голубое.

Блуртмель присел сбоку на табуретке, зная, что он не выносит, когда кто-то за спиной, зная и о том, что этот панический страх у него с войны, после нескольких особо стремительных отступлений, которые правильней было бы назвать бегством. Стрельба за спиной куда противней, чем спереди, когда видишь, откуда стреляют. Но быть может,— это уж деликатная теория Блуртмеля — у него и вправду привитый еще со школы «комплекс спартанца», от которого ему уже не избавиться — боязнь позора. Если и вправду так, тогда этот комплекс глубоко засел, впрочем, не так глубоко, как молочный суп, исповедь, «один или с кем-то»; от позора его бог миловал, а вот страх — страх всегда при нем. Все-таки его тогда разок зацепило, но к его же благу, иначе он не попал бы в Дрезден в госпиталь, не встретил бы Кэте, да к тому же и рана оказалась лучше некуда, как по заказу, не тяжелая и не слишком болезненная, но в то же время не какая-нибудь пустяковая царапина, с которой ни о чем, кроме полевого лазарета, и мечтать не смей. В Дрездене он только одного боялся: как бы не стало известно про «постоянно действующий приказ», который он, командир батареи, отдал своим солдатам: «Только они появятся, только их увидите — всем драпать, немедленно драпать!» Сам-то он, будто капитан на корабле, почти до конца проторчал на посту, успев прихватить с собой лишь сигареты, пистолет и карту, он был потрясен чудовищным превосходством неприятеля в живой силе и танках, какие там «русские голодранцы» — все ладные, в опрятной форме, судя по всему, его так никто и не заложил, даже Плон, его лейтенант, хоть и кричал беспрерывно «о войне до победного конца», но, слава богу, видно, и сам не верил. Дрезден, Кэте...

Сегодня за завтраком, собираясь на последнее заседание — у Кэте это называлось «опять в лабиринт, опять к своему Минотавру», — он уже не в первый раз заметил, какие похожие у них глаза, у Кэте и у Рольфа. У нее, правда, чуточку посветлей, посветлей на едва уловимый оттенок, но и в ее зрачках та же дымка нездешней скорби и те же глубины отчаяния, подернутые, правда, иной раз ветерком легкомыслия и бесшабашного озорства Ведь советовала она ему сразу же сбыть с рук «Листок», не продавать Айкельхоф, стать директором музея, а то и министром по делам культов, на худой конец — окружным советником по культуре, шансы у него были, англичане его уважали, да и партию он бы себе подыскал; по ошибке

интернирован, незаслуженно принял лагерные муки — все это только укрепило его безупречную репутацию, а нацистом он и правда никогда не был. Случайно? Он и сам толком не знает; то есть, конечно, все было омерзительно, тут и вопроса нет, годами он, с помощью графини, перебивался уроками, подрабатывал в замках и архивах, каталогизировал частные коллекции, пописывал статейки для журналов, пока не началась война и его не забросило в артиллерию. Страх он познал и до армии, страх неизменно караулил за стенами библиотек, архивов, импровизированных домашних классов, где он давал частные уроки, страх подстерегал на улице, куда все же приходилось выбираться хотя бы в поисках женщины; он вспомнил о замковых архивах, епископских библиотеках, о чудаковатых церковниках, эти самые милые; вспомнил о милостях, которыми одаривали его молоденькие учительницы и официантки, а он, надо надеяться, одаривал их; вспомнил о томных взглядах, которые, случалось, бросали на него иные баронессы, хозяйки замков,—его эти взгляды пугали до смерти, хоть он и увлеченно осваивал «помилуем друг друга» с графиней, но ведь, в конце концов, Герлинда была не замужем. Прямого давления он никогда не ощущал и до сих пор не знает, как и до какой степени он бы такому давлению уступил, не знал и в ту пору, когда принял «Листок»; он и сам стеснялся своей политической безупречности, которую англичане просто приняли к сведению и уважали, втайне изумляясь, как такое вообще возможно. Иногда — не слишком всерьез — он прокручивал в мыслях свои возможные биографии директора музея, а то и министра, с резиденцией в Айкельхофе: что ж, «доходов» им бы вполне хватило и так, а многое, очень многое могло бы, да, могло бы выпасть совсем иначе—Рольф, возможно, не угодил бы в тюрьму, Сабина не познакомилась бы с этим подонком Фишером, а Герберт, вероятно, не вырос бы таким недотепой; не исключено, что и Вероника и Генрих — ну да, наверно, все они в глубине души чересчур иронично относились к «Листку», он сам, Кэте, дети, друзья, — да заведовать музеем было бы в самый раз, министр — уже перебор, сидел бы по уши в партийном дерьме.

Он вдруг задумался, отчего Вероника всегда звонит только Кэте, ему ни разу не позвонила, и невольно усмехнулся: уж не ревнует ли он из-за того, что она ему не звонит, всегда только Сабине и Кэте, даже Рольфу никогда, Рольфа она, наверно, боится и уж тем паче, даже потехи ради, не звонит этому Эрвину Фишеру, которому и сам он позвонил лишь однажды, да и то когда, что называется, приперло, просил дать Рольфу хоть какую-нибудь, пусть самую завалящую, работу в «Пчелином улье», можно грузчиком, можно дворником, все равно. Но нет, Фишер наотрез отказал, очередной раз сославшись на имя Хольгер, которым нарекли младенца уже *«после того»*, да еще и добавил, что «не позволит этому типу сеять среди своих рабочих красную заразу». Но ведь Хольгеров на свете сколько угодно, был же и Хольгер Датчанин[1], и премьер-министр по имени Хольгер, есть, наконец, и граф Хольгер фон Толм, который до сих пор мыкается где-то между Малагой и Кадисом, пытаясь (как он выяснил, по большей части безуспешно) соблазнять богатых туристок, преимущественно англичанок и шведок, а немок только на самый худой конец. С другой стороны, может, это и правда глупое упрямство — нарекать в наши дни и второго сына именем Хольгер?

Так отчего же Вероника ни разу не позвонила ему? Ведь он ничего худого ей не сделал, она всегда была с ним мила, он отвечал ей тем же, разве что никогда не делал того, что, вероятно, делали Кэте и Герберт,—не давал ей денег. По части денег у Кэте вообще очень уж легкая рука, она гораздо щедрее, чем он, и ведь не скажешь, что это от родителей: его отец, одержимый манией землевладения, половину

[1] Герой одноименной сказки Х. К. Андерсена.

своего скудного жалованья откладывал на бросовые земли. Отец Кэте тоже был всего лишь садовником, вечно в долгах, а ее мать вечерами тайком убиралась в магазинах, тайком — чтобы соседи, не дай бог, не увидели, хотя все в округе и так прекрасно знали, что она подрабатывает уборщицей. Жили очень скромно, пожалуй, даже скромнее, чем его родители, и тем не менее у Кэте никаких денежных комплексов, она не стесняется своих денег, но и не кичится ими, оставляя иной раз внушительные суммы у портнихи или отправляясь в кафе Гецлозера на такси.

Сабина денег Веронике не давала наверняка, об этом уж Фишер позаботился, он держит ее довольно строго; этот раздобрится и раскошелится только на что-то доходное или престижное: на платья и лошадей для Сабины, чтобы фотографировать ее для журналов, то одну, то с Кит, внучкой, его любимицей, которую он так редко видит; у Фишера хватило невозмутимости и бесстыдства устроить так, чтобы Кит, четырехлетнюю малютку в жокейской курточке, выбрали «ребенком мая». «Ребенок месяца» — это было его последнее фирменное изобретение: раз в месяц все газеты и журналы, от солидных до бульварных, помещают фото избранника или избранницы, иногда эти снимки, увы, проникают и в «Листок», повсюду, со всех страниц и витрин глядит одно и то же очаровательное созданьице, с головы до ног одетое в продукцию «Пчелиного улья», а кто же не знает, что «Пчелиный улей» — это Фишер. Прелестные детки, то задумчиво-мечтательные, будто прямо с полотен Ренуара или Рубенса, то фривольно-дерзкие, словно их уже обучают стриптизу, одетые то нарочито строго, то с артистической небрежностью, иногда и на заграничный — андалузский, сицилианский, а недавно, в честь Олимпиады, даже и на русский манер, но неизменно с фирменным ярлычком «Пчелиного улья». А потом из двенадцати «детей месяца» выберут «ребенка года» и именно от Блямпа, который вычитал это в газетах, он должен узнавать, что Сабина беременна, это пропечатано в спортивной хронике в связи с какими-то скачками, Ампланжер уже прислал ему вырезку: «Одна из главных наших надежд, Сабина Фишер, к сожалению, выступить не сможет, она готовится стать матерью». Так вот и узнаешь о событиях в собственной семье, о своем новом потомстве; нетрудно представить, как разъярится, но и возликует Рольф, если ему попадется эта заметка, в которой он усмотрит «омерзительную блевотину», но вместе с тем и еще одно «саморазоблачение системы», «неуклонный рост проституционных тенденций».

Блуртмель спустил немного воды, добавил горячей, жестом велел ему подвигать ногами: в воде ноги и вправду куда послушней, они становятся легче, они бы и остались такими, если бы не «Листок», который свинцом разлился в суставах,— легконогий директор музея, легконогий, нет, все же вряд ли министр, но, как знать, быть может государственный секретарь. Птицы в сером небе среди обманчиво белых облаков, идиллических, вспененных, пушистых, будто созданных самим господом богом, а не исторгнувшихся клубами из труб электростанций; белые, бестревожные, переменчивые, они плывут и плывут по бескрайнему небу, будто держат свой путь вечно, хотя на самом деле родились совсем недавно, только что, в Хетциграте, родились из угля, что пластами залег под Айкельхофом, но ведь и пласты созданы господом богом, так что в конечном счете в божественности облаков не приходится сомневаться. Дивный день, если бы не облака, сейчас он уже чуть подернут первыми вечерними сумерками, и даже ласточки изредка мелькают в окне, из длиннокрылых ему милее всех ласточки, особенно стрижи, стремительная и красивая птица, ловкая, ладная и интеллигентная. Но главные его любимцы — пернатые хищники: соколы, канюки, ястребы. Особенно соколы, они до сих пор гнездятся в башне замка; куда им, беднягам, податься, когда сбудется прорицание Кортшеде, куда направят они, нехотя помахивая

крылами, свой плавный и неторопливый полет, свое царственное парение? И опять — неотвязно — воспоминание о сове, которая с наступлением сумерек отделялась от стены и летела к кромке леса, бесшумно, уверенно, целеустремленно. Иногда в окне мелькают и голуби из голубятни Коммерца, но странно — голуби ему не нравятся, не нравится их воркованье, их возня в нишах стены, где они высиживают потомство, не нравится их суетливый полет, и он, глядя в прямоугольник окна на серое, в белесых разводах небо, долго еще раздумывал, почему ему так милы хищные птицы,— Блуртмель время от времени проверял его пульс и кивал головой в знак того, что все в порядке.

Как хотелось бы ему провести остаток дней за такими невинными занятиями: наблюдать за полетом птиц, пить чай, смотреть на Кэте, когда она вяжет, слушать, как она в своей изумительной дилетантской манере (у нее это называлось «от души») играет Бетховена,— а у него вдобавок к одному бессмысленно необъятному кабинету в «Листке» теперь появится второй, столь же бессмысленно необъятный, и ему надлежит и тот и другой заполнять своей «персоной», а он даже не знает, что его дочь ждет ребенка, и кроме Блямпа, который узнает об этом из спортивных новостей, больше, конечно же, некому ему об этом сообщить; да, потомок, хотя и не будущий Тольм, а всего лишь будущий Фишер. Ну, ничего, один-то потомок по фамилии Тольм у него точно есть, его зовут Хольгер, и он частенько дает ему повод для весьма любопытных размышлений по части правонаследования: если они укокошат Рольфа как ренегата, а его самого — как новоизбранного президента, этому семилетнему мальчонке, прямому наследнику Рольфа, достанется очень даже приличный куш, мальчонке, которого он уже три года не видел, с которым он, когда тот еще только-только научился лопотать, ходил в парк кормить уток, как недавно с Кит. Ходил, кормил, даже это ему теперь «не рекомендовано», с тех пор как совсем недавно одна утка, отделившись от стаи, что так красиво бороздила темную гладь пруда, абсолютно противоестественно, будто заводная игрушка, поплыла прямо к берегу, и молодой сотрудник охраны Тёргаш выскочил из кустов с криком «Ложись!», опрокинул его и Кит на землю, сам ничком бросился рядом,— а утка, которая, как потом выяснилось, была всего лишь деревянной «подсадкой», тем временем благополучно завершила свое противоестественно-целеустремленное движение, уткнувшись носом в островок прибрежной осоки и еще более противоестественно завертевшись на одном месте. Тёргаш, понятно, принял ее за плавучую мину, которую замаскировали под утку или в утку спрятали. К счастью, его опасения не подтвердились, но Тёргаш провел тщательное расследование, результат которого — заплаканная и во всем признавшаяся молоденькая кухарка: оказывается, она обнаружила утку в подвале, отмыла и «пустила поплавать», просто так, «потехи ради», как она выразилась. Ему с трудом удалось предотвратить увольнение девушки и шумиху в прессе, да и то лишь под тем предлогом, что разглашение инцидента может навести злоумышленников на «опасные идеи». С тех пор он недоверчиво относится к уткам и вообще к птицам, за которыми прежде так любил наблюдать. А что, ведь вполне можно изобрести механических птиц с дистанционным управлением, он живо представил себе, как такая птица, начиненная взрывчаткой, внезапно спикировав, переходит на бреющий полет и влетает в открытое окно, неся в своем искусственном брюшке, в своей искусственной грудке смерть и разрушение. Ласточек, видимо, можно исключить, воробьев и дроздов тоже. Но голубей и ворон уже, пожалуй, нет, аистов — тем более, а ведь есть еще дикие гуси, целые стаи механических птиц, начиненных смертоносным грузом, и недавно он не удержался от соблазна именно в разговоре с Блямпом как бы невзначай ввернуть: «Даже птицам небесным и

то нельзя доверять». На что Блямп с готовностью отозвался: «Даже торту, который тебе присылают от кондитера». Да, после случая с именинным тортом Плифгера всем им пришлось сесть только на домашнюю выпечку, изготовление которой осуществлялось если и не под прямым надзором, то с соблюдением всяческих мер крайней предосторожности.

Во всей этой истории с тортом прослеживалась редкостная изощренность замысла в сочетании с педантизмом исполнения: ведь кто-то должен был разузнать, какому кондитеру заказан торт, каким маршрутом его доставят, в точности определить время, когда опускается шлагбаум, чей-то голубой «форд» всю дорогу маячил перед фургоном кондитера и нарочно притормаживал, подведя фургон к переезду точнехонько в ту минуту, когда шлагбаум стал опускаться; этот голубой «форд» постоянно оказывался перед фургоном кондитера именно на тех участках, где обгон запрещен, а на переезде торт подменили, вместо настоящего подложили другой, «с начинкой», настоящий же потом нашли в урне неподалеку от шлагбаума, и если бы кто-то не позвонил Плифгеру и не предупредил его (он по-прежнему надеется, что это была Вероника, она любит звонить) — страшно подумать... На такое способен только Беверло, не зря Вероника сказала: «Он считает, считает, считает без конца». Торт был скопирован точь-в-точь, «нашему дорогому шефу к 65-летию», и ничто, ничто — ни допросы самого кондитера, членов его семьи, его учеников, помощников и соседей, ни тщательное обследование телефонной проводки — не выявило ни одного подозрительного лица. Дамы из управления — ведь это они заказывали торт, и надпись, и украшение (незабудки на сахарной глазури) — выли навзрыд, до икоты: торт был точь-в-точь такой же, все совпадало тютелька в тютельку, даже вес, и если бы Плифгер, как предполагалось, торжественно его взрезал, его разорвало бы в клочки, беднягу Плифгера, его предшественника, так что «нельзя верить даже хлебу, который подают тебе на стол, и даже пачке сигарет, которую ты вскрываешь...» Это уже после случая с Плутатти.

Денег, хотя бы тех, что подбрасывает им Кэте, у них вполне хватит, чтобы вывести таких птичек, а уж фантазии им и вовсе не занимать, особенно Веронике; смастерят стаю диких гусей, штук тридцать (шелест крыльев в ночи!), направят на замок — эффект будет не хуже, чем от самой наисовременной «катюши». А почему нет? В наше-то время, когда изобретены крохотные и проворные электронные роботы, на которых — среди прочего — Блямп зашибает свои денежки, и, конечно же, он ни с кем этой своей тревогой не поделился, даже с Кэте, тем более с Блямпом, иначе тот немедленно поручит кому-нибудь из своих высококвалифицированных физиков или инженеров «обмозговать идейку», пусть только из «чисто теоретического интереса», ради «оживления баллистической дискуссии», посмотреть, что получится,— а вдруг какое-нибудь новое, фантастически эффективное оружие?

А Хольцпуке под этим предлогом, чего доброго, еще додумается забрать все пространство вокруг замка и небо над ним в металлическую сетку — и не будет ни птиц в небе, ни облаков, пусть даже они из труб Хетциграта. Нет уж, лучше спокойно наслаждаться и видом парка, и небом над головой, собственноручно доставать сигарету из пачки и самому задувать спичку, которой он эту сигарету зажжет, лучше и дальше кормить вместе с Кит уток, бросая им крошки с террасы. Оттуда, с террасы, крошки можно бросать далеко, дирижируя движением стаи, радуясь прихотливым узорам, которые чертят на воде жадные до хлеба птицы,— а ночью сова, сычи, летучие мыши, полет которых все еще остается для него загадкой.

Во сне прилетали орлы, стервятники, огромные, с несусветным размахом крыла, они летели уверенно, пикировали стремительно и зло, прямо на него, грудь в грудь, и при столкновении взрывались — вспышка огня. дым и грохот, который еще долго гремел у него в ушах, когда он, уже проснувшись, молча лежал рядом с Кэте, взяв ее за руку и ища успокоения в ее тепле, в ровном биении ее пульса. Или тихо вставал, звонком вызывал Блуртмеля, и тот растирал, массировал ему окоченевшие ступни. да и на следующий день бывали минуты, когда он вздрагивал при виде голубя, ласточки, а то и воробья, подлетающего к замку, и с трудом сдерживался, чтобы не завизжать, как тогда Кортшеде.

Блуртмель напомнил: «Не пора ли, господин доктор?» — помог ему выбраться из ванны, лечь на массажный столик для растирания бальзамами и мазями, набросил на него махровую простыню, досуха растер все тело, деликатно прикрывая срам, и жестом предложил подвигать ногами в воздухе, у него это называлось «воздушный марш»... Это, разумеется, очень даже непростая техническая проблема: сконструировать аппарат, который бы в точности, до неразличимости имитировал все движения летящей птицы — возможно ли вообще воспроизвести все нюансы этих движений, не поступившись главной функциональной задачей: ведь в «птице» надо еще разместить и спрятать взрывное устройство, которое, к тому же, должно сработать? Но ведь механических заводных птиц уже делают, тут он вспомнил об одном разговоре с Вероникой, еще в Айкельхофе, на террасе, Вероника тогда утверждала, что искусственные птицы летают «гораздо натуральней» настоящих, а уж заводные игрушечные птицы и подавно «бегают куда естественней, чем живые».

Одним прикосновением своих мягких рук Блуртмель остановил «воздушный марш» и принялся втирать мази, начал с пяток, попросив, «если будет хоть чуточку больно, сразу же сказать», вскоре выразил удовлетворение, констатировав удивительную расслабленность мышц,— наверно, оттого, что исчез страх, на смену которому пришли воображение и любопытство; ему было хорошо, мазь и волшебные руки Блуртмеля делали свое дело; но в ту же минуту, приподняв голову—отсюда он мог разглядеть даже террасу и ров с водой,—он подумал: а что, если это все-таки Блуртмель? Ведь есть же эти таинственные крохотные булавки, которыми выстреливают прямо в мозг... Да и почему, в конце концов, не Блуртмель, кому известно, что гнездится, что зреет в потаенных глубинах его души, какая вспышка внезапной ярости судорогой сведет его пальцы на горле жертвы? Уж Блуртмель достаточно сведущ в анатомии (зря, что ли, посещал специальные курсы), чтобы скрыть следы удушения и инсценировать смерть в результате несчастного случая. Кто он на самом деле, этот милый человек с красивыми, сильными, чуть жилистыми руками и грустным мягким взглядом, который невесть почему подчас роднит массажистов и священников? Что, в конце концов значит «проверенная анкета?». Родился в 1940-м в Катовице, фамилия родителей — Блутвицкие или что-то в этом духе, учился в католическом интернате, но «вследствие разочарования в послевоенном развитии страны» прервал обучение, покинул родину и, отрекшись от своей национальности, взял себе странную фамилию — Блуртмель, этимологию которой никто, в том числе и он сам, до сих пор не в состоянии разъяснить. На Западе в школу не поступал, от всех социальных поощрений и воспомоществований отказывался, обучился на санитара и, хотя проявил, как утверждали все, кто имел с ним дело, явные способности к медицине, завершать школьное образование и поступать в университет не захотел и позже обретался где-то на юге, в Альгёйе, у монахинь, зачем-то приобрел очень мощный и дорогой мотоцикл, на котором в основном и проводил свободное время, без видимой цели (действительно ли эти поездки были бесцельными или только казались таковыми, с

окончательной уверенностью установить не удалось) колесил по окрестностям, ездил в Мюнхен, Гамбург и Берлин («восточных контактов» не зафиксировано), потом поступил на службу (одновременно слугой, массажистом и шофером) к епископу, у которого проработал десять лет, пока епископ не отрекомендовал его Тольму. Епископ Блуртмеля ему, можно сказать, почти подарил, ибо Блуртмель, по его словам, «незаменим, просто незаменим, но тебе так и быть отдам, если он, конечно, захочет, тебе он гораздо нужнее, чем мне, на твоем-то посту!» Епископа он знал еще со времен своих частных уроков и по искусствоведческому факультету, тот защищал диплом по Босху, да и на фронте их дорожки пересеклись, будущий епископ был тогда фельдфебелем артиллерии — хотя вообще-то ему всегда не по себе, когда епископы заявляются к ним в Объединение этаким сомкнутым строем, так сказать, наносят визит, поскольку им «надо поддерживать контакт со всеми общественными группами», — ему не по себе от легкой примеси подобострастия и панибратства в их жестах и интонациях, в которых так и сквозит: «Мы ведь в одной упряжке!» Почему, собственно, в одной? В какой такой упряжке? А с проститутками, выходит, не в одной? Но нет, этот епископ действительно милый, у него обыкновенное имя Ханс и какая-то еще более простецкая фамилия, он по-прежнему интересуется Босхом и искренне хотел ему удружить. Так вот, Блуртмель согласился, поступил в 1971 году к нему на службу; вскоре выяснилось, что он действительно незаменим и по сочетанию способностей (шофер, слуга, массажист), и по складу характера, он оказался в высшей степени деликатным, этот стройный, симпатичный и тихий человек, призванный скорее быть монахом, чем слугой (хотя кто сказал, что одно исключает другое?), у которого, казалось, не может быть и намека на личную жизнь, но, однако, личная жизнь у него была: мать, которой он помогает, сестра, к которой он время от времени наведывается, обе сохранили свою звучную польскую фамилию и живут неподалеку от Вюрцбурга, безобидные гражданки, абсолютно вне подозрений, муж сестры даже служит в полиции; оказалось, что у Блуртмеля — вот уж сюрприз так сюрприз, Тольм всегда считал его платоническим гомосексуалистом, если не вообще бесполым существом, — есть даже подруга, тридцатилетняя Эва Кленш, у которой он без стеснения проводит свои выходные дни, а также ночи, с которой он появляется на людях, ходит в ресторан, в кино и театр; вот уже десять лет, еще со времени службы у епископа, это его давняя и прочная привязанность. Эва Кленш, которая держит во Франкфурте восточный магазинчик (израильские, турецкие, палестинские тряпки, безделушки, сувениры и прочее барахло), ездит, по мнению экспертов службы безопасности, довольно часто (на взгляд Хольцпуке—что-то уж слишком часто), на Ближний Восток и даже организовала при каком-то лагере палестинских беженцев целую службу надомниц — так вот, эта Эва Кленш не то чтобы была под подозрением, вовсе нет, но и в рубрику «абсолютно вне подозрений» тоже никак не попадала, из-за чего и Блуртмель при всем желании не мог сподобиться чести числиться в этой рубрике, так сказать, безоговорочно. Кто ее знает, чем она там занимается, о чем шушукается, что на что меняет и обменивает в темных закоулках Бейрута и его окрестностей, что закупает на окраинах Наблуса, Дамаска или Аммана. И хотя на таможне ее всегда можно было досмотреть, а то и с пристрастием обыскать — ибо тут если не политика, то ведь не исключен и героин, гашин, да мало ли что,— эти абсолютно законные, хотя и предельно тщательные досмотры и обыски не выявили ничего, ровным счетом ничего подозрительного в деятельности Эвы Кленш, хорошенькой, уверенной в себе, деловитой и предприимчивой молодой особы, которая умело и абсолютно легально пользовалась перепадами курса американского доллара; и даже когда ее — разумеется, обычным порядком, на со-

вершенно законных основаниях — подвергли налоговой инспекции, проверка не обнаружила ничего подозрительного, за исключением нескольких спорных счетов в графе дорожных расходов, но какая же инспекция не находит таких мелочей? Есть у нее и увлечение — стрельба из лука, она и тут преуспела, была чемпионкой то ли округа, то ли района, и всегда возит с собой в машине лук, мишени и стрелы. Разумеется, ее анкету тоже «подняли» и тщательно изучили: тринадцати лет, незадолго до сооружения берлинской стены, она вместе с отцом, электросварщиком, матерью, обмотчицей электромагнитов, и десятилетним братом, ныне — солдатом сверхсрочной службы, переехала на Запад, в Дортмунд, училась прилежно, успешно окончила среднюю школу, работала сперва продавщицей, потом закупщицей в универмаге, уже в двадцать один год открыла собственную галантерейку, взяв довольно рискованные для своих скромных возможностей кредиты; но дело повела уверенно, сейчас у нее даже есть филиал где-то под Оффенбахом. Эта хорошенькая (деталь в криминалистическом отношении не совсем обычная, а потому тревожная) Эва Кленш два года назад под несомненным влиянием Блуртмеля, который познакомился с ней десять лет назад на митинге (еще один сюрприз) СДПГ, перешла в католичество. Обе эти детали — СДПГ и католицизм — почему-то не дают ему покоя. Не то чтобы он имел что-то против СДПГ и католицизма, если не считать комплекса исповеди, приобретенного стараниями Нупперца, нет, но как-то связь не улавливается, да и странно, почему Блуртмель до сих пор не женился на девушке, словом, что-то тут «не того», или он сам — и это, пожалуй, ближе к истине — уже «не того». И все-таки, как ни крути лук и стрелы — это бесшумное оружие. Пока Блуртмель массировал ему затылок и шею, медленно подбираясь к плечам, где он подозревал целый «оплот ревматизма», Тольм очередной раз запретил себе мысленный экскурс в область любовных ласк Блуртмеля и Эвы, которые так занимали его воображение; как и подтвердилось, Блуртмель открыто симпатизировал социал-демократам, причем давно, еще со времени службы у епископа, его Эва, судя по всему, тоже; после того, как он, Тольм, поймал себя на мысли, что уже несколько месяцев буквально сгорает от любопытства, так ему не терпится взглянуть на фотокарточку этой Эвы (не просить же, в самом деле, Хольцпуке, чтобы тот раздобыл ему фото из своих архивов!), Блуртмель в один прекрасный день без всяких просьб, по собственной инициативе протянул ему фотографию, тихо добавил: «Вот она, моя подруга Эва»,— и это «вот она» еще больше укрепило Тольма в подозрении, что его слуга, видимо, умеет читать мысли. На фотоснимке Эва оказалась на редкость привлекательной, доволно миниатюрной брюнеткой с соблазнительной грудью, веселыми глазами и интеллигентной улыбкой — уверенная в себе, хорошенькая, ладная, в сапожках. С тех пор выяснилось также, что она, в отличие от Тольма, исправно ходит в церковь, иногда с Блуртмелем, но чаще одна, он тогда остается дома и готовит завтрак. Выходит, этот бывший епископский массажист, недоучка из католического интерната и заядлый мотоциклист, привел в лоно церкви молоденькую женщину, взросшую в местах, религии отнюдь не благоприятствующих.

Может, именно руки этой женщины, такие красивые, но, наверно, и достаточно ловкие, вручат Блуртмелю «то самое», переданное по сложнейшей и абсолютно неразгаданной цепочке палестинской конспиративной связи, что-то нашептанное в лагерях беженцев, потихоньку переправленное в Бейрут, зашифрованное, потом расшифрованное, чтобы угнездиться в мозгу Блуртмеля и вырасти, вызреть, прорваться внезапной роковой вспышкой. А в итоге — едва заметное движение пальцев во время массажа или в ванной, хрип, голова уходит под воду, пузыри... Ведь вот и Гребницер не рекомендует злоупотреблять водными процедурами, тоже, значит, не исключает воз-

можность несчастного случая, а у палестинцев целая секретная служба, и его внук, вполне вероятно, уже говорит на их языке. Денег у них достаточно (тех самых, о которых иногда так спокойно рассуждает Рольф, внушая ему, что «это же ваши нефтяные денежки, текут из Ливии, Сирии, Саудовской Аравии, возвращаясь к вам же, но совсем другим товаром,— это так, к сведению, просто чтоб ты знал, сколько бед могут натворить деньги»).

Одно только неясно и потому отчасти успокаивает: какая им выгода убивать его вот так, без всякого шума — без бомб, пальбы, без торта «с начинкой»? Несчастный случай в ванной — что им это даст? Какой прок доказывать свою силу, не продемонстрировав ее публично?

Капиталист утонул в ванне — ну и что? Впрочем, доводы, которыми его порой пытается успокоить Кэте,— его общеизвестная доброта, его, можно сказать, почти официально признанная «человечность»,— возможно, как раз и таят в себе наибольшую угрозу. После него придет Ампланжер, этот из новой формации: решительный, энергичный, в расцвете сил, так и пышет здоровьем, от одной улыбки дрожь берет; вот такой-то им и нужен для убийства с помпой, а его, следовательно, надо просто по-тихому устранить; Ампланжер — это биржа, это олимпийская стрелковая команда, теннис, Цуммерлинг и несгибаемая твердость, та, что со скрежетом зубовным. Может, им не терпится ускорить избрание Ампланжера,— а он, какая он для них мишень? — слишком уж из него «прет» гуманизм, самокопание, этакая позднекапиталистическая скорбь; в конце концов, черт возьми, почему бы им не взяться за Блямпа, вот уж кто твердейший из твердых, ничем не прошибешь, он и бровью не поведет, ресницей не дрогнет, если узнает, что где-то в Боливии или в Родезии еще сотня-другая несчастных подыхает с голоду — тогда как в нем, в Тольме, гнездится скорбь, первобытная, от праотцов, а «военные сводки» Рольфа, «системный анализ» Катарины постоянно дают этой скорби новую пищу; и, конечно, именно эта неподдельная скорбь, драгоценную телегеничность которой Блямп, несомненно, разглядел, и стала главным соблазном для тех, кто столь радостно, торжественно и подло «зафиндилил» его на самый верх; но должны же «те», другие, понимать, что он, пусть и плох в своих слабостях, но все же не худший из худших, хотя, быть может, в том-то и несчастье, что худшим из худших ему быть не дано,— и что означает таинственный шепот Вероники по телефону: «Никогда не ходите на чай к Блямпу»?

— Блуртмель,— спросил он вдруг, будто очнувшись,— вы верите в бога? Да-да, в того самого, в Иисуса Христа?

— Конечно, господин доктор, а вы?

По негласному протоколу этот встречный вопрос был наглостью, вопиющим нарушением стародавних традиций службы, видимо, в Блуртмеле сработал некий социал-демократический элемент, даже на его взгляд Блуртмель тут далековато зашел, да и напугал его изрядно, потому что это совсем на него не похоже, тем не менее он ответил:

— Я тоже, Блуртмель, я тоже, хоть и не знаю в точности, кто он и где. Но тогда, уж извините за назойливость, позвольте задать вам еще один вопрос: что в этом странном мире поражает вас больше всего?

— Больше всего,— ответил Блуртмель без раздумий, ответил так, будто всегда носил в себе ответ на столь неожиданный вопрос,— больше всего меня поражает долготерпение бедных.

Сказано сильно, сразу повисла тишина, да, ответ крайне неожиданный, и, пожалуй, социал-демократы тут ни при чем, это куда древней и куда весомей, наверно, сидит в Блуртмеле давным-давно,

а ведь произнесено даже без горечи: «долготерпение бедных» — какие глубокие, мудрые слова из уст массажиста. Он чуть было не спросил, но вовремя удержался — слишком банальный, омерзительно глупый вопрос: «А себя вы причисляете к бедным?» Он побоялся задать вопрос — по идее ответ мог быть только отрицательным, но почему-то полной уверенности не было. А что, если бы Блуртмель сказал «да» — какая могла бы тут развернуться дискуссия, целый философский диспут о бедности, и ему пришлось бы, хотя он терпеть этого не может, никогда не позволял себе этого при детях, и при Кэте, кстати, тоже никогда, выставить себя подлинным ветераном бедности: вечная голодуха в студенческие годы, а дома, куда он приезжал на субботу—воскресенье, уже никакого молочного супа, одна картошка, во всех видах, чаще — потому что дешевле всего — в виде салата, ведь к вареной нужна была хоть какая-то подливка, а для жареной — хоть прозрачный лепесток маргарина; потому что отец окончательно свихнулся на своих участках, все больше урезал семейный бюджет, экономил на угле и на электричестве,— о, эти незабвенные пятнадцать ватт на кухне и в подвале, двадцать пять — и не жечь зря! — в гостиной.

— Беден тот,— произнес вдруг Блуртмель,— у кого земли ни клочка. Ну, а у меня,—он почти снисходительно улыбнулся,—как-никак половина участка, на котором моя подруга держит магазин.— Он заканчивал массаж, напоследок прошелся по всему телу, вот и заключительные шлепки по плечам и ниже спины, но тут он сказал, на сей раз уже с неподдельным огорчением: — Я бы продолжил процедуру, но чувствую в вас какое-то сопротивление, будто вы мне не доверяете.

— Нет-нет,— возразил он, принимая из рук Блуртмеля белье и рубашку,— ничего подобного. Просто я все гадаю, кто меня укокошит, кто и каким образом, вот в мыслях всех и перебираю, даже сыновей, и жену, и невестку, всех друзей, всех врагов, ну, и вас, конечно, наверно, что-то в этом роде вы и почувствовали.

— Кому же понадобится вас убивать? Вроде бы не за что.

— В том-то и дело. Но разве им нужны причины или тем более мотивы, связанные с конкретными лицами? Возьмите господина Плифгера — хороший начальник, отец семейства, словом, душа-человек, нет, личности их не интересуют, они в своем роде технократы, сперва дело, чувства потом, а так-то они, наверно, совсем не бесчувственные, такие же милые люди, как мы с вами.

Брюки он еще может осилить, а вот носки и ботинки нет, это уж пусть Блуртмель. Склонившись перед ним на коленях, Блуртмель вдруг глянул на него снизу вверх и изрек:

— Да, безопасности никакой, а от мер безопасности — никуда. Кстати, с вашего позволения, в субботу я мог бы представить вам мою подругу, госпожу Кленш, если, конечно, вам это удобно. Ваша жена любезно пригласила ее в гости.

— О, конечно, буду очень рад. Надеюсь, она остановится у нас, в замке?

— Ваша жена и господин Кульгреве любезно предоставляют в ее распоряжение гостевые комнаты.

Потом Блуртмель подал поднос, на нем чай, подсушенный хлеб, масло, лимон, икра. Кэте, вошедшая вслед за ним, выглядела уставшей и бледной, что бывает с ней редко. Да, он редко видел ее такой бледной, в последний раз, когда им сообщили об аресте Рольфа, хотя нет, было однажды и после, когда стало ясно, что Вероника исчезла. И такой усталой, почти старенькой, она тоже бывает редко. Он поцеловал ее, хотел спросить: «Что с тобой?», но она погладила его по плечу и сказала:

— Не принимай близко к сердцу, ты никогда не умел отказывать,

а тебя они тронуть не посмеют, тебя — нет, ты же такой добрый, это всем известно, и им тоже.

— Как раз потому и посмеют, очень даже посмеют, как раз потому.

С тех пор как им было не рекомендовано находиться на террасе (слишком «открытая», «все как на ладони», если смотреть из леса, как объяснил им Хольцпуке, особенно с высоких деревьев, «просто тир», а он только-только провел сюда отопление и оснастил окна автоматикой, чтобы открывались и закрывались сами, ведь он так любит сидеть на террасе осенью и зимой, просто сидеть и поджидать сову), с тех пор как он категорически отказался ограждать лес и парк от посторонних посетителей — свободный доступ в лес и парк был давним, исконным правом всякого простолюдина, никто из графов фон Тольм, даже самые отъявленные скупердяи и самодуры, не отваживался на это право посягнуть, проверять же (а тем паче обыскивать) каждого, кто приходит сюда погулять (а таких много, даже из соседних мест приезжают, особенно по выходным), нет, это никуда не годится,— словом, с тех пор они обречены на чаепития в комнате, сидят за столом рядышком и любуются в окно собственным парком и лесом, Кэте говорит: «Прямо как в кино».

Она налила ему чаю, сделала бутерброд с икрой. Что поделаешь, он любит икру, любит до сих пор, и он не смог удержаться, заглянул ей в глаза, заглянул глубоко и пристально, и увидел страх; это с ней бывает редко, и в войну и после он редко видел страх в ее взгляде, в Дрездене она боялась только истребителей-штурмовиков да еще «нацистов и протестантов». Вот гнев и ярость — это другое дело, это он хорошо помнит: когда у них отняли Айкельхоф, и скорбь, когда стерли с лица земли Иффенховен, где погребены все ее предки до шестого колена. А страх редко, даже когда Рольф начал свои глупости. Многие считали ее холодной и даже несколько вялой, да она, пожалуй, так и выглядит, но только в официальной обстановке, на приемах, банкетах и прочих подобных сборищах. Она редко в них участвует, только ради него, ей это скучно, пустая трата времени,— да, там она, наверно, кому-то может показаться холодной, но вряд ли вялой, скорее безучастной; говорит мало, держится как истинная дама, министры, президенты и прочие владыки не производят на нее никакого впечатления, шаха она сочла «настолько нудным, что это почти интересно», Бансера[1]— «ничтожеством, каких свет не видал», у-у, головорезы, сердечна была только с поварами и официантами, шла на кухню, расхваливала еду, списывала рецепты, просила объяснить, что как приготовлено, шутила и смеялась с гардеробщицами, с уборщицами в туалетах, с презрительным холодком во взгляде выслушивала застольные речи и тосты в свою честь, разумеется, она не была невежлива, но неизменно относилась ко всем высокопоставленным лицам — а среди них, сама говорила, бывали и «жутко важные персоны»,— чуточку свысока, почти презрительно, во всяком случае холодно и без малейшего интереса. С несколькими «комитетскими дамами» она, впрочем, почти успевала подружиться, но мешали разводы, первые, вторые, третьи жены исчезали из поля зрения, Кэте очень жаловалась на эти разводы, «только успеешь познакомиться, и вроде бы милая, пригласишь на чай, поболтаешь, по магазинам вместе прошвырнешься — и на тебе, она уже бывшая, уже где-нибудь в Гармише или на Лазурном берегу, а вместо нее объявляется очередная дуреха, блондинка или брюнетка, вертит попкой и глазищами, с пышным бюстом или считай что вовсе без бюста — она ему в дочери годится, а он туда же; бог ты мой, дались вам, мужикам, эти попки да глазищи! Вот

[1] Уго Бансер Суарес (род. в 1926) — президент Боливии в 1971—1978 годах, генерал.

четвертая у Блямпа — это же просто потаскушка, к тому же дура набитая, настолько дура, что это даже опасно, а ведь первая была самая милая, да и самая хорошенькая из всех, и третья, Элизабет, была ничего, очень даже милая, просто прелесть, а вот с четными номерами ему, похоже, не везет, вторая была хоть и не вредная, но тоже дура порядочная. Какая муха их всех укусила — ты что, и в самом деле веришь, что это всякий раз настоящая, большая, единственная любовь? Мне не терпится взглянуть на пятую. Неужели будет такая же сексбомба, как четвертая,— и она еще приглашает нас на чай! Да она с утра уже после завтрака джину с тоником наберется и только и думает, кого бы еще своим бюстом ошеломить. Знаешь, по-моему, Блямп ее поколачивает.

Он всегда слегка краснеет, когда она так говорит, чаще всего в машине, не стесняясь Блуртмеля — тот лишь деликатно покашливает,— возвращаясь с приема или светского раута, где он бывает даже при орденах, но только послевоенных, боевых — ни в коем случае, нет, ни за что, ему бы и стыдно было перед Кэте, а кроме того, она просто грозит ему разводом: «Если ты *еще и это* сделаешь (бог ты мой, почему «еще», что он такого сделал?), если ты сделаешь *еще и это*, я с тобой разведусь». Он и новые-то стесняется носить, но надо (надо? Рольф бы спросил: «И это называется жить в свободной стране?») — нужно ради «Листка», ради Объединения, хотя ордена, даже и новые, все равно напоминают ему об аромате виргинских сигарет: за одну из этих побрякушек, пронесенную сквозь все обыски, он выменял двенадцать сигарет, но об этом не знает никто, даже Кэте, и никому невдомек, что во время наиторжественнейших церемоний, в присутствии властителей и владык, шахов и генералов, где что ни грудь, то иконостас, он, глядя на ордена, думает о сигаретах, о том, сколько сигарет в случае нужды за эти железяки можно выручить; надо — как надо было отдать (продать) Айкельхоф, надо — о нет, он никогда не забудет беспощадного анализа его «мнимой свободы», которым этот проклятый Беверло тогда припер его к стенке,— как надо будет продать и Тольмсховен, чтобы обеспечить прокорм еще одной электростанции, еще одной фабрики облаков.

Всякий раз, когда он видит Кэте, и по утрам, когда он просыпается, и ночью, когда судорожно ищет ее руку, ему вспоминается тот вечер, когда он встретил ее в Дрездене, в госпитале, в коридоре, спешно продираясь в омерзительно-серой толчее и стараясь не глядеть по сторонам, чтобы избежать назойливых попутчиков, которые могли навязаться в любую секунду, уходил от бесконечного трепа в палате, от трескотни про «войну до победного конца», от тупой и судорожной веры в победу, на фоне которой его упорное молчание воспринималось как недоверчивость, от настороженных, ощупывающих взглядов, в которых читалось только одно: продаст или нет? а вдруг заложит — что тогда? Он упросил, чтобы его выписали досрочно, ему выдали справку, по которой полагался отпуск, можно было смотаться домой, отпускное предписание уже в кармане, он твердо решил переночевать где угодно, лишь бы не в госпитале, и тут, в коридоре столкнулся с ней, она остановилась, вспыхнула от радости, даже взяла за рукав, покраснела. «Как, и вы здесь, господин Тольм?» А он смотрел на нее сверху вниз: блондинка, какое открытое лицо, немножко пухленькая, с виду веселая, вот только в глазах какая-то дымчатая поволока, и он все смотрел в эти глаза, смотрел так долго и пристально, что она успела покраснеть еще раз, и все не мог, не мог, не мог сообразить: «Господи, откуда же я ее знаю, да кто же это, ты ведь ее знаешь, зовут-то хоть ее как?» В общем, она показалась ему знакомой, это точно. И он улыбнулся, тут же решив, что проведет с ней ночь, «все равно как». А она сказала: «Я же Кэте Шмиц, из Иф-

фенховена, мой брат Генрих дружил с вашим братом Хансом, а наши отцы однажды судились». Да, верно, как же, садоводство в Иффенховене, брат иногда туда ходил, было дело, а отец, когда садовник обанкротился, слишком уж быстро и не вполне корректно что-то там у него оттяпал, опять хотел оторвать кусок земли по дешевке. Да, было, процесс против Шмица, Ханс еще жаловался: мол, из-за этого суда он с другом рассорился. Да, верно, Кэте Шмиц из Иффенховена, и лицо вроде знакомое, где-то когда-то он ее, конечно, видел, может, в церкви (куда он — именно в ту пору — демонстративно, назло Нупперцу, иногда заглядывал), может, во время процессии или на танцах, и здесь, в Дрездене, в коридоре он спросил, не хочет ли она сходить с ним куда-нибудь, сбежать из этой медицинской казармы, и она, придвинувшись к нему еще ближе и снова взяв за рукав, ответила: «Ой, с удовольствием, а то тут одни нацисты и протестанты, не продохнешь». А потом, сразу же отдернув руку: «Господи, может, вы тоже...», на что он только покачал головой, уже сам взял ее за руку и проговорил: «Если вы сумеете вырваться, я буду ужасно рад» — и вздохнул: он уже знал, к чему все идет и как кончится — ему нравились не только ее глаза. «Вырвусь,— заверила она.— А если не отпустят — дезертирую. Ждите меня в приемном покое». Два часа ожидания в вестибюле: перестук машинок, рык подъезжающих грузовиков, раненые, больные, носилки, стоны, крики, какие уж там победители — жалкие, забитые существа, трясутся при виде миски с супом, о чем-то униженно просят, тычут документы; дважды приходила Кэте, рапортовала, как идут дела, у нее дежурство в амбулатории, она подыскивает срочную замену,— наконец вышла: прихорошенная, блузка в цветочек, твидовая юбка, меховая шляпка — и пальто какого-то синюшного цвета, оно совсем не подходило ко всему прочему, и она так откровенно сияла, что любо-дорого было смотреть. Да, она хотела вырваться отсюда, сходить куда-нибудь, все равно куда, может потанцевать, лишь бы не одной, лишь бы к ней не приставали, не пытались лапать, не нашептывали похабщину. Они пошли в одно из огромных заведений для солдатни, где пахло пивом, похотью, танцульками и безнадегой, они окунулись в это месиво цинизма и грязи, где пахло концом войны и распадом. Позже он признался ей, что сразу решил провести с ней ночь, а она призналась, что, наверно, тоже этого хотела, только думать не отваживалась, она немножко его побаивалась из-за истории с молодой графиней, скандала с исповедью, из-за всей этой любовной саги, которая до сих пор гуляет по окрестным деревням. О господи! Боится? Его? Он даже рассмеялся, нет, он обязательно ее уведет, все равно куда, он хочет быть с нею, смотреть ей в глаза, и не только в глаза, он хочет обладать, владеть ею, и он сказал ей об этом, когда им окончательно стало невмоготу от пивного угара, визгливой музыки и запаха обреченности, от пьяного гомона солдатни и вихлявых потаскух; здесь был даже «брачный рынок»: чтобы получить свадебный отпуск, можно было жениться, выдав «невесте» пару сотен и причитающийся в таких случаях свадебный паек (сахар и маргарин для праздничного торта), а потом развестись — девицы бестрепетно брали на себя роль «виновной стороны». Кэте уже давно от всего этого мутило, ведь она выучилась на переплетчицу, но ее послали на медицинские курсы, потом мобилизовали, младшая медсестра, специализация: анализ крови, мочи, венерические болезни; так она и очутилась здесь, где «кругом одни нацисты и протестанты» и примерно сто тысяч больных и раненых, какой там Цвингер[1], какая Эльба, что все резиденции и барокко против унылых полчищ недужных и калек, а когда наконец они вышли и оказались на улице, их волновал только один вопрос: «Куда? Я же хочу пойти с вами, плевать, что вы обо мне подумаете, хочу — но куда?» Только не в

[1] Знаменитый дворцовый ансамбль в Дрездене.

госпиталь, где ее беспрерывно лапают и тискают, в любом углу, в коридоре, в туалете, процедурной и даже в операционной, как она это ненавидит, нет, лучше уж в меблирашку, она согласна, лишь бы с ним наедине, да, наедине, чтобы только она и он, он и она, одни, прочь от всей этой серой толчеи, от войны, которой все равно конец,— разумеется, он знал, что «такие комнаты» есть, немудрено, когда кругом столько солдатни, и найти «такую комнату» оказалось куда проще, чем он, ударившись в панику, поначалу думал. Были и зазывалы, они работали за скромный процент — калеки, ветераны, туберкулезники; завидев парочку, они подходили и шепотом спрашивали: «Гнездышко ищете?» Да, они искали гнездышко, разумеется, цены были разные в зависимости от комфорта и, конечно, от времени: «На час, на два или до утра?» Да, до утра, им досталось гнездышко с оленьими рогами, репродукцией Дефреггера [1] и портретом Катарины фон Бора [2], вполне приличная комната, даже не грязная и даже с умывальным столиком. «Гнездышко» — какое ласковое слово среди всей этой военной мерзости. Он ждал слез, но слез не было, только потом, когда она заговорила о брате Генрихе, который пал смертью храбрых, а он о брате Хансе, который тоже пал, и тоже смертью храбрых. Слезы были потом, сперва был только страх из-за того, что она «такая неопытная», ведь она рассчитывала на его «опыт», а выяснилось, что вовсе он не такой уж «опытный», как о нем болтали во всех окрестных деревнях; как прекрасно было видеть ее наготу, не стесняясь своей наготы, и вовсе она не оказалась неопытной, скорее уж это он от радости был тороплив и неловок, тут было над чем посмеяться, а заодно и поговорить о славе ловеласа, которая иной раз достается вовсе не по заслугам,— можно было посмеяться будущему, посмеяться над ее изумлением, тому, что у него действительно есть звание доктора; он не мог насытиться ею, смеялся без конца, не мог насмотреться — о, эти лампочки в двадцать пять ватт, кто их только выдумал,— в ее глаза и никогда не забудет оленьи рога, репродукцию Дефреггера, Катарину фон Бора и прелый запах осенней листвы из окна, распахнутого во двор...

На следующее утро, сдав обходной листок, он попросту увез ее с собой, просто взял и увез, прочь от этих «нацистов и протестантов», и они приехали к ее отцу, которому все же удалось спасти от кредиторов теплицу и при ней две комнатенки, железную печурку и тахту; то-то смеялся старик, увидев, что дочь вернулась «с тем самым Тольмом», это надо же, «с тем самым», да еще объявила, что они помолвлены; крепко зажав трубку своими щербатыми зубами-огрызками, старик смеялся от души, а потом без церемоний, с тем же веселым смехом, принял в подарок табак, который они привезли. В подобных трудных случаях старая графиня была незаменима, у нее был телефон, она знала нужных людей, ей срочно понадобилась работница, ведь она уже на костылях, а ее хозяйство «имело военное значение» — из-за леса, овощей и картошки, которыми был засажен весь парк; словом, графиня вызволила Кэте, наняла ее в работницы и сказала: «Фриц, я всегда надеялась, что ты все-таки стерпишься с моей Герлиндой, но ты нашел себе получше, добрую, умную, красивую, да к тому же и веселую, как поглядишь — прямо душа радуется». Уже в ноябре там же, в Блюкховене, они расписались.

А незадолго до конца войны, когда он еще раз вырвался в отпуск, она ему шепнула, что у них «кто-то будет».

[1] Франц фон Дефреггер (1835—1921) — австрийский живописец.

[2] Катарина фон Бора (1499—1552) — жена Мартина Лютера, олицетворение жены протестантского священнослужителя.

— Тебя — нет, Тольм, тебя они тронуть не посмеют,— она придвинула ему еще один бутерброд с икрой,— это уж и впрямь был бы позор.

— Позор,— проговорил он,— для них это пустой звук, нет у них такого понятия, такой границы. Кстати, а у нас она разве есть? Сейчас, например, когда наш «Листок» благополучно поглотил новую жертву—«Гербсдорфский вестник», разве я сгораю от стыда? Мы растем и разбухаем, мы жрем один «Листок» за другим, а я с прежним удовольствием пью чай и не разлюбил икру, я наслаждаюсь видом на парк, радуюсь, что снова вижу тебя, а тем временем Блюме, не сумевший удержать свой «Вестник», возможно, уже собрался в петлю лезть. А «Листок» все пухнет и пухнет, просто спасу нет — Ампланжер ведь уже четыре года назад этого Блюме предупредил, и компьютер все предсказал точно, но Блюме-то от этого не легче: его семья владеет типографией и издательством сто пять лет, либеральные традиции, заслуги в развитии демократической, даже республиканской мысли — и, пожалуйста, все на прокорм «Листку», о котором, пожалуй, сегодня уже не стоит говорить...

— Да, не будем говорить о «Листке», об этом чудище, об этом динозавре, он ведь у нас даже не хищник, мирное травоядное, жрет листок за листком, а ведь каким был крохой, в сорок пятом, когда дядюшка его тебе завещал — вместе со всем, что у него было. Помнишь, как мы перепугались, хотели сразу же сбыть по дешевке, лишь бы отделаться, а себе оставить только Айкельхоф, но ты...

— Да, лучше бы мне стать директором музея, мне самому это куда больше по душе, но не мог я продать, ведь лицензия была на мое имя, а мы даже не знали, что и «Бевенихские новости» тоже наши, их потом откупил другой дядюшка, Берт Розенталь, мы вообще в этом ничего не смыслили, а потом пришел славный английский офицер, принес документы о моей полной реабилитации, да, о безоговорочной реабилитации, и лицензию, самую первую, и бумагу раздобыл, даже журналистов подыскал, эмигранты, очень милые люди, а самый милый из них был коммунист Шрётер, дядя Катарины, он потом перебрался на восток и исчез, как в воду канул. Здесь ему было невмоготу, а там его, наверно, сразу посадили и ухлопали. Он же был человек Мюнценберга [1], сам знал, на что идет.

— Неужели для Блюме ничего нельзя сделать?

— А что ты предлагаешь? Пригласить его на кофе и выразить соболезнования: я, мол, искренне сожалею, что вам пришлось еще умолять, чтобы вас проглотили именно мы, а не кто-нибудь похуже? Цуммерлинг, например? Блюме ведь сам хочет, чтобы его проглотили именно мы. Денег ему хватит, даже семейный особняк за ним останется. А вот его работу, славные либеральные традиции — этого я ему вернуть не могу, и никто не сможет. Поверь, нам этот «Вестник» и не нужен вовсе, ни к чему нам дальше разбухать, он сам хочет, чтобы мы его взяли, так ему спокойней, лучше уж мы, чем Цуммерлинг со своей шайкой. Позор, конечно, позор, но спроси обоих Ампланжеров, испытывают ли они угрызения совести? И младший тебе ответит: «Если петух склюнет зерно, которое ему подбросили, какой тут позор?» Кстати, и выгоды никакой, разве что со временем, много позже, просто борьба за рынок, урвать, пока другой не урвал, это все равно что покупать время, которым даже не знаешь, как распорядиться... Сначала «Вестник» будет «головной газетой», что на самом деле означает «газетой без головы», еще одна голова добровольно ляжет под топор. Разумеется, с Блюме надо поделикатней: не только их в гости пригласить, но и самим как-нибудь к ним выбраться. Он очень ко мне привязан, сам не знаю почему, с какой

[1] Вилли Мюнценберг (1889—1940) — видный деятель немецкого и международного рабочего движения. В 1937 году исключен из КПГ за критику Сталина. Погиб при невыясненных обстоятельствах.

стати — я ведь ничегошеньки не сделал для спасения его головы, да и не смог бы сделать, при всем желании. Тут действуют свои законы, они непознаваемы и нам неподвластны. В один прекрасный день и моя голова полетит в корзину Цуммерлинга, вот почему он довольно спокойно взирает на наши успехи: по сути, мы своими руками делаем за него его черное дело, а он до поры до времени может позволить себе полибералничать даже больше, чем «Вестник» под патронатом нашего «Листка»... Нет, графиня была права, когда говорила, что я, конечно, умница, но с ленцой, это верно, я был ленив и даже не потрудился окружить себя деятельными соратниками... И никогда не пытался противопоставить действию непостижимых законов какие-то свои принципы, даже если бы они у меня были...

— Странно, я тоже как раз вспомнила о графине. Вот здесь, наверху, в этой комнате, мы с ней иногда сидели. Она, бывало, позовет меня, достанет один из заветных мешочков с зеленым кофе, бросит горсть зерен на фаянсовую сковородку, пережарит, я сразу должна смолоть, она сварит, разольет, и мы с ней вдыхаем сказочный восточный аромат, любуемся парком, всеми этими грядками с овощами и картошкой, черной гудроновой крышей оранжереи, где мы — это была моя идея — разводили шампиньоны, и беседуем обо всех вас... О сыне она всегда говорила чуточку презрительно и о Герлинде тоже не слишком лестно, та где-то в Голландии, по ее выражению, «ошивалась», а мне она то и дело говорила: «Вы, наверно, когда-нибудь будете здесь жить». Откуда она знала, как вообще до этого додумалась, ведь ты был вообще голь перекатная, старший лейтенантик, считай что нищий, а я — ну что я? — не поймешь кто: работница, переплетчица, секретарша, служанка, экономка, подруга, все вместе? Да, она любила нас, но как она могла знать?

— Просто она этого хотела, может, и предчувствовала что-то, а может, рассчитывала, что мы арендуем у нее землю и будем работать, но что так все получится, она, конечно, знать не могла. К тому же, в мое трудолюбие она не верила. И правильно — особым усердием я никогда не отличался. Знаешь, а я вспоминал совсем о другом: об оленьих рогах, Дефреггере и Катарине фон Бора.

— Да, я тоже все время об этом вспоминаю, и всегда с радостью. Но не потому, что ты меня тогда вытащил из этой жуткой толчеи, не только поэтому. Ты меня избавил от страха, страха перед... ну, я была ужасно рада, после всего того, что приходилось слышать в госпитале. Ведь никогда не знаешь наперед, как это бывает, когда в первый раз. А у тебя была такая дурная слава по этой части. Но все было хорошо.

— Что было хорошо?

— Хорошо, и все, давай сегодня обойдемся без признаний. Да-да, не бойся, я не жду сегодня признаний. О Хольгере графиня не знала почти ничего, считала его дурачком, хоть он дурачком не был, нет, кем угодно, только не дурачком. Зато о Герлинде она знала гораздо больше, чем я когда-либо знала о Сабине. А ведь все думают, что у Сабины от меня секретов нет.

— Сабина? — Да, он сразу почувствовал страх в ее голосе, в ее глазах. А ведь она не боялась даже за Рольфа, когда тот начал делать глупости.

— Да, Сабина,— ответила она.—Ребенок, которого она ждет, не от Фишера. Она уже на шестом, а Фишер в ту пору беспрерывно был в отъезде.

Он отодвинул чашку, положил бутерброд, потянулся за малахитовой сигаретницей:

— Думаю, мне вряд ли стоит восклицать: «Нет, нет, только не Сабина, кто угодно, только не она!» — равно как и признаваться, что

я давно желал ей любовника, хотя только сейчас осознаю всю фривольность этого пожелания именно потому, что это наша девочка, она всегда была такой серьезной и набожной.

— И прекрасно знаешь, что набожность сама по себе еще ничего не значит. Кольшрёдер тоже, наверно, до сих пор набожный.

— Но от кого — с кем?

— Я не спрашивала, она все равно не скажет. Будем надеяться, что он холост. Я привезла ее, они с Кит в гостевых комнатах. Она больше не хочет, не может жить с Фишером, сейчас смотрит телевизор, это дурной знак, когда она смотрит телевизор просто так, любую дрянь, лишь бы мелькало.

— Может, она хочет к другому, или она?..

— Не знаю, и она не знает. Одно несомненно, и это очень серьезно: с Эрвином покончено. Кстати, эту Эву Кленш мне пришлось переселить, Сабине ведь надо где-то жить. А Блуртмель слишком стеснителен, чтобы приютить Эву у себя на ночь. Кульгреве поселил ее на первом этаже, в комнате Блямпа — ах да, надо Блямпов предупредить, сам знаешь, и вообще мне надо с тобой поговорить, не только о Блямпе.

— Да не шепчи ты, говори нормально. Все равно все прослушивается, так надо. Вдруг в наших тайнах кроются какие-то важные детали, если они действительно хотят нас защитить, им необходимо прослушивать и анализировать каждое слово. Вспомни о Кортшеде и его железном мальчике, который шептал ему ночью: «Меня не расколешь, я крепкий орешек, ты и представить себе не можешь, какой я орешек» — и они даже дали ему улизнуть, потому что Кортшеде за него поручился. А мальчишка и впрямь заправляет бандой головорезов, да таких, что тебе и не снилось. Все наше объединение у них под колпаком, и приходится терпеть, не важно, гомик ты или нет. Думаешь, во время такого вот съезда мало возникает деликатных проблем? Хотя бы из-за женщин. Раньше некоторые еще приглашали девушек или с собой привозили, и не обязательно потаскушек, и не только секретарш, были и такие, кого принято называть подругами — жены, правда, редко. Особенно Блямп, тот якобы без женщины вообще уснуть не может; ну ладно, он хоть неразборчив, ему любая хороша, он ее потом всю растрепанную сунет в такси и отправит восвояси. С юношами, из-за которых у Кортшеде столько бед, у нас, правда, пока проблем не было, то есть, может, юноши к нам и просачивались под видом шоферов, секретарей, ассистентов — не знаю, я их никогда не умел различать, даже подле Кортшеде,— но ведь Кортшеде полная противоположность Блямпу: скромный, порядочный, застенчивый, да и трусоват, хотя империя у него побольше, чем у Блямпа. Однако теперь, при всех этих мерах повышенной безопасности обе проблемы отпали сами собой, ни о каких девочках, ни о каких мальчиках и речи быть не может, сама посуди, они просто не в состоянии проверить каждого случайного гостя или гостью, изучить анкету, установить предков до шестого колена, а мало ли кто может заявиться — тут и выходцы из ГДР, и даже шлюхи из разряда эмансипированных интеллектуалок, эти у них считаются самыми опасными, слишком уж любознательны, во все-то вникают, все анализируют, прямо беда. Ну и пошли, как это у Блямпа называется, «ночки всухую», вечером все, как бараны, сбредаются в холл, сидят, глазеют в телевизор, иногда в картишки перекинутся, музыку послушают или доклад — с магнитофона, разумеется,— тоска смертная, хоть вой, некоторые и вправду начинают подвывать, нацистские песни и прочную дребедень, пока Блямп не сдернется и не заявит: «Лично я отправляюсь в заведение» — и охранники тоже идут с ним в заведение. Хотел бы я знать, что они про нас думают. В любом случае — никаких тайн больше нет, все на виду, все на слуху, все прилюдно, а ведь, в конце концов, мы — не я лично, а все в Объеди-

нении — не какие-то завзятые бабники, обычные люди, не хуже и не лучше других.

— А Фишеры, старший и младший?

— Э-э, нет, дорогая, тут стоп. О старшем я ничего тебе не скажу — прочти все сама по его лицу, по складкам губ, по рукам, а что до Эрвина, так его любовная жизнь расписана во всех журналах, хотя, готов спорить, по меньшей мере наполовину это чистой воды блеф. Перед его шармом не устояли якобы даже русские девушки, а сам он публично высказывается о совершенно особых эротических качествах гражданок ГДР, которые, между прочим, производят больше половины всей продукции для «улья»,— и надо же, чтобы именно его выбрала Сабина, его, и все тут, потому что он, видите ли, при всех прочих своих несравненных качествах, еще и католик. Вот она его и заполучила — слава богу, он ее не заполучил.

— Ты, похоже, даже рад, а бедная девочка вся извелась.

— И тем не менее я рад. Этот подонок не поленился послать заявление в полицию, где на полном серьезе предлагает включать в список особо подозрительных лиц всякого, кто после ноября семьдесят четвертого назвал своего ребенка Хольгером. Слава богу, даже самые рьяные ищейки сочли, что это уж чересчур, все-таки Хольгер — древнее, исконно германское имя, то ли шведского, то ли исландского происхождения, и означает, если не ошибаюсь, «островитянин с копьем».

— Ты, я смотрю, неплохо осведомлен.

— Как-никак у меня оба внука — Хольгеры. А если у Сабины будет мальчик — что ж, Хольгер красивое имя.

— Ох, Фриц, тут не до смеха, для нее это очень серьезно, посмотрел бы ты на нее, я-то вижу, как она убивается. Ты пойми, она жить не может без этого человека.

— Охотно верю и вовсе не склонен по этому поводу шутить. Не забывай, остается еще проблема Кит, Фишер двинет против нас целые полчища адвокатов, а Цуммерлинг даром предоставит ему броские заголовки на первых полосах. А уж «ребенком года» ее теперь вряд ли выберут...

— О господи, дался вам этот Цуммерлинг, вы что, ни о чем другом вообще думать не можете? А по-моему, он очень даже милый, я два раза сидела с ним рядом на банкете, он был просто душка. И Блямп вовсе не так плох, в нем гораздо больше обаяния, чем он полагает, и сыновья у него очаровательные, мы их, правда, почти не видим, к сожалению.

— Цуммерлинг тоже очаровательный, милейший человек, но, не моргнув глазом, одним махом оттяпает у меня все «листки», всю мою лиственную рощу. Мы живем, Кэте, в эпоху милых чудовищ и сами из их числа. Все они милые, все обаятельные, и Вероника очень мила, и Беверло тоже был очень милый, сплошное обаяние, просто бомба обаяния...

— А ведь Сабина чуть не вышла за него замуж. Как подумаю, жуть берет, представляешь: ведь она, при ее-то верности, пошла бы за ним хоть на край света.

— Ну, насчет верности ты, по-моему, несколько преувеличиваешь, особенно сейчас.

— Разумеется, она верна, и Вероника тоже верна. Это в них самое страшное, от этого все их беды. Не могут они бросать, не умеют. Если бы Сабина была только неверна Фишеру, она бы сейчас так не страдала, пошла бы к исповеди, покаялась, и дело с концом, но она верна, если хочешь, верна самой себе, так уж она устроена, и потому теперь верна другому — господи, знать бы, кто он! Знаешь, она говорит, что будет работать, поселится где-нибудь инкогнито и будет работать.

— Инкогнито — это пока что утопия. Об этом Фишер позаботился, ведь он всюду пропечатал ее фотографии, в каждой вонючей газетенке, и в каталоге «Пчелиного улья», и в журнале «Спорт и жизнь», и даже в экономических разделах — всюду она красуется. Нужен по меньшей мере год, чтобы о ней забыли.

— А ты не можешь пристроить ее где-нибудь в «Листке»? Она будет делать то, чему всегда противились твои сыновья: работать в «Листке» на благо «Листка».

— А что, это мысль. Можно послать ее в Париж помощницей к Шнайдерплину. Французский у нее отличный, освоится, войдет в курс дела, станет со временем корреспонденткой. Но с двумя детьми... Придется оплачивать ей служанку.

— О Фишере она говорит: «Никогда! Ни за что на свете!» А о том, другом, ни слова. Любопытно все-таки, кто он, но что толку гадать...

— Мне тоже любопытно. В одном я уверен — он не из фишеровской клики, не из этой порно-поп-гоп-компании. Думаю, она нашла себе серьезного старомодного любовника, вместе с которым и впала в старомодный грех прелюбодеяния. Может, она тоскует по добрым старым грехам, как другие тоскуют по добрым старым временам...

— По которым мы с тобой никогда не тосковали...

— Мы — нет. Доброе старое время — для нее это Айкельхоф. А для меня Айкелькоф, Тольмсховен, родительский дом, дом твоих родителей — какие же это старые времена? Я слишком радовался доброму новому времени, а оно вдруг кончилось. Да, Кэте, наше доброе новое время становится старым, и мы будем по нему тосковать. А наступает другое, совсем новое время, которое никто вспоминать не будет.

— Время Рольфа?

— Нет, не Рольфа. Время Рольфа, может быть, настанет потом, время Герберта, Сабины, время Кортшеде. А сейчас — сейчас будет время Беверло и время Амплангера. Как подумаю, что Беверло где-то сидит и считает, считает, считает: когда опустится шлагбаум, когда выедет машина кондитера, где и как ее надо попридержать, чтобы у переезда подменить настоящий торт на торт «с начинкой»... Сидит, и считает, и улыбается, все время улыбается, между делом погладит по головке Хольгера, чмокнет Веронику и улыбается — той же улыбкой, что и Ампланжер. Как подумаю об этом — внутри все стынет от холода, будто меня бросили одного во льдах. Да, Кэте, доброе новое время незаметно состарилось, а сейчас наступает время Беверло и Ампланжера, ну и, конечно, время Блямпа — он ведь в некотором смысле вечен. Сабине придется несладко, если этот человек женат, ох как несладко,— ведь все эти исповеди, без которых она не может, еще не разрушили ее совесть. И конечно же, она во что бы ни стало захочет рожать, хотя даже сами попы исхитряются грешить, не опасаясь последствий,— если бы у них хватило ума, им давно следовало бы основать монастыри прелюбодейства, где женщины находили бы себе любовников, в конце концов внебрачные дети — тоже дети. А теперь, дорогая, давай выберемся отсюда, я хочу прогуляться, хоть ненадолго, пусть под конвоем, все равно.

— У тебя сегодня больше нет дел — заседаний, встреч?

— Только послезавтра, вступаю во владение новым кабинетом. И в «Листке» надо показаться, будут решать насчет «Гербсдорфского вестника», придется быть.

— Похоже, ты этого боишься?

— Этого — да, боюсь. За всеми своими «листками» я давно уже не вижу леса, того лиственного леса, владельцем и хозяином которого будто бы являюсь. Боюсь громадного кабинета, этих восьмидесяти квадратных метров, где я только сижу, что-то подписываю и пью

чай. Боюсь Амплангера-старшего, не потому, что он меня обманывает, ему даже обманывать не нужно, он развесил на стене в моем кабинете целую коллекцию газетных названий, увеличил и развесил, все газеты, которые мы прибрали к рукам с сорок пятого года, целый гербарий «листков». Он зовет меня газетным Наполеоном без армии — послезавтра надо мной торжественно прикнопят «Гербсдорфский вестник», еще одну покоренную территорию: графство, провинцию или город...

— Вот что способен натворить маленький английский майор одним клочком бумаги, который, как потом выяснится, называется лицензией. Кстати, куда он потом делся, ты не узнавал?

— За две недели до пенсии погиб на Кипре. Подполковника ему присвоили уже посмертно, чтобы увеличить пенсию вдове. Фамилия его Уэллер, сухарь был, педант и, разумеется, лейборист. Я частенько о нем думаю, когда часами просиживаю в своем гигантском кабинете, ничего не делаю, только одобряю стратегию Амплангера, приходится одобрять, все равно я не могу остановить этот прирост, мы пухнем и пухнем, тут я бессилен, я обречен на роль пожирателя листков. Вот так, одной лицензией и закладываются империи, которые потом растут сами собой,— лицензия, клочок бумаги и несколько надежных сотрудников; недостает только наследного принца, чтобы достойно продолжить отцовский гербарий.

— Наследный принц предпочел швыряться камнями и поджигать автомашины. Я часто думаю: неужто он вправду намерен всю жизнь предаваться своим огородным радостям — выращивать помидоры, собирать яблоки, и так до конца дней? Блямп недавно сказал: он мог бы стать одним из самых динамичных наших финансистов, если бы не... И опыт, говорит, у него есть, и организаторские способности, экономическое и политическое мышление. И все это, знаешь, чуть ли не с завистью. Мол, ясная голова, точный расчет, интеллигентность...

— Что ж, очень может быть. Своих сыновей он любит, действительно любит, но Рольфом всегда восторгался. Он бы и Беверло сделал своей правой рукой, если бы познакомился с ним пораньше и если бы не этот внезапный заскок... Если бы да кабы... А теперь вон как все повернулось. Родного сына я не могу пристроить в «Листок» даже ночным сторожем, даже дворником, и рад бы, да не могу. А ведь ему сам бог велел работать в редакции экономики экспертом по реальным прибылям, он как-то раз при мне подсчитал, что одна акция Немецкого банка с сорок девятого по шестьдесят девятый год принесла пятнадцать тысяч процентов прибыли, пятнадцать тысяч за двадцать лет, думаю, эта цифра могла бы заинтересовать рядовых вкладчиков.

— Но почему-то не интересует. Да и верна ли цифра?

— Верна, хоть их это и не интересует. Почти все расчеты Рольфа верны, прикинь сама, сколько стоил «Листок», когда он нам достался, и сколько он стоит, мог бы стоить сейчас,— ты получишь примерно те же цифры.

— Да, я помню его выкладки по Айкельхофу. А Тольмсховен — сколько мы выручим за Тольмсховен?

— С чего ты взяла? При чем тут Тольмсховен?

— Я же вижу экскаваторы на горизонте и знаю, что их не остановить, ты сам говоришь — ничего остановить нельзя, я слышу шуточки и пересуды, слышу намеки зятя, и я вижу Тольмсховен, уже не деревню, только наш замок — островком посреди гигантской ямы, вертолетное сообщение с большой землей, вокруг транспортеры, грохот, насосы, экскаваторы, затхлый пруд без проточной воды, болото, а не пруд, утки гибнут, твоих внуков доставляют сюда по воздушному мосту покормить последних уток. Одно, правда, нам будет обеспечено, Фриц, обеспечено с гарантией и сполна: безопасность — если, конечно, какой-нибудь инженер или рабочий там, вни-

зу, возле своих экскаваторов и насосов, не вздумает учудить,— да и то, как он до нас доберется, как одолеет отвесный обрыв высотой в добрых триста-четыреста метров! Да, мы будем в полной безопасности, если, конечно, на нас не свалится вертолет, на котором мы по вечерам будем летать в гости — к нашим детям, к нашим внукам,— и если не подкачает фундамент, я имею в виду фундамент нашего замка, ведь он будет стоять на довольно шаткой основе, галька, глина, песок, но ничего, они подведут под наш островок бетонную подушку, огромный бетонный айсберг, а лет через пятьдесят или через сто, когда они выкопают все, что им нужно, Тольмсховен будет гордо красоваться посреди водохранилища и твои правнуки будут закидывать удочки прямо из окон,— верно, Тольм, ведь так все и будет?

— Нет, Кэте, все будет не так. Они все снесут и раскопают, а мы будем жить в другом месте, если вообще будем живы.

— Если будем живы... Одна надежда, что весь этот энергетический бум не успеет до нас добраться и мы сможем умереть здесь — в безопасности или от безопасности, кто знает? Не надо меня щадить, Фриц, лучше бы мне узнать все это от тебя, чем выведывать из пересудов и дурацких острот. А может, прямо сейчас и переехать? Забрали бы Сабину с новорожденным и Кит, забрали бы Рольфа, Катарину, и Хольгера, и Герберта тоже, если его уговорить. Ладно уж, выкури одну, я никому не скажу.

Она придвинула ему малахитовую сигаретницу.

— Сабина,— произнес он затянувшись.— У меня весь день из-за нее душа болела, сам не знаю почему... Плохо ей будет, она так привязалась к этой деревушке, да и Кит здесь поиграть не с кем. К счастью, Фишер завтра снова отправляется в очередное турне — мне Поттзикер за обедом сказал,— Тунис, Румыния, какие-то лагеря беженцев на Востоке, они там устанавливают свои вязальные машины. Так или иначе, на две недели мы от него избавлены, есть время все спокойно обдумать, может, Сабине стоит на это время вернуться в Блорр?

— Она не вернется, это точно. Сейчас я ее приведу, поговоришь с ней сам, а я пока побуду с Кит.

Выйдя ей навстречу, он ждал в дверях, кивнул молодому Тёргашу, который слонялся по коридору. Стояла тишина, только из комнаты Блуртмеля непривычно было слышать приглушенные голоса, видимо Кленш уже приехала. Ему не давало покоя видение Кэте: замок на островке, посреди гигантского карьера, вертолетное сообщение, заболоченный пруд и ров, а вокруг ни домов, ни церкви, ни деревьев, потрескавшиеся стены, даже птиц — и тех нет, разве что вороны...

Сабина приникла к его груди, нет, не кающаяся грешница, скорее просто растерянная молодая женщина, затрясла головой, когда он попытался увлечь ее в комнату, подняла на него глаза, без слез:

— Ах, папа, я так рада, что оттуда уехала. Я больше там не могла, но ты не беспокойся, я поживу пока что у Рольфа. У них сад, стена высоченная, Кит с Хольгером прекрасно ладят, а дальше видно будет. С Рольфом я уже договорилась.

— Но у него очень тесно, не знаю, право...

— Катарина найдет мне комнату по соседству, а днем я буду у них, буду помогать Катарине, я ведь умею с детьми.

— А Хольцпуке ты известила? Ему ведь нужно сообщить...

— Да, он поворчал немножко, сказал, дескать, в Блорре все так хорошо было отработано, ну, а Хубрайхен, что ж, он знает тамошнюю обстановку и условия. И не сердись, что я сразу же от вас сбегаю, ладно? Я уже и с Эрвином поговорила, он ведь опять уезжает, так что серьезный разговор будет потом, позже. Господин Тёргаш от-

везет нас в Хубрайхен и останется там на ночь, я попросила Хальцпуке, понимаешь, Кит его больше всех любит. Мне уже гораздо, гораздо лучше, а о серьезном я пока что не думала, это потом, ведь Эрвина три недели не будет.

Да, она похожа на Кэте, и на его мать, да и на него, но и еще на кого-то, вот только на кого? В глазах ни тени отчаяния, только серьезность, а теперь еще и радость, эта радость в ее глазах как-то сразу расположила его к тому человеку, от которого у нее будет ребенок. Да, этот человек, несомненно, был с ней очень ласков. Он подумал о Беверло, в которого она была так сильно влюблена, о Фишере, который с неодолимым юношеским напором вломился в ее «досужие мечтания» и, можно сказать, взял ее штурмом: энергичный, многообещающий предприниматель, католик, к тому же и остроумный иногда — но ни разу, ни разу за эти пять лет он не видел у Сабины такого лица: дивная соразмерность черт, снискавшая ей славу красавицы, высвечена радостью и вместе с тем какой-то необычной строгостью, даже решимостью.

— Ну, хорошо, хорошо, больше не будешь смотреть телевизор просто так?

— Нет. Это я только сперва, от растерянности.

— А больше ничего?

— Ты о чем?

— Ну, я имею в виду, религию, веру, принципы и все такое. Я хотел сказать: если ты чувствуешь за собой вину и хочешь поговорить, мы могли бы сегодня вечером, у Рольфа, мы к вам заедем.

— Да, конечно, приезжайте, очень хорошо, нет-нет, папа, пусть господин Тёргаш все слышит,— она оглянулась,— хотя, я вижу, он из деликатности удалился. Да, я чувствую за собой вину, но не перед Фишером и не перед вами, только перед его женой. Мы еще поговорим об этом. Ну, а как ты — в новой роли, на самом верху?

— Буду произносить речи и давать интервью. И ничего больше не боюсь, только за вас немножко. Мы вечером заедем.

Кит, это было очевидно и слегка его задело, радовалась новому переезду: в Хубрайхене ей явно нравится больше, чем здесь. Еще бы — там она будет жарить каштаны на костре в саду, играть с Хольгером, гулять, ходить за молоком, помогать Рольфу сортировать яблоки для продажи. Он никогда не поймет, как можно было назвать ребенка таким чудным именем, сколько бы его ни уверяли, что это, как и Кэте, производное от Катарины, все равно как-то неблагозвучно. Стоя рядом с Кэте, он смотрел, как они спускаются по лестнице: Кит со своими орехами и каштанами в мешочке, Сабина с чемоданчиком и молодой полицейский с двумя куклами, которых он нес словно кур, за ноги — кукольные платьица задрались, все на виду — трусики, комбинашки.

— Я сейчас у нее была, ее как подменили,— сказала Кэте.— Что-то произошло, она прямо сияет от счастья, и такая вдруг решимость...

— Тот, от кого у нее ребенок, видимо, очень симпатичный малый. Может, она ему позвонила. Как бы там ни было — он в ней.

— Ради бога, что ты такое несешь, да еще и ухмыляешься.

— Просто я рад за нее. Но он женат, она сама сказала. И жена у него, наверно, тоже симпатичная. Это осложняет дело. А когда Фишер вернется, будет не до шуток.

— Знаешь, наверно, лучше сегодня им не мешать, пусть побудут с Рольфом и Катариной. А я попробую дозвониться до Герберта. Кстати, кто бы он ни был, я-то надеюсь, что она ему отсюда не звонила. Иначе Хольцпуке уже знает то, чего не знаем мы,— кто он. Впрочем, он, вероятно, уже и так знает, если хоть одной живой душе об этом известно, значит, служба безопасности тоже в курсе. Сам посуди, при ее-то охране, ведь они должны были где-то встречаться, и, наверно, не один раз.

— Верно. Хольцпуке просто обязан знать. Она же с ним встречалась, он назначал ей свидания и вообще...

— Может, спросить его?

— Нет. Да он и не скажет, не имеет права, ему запрещено разглашать информацию интимного свойства, хотя она неизбежно стекается к нему со всех сторон. Единственная его задача: обеспечить проверку всех, так сказать, действующих лиц в плане безопасности. Будем надеяться, что этот человек догадывается, под какой колпак угодил. Если ее охраняли строго по инструкции — а я думаю, так оно и есть,— тогда только служба безопасности и знает, кто отец нашего будущего внука. Либо имя этого человека уже зафиксировал магнитофон, либо вся их охрана ни к черту не годится.

— Так позвонить Герберту?

— Спроси, может, он все-таки выберется к нам? В виде исключения. Ты же знаешь, когда мы едем к Герберту в этот его небоскреб, Хольцпуке надо извещать загодя. Он тогда вызывает чуть ли не роту охранников, и правильно, меньше там никак нельзя, кругом полно всяких подозрительных личностей, группами и поодиночке, не только студенты и коммунисты, но даже и студенты-коммунисты, не говоря уже об анархистах, маоистах и всех прочих, а сколько входов-выходов надо перекрыть, вероятно, и вертолет нужен для контроля с воздуха,— и все только ради того, чтобы мы посидели часок у сына, который, хоть умри, не хочет переезжать из этого проклятого небоскреба, потому что, видите ли, он построен отцовским акционерным обществом, пусть, мол, предок полюбуется, в каком муравейнике живут люди по его милости. Вот они и торчат с автоматами наперевес — на балконах, у каждой двери, на лестничных площадках, а как иначе? К Рольфу съездить, казалось бы, куда проще, только двух-трех человек вокруг дома расставить, и все дела, но соседям в Хубрайхене это нравится ничуть не больше, чем крестьянам в Блорре или жильцам небоскреба. Их это раздражает, пугает, наконец, и их можно понять, ведь все нервничают, все на пределе, а сорваться может не только Кортшеде, но и любой охранник, сама посуди, какая это работенка, вечное напряжение и скука смертная, скука — потому, что ничего не происходит, напряжение — потому, что, того и гляди, произойдет. Да тут при малейшей неожиданности рука сама дернется — собака в кустах прошмыгнет, пацан деревенский на стену полезет, да еще из игрушечного пугача бабахнет, и все, пиши — пропало. Так что лучше уж смириться с мыслью, что мы пленники — пленники собственной безопасности, которая рано или поздно нас доконает.

— Значит, сидеть взаперти или ездить только к тем, кого охраняют не хуже нас,— к старикам Фишерам, от которых меня просто мутит. Помешаны на «красной угрозе» и скучны до безумия, а если, не дай бог, оборот составит двадцать девять миллионов вместо обычных тридцати пяти, они в панике, будто уже пухнут от голода. С пеной у рта защищают среднее сословие от «социалистической опасности», можно подумать, будто сами они тоже из «средних», хотя ведь прекрасно знают, что куда большая опасность для среднего сословия — они сами с их концентрацией капитала. Я тут недавно прочла, что еще большая опасность для среднего сословия, оказывается, государственные банки: упаси бог, если где-нибудь хоть одного коммуниста выберут мэром города,— все, Германии конец. Правда, если очень повезет, можно встретить у Фишеров какого-нибудь епископа, тихонького старичка, который беспрерывно кивает, что бы ему ни говорили. И все на одно лицо, у всех та же повадка, та же улыбка, что и у Амплангера, при виде которого я всегда представляю себе тех, от кого нас охраняют, особенно если подумать, что Рольф чуть было не стал директором банка, а Беверло наверняка бы им стал, этаким щеголем с чемоданчиком-дипломатом, теннисными ракетка-

ми и еще, быть может, болонкой под мышкой,—но нет, стоит им услышать одну сомнительную фразу по радио, пол сомнительной фразы по телевизору — караул, спасайся кто может, они пухнут от голода, революция на пороге! Ну скажи ты мне, Фриц, дорогой мой Тольм, почему все они такие невообразимо скучные?

— Не все. Кортшеде и Поттзикер, да и Ампланжер-старший не скучные, ну и еще кое-кто. Блямп не скучный, что-что, а скучным его не назовешь.

— И все-таки ты предпочитаешь ходить в гости к собственным детям и, хочешь не хочешь, обязан подвергать себя этой пытке, этим мерам безопасности, в которые ни капельки не веришь и которые терпишь только из вежливости!

— Да, эти-то уж минуют все посты и кордоны, они сыщут лазейку; бомба голубиной почтой, сова с начинкой, стая диких гусей во тьме или, еще того лучше, пошлют на мою голову родного внука Хольгера, явится этакий милый подросток, годков двенадцати, а может и пятнадцати, закаленный, натренированный, всему на свете обученный, от каратэ до снайперской стрельбы, безоружный, пройдет через все кордоны — а что, родной внук приехал навестить дедушку,— и запросто меня удушит, ему и нож не понадобится; а если к тому времени они додумаются впускать ко мне посетителей, пусть даже и внуков, не только безоружными, но и со связанными руками, он пришибет меня головой, его натаскают получше всякого барана, и он будет бодать меня в грудь, прямо в сердце, снова и снова, благо что после нескольких инфарктов долго я не выдержу...

— Что же, если тебе пришлют этого барана, то бишь Хольгера, когда ему будет лет двенадцать, если не все пятнадцать, тогда тебе еще осталось лет пять, а то и восемь.

Он засмеялся, снова потянулся к малахитовой сигаретнице.

— Столько мне, пожалуй, не протянуть. Да и президентом я пробуду всего два года. А в безопасность я давно не верю, ни во внешнюю, ни во внутреннюю, не говоря уж о душевном покое.

— Значит, я больше не застану тебя в ванной перед зеркалом, не услышу, как ты шепчешь: «Больше не хочу»? Значит, ты еще хочешь?

— Да, хочу, вместе с тобой, но они-то, наверно, уже отрабатывают удушающие приемы, экспериментируют с гипнозом и наркотиками — приучат к наркотикам какого-нибудь охранника, и он сделает со мной все, что прикажут. Это будет вполне милый, отлично тренированный молодой полицейский, проверенный и просвеченный сотню раз, и тем не менее в один прекрасный день он на меня бросится, якобы прикрывая меня своим телом, а когда встанет — мне уже будет каюк. Вся их безопасность — чистый миф, есть ведь компьютеры и ракеты, даже, наверно, ракеты под видом искусственных птиц, есть гипноз, телепатия, так что смиримся с одиночеством, с нашей роскошной, комфортабельной, перворазрядной тюрьмой. Вспомни, как я однажды решил тряхнуть стариной — на велосипеде прокатиться. Вспомни, в какое позорище это вылилось: две полицейские машины впереди, одна сзади, да еще вертолет сверху — смех да и только, я думал, умру со стыда! А сколько лет мы уже не собирались на торжественные семейные обеды, когда каждый отвечал за свое: ты — за суп и салаты, я — за мясо, Рольф — за картошку, Катарина — за подливу, Герберт и Сабина — за десерт, а за кофе — снова я, но прежде чем подать кофе, все вместе убирали со стола, мыли посуду, чтобы и в кухне и в столовой все было в ажуре,— и даже Эрвин бывал очень мил, помнишь, как он нас ошарашил своим сюрпризом, блинчики испек, да какие вкусные, пока не появился этот малыш, дитя раздоров, которого тоже нарекли Хольгером. До этого Эрвин еще как-то крепился, еще заставлял себя сесть за один стол с «этим поджигателем машин» Рольфом, с «этой коммунисткой» Ката-

риной, но второй Хольгер в семье, нет, это было уже выше его сил. Ведь до чего дошло: Сабина встречалась с Рольфом и Катариной тайком, без Кит, разумеется, малышка могла проболтаться,— мало им полицейской охраны и слежки, они еще между собой шпиономанию развели, и все из-за того, что ребенка Хольгером назвали! Слушай, а давай никуда не поедем, останемся тут, пригласим на ужин Блуртмеля и его Эву, если, конечно, у них нет других планов и если он согласится хоть на время позабыть роль слуги и позволит хозяевам за собой поухаживать. Пожалуй, не стоит сегодня мешать Сабине, пусть побудет с Катариной и Рольфом, а мы устроим тихий семейный ужин.

— Надо бы и родителей Катарины позвать, мы давно собирались.

— Конечно, они ведь теперь наши родственники, а Луизу я с детства знаю, к счастью, она уже не была ученицей моего папаши, так что, по крайней мере, от этой темы мы, наверно, избавлены. Может, поговоришь с Блуртмелем, мне не терпится взглянуть на его Эву.

— Мне тоже. По-моему, они никуда не собираются. В таком случае я тебя ненадолго покину: надо позвонить, а заодно и проверить наши припасы.

Иногда он наведывался в Хубрайхен к Рольфу, без звонка, незваным гостем, просил Хольцпуке по возможности сократить эскорт, Блуртмелю приказывал поставить машину в пустом школьном дворе, метрах в ста от дома священника, шел пешком, заходил в сад и направлялся к сторожке, где жили дети,— ее почему-то на французский манер называли dependence[1]. Он торопился, поспешал как мог, стараясь обогнать молву о своем приезде, но телохранители поспешали быстрей, они уже были в саду, тихо и деловито занимали посты вдоль стены. Прячась в кустах орешника, он заглядывал в окно, видел сына Рольфа, наблюдал, как тот играет с Хольгером: деревянные кубики, камушки, деревянные игрушечные автомобильчики, все самодельное (впрочем, он даже в мыслях запрещал себе модное слово «смастерили», они воспринимали его как оскорбление, настаивали на более скромном — «самоделка», «сами сделали»). Рольф сидел на корточках рядом с сынишкой, счастливый, безмятежный, молодой отец, что-то подсказывал, подбадривал, судя по движениям рук и губ, иногда что-то потихоньку напевал, а то и разрисовывал камушки или обклеивал деревянные кубики цветной бумагой. А однажды он подсмотрел, как Рольф под внимательным взглядом сына ножом вырезал фонарь из брюквы — в виде рожицы: нос, рот, глаза, бородка и отверстие для свечи. Оба такие довольные, спокойные, счастливые — ему тут же вспомнился Айкельхоф, как он иногда, плюнув на «Листок», оставался дома и играл с детьми. А как-то раз, когда он вот так стоял под окнами, его застукала Катарина, она возвращалась с покупками, воскликнула: «Господи, папа.— Да, она назвала его папой! — Что же ты тут стоишь как неприкаянный, заходи, ты не мешаешь, ты же не чужой!» И у него в тот хмурый туманный ноябрьский вечер чуть слезы не навернулись на глаза, так сердечно она это сказала, да еще и папой назвала, так заботливо взяла под руку и повела в дом. Он был поражен искренней радостью в глазах Рольфа, а на лавке, которую из окна было не видно, обнаружил целую выставку фонарей из брюквы и других, в форме фонариков, из черного картона и цветной бумаги,— изделия Рольфа для детского сада Катарины, тут же он узнал, что Рольф удостоен роли св. Мартина и в костюме римского легионера, в серебряных боевых доспехах и красном плаще, проедет на коне через всю деревню в сопровожде-

[1] Пристройка, подсобное помещение *(франц.)*.

нии эскорта факельщиков. Его напоили чаем с коврижками, предложили закурить, усадили возле печки, позволили подбрасывать в огонь дрова, которые Рольф собственноручно — и, разумеется, с разрешения общины — заготавливал в окрестных лесах из сухостоя, сам колол, сам распиливал, тут же рядом стояли корзины сосновых шишек и корзины щепы; Рольф ходил и по дворам, собирал бросовую древесину, которая — при повсеместной (и чрезмерной, как считал Рольф) мании модернизации — валялась повсюду в изобилии, доски, бревна, стропила, старую мебель, ее он тоже собирал и либо пускал на дрова, либо, отремонтировав, продавал по дешевке через студенческие магазины. В тот вечер Рольф даже не терзал его душу анализом биржевых новостей, только объяснил на конкретных примерах, как можно оценивать общество «по характеру его отбросов». Именно тогда он впервые — и с болью в голосе — причислил к отбросам Айкельхоф, да и энергию, добытую за счет Айкельхофа, тоже назвал выброшенной, выброшенной на воздух.

Неужто только так — подкараулив, застигнув врасплох — ему суждено изведать радушие и сердечность своих детей, понять, чем они живут? В другой раз он так же вот внезапно, на подходе к дому священника, завидел вдали Катарину с Хольгером, они возвращались из магазина, Катарина с кем-то приветливо здоровалась, ей приветливо отвечали, она шла, чуть склонившись вправо к Хольгеру, который тащил за собой на веревочке какую-то игрушку и сосал леденец на палочке, в левой руке у нее была сумка, по-видимому очень тяжелая,— милая молодая женщина, каких тысячи, в красных гольфах, с распущенными волосами,— а когда она его заметила, ее лицо озарилось улыбкой, настолько искренней, настолько непроизвольно радостной, что у него опять чуть не навернулись слезы. Он поспешил, почти побежал ей навстречу, взял у нее сумку, она его поцеловала, он поцеловал Хольгера, а после, уже на кухне, смотрел, как она разбирает покупки, раскладывая их по шкафчикам и самодельным полкам, а Хольгер тем временем носился вокруг со своей деревянной таксой. Ему дали чашечку чаю, бутерброд, а когда он потянулся за сигаретами, Катарина, покачав головой, отняла у него пачку, но потом, пожав плечами, вернула. Все — и эта внезапная светлая улыбка на улице, и бутерброд с ливерной колбасой, и чай, и сценка с сигаретами — все говорило о том, что она искренне его любит, эта милая молодая женщина, которая вполне могла бы считаться красавицей, если бы не суровый след горечи на ее лице. Совсем нетрудно было вообразить ее монахиней — эта умная, чуткая, интеллигентная женщина добровольно обрекла себя на прозябание в деревенской глуши. Видя ее, он неизменно вспоминал ее дядю, Ханса Шрётера, коммуниста и соратника Мюнценберга, которого в свое время прислал ему майор Уэллер, самого симпатичного из всех журналистов, с кем ему довелось работать в «Листке»; когда-то он даже предложил Шрётеру перейти на «ты», но неожиданно получил твердый, хотя и вполне вежливый отказ — а ведь ни одному из сегодняшних интервьюеров и в голову не пришло спросить: «Вы были на «ты» с коммунистами?»

А вот у Сабины приятных неожиданностей ему испытать так и не довелось, ее, впрочем, и охраняли строже, отчасти и из-за Кит. Он отправлялся туда без звонка, на машине, Блуртмель за рулем, шестнадцать километров до Блорра (по счастью, никто, даже Кэте, не знает, что Блорр неоднократно упомянут в его диссертации), всякий раз с неприязнью глядя на коттеджи, понастроенные на окраине деревушки, которая когда-то благодаря своим буковым и каштановым рощам слыла «лесным раем». Он и здесь поспешал как мог, но в лучшем случае вызывал легкую сумятицу, когда вместе со своей охраной натыкался на охрану Сабины, и его всякий раз сызнова неприят-

но поражал вкус Фишера, запечатлевшийся в мраморе и латуни. Сабину он всегда заставал какой-то задерганной, нервной. Конечно, ему и здесь были рады, Кит сияла, немедленно тащила его гулять, она обожает гулять с ним «за ручку», заходить во дворы к крестьянам, которые помнят его еще студентом, когда он колесил тут на велосипеде, выспрашивал, срисовывал, фотографировал, делал замеры, выяснял, когда что построено, что и как переделано. Особенно старик Херманс любил «поворошить прошлое». Но теперь все приобретало оттенок убийственной искусственности из-за вечно плетущихся за ним, якобы случайно околачивающихся вокруг конвоиров, у которых, судя по всему, было строжайшее предписание неизменно держать его «в кольце». Иногда Сабина ревела и не могла объяснить почему, просто ревела, и все, на чай приходила соседка, пухленькая, немножко вульгарная, но очень миловидная, в банальности которой было что-то успокаивающее. А тихая, серьезная Сабина, его любимица (знает ли она, как он ее любит, только вот сказать не решается), совсем изнервничалась: на улице дверцу машины захлопнут или Кит в соседней комнате игрушку уронит — она вздрагивает,— неужто быть просто под надзором, как Рольф, все-таки лучше, чем под такой охраной? Не слишком ли дорогой ценой куплена эта, все равно мнимая, безопасность? Верхом Сабина уже давно не ездит. С беспечными верховыми прогулками давно покончено, а после истории с тортом Плифгера проверка с помощью специального зонда всех покупок, всех доставленных по заказам пакетов с продуктами и тем более готовых блюд (когда устраивался какой-нибудь прием) действительно стала необходимостью, ведь всякое уже бывало, всякое, уже и сигареты приходится брать только из распечатанной пачки с тех пор, как у Плутатти в Италии пачка сигарет взорвалась в руках, изуродовав ему лицо, искалечив запястья, а уж о бутылках с завинчивающимися крышками и говорить нечего, их содержимое проверялось неукоснительно, ведь под видом «шерри» ничего не стоит подсунуть горючую смесь, знаменитый «коктейль Молотова».

Нет, в доме у Сабины он не находил покоя, которым еще можно насладиться у Рольфа и Катарины, но это и неудивительно, как-никак Сабина не только его дочь, она еще и замужем за «Пчелиным ульем». От виллы под Малагой тоже толку чуть, и лыжные прогулки Сабине уже не в радость, его дочурка, прежде такая непоседа, обожавшая танцы и верховую езду, его веселая Сабина окончательно впадала в хандру. Не исключено, впрочем, что при нем она нервничала больше обычного, ведь с его приездом число охранников вокруг дома автоматически удваивалось.

Меньше всего он любит ездить к Герберту, хотя именно с ним с удовольствием бы побеседовал с глазу на глаз. У этого тоже совсем другие друзья и подружки, и почти всегда полон дом. В чем-то, пожалуй, они гораздо душевнее, чем друзья Рольфа и Катарины, не говоря уж о приятелях и знакомых Сабины. Как и сам Герберт, они, конечно, тоже ярые противники «системы», парни почти все длинноволосые, девицы в платьях-балахонах, с холщовыми сумками, сами пекут себе хлеб, поедают горы овощей и салата, изредка в виде исключения и, как они говорят, «из солидарности» устраивают походы в «эти травиловки» — так у них называются кафе, рестораны и закусочные. При его появлении они ничуть не робели, вовсю потешались над многочисленностью конвоя (в этот проклятый небоскреб с ним меньше роты не посылали), но не над самими полицейскими, только над «всем этим балаганом сопровождения», приглашали охранников за стол, посидеть, побеседовать — слова «дискуссия» они старательно избегали,— говорили с ним о «безопасности, которой нет», и о «смерти, которой, хоть она и наступает, тоже нет», бренчали на гитарах,

пели, запросто рассуждали о Иисусе Христе, ничуть не смущались, наоборот, высказывались напрямик: пусть, мол, не воображает, будто он со своим замком, со своим «Листком», со своим огромным кабинетом, в котором его так любят фотографировать для журналов, словом, «со всеми этими щупальцами и присосками правящего меньшинства» так уж им симпатичен, нет, им это вовсе не по душе, просто им отчасти импонирует «обаяние его немощи», немощи перед разбухающим «Листком», перед жадными щупальцами и присосками, в которые он теперь сам же и угодил. Его, мол, самого должна пугать если не «система в целом», то уж по крайней мере судьба «Листка», ведь сейчас «Листок» — просто перевод бумаги, особенно с тех пор, как вышел из моды обычай, который прежде хотя бы отчасти оправдывал существование газет: разрезать или рвать их на клочки соответствующего размера и, наколов на гвоздик, употреблять в качестве туалетной бумаги, что практиковалось почти во всех слоях населения и даже обеспечивало газетной продукции вполне разумный и целесообразный безотходный цикл. Они приводили подсчеты: сколько гектаров леса, сколько деревьев без всякой нужды расходуется сейчас на обе цели, на газеты *и* туалетную бумагу, а все этот проклятый гигиенический террор, и пусть он сам прикинет, сколько бумаги переводится на ненужную, абсолютно бессмысленную и бесполезную галиматью, которую печатают в правительственной, окружной, районной прессе, в изданиях бундестага, в программах радио и телевидения, в партийных газетах и партийных журналах, не говоря уж о совершенно ненужных, вопиюще бессмысленных рекламных брошюрах, обо всем этом хламе, который прямо из типографии можно отправлять на помойку,— пусть он подумает, сколько лесов «пало жертвой» этого печатного безумия и сколько индейцев могло бы преспокойно жить в этих ежедневно, да-да, ежедневно изничтожаемых лесах (знать бы им, как муторно у него на душе, и если бы только из-за лесов и индейцев, но нет, им невдомек, оттого-то, наверно, они и разговаривают с ним чуточку свысока, больно много о себе понимают). И разумеется, ну конечно же, они против атомной энергии и против «самоубийственного» строительства дорог, хотя они вовсе не враги прогресса и даже не радикалы, во всяком случае не подпадают под этот идиотский указ, а что до него лично, то нет, он им вот нисколечко не импонирует и даже не вызывает у них сочувствия, хотя они понимают, конечно, что он угодил в порочный круг несвободы, что он сам себе не хозяин,— и дело тут вовсе не в мерах безопасности, которые они считают просто смехотворными (как будто назначенный судьбой миг смерти можно предотвратить! Это же полный абсурд!). Нет, они имеют в виду пресловутую гангрену роста, эту чудовищную раковую опухоль, которая — он и сам прекрасно знает — сожрет его вторую или третью, словом, его нынешнюю обитель, его замок, так что он во второй (или в который там по счету?) раз попадет в категорию «перемещенных лиц». Неужто он совсем не понимает, неужто так никогда и не поймет, что грозный недуг гнездится в самой системе и ею, системой, порожден?

Почему-то друзья Герберта нравились ему меньше, чем друзья Рольфа. Слишком уж серьезные, совсем без юмора, а если и проскользнет в их речах сарказм, то скорее непроизвольно, неосознанно. Да и какие-то неуважительные — напрочь не желают признавать, что «Листок» выполнил — а отчасти и сегодня еще выполняет — важную миссию, что была у него своя роль в возрождении демократических свобод, в созидании того нового уклада, необходимость которого после стольких лет нацистского запустения и нигилизма всем очевидна.

Пожалуй, друзья Герберта не такие отрешенные интеллигенты, как друзья Рольфа, которых ему доводилось встречать в Хубрайхе-

не. В этих-то вовсе не чувствовалось ни враждебности, ни зазнайства, просто он был для них совсем чужак; в его присутствии они не кипятились и не робели ничуть — смотрели на него как на пришельца с другой планеты, втайне, по-видимому, изумляясь, что он, оказывается, «совсем как человек», тоже пьет чай и ест хлеб,— между тем как ему они вовсе не казались такими уж чужими. В конце концов, он живет с ними под одним небом, даже в одной стране и говорит на том же наречии, но стоило ему, поборов застенчивость, спросить: «А вы, извините, кто по профессии?»—как он слышал в ответ: учитель, но без права педагогической деятельности: запрет на профессию. Рабочий-металлист, но в черном списке, и у профсоюзов тоже. Или: служащий социального обеспечения, даже не особенно левый (кто бы ему объяснил, что значит «даже не особенно левый»?), в черном списке. Или еще: «Раньше работал (служил) там-то и там-то, пока этот дерьмовый указ не вышел». Они никогда не выступали против отдельных лиц, только против системы в целом: их не возмущал домовладелец, повысивший квартирную плату,— его вынудила к этому система, вынудила посредством террора, они рассказывали ему, какому давлению, какой травле подвергают иных домовладельцев — бьют стекла, гадят в подъездах, переворачивают мусорные бачки — только за то, что те *не* повышают квартирную плату; при этом они признавали, что сами «живут не так уж плохо», потому что и они, и они тоже, отчасти пользуются преимуществами системы, той системы, которая «где-то там»— это «где-то там» неизменно находилось очень далеко — выколачивает такие баснословные прибыли, что и им кое-что перепадает, они, мол, сами прекрасно это сознают, а значит, тоже живут в зависимости от «этой системы», которая «что у нас, что у них» — под этим «у них» они подразумевали Советский Союз — ежедневно порождает на планете все новые армии больных, бесправных и угнетенных; в них не было ни агрессивности, ни зазнайства, только холодная отрешенность и скорбь, да, холодная скорбь, хотя, а быть может, именно потому, что «те» преследуют, похищают, убивают не систему в целом, а отдельных лиц,— именно «те» и оказываются преступниками, не только в моральном, не только в политическом, но и, если угодно, в философско-теоретическом и даже теологическом смысле, ибо они подбрасывают системе то, что ее только усиливает и что ей ни в коем случае «нельзя поставлять»: мучеников и жертв. Поставляют мучеников и жертв на потребу прессе, радио, телевидению, на потребу пресловутым «средствам массовой информации», против которых все они, друзья Рольфа, что собирались у него за столом, сидели, курили, потягивали дешевое красное вино, ничего не могут — и не смогут, никогда им не пробить эту стену, куда им, тут они со своими листовками и транспарантами если не совсем, то почти бессильны. А жертвы и мученики только усиливали власть прессы, телевидения, радио, была в этом какая-то магия, какая-то иррациональная чертовщина — тут поневоле руки опустятся; они, друзья Рольфа, в этом отношении были отнюдь не столь беспощадны, «Листок» вовсе не упоминали, хотя ведь он тоже средство массовой информации, да еще какое. Разумеется, и им хотелось жить, как все люди: вместе с женами и детьми, вместе с подругами выезжать за город, устраивать пикники, жарить мясо на костре, танцевать, петь, но «гашиш и покрепче», «порно и похлеще» — все это они не признавали, тут и друзья Герберта, и друзья Рольфа были единодушны, ибо «гашиш и покрепче», «порно и похлеще», пьянка и прочее — все это были атрибуты системы, к которой они, пожалуй, даже не питали ненависти, только презрение, но такое презрение, что, на его взгляд, уж лучше бы ненависть. Система — это было для них ничто, «благоустроенное ничтожество», отбросами которого можно было, приходилось существовать... И ему вспомнились другие молодые люди, которых он иногда встречал у Сабины, вернее сказать, прежде встре-

чал — меры безопасности постепенно их всех распугали. Да, в их среде это считалось модным, тут потихоньку баловались «гашишем и покрепче», в открытую забавлялись порно, а уж скольких — особенно у этих омерзительных Фишеров, которые, можно сказать, прямотаки культивируют нечто вроде порнокатолицизма или католической порнографии,— скольких надравшихся в стельку гостей, в том числе нередко и из разряда самых «высокопоставленных», шоферы под шумок деликатно оттаскивали в машины, и все это неизменно под идиотским лозунгом: барокко. «Что поделаешь, такие уж мы барочные люди»,— это была любимая присказка старика Фишера, который начинал скромным лавочником и оказался для Блямпа идеальным поручителем при денацификации: нацистом он действительно не был, чего нет, того нет, даже помогал преследуемым священникам, прятал их, этим «абсолютно неопровержимым» историям не было конца, он рассказывал их снова и снова, во всех подробностях расписывая, как он носил в «укрытия» суп и хлеб, как в холода «обеспечивал отопление», а «иной раз и молился вместе с несчастными»; имелись даже соответствующие фотографии, вовсе не «липа», в «липе» не было нужды, на фотографиях — исхудалая монашка в каком-то погребе, рядом — кастрюлька с супом, рядом с кастрюлькой — Фишер, у обоих четки в руках; тут же и фотографии Эрвина, четырех-пятилетний мальчуган, которого благословляет спрятанный папашей священник,— нет, тут не подкопаешься, давний альянс Блямп—Фишер, о котором, хоть он никогда и не провозглашался в открытую, известно всем и каждому, этот альянс несокрушим, тем более что Цуммерлинг приобрел право на публикацию этих «уникальных фотодокументов» и готов обнародовать их в любую секунду.

А ведь есть еще где-то (только где? где? где?) и четвертая группа «тех» — назвать их преступниками было бы слишком мягко, да и неточно, даже неловко,— был еще тот космический, инопланетный мир, из которого иногда, пугающе близко, вдруг раздается по телефону голос Вероники; к этому миру, да и к миру Рольфа, совсем не подходит слово «коммунисты», оно не подходит даже к Катарине, которую все до сих пор числят коммунисткой, хотя она — вежливо, но энергично — это опровергает:

«Разумеется, я коммунистка и останусь ею, но что общего у меня с большинством коммунистов? Да почти ничего: столько же, сколько у священника при отряде латиноамериканских партизан с папой римским или княгиней Монако — та ведь тоже католичка. И ты совершенно напрасно видишь во мне чуть ли не коммунистку двадцатых годов, это ложное, да и слегка романтическое представление: я не оттуда, не из тех времен и не из тех коммунистов, которых ты знал, даже не из таких, как дядя Ханс,— не из тех, о которых ты мечтаешь, по которым иногда тоскуешь. Сейчас не те времена, многое изменилось, сравни хотя бы с другими догмами: мне еще нет и тридцати и каких-нибудь десять—двенадцать лет назад, почти до восемнадцати, я была свято убеждена, что буду проклята на веки вечные, если приму причастие не натощак. Так что перестань грезить о коммунистах, которых ты знал, не впутывай меня в эти грезы двадцатых годов и поверь: «тех» я понимаю не больше, чем ты, а, пожалуй, ты понимаешь их даже лучше меня, хотя нет, тут мы, наверно, с тобой сойдемся: мы оба их не понимаем, но одно знаем точно — они так же несвободны, как и все мы».

Это ли не повод поразмышлять о собственной несвободе, которая все неумолимей сковывает его по рукам и ногам? Тут уж не обойтись без ностальгических картинок прошлого, которые начинаются словечком «раньше». Раньше, когда он еще был довольно солидным, самостоятельным боссом — и ведь не так давно, каких-нибудь шесть лет назад,— он мог, никого не предупреждая, удалиться из своего кабинета, выйти на улицу (вот так запросто взять и выйти), купить в

киоске газету, направиться в кафе Гецлозера, где его любезно и даже радушно обслуживали, заказать завтрак, спокойно поесть, не ощущая на себе бдительных и неотступных взглядов, потом из будки автомата позвонить Кэте или просто заглянуть в цветочный магазин, купить букет для Кэте, Сабины, Эдит, иногда для Вероники,— он и в ювелирные заходил, это теперь ювелирам приходится тащить свои шкатулки к нему домой, на службу или в гостиницу, со всеми предосторожностями, под охраной. И давно уже забыты антикварианы, куда он хаживал охотиться за гравюрами — рейнские города, рейнские пейзажи, не то чтобы что-то определенное, просто рылся, ну и случалось находил гравюры и картины тоже. Рейн до эпохи туристического бума, как на его любимой гравюре с видом Бонна: миниатюрная, чуть побольше пачки сигарет, автор неизвестен, но какая изысканная, тонкая работа, какие сдержанные краски—Рейн, деревья на берегу, крыло замка, баржа и бастион старой таможни... И еще одно — теперь это тоже невозможно, то есть вообще-то возможно, но совершенно немыслимо—история с Эдит, и ведь даже не особенно молодая была, тридцать пять уже, кладовщица универмага, незамужняя сестра их экономиста Шойблера, умер, бедняга, а он пришел выразить ей соболезнование... Чуть до скандала не дошло — нет, он никогда не поймет, как это другие исхитряются улаживать свои амурные дела под конвоем: стоит вообразить, что думают о тебе полицейские, это ж всякую охоту отобьет.

IV

Страх возвращался снова и снова, рос, страх за него, а потом и страх перед ним; теперь и не поймешь, какой страх больше, какой хуже, кого или за кого она боится, когда он — «без сил, без сил, без сил» — возвращается с работы, вечно недовольный, бурчит что-то о квартире, о беспорядке, злой, угрюмый, иной раз прямо как буйвол, чего прежде никогда, никогда с ним не бывало. Ворчит на тесноту в домике, на участок, который слишком мал, выискивает сорняки на грядке, с остервенением набрасываясь на каждую травинку, испытующе, с легкой, едва заметной неприязнью оглядывает ее прическу, которая, конечно же, не всегда, что называется, в ажуре, особенно если она целый день возилась на кухне, в подвале, в саду или даже просто вместе с Бернхардом только что играла с собакой. Конечно, тут будут и бисеринки на лбу, а может, даже и легкие бороздки от пота, особенно под глазами и вокруг носа, и на ботинках у Бернхарда иной раз глина налипнет, да и на бетонированной дорожке в саду и возле ворот не всякую травинку успеешь подобрать; а еще он стал привередничать в еде, чего раньше никогда, никогда не случалось — суп ему то слишком горячий, то, наоборот, остыл, в салате уксуса слишком много или, наоборот, мало, хотя она все кладет точь-в-точь как раньше, по его вкусу; гуляш, видите ли, жестковат, хотя он прекрасно знает, почем нынче мясо и что перед праздником первого причастия приходится экономить. Да и вообще, они опять поистратились: новая машина, выплаты за дом по этому кредиту, который они поторопились взять, а им поторопились всучить, в итоге же все оказалось совсем не так дешево, как им сулили; а кроме того, с тех пор как он на этой новой работе, все время в штатском, форму давно уже не носит, на одну одежду сколько денег уходит, она и так на одежду накидывает, но ведь он такой чистюля; на Бернхарда стал бурчать, нет, не орет, но бурчит, мальчик, видите ли,— и слово-то какое нашел! — недостаточно «грациозен», неуклюжий какой-то, целыми днями только и гоняет по саду колесико на железке, надо с ним гимна-

стикой заниматься, а уж когда уроки у Бернхарда проверяет, только головой трясет: совсем, мол, безнадега.

Таким он никогда раньше не был, серьезным — да, иной раз и строгим, на ее взгляд, даже чересчур, особенно когда отнимал у мальчика журналы, рвал у него на глазах эту, как он говорил «порнографическую мерзость», хотя никакой такой особой мерзости она лично там не обнаружила, особенно в сравнении с тем, что любой ребенок может преспокойно разглядывать в витрине любого киоска. Там такое выставлено — куда похлеще этих распаленных блондинок с несусветными начесами, у которых, по крайности, срам прикрыт, а грудь если и видна, так только в вырез. Какой тут вред для восьмилетнего мальчика, если он может пойти на пляж и увидеть куда больше, да и на пляж ходить необязательно, достаточно за забор глянуть, на их соседку, Ильзу Миттелькамп, когда она загорает или стрижет газон; там он куда больше может увидеть, гораздо больше, чем в этих поганых журнальчиках с блондинками, у которых грудь из корсета вываливается и про которых даже не поймешь, сколько им: семь, двадцать семь или семнадцать. Конечно, они премерзкие, эти твари, помесь девочки и потаскухи, то с подленькой, притворно невинной ухмылочкой, то с кокетливой, губки бантиком, обидой на лице, то с циничным оскалом проститутки; «шлюхи вприглядку», «вампиры потребления» — все верно, такие они и есть, на уме только шикарная жизнь, путешествия, шампанское, танцульки, «бассейные нимфы»,— все верно, все так, но ведь не пустишь мальчика в жизнь с завязанными глазами! Конечно, это непотребство, кругом хаос, тлен и разложение, и среди всей этой грязи мальчика надо готовить к первому причастию, целомудрие и все такое, когда сами церковники, если верить хоть сотой доле того, что про них говорят, давно ничего не соблюдают, а ее мальчик, наверно, до сих пор и понятия не имеет, что целомудренно, а что нет. Ведь Бернхард наверняка — она-то уверена, это Хуберт сомневается, они из-за этого спорят до хрипоты, даже чуть не поссорились — еще не знает, что такое сексуальное возбуждение. Но Хуберт побеседовал на службе с Кирнтером, полицейским психологом, раздобыл всякую литературу о детской сексуальности, хотя мог бы просто в глаза мальчику посмотреть, когда из-за журналов распсиховался: там только страх и недоумение, он не понимает, с какой стати отец рассвирепел, у него и мыслей-то таких нет, и нечего их за него придумывать. Ну, и ясное дело, они очень много выплачивают по кредитам, каждый месяц, вот и приходится жаться, а рубашки, которые он себе покупает, слишком дороги, им это правда не по карману, ведь он — даже Моника недавно сказала — «просто помешался на хороших рубашках». И не такая уж тяжелая у него служба, чтобы каждый день вот так «без сил, без сил, без сил»: ну, караулит шикарные виллы, расхаживает вокруг замка, следит за входами-выходами — и все время бдительность, все время смотри в оба, она понимает. Просто он очень серьезно к этому относится, он ко всему очень серьезно относится, даже слишком, и, конечно, ответственность большая, она понимает, но не до такой же степени, чтобы все время вот так — неласково, с раздражением.

Он никогда не говорит о службе, и раньше, когда в училище был и потом на сборах, тоже ничего не рассказывал. Она знает, что все они регулярно проходят психологическое обследование и тесты всякие, ведь стресс-то у него наверняка, это уж точно. Она другого боится: слишком уж тщательно, прямо-таки болезненно стал он следить за порядком и чистотой, это уже не прежний его педантизм, а мания какая-то: по часу под душем стоит, на свежеотутюженных брюках что-то выискивает, носки—это уж прямо оскорбление—нюхает, прежде чем надеть, а если найдет складочку на одной из своих дорогих рубашек, такое лицо состроит, будто его смертельно обидели.

А ведь еще недавно как она радовалась, когда он приходил: вместе обедали, пили кофе, потом вместе проверяли у Бернхарда уроки, вместе помогали сыну, и пива, бывало, выпьют на террасе, и с соседями через забор успеют поговорить — о недоделках в доме, о кредитах и выплатах, о детях и вообще о жизни. Иногда соседям требовалась от Хуберта консультация, все больше по части машин и правил движения, где разрешена стоянка, где нет, где запрещено останавливаться, а где можно, скорость и все такое, их уже и в гости приглашали, Хёльстеры, которые справа, и Миттелькампы, эти слева; и они тоже успели по разочку их пригласить, одних на пиво и «солененькое», других на кофе и «сладкое». Но все как-то неловко получалось, не то чтобы враждебно, но прохладно, и каждый раз все прохладнее, потому что Хуберт слишком чувствительно реагирует на шпильки госпожи Хельстер, которые та, и весьма ехидно, умеет вставлять в беседу. Уже было обронено словцо «легавый», как бы невзначай, как бы позабыв, что Хуберт как раз «легавый» и есть, и никто не спохватился, не попытался загладить неловкость, что не помешало им вскоре начать выспрашивать про его работу: что, мол, за служба такая, куда надо ездить этаким щеголем и обязательно на новой машине. Хуберт только каменел.

Миттелькампы — те погрубей, попроще, хотя не сказать, чтобы приятней,— когда Хуберт проходил стажировку в полиции нравов, непременно хотели, чтобы он рассказал «все подробности», у них это называлось «про панель и про постель», приставали с расспросами: «А ваша новая работа вообще, наверно, просто блеск, вы теперь в группе охранения, ведь так?» — на это нельзя ответить ни да, ни нет, а молчание, видимо, воспринималось как знак согласия. Миттелькампы еще молоденькие, лет двадцать пять, от силы тридцать, он управляющий на складе, она кассирша в супермаркете, детей нет, денег хватает. Хёльстеры — те старше, под пятьдесят, он служит в налоговом управлении, она — после того, как дочка выучилась,— опять «пошла в контору», но ненадолго, снова оказалась безработной и иногда шепчет через забор, что у нее «просто сил нет глядеть на этот бардак, просто нет сил, вот я иной раз и не сдержусь, вы уж, Хельга, не обижайтесь». Это она о дочери, взрослой уже девице — лет двадцать пять, все время расфуфыренная, шикарные машины, дорогие прически, но приветливая, ничего не скажешь,— которая вела весьма странный, во всяком случае нерегулярный образ жизни. То она часами на машинке стучит, то куда-то на несколько дней уедет, то спит допоздна, а потом устраивает себе роскошный завтрак на балконе, а то целый день, пока все порядочные люди работают, в саду с книжкой прохлаждается — в конце концов на прямой вопрос Миттелькампа она ответила, что работает нештатно, секретаршей, сопровождает различных боссов в командировки, записывает под диктовку или готовит стенограммы конференций, совещаний, переговоров, а потом дома все это перепечатывает набело, да, работа нерегулярная, но вполне законная.

Она милая девушка, эта Клаудиа, и похоже, мать зря на нее наговаривает, и Хуберт тоже, наверно, был несправедлив, когда назвал ее «шлюхой дорожной». Он, впрочем, и ее сестру Монику тоже раньше шлюхой называл, но в ту пору к этому, возможно, и были кой-какие основания. Однако теперь Моника — она, кстати, предпочитает, чтобы ее называли Монкой, так, дескать, модней,— действительно начала новую жизнь; собственно, шлюхой она и не была никогда, просто какое-то время вращалась в таких компаниях, где подобную репутацию очень даже можно приобрести. Сейчас она устроилась при магазинчике модного платья, иногда стоит и за прилавком, но больше на дому шьет, вяжет, придумывает новые модели, живет с Карлом, он еще студент, но подрабатывает где и чем можно. У этого Карла весьма свободные взгляды, и он открыто их высказывает, но

без малейшей развязности, как это иногда все еще проскальзывает у Монки. А вообще — и сожительство без брака, просто так, и госпожа Хёльстер, и Миттелькампы — ей все это так дико, хотя ведь и самой только двадцать девять, и потом эта отвратительная манера якобы — а может и в самом деле? — научно рассуждать о сексе, лучше уж грубые заигрывания Миттелькампа, который однажды — его жена была на работе, Бернхард в школу ушел — довольно беззастенчиво приглашал ее «малость порезвиться», расскажи она об этом Хуберту, тот убил бы его на месте. А так вот запросто говорить о некоторых вещах — про себя она все еще называет это свершением,— обозначая их соответствующими научными терминами, или вот, как Хуберт недавно, пускаться в рассуждения, бывают у ее сынишки, у ее маленького Бернхарда, эрекции или не бывают, слово-то какое жуткое — эрекции...

В иной день хочется бросить все и уехать в Хетциграт к маме, которая наконец-то живет в собственном домике с садом, но все еще тоскует по своей Силезии, которой давно нет, а пожалуй, и не было никогда; послушать ее, так там не жизнь была, а рай земной, только мед и яблоки, льняные скатерти и католичество, ладан и пресвятая дева, ни забот, ни хлопот, никакой войны, вечный мир и благость. А потом, конечно, это ужасное бегство, переселение, и сразу тебе ни яблок, ни меда, ни ладана, ни пресвятой девы, и всему виной, конечно, русские, кто же еще. Сказка, ну и пусть, она бы уж потерпела, послушала бы эту бесконечную силезскую сказку, если бы не Бернхард, если бы не школа. Наконец-то у мальчика появился хороший учитель, Плоцкелер, такой милый, энергичный, Карл его еще по университету помнит, и к Бернхарду очень внимателен. Нет, школу менять сейчас никак нельзя.

А с Хубертом день ото дня все трудней, но было и еще кое-что, при одной мысли об этом она сразу краснеет, а уж поговорить об этом и вовсе нельзя, да и не с кем, даже с Монкой и то не поговоришь, еще, чего доброго, поднимет на смех. И к исповеди с этим не пойдешь, потому что это не вина, да и про самих исповедников такое иной раз услышишь, что всякая охота пропадет обращаться за утешением и советом. Может, с Карлом стоило бы поговорить, но он мужчина — он, конечно, никому не проболтается и отнесется с пониманием, но потом наговорит кучу всяких ученых слов, и все. Свершение — нет, не супружеский долг, а именно свершение — вот чего ей недостает; да, она не бесполое существо, она женщина и не стыдится этого, наоборот, рада, и Хуберту всегда была рада, а он ей, она же помнит. Он всегда был с ней ласков, по-своему, тихо так, серьезно, но очень нежно, а груб — никогда, порой даже эта вечная серьезность с него слетала и он бывал почти весел, а груб — никогда, ни до свадьбы, ни после, она изведала свершение с ним и любила дарить свершение ему, а сейчас ей так этого хочется, что даже стыдно. Она уже не раз ловила себя на том, что ищет в журналах соответствующие разделы и колонки интимных советов, стыдилась собственных ухищрений, сама себе казалась распущенной, когда норовила при нем раздеться, а вечером, уложив Бернхарда, нарочно оставить открытой дверь ванной, когда принимала душ, да, ей противны эти уловки, и тем не менее она прибегала к ним: оденется во что-нибудь «манящее», надушится слегка и глазами что-то вроде «вызова» изобразит — а он только поцелует ее в плечо или в щеку, но в губы или в грудь ни за что, а потом вдруг у нее же на плече заплачет, даже бурчать и придираться перестал, даже не рассердился на Бернхарда, когда тот банку с краской для забора прямо у ворот на дорожку опрокинул.

Тихий стал какой-то, сидит перед телевизором, смотрит всякую ерунду, и так часами, без разбора, даже полную чушь, даже то, что сам раньше называл «галиматьей для ротозеев», все эти вымученные

шуточки, сценки и номера, все эти «ужимки для богатых». И спорт — абсолютно все, все подряд смотрит, но не глядя. Иногда, управившись на кухне, она подсаживается рядом и видит, что он, подперев голову руками, а то и закрыв лицо ладонями, даже на экран не смотрит, хотя там как раз показывают то, что прежде его всегда интересовало: о розыске преступников, о проблемах безопасности, репортажи с места событий, полицейских на вертолетах, с автоматами, может, даже его товарищей, может, он сам там на экране, а он и не глядит. В церковном хоре пел — бросил, с сослуживцами в кафе регулярно ходил — тоже перестал, она уж думала, не позвонить ли Кирнтеру, их психологу, а может, Хольцпуке, Люлеру или Цурмаку, ведь они все время с ним вместе. И все-таки, когда он такой вот, совсем как пришибленный, ей легче, чем прежде, когда он злющий бывал, а временами и просто подлый.

Да, она боится — уже не его, за него. Что-то его гложет, и только в одном она твердо уверена — это не из-за женщины. Нет, такое исключено. Это все от работы, как-то со службой связано, и тут она вспомнила, как Цурмак на последнем их совместном застолье, тоже уже месяц назад, подвыпив, пустился в откровенности, пока Хуберт его не остановил. Как он с женой Блямпа — «это у него четвертая, наш брат себе такого не может позволить» — туфли ходил покупать. «Их тоже понять можно, сидят в своих кабинетах как сычи, да и в поездках, в командировках — кого они там видят? А секретарши, те в курсе, те знают, где у шефа «жмет» и что ему надо, вот так все и получается, она тоже, наверно, у него секретаршей была, и следующая сначала секретаршей будет, их можно понять». Как она сидела, а ей подносили туфли, сорок, нет, пятьдесят, нет, шестьдесят пар, и она все примерила, сидит, покуривает сигаретки, журнальчики листает, и кофе ей подали, а туфли все подносят и подносят, и каждую коробку Цурмак обязан проверить — мало ли что: ведь коробки эти и из подвала и со складов несут, это все на заднем дворе, там полным-полно ходов-выходов. Так что «начинить» картонку с обувью, как вот недавно торт Плифгера,— плевое дело. Там этих укромных закоулков и лазеек столько, что любой или любая из «этих» запросто может забраться и силой всучить продавщице «гостинчик», а то и просто втихую подменить коробку,— словом, ему пришлось не только охранять отдельную примерочную, но и открывать и проверять каждую картонку, «а туфли, скажу я вам, такие только в кино увидишь, честное слово, просто такие секспомпончики, только выбирай, тут тебе и цвета, и фасоны, ну, и не дешевые, конечно»,— и он рассказал, он подробно описал, как побелели от злости продавщицы, когда эта «задрыга», провертевшись несколько часов перед зеркалом — «и ох, и ах, и золотые туфельки, и лиловые, и туфельки, которые уж и обувью назвать стыдно»,— преспокойно ушла, не купив ни пары; рассказал и о том, как был с ней в модном салоне Греслицера, все эти штучки-дрючки, шпильки-булавочки, и перешептывания, «и похотливые смешки за занавеской», тут складочка, там оборочка, тьфу ты, «и притом ведь даже не особенно смазливенькая и уж никак не красотка», а девчонкам-продавщицам, что в обувном, что у Греслицера, еще и нагоняй: почему ничего не продали, «ничего этой задрыге не всучили». Тут и Люлер вступил, поведал о том, что ему приходилось видеть на некоторых, с позволения сказать, приемах, когда «не успеешь на пост заступить, а на тебя уже плывет этакая краля и сверху на ней почти ничего, но ты не моги даже глазом моргнуть, даже вида не подай, что ты тоже нормальный мужчина и способен оценить ее прелести», и уже начал было рассказывать «об одной такой, которую сопровождал, обязан был сопровождать, в походах по барам, она не просыхала», но Хуберт его решительно оборвал и пресек разглашение служебных тайн.

Господи, да не нужно особого воображения, чтобы представить себе, как все это бывает, когда неделями торчишь на посту около бассейна в саду или на дверях во время приемов, когда все видишь и слышишь, а на тебя ноль внимания, будто ты канделябр на ножке или восковая фигура, и все время смотри в оба, а на этих приемах иной раз бог весть что творится: и жрут, и пьют, и пляшут, и обжимаются, если не еще что похлеще,— и, наверно, тут, где-то тут надо искать причину, отчего Хуберт так переменился. Некоторые — даже мама, Монка, да и Карл, пожалуй,— считали, что он уж слишком серьезный, не в меру строгий, а если он вдруг бывал мил, остроумен, обаятелен, их это даже как будто удивляло; а ведь как задорно он танцевал с Монкой, не то чтобы «ухлестывал», нет, но очень галантно ухаживал, все были поражены, каким он, оказывается, бывает милым, а злым никогда не был и сердился редко, разве что когда они, скорее по обязанности, встречались с его родителями и братом Хансом, которые до сих пор не могут смириться с тем, что он стал «всего лишь полицейским». Да, папаша его «юрист», хотя, как позже выяснилось, не бог весть какая шишка, подумаешь, допросы протоколирует, брат — доцент философии, и они все время его подкалывают, а ему это, понятно, не по душе, отца он однажды круто осадил, напомнив, что между полицией и юстицией не так уж мало общего, да и брату очень даже ловко доказал, что у того каша в голове,— но хуже всего бывало, если кто-нибудь в его присутствии, не важно в какой связи, произносил слово «легавый»: однажды Бернхарда кто-то обозвал «щенком легавым», мальчик домой прибежал весь в слезах, а в другой раз, летом было дело, Миттелькампы в саду гостей принимали, и кто-то через забор крикнул: «Эй, вы, легавая парочка, приходите потанцевать», он весь аж побелел от ярости, тогда чуть до драки не дошло; да, он ранимый, очень ранимый, но каким нежным раньше был, ласковым. А сейчас тихий какой-то, вечно усталый и грустный, уставится в телик, а сам и не смотрит, даже про спорт и полицию ему неинтересно. Даже перестал поминать «тех», которые во всем виноваты, которые «заварили всю эту кашу». Куда подевалось воодушевление — иногда, на ее взгляд, даже чуть показное,— с которым он прежде ходил в церковь, эта его упрямая, но и радостная, праздничная приверженность всему, что связано с мессой и что он называл своим «исконным правом», и какая-то особая, веселая гордость, с которой он сносил подтрунивания, а то и насмешки соседей и сослуживцев, словечки вроде «ходячий молитвенник», а когда однажды у них в гостях один из сослуживцев сказал: «Бог ты мой, Хуберт, в наши дни от попов мало что зависит, так что зря стараешься», он в ответ яростно и безуспешно пытался их убедить, что к карьере это не имеет ни малейшего отношения, а просто «глубокая внутренняя потребность». И это правда, карьера тут совершенно ни при чем, да и приспособленцем его никак не назовешь. Он и в полицию пошел не из-за денег и вовсе не ради выгоды взвалил на себя все эти специальные сборы и немилосердные тренировки, а потому, что порядок любит, хочет, чтобы был порядок, и готов его защитить. Да, он хочет быть блюстителем порядка, строгим, но не жестокосердным, она же знает, он уже несколько человек отпустил, мужчин и женщин, магазинные кражи, и у него были крупные неприятности, но он ей так и сказал: «Эти люди не виноваты, их просто соблазнили»; и даже с проститутками, когда был в полиции нравов, обращался по-человечески, да, он строгий, но не жестокий и с ней никогда не был жесток — вот разве что в первые дни, когда он так переменился и беспрерывно ворчал.

Все-таки, наверно, надо позвонить Кирнтеру, а то и самому Хольцпуке или хотя бы Цурмаку, все-таки он старше, да и симпатичный. Не идут у нее из головы эти сцены — в обувном магазине, в модном салоне или возле бассейна, когда ты либо стоишь, либо проха-

живаешься, но все время смотри в оба, а вокруг тебя слоняются эти полуодетые, полуголые дивы с изящными бокалами в руках — прямо как в кино; ну и, наверно, да нет, наверняка, она даже что-то слышала, наверняка они ходят иногда в эти, ну да, в публичные дома, и приходится ходить и охранять, снаружи и внутри. А почему нет? То есть, она-то, конечно, против этих заведений, она их не одобряет, тем более что он, когда стажировался в полиции нравов, кое-что ей рассказывал, не в деталях, разумеется, а так, в самых общих чертах,— но если другие мужчины туда ходят, как же быть тем, кто обязан этих других охранять? Так что и они тоже туда ходят, от подопечных ни на шаг, и должны прикидываться мертвыми, но они же не мертвые. К тому же, те, другие, наверняка сорят там деньгами, икра, шампанское и все такое, а когда сам ты при этом едва-едва концы с концами сводишь — вычеты за амортизацию, новая машина, грабительские проценты за кредит,— тут волей-неволей начнешь считать и задумываться. А он и так обо всем размышляет, и очень серьезно, может, даже слишком, особенно о вере. Хотя ведь сам настаивал, чтобы свершение у них было еще до свадьбы, ради нее, ради себя, и не видел тут никакого противоречия, объяснял ей — мол, ведь как в Писании сказано: «Не желай жены ближнего своего», а он и не возжелал, потому что какая же она «жена ближнего», если она ему, только ему, предназначена, что же до «жены ближнего», то это действительно нехорошо. Так уж он устроен — до всего своим умом дойти надо.

Счастье еще, что он к Бернхарду опять подобрел, перестал смотреть на мальчика с убийственным презрением, не заводит этих кошмарных разговоров о «грациозности», только молча грустит о чем-то, а иной раз погладит сынишку по голове — но до того печально, что у нее прямо сердце щемит, будто он прощается. Неужели полицейский психолог ни о чем не догадывается? Может, лучше его куда-нибудь в деревню перевести, там хоть работа понятная, да и попроще: пьяный за рулем, кража, какое-нибудь дорожное происшествие или драка, пивную вовремя не закроют или еще что,— только бы не эта гнетущая неопределенность, когда не знаешь, откуда чего ждать и всякое может случиться, но случается так редко, что они почти рады, если вдруг удается кого-нибудь сцапать, как вот этого Шублера, про которого она читала в газете, у него ведь и правда пистолет в квартире нашли, так что ему ничего не стоило застрелить Сабину Фишер из соседнего-то дома, где он с чужой женой — тоже, видать, хороша— развлекался. Нет, он и в самом деле подозрительный тип, этот Шублер, и не очень-то верится в его «большую любовь», скорее уж той женщине поверишь, если она и вправду такая наивная. Ей-то, конечно, не позавидуешь, но для полиции после стольких месяцев бесплодного ожидания это была удача. А он и словом не обмолвился, вообще ни звука. Она даже попыталась было расспросить, осторожно, конечно, но он, как всегда, невозмутимо, спокойно так отделался отговорками. А она ведь прекрасно знает, что он тогда как раз в Блорре Фишеров охранял и ему наверняка все известно; ну, а этот Шублер на допросах потом все-таки окончательно запутался и признал, что он левак или, по крайней мере, раньше был леваком.

Одно, по крайней мере, ей известно, хоть он никогда об этом не говорит: он охраняет эту Фишер с ребенком, дочь Тольмов. Вот уж кто действительно настоящая красавица, волосы тяжелые и золотистые, как мед, это от матери, которая и сейчас отлично выглядит для своих лет, правда, у нее-то в волосах серебра уже побольше, чем золота,— да, красавица и притом — вот, наверно, откуда «грациозность»-то взялась! — действительно грациозная, хотя вовсе не тощая; нет, она не просто элегантная, тут что-то другое, о чем и портниха не сможет рассказать, тут как бы сама красота во плоти: и фигура, и губы, и глаза, и брови — все при ней, а еще не то чтобы нервозность,

но какая-то трепетность, которая, наверно, так будоражит мужчин,— она вдруг покраснела, ей показалось странным, противоестественным думать вот так о женской красоте и даже ощущать ее вожделенность, оставаясь при этом женщиной, вовсе не ставя себя на место мужчины. Да, такую стоит любить, в такую грех не влюбиться; мало того, что красавица, она еще и славная, по лицу видно. Ведь она ее сколько раз видела — по телевизору и в журналах, но и так — то верхом на лошади, то на прогулке, даже в церкви, где она вместе со своей милой дочуркой стояла на коленях перед образом богоматери. Ее мужа, ну, этого Фишера, который «Пчелиный улей», тоже частенько видит, красивый мужчина, как говорится, не придерешься, но почему-то ее к нему не тянет, сколько ни смотрела — и так, и по телевизору, там он на всех торжественных приемах непременно со стаканом апельсинового сока. Она снова покраснела, поймав себя на мысли, что боится подойти к зеркалу: увы, до Сабины Фишер ей далеко, нечего даже и сравнивать. То есть вообще-то стыдиться нечего, уродкой ее, слава богу, не назовешь, чего нет, того нет, и дефектов вроде никаких, и лицо, и волосы — вот разве что нет в них того блеска, и грудь, и ноги, и вообще походка, она же знает, да и чувствует, как мужчины на нее смотрят, а все равно: Сабина Фишер, дочь Тольмов, это просто другая категория, это, как говорится, «порода». Хотя, если разобраться, откуда эта «порода» пошла? Из семьи бедного учителя, из еще более бедной семьи садовника, в журналах ведь все пропечатано — и об одном сыне, «явно неудачном», и о другом, который «не без странностей», хотя «явно неудачный» нравится ей гораздо больше и вообще очень симпатичный парень. И про невестку и внуков тоже все известно. И про замок в Тольмсховене, и про «хижину» в Блорре, да и вообще про все. Когда видишь такое, тут, конечно, участок в двенадцать соток уже не в радость, и стандартный домик, сто два метра полезной площади (включая прихожую), тоже тесноват, и собственная жена вроде уже не так хороша, тут, конечно, и на другую заглядываться начнешь, особенно если она такая ослепительная красавица, но чтобы у него с ней «что-то было» — нет, невозможно, немыслимо, исключено. Неделями, а может, и целый месяц, она не знает точно, он был при ней, изо дня в день, а тут еще эти сплетни, что между ней и Фишером не все ладно. Слишком много ездит, слишком много амурных историй в этих поездках, в журналах то и дело фотографии, все время он там с какими-то девицами, то на танцах, то возле бассейна где-нибудь в тропиках. И снова и снова шепотком ползут слухи, что она то ли уже переехала, то ли вот-вот переедет обратно к родителям — и это несмотря на то, что «ее ожидают радости материнства, причем в скором времени». Что ж, приятным этого Фишера никак назвать нельзя, хоть он и очень старается, вон, все время рот до ушей, Карл про такую манеру улыбаться говорит: «У акулы в пасти зубы, а у этих в пасти нож»,— нет, она лично никогда бы на Фишера не польстилась, а вот Хуберт на его жену,— наверно, так оно и есть, и его можно понять: он в нее втрескался, а может, заодно и в эту их роскошь, в запахи, дорогие ткани, в огромные комнаты, а если она переехала к родителям — слух, правда, пока вроде бы не подтвердился,— то и в замок, где он, Хуберт, вот уже несколько недель несет свою службу. Значит, он снова будет с ней рядом. Но чтобы Сабина Фишер — с полицейским, нет, невозможно поверить. Странно, она совсем не чувствует ревности, только страх, потому что, если это правда, тогда ему очень, очень тяжело. Он не из тех, кто легко переживет такую влюбленность, тут есть о чем тревожиться. И вполне вероятно, что именно поэтому он утратил способность — на этот случай тоже уже изобрели какое-то мерзкое ученое слово, к тому же иностранное,— дарить свершение себе и ей; и если даже она сейчас чувствует, что ей этого свершения недостает,

то каково же приходится ему: каждый день видеть ту и молчать; а потом всхлипывать у нее на плече.

Но ревности все равно не было, только страх и сочувствие, а еще желание, которому она сама удивилась: может, та, ну, дочка Тольмов, все-таки услышит его мольбу — хотя невозможно даже вообразить себе, как он сумеет ей объясниться,— и захочет даровать ему свершение. Мысль безумная, вдвойне нелепая: получается, что она, жена, желает своему мужу изведать свершение с другой, да не с кем-нибудь, а со сказочной принцессой,— и тут было еще одно, отчего она снова покраснела: если даже вдруг, то где, как, он же все время на службе, при исполнении, вот и сейчас, когда он в замке. Может, она извращенка? Или тоже вконец свихнулась от всей этой порнографии и сама не заметила?

В конце концов она все-таки поехала к Монке, надо же с кем-то поговорить, а больше вроде не с кем. Пусть Монка поднимет ее на смех, но она не проболтается, даже Карлу ни словечка не скажет. Она ведь тоже, пока Карл не объявился, была у Монки чем-то вроде поверенной, та все ей рассказывала, и об интимных вещах, да притом иной раз такое, что она краснела,— к счастью, в темной спальне не видно было. И она тоже никому не проболталась, даже Хуберту, хотя от рассказов Монки у нее порой ох как тошно было на душе, лесбиянки в училище, педики в школе, истории с мальчиками, истории с мужчинами, ведь Монка, по ее собственным словам, в первую волну порнографии «нырнула с головкой», а «иной раз и глубже», покуда Карл весьма энергично ее не вытащил, прибегнув к аргументам, которые Монка называла «левыми», в то время, как «консервативные аргументы других спасателей» никогда, мол, ее «не пронимали». Монка была, по ее собственному выражению, «очень даже недалеко от стриптиза», но это уже давно, года четыре или пять назад, пока Карл не вытащил ее «за космы», а теперь она вполне здравомыслящая молодая женщина, ну, может, иногда чуточку слишком разбитная и языкастая — «только бы наша мамочка, соловушка наш силезский, никогда не узнала, через что я прошла»,— ей двадцать семь, она кроит и шьет моднючие блузки, юбки и сорочки, трусики и ночные рубашки, курит, правда, многовато, да и пьет больше чем нужно, и выглядит порой старше своих лет, годков этак на тридцать, а то и на все тридцать пять. Любит своего Карла, тот на первый взгляд вроде замухрышка, но это не так, оказалось, что этот хлипкий очкарик с цыплячьей грудью даже спортсмен, стайер, хотя по нему этого никак не скажешь, у него временами, по словам Хуберта, такой вид, «будто он уксуса напился». Поначалу с ними трудно было, они с пол-оборота заводились, Хуберт не выносил «левацкую трепотню, господи, вы же видите, к чему это ведет», и с порога отметал все обстоятельные и, пожалуй, иногда слишком мудреные возражения Карла, который пытался ему объяснить, «к чему ведет другое», но потом стали играть в бадминтон, вместе кататься на велосипеде, по очереди сажая Бернхарда на багажник, и спорили все реже, разве что иногда, да и то в шутку, друг друга подначивали, Хуберт называл Карла «левым крайним», а Карл Хуберта «правым полусредним». Окончательно они поладили, как ни странно, во время спора, которого она очень боялась: спор вышел из-за молодого Тольма, которого в газетах именовали «поджигателем машин», Карл, очевидно, был с ним раньше знаком, признался, что и сам в свое время «чуть не стал машины жечь, но я гораздо моложе был, чем он, да и духу не хватило». Он втолковывал Хуберту, что этот Тольм сознательно отринул все привилегии, в тюрьме сидел, и уж кем-кем, а оппортунистом никогда не был, это уж точ-

но,— ну, и, кроме того, во всех этих спорах ни разу не было обронено словечко «легавый», Хуберт как-то раз сказал ей: он, мол, совершенно уверен, что у Карла этого словечка и в мыслях нет, наоборот, он тоже за порядок, даже не против полиции, и, в конце концов, ведь это он вытащил Монку «из трясины»; Карл соглашался, что да, людей, мол, охранять надо, а вот банки — ни в коем разе! «Сам подумай, просто так дать себя укокошить за какие-то бабки, за вонючие бабки, которые без всякой пользы там валяются,— и жизнь положить?»

В чем-то они даже похожи. Не внешне, разумеется. Хуберт — тот рослый блондин, строгий, статный, а Карл хлипкий брюнетик, с поредевшими, жидкими волосами; и вообще, если вдуматься, даже отбросив все личное, даже позабыв, что он ей муж, а просто, так сказать, посмотреть на дело с объективной стороны, она бы никогда не променяла Хуберта на этого Фишера, ни в жизнь; ведь, глядя на него, сразу ясно, что он за человек — расчетливый, беспощадный, да и пустозвон, немудрено, что у такого семейная жизнь не клеится, а если предположить, что Хуберт и вправду влюбился в эту Сабину Фишер, то, пожалуй, как ни больно об этом думать, вполне можно понять, отчего ее собственная семейная жизнь разладилась. А Карл милый, очень милый парень, с ним и танцевать приятно, по крайней мере, никаких мурашек по коже, как с Миттелькампом или Хёльстером. У Монки — у той вообще никаких мурашек, ни с Миттелькампом, ни со стариком Хёльстером, просто она ничего такого не допустит, от чего мурашки по коже, если, конечно, ее кожа вообще еще способна на мурашки; в крайнем случае — впрочем, дважды она при сем присутствовала, один раз у них дома схлопотал Хёльстер, другой еще кто-то, на квартире у Монки была вечеринка их ателье — она влепляла партнеру оплеуху, «чтобы поостыл малость». Монка — она всякого повидала, ей в таких делах опыта не занимать. А Карл только смеялся и подбадривал: «Так его, девочка, только так! Даешь отпор буржуазному рукоблудию!»

Монка никому не расскажет, даже Карлу, хотя того, наверно, и не очень-то такие вещи интересуют. Бернхард очень любит бывать в гостях у Монки, там какао с пирожными, лимонад, там большущие куклы-манекены, повсюду разбросаны ножницы, лоскуты, иголки с нитками и вообще «не обязательно, чтобы был такой уж порядок», а в соседней комнате Карл мастерит свои макеты, и там Бернхарду непременно что-нибудь дарят — мелочь на мороженое, билет в кино или в зоопарк, и только однажды он отказался от подарка, когда Монка предложила сшить ему костюм к первому причастию: «Хочешь, сделаем из тебя маленького лорда или мини-ковбоя, поверь, младенцу-Христу это понравится куда больше, чем все эти скучные синие костюмы»,— но Бернхард хотел именно синий, как у всех, однако Монка, слегка обиженная, стандартный костюм шить не пожелала.

Монка так искренне ей обрадовалась, что от одного этого на душе сразу стало легче, много легче, а стоило только мигнуть, и Карл уже понял, что ему надо заняться Бернхардом — вместе приготовить какао, сбегать на угол за мороженым или журнал в киоске купить, да и в комнате Карла всегда найдется что посмотреть, а то и к чему руки приложить: макеты домов и целых кварталов, чертежи, эскизы, фанера, клей, гипс, краски, шпаклевка и огромный стол, за которым Карл сооружает макеты по заказам архитектурных мастерских,— может, и для школы полезно, пропорции, масштаб, вычисления... Как бы там ни было, Бернхарда она на время сплавила и теперь, за кофе с пирожными, могла все рассказать Монке — запинаясь, даже заикаясь, с трудом подбирая слова, стыдясь заговорить о «свершении», все только вокруг да около, выдавила: «Ну, ты понимаешь, о чем я» — и Монка кивнула, закурила, а потом, доев пирожное, снова взялась за

работу. В трудных местах, когда она запиналась или недоговаривала, Монка говорила: «Понятно, дальше»— и ни разу не засмеялась, похоже, даже и не думала смеяться, ни разу не подавила смешок, только один раз перебила ее вопросом: «И давно?»— и, кажется, испытала облегчение, услышав в ответ, что только пять месяцев. Она кивала, иногда качала головой, не смеялась, а выслушав, сказала:

— Господи, девочка, сестричка моя, да ты живешь в сексуальной Силезии! То есть, я вовсе не хочу сказать, что по части секса силезцы чем-то хуже других, да ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду: сексуальную сказку, которая напомнила мне силезскую сказку нашей мамочки.— Она сказала это очень серьезно, снова покачала головой, потом добавила: — Но с Хубертом тебе поговорить надо.

— Нет, это невозможно, не могу же я...

— Не можешь — что? Разве, к примеру, нельзя его спросить, вправду ли ты за девять лет супружеской жизни так ему опостылела? Только, знаешь, брось эти журнальные трюки, они не для тебя, да и не для него, вообще не для вас, мне даже думать об этом больно... Брось, брось это, Хельга, это не для тебя, это даже не для меня, ну, может, раньше, а вы оба такие хорошие, серьезные, нет, просто больно подумать...

— Тебе — больно?

— Да, и очень, а ты как думала? Думаешь, я и впрямь такая толстокожая, какой прикидываюсь, вернее, вынуждена прикидываться? Черт возьми, да где, в каком таком силезском раю вы живете? Ты хоть представляешь, что творится иной раз хотя бы в нашем магазине? Лесбиянки так и липнут, мужики просто прохода не дают, особенно коммерческие агенты, эти вообще наглые, оглянуться не успеешь, он уже под юбку лезет, решил, видите ли, что ему, а тем более мне только этого и недоставало для полного счастья. Тут поневоле задубеешь, иной раз и врежешь как следует, а когда совсем невмоготу и мне одной не справиться, Карл выручает, это для них большой сюрприз, они обычно этак свысока его «Карлушей» зовут, а тут у него разговор короткий, уж он-то знает, куда и как бить. Ведь они все на этой почве свихнулись, волна поднялась, их и понесло, может, и твоего беднягу Хуберта волной если не с головкой накрыло, то шибануло малость или, скажем так, подмочило чуток, и тут, сколько ты ни изображай, что ты, мол, на той же волне, делу этим не поможешь, так что лучше ты эти свои журнальные уловки брось. Вот оно что, значит, и Хуберта задело — но кто и как? Думаешь, это и правда Сабина Фишер? Что-то не верится.

— А кто еще? Других женщин он почти не видит, а там пробыл все лето.

— Ну да, и она вот от своего фрайера сбежала — все равно не верю, не представляю, хотя вполне могу представить, что мужчина... да, это я могу понять, а она скромница, даже тихоня, и, по-моему, совсем не в восторге от общества, в котором ей приходится вращаться.

— Так ты ее знаешь?

— Я все про нее читала, да и знаю немножко, ее мать иногда к нам заходит, то купит что-нибудь, то закажет — для внуков, для дочери, для невестки, да и для себя. А для Сабины я, помню, как-то пляжный ансамбль шила, посмотрела б ты на нее в примерочной — просто богиня, но она не из таких, она серьезная, милая, но очень серьезная, никаких там тебе разрезиков и финтифлюшек, нет, она не из таких, это уж точно, хотя...

— Что?

— Да я все думаю про ее мужа — понимаешь, по-моему, нет ничего страшней, чем эти мужики, обязанные везде и всюду выставлять на обозрение свою мужественность и красоту, это же манекены, а смеются так, что, кажется, лучше бы уж зубами орехи колол, чем

так смеяться,— знаю я этот смех со скрежетом зубовным, наслушалась, еще когда в «Колибри» была. А потом уткнется в тебя, как в подушку, и в слезы. Конечно, бывают среди них и ничего, симпатичные, младший Цуммерлинг, к примеру, тот и правда славный, и смеется совсем не страшно, даже заразительно, балбес, но очень милый, у'него только одно на уме — поразвлечься, чем он и занимается, да, бывают, конечно, и такие, но вот эти, с манекенской улыбочкой, или, как Карл скажет, с ножом в пасти,— их жены подчас такие фортели выкидывают, я-то знаю, просто рассказывать неохота — да это и профессиональная тайна, как в полиции,— но уж ты мне поверь, жены от них иногда пускаются во все тяжкие...

— Так ты его тоже знаешь — ну, Фишера?

— Нет, его — нет, только по журналам и по телевизору; знала бы ты, какие жалкие гроши он платит на своих фабриках — и на востоке, и даже в социалистических странах, нет, они там у себя в «Пчелином улье» по части меда не дураки, нет... И вот этот Фишер колесит по всему свету, улыбается во весь рот перед камерами в обнимку с пышногрудыми бабенками, как говорится, на всех широтах, а твой Хуберт тем временем караулит его жену и дочурку, глаз с них не спускает, и так все лето, и у бассейна тоже, господи, как представлю, что я мужчина и вижу ее, когда на ней еще меньше надето, чем у нас в примерочной,— нет, даже подумать страшно. А может, это вовсе и не Хуберт, а она сама — а что, коли твой ненаглядный месяцами где-то по свету колесит, выискивая страны подешевле, и вечно эти гаитянки, таитянки и как их там еще — ой, Хельга, боюсь, дело дрянь, боюсь, все очень серьезно, и никакой полицейский психолог тут не поможет, тут одно остается: молиться и ждать.

— Что? Монка, родная, не надо над этим смеяться.

— Я и не смеюсь. А что тут такого — я часто молюсь, мне помогает.

— Ты? Из-за Карла, что ли?

— И из-за него тоже, думаешь, он железный? Нет, вовсе не железный, верный — это да, но не железный, у него, как он выражается, «обостренное чувство прекрасного», эстет, понимаешь ли, может и увлечься, я же говорю: верный, но не железный. Но я не только из-за Карла, иногда и просто так ей молюсь, ей, царице небесной. Я ведь грешную жизнь вела, даже тебе всего не рассказывала, и Карл всего не знает, вот и найдет иной раз, я тогда молюсь и плачу. Только не подумай, будто я это из-за Карла так мучаюсь. Он милый, и я его люблю, меня к нему тянет, не могу без него, да и он без меня — просто мне вообще это нужно. С Иисусом я как-то не того, не очень, да и раньше тоже, видно, чего-то не понимаю, не разбираюсь, а вот она помогает, и тебе должна помочь — только, пожалуйста, Хельга, я тебя прошу, забудь все эти уловки, не строй из себя потаскушку, терпеть этого не могу, понять могу, а терпеть — нет, так что лучше брось. То есть, конечно, содержи себя в чистоте, следи за собой, чтобы не опускаться, и все такое, но с этим у тебя и так все в порядке. А со старушкой Тольм, с матерью ее, я поговорю, она придет, если я позвоню.

— Бога ради, ведь это только домыслы, как бы хуже не было! Обещай мне: никому ни слова, слышишь! Обещай.

— Ладно, обещаю, и ты знаешь, я слово держу. Но поговорить надо, Хуберту с тобой, тебе с Хубертом, тебе с этой Фишер или ей с тобой,— кстати, она беременна. Об этом уже везде пропечатали.

— Беременна — и от мужа уходит?

— Бывает, нервный срыв при беременности, где-то я об этом читала. Тут написано — уже на шестом месяце. Уж не думаешь ли ты?..

— Сама не верю, не могу поверить. Но — что же еще? Чтобы я

ему сразу настолько опротивела? Вроде нет, я же чувствую. Только, пожалуйста, ни с кем, ни с кем не говори.

— Я же обещала. А сам-то он где? Все еще при ней?

— Нет, насколько я знаю, он сейчас в замке.

— Так и она там же. К папочке с мамочкой перебралась. А этот снова укатил на поиски дешевой рабочей силы. Меня, кстати, «Пчелиный улей» тоже грабит будь здоров. Не исключено, что, пока мы тут сидим, какая-нибудь китаяночка выстрачивает сорочки по моему фасону, очень даже может быть. Я сама по радио слышала, что он снова в отъезде.

Вот, пожалуй, все и сказано, но при одной мысли, что такое вообще возможно, у нее перехватило дыхание, не потому, что в это совсем поверить нельзя и не потому даже, что Хуберт, так сказать, мог столь вероломно обойтись с ней и с этой Фишер,— нет, но последствия, невероятность которых вдруг сразу прибавила в вероятье: на шестом месяце, как раз пять месяцев назад. Хуберт с этой Фишер, беременность, нет, тут, пожалуй, пресвятая дева уже не поможет.

Не поможет ни пресвятая дева, ни порноволна, ни сексуальная революция, ни государство, ни церковь: для кого это всерьез, тот пропал, значит, остается только ждать, может, поговорить, заговорить с ним, облегчить его душу, погладить по голове и заглянуть в глаза, глубоко, ни в коем случае не строго, просто вопросительно и немножечко грустно.

— Слушай,— спросила она Монку,— а ты не могла бы разузнать, где он — ну, этот Фишер — был пять месяцев назад? Понимаешь, ведь если она и правда на шестом...

— Хельга... Да, это я могу разузнать. А ты, оказывается, смышленая...

И тут, ощутив тепло сестринской ладони, лепеча слова благодарности, она наконец расплакалась, ей стало легче, ей помог этот душещипательный, душеспасительный разговор, его обманчивая легкость. И что не было смешков, ни вслух, ни про себя, да и кто сказал, что плакать плохо, нет, ей надо было выплакаться. Значит, у него все-таки что-то с ней было, а теперь у нее от него ребенок, и если это так, если она не ошибается, что ж, ребенок — это не беда, вот только одно для него плохо, что он, наверно, был при исполнении. Но пока никто, конечно, ни о чем таком не догадывается. Никто ничего не знает, все только домыслы, не более того. Значит, Хуберт не болен,— или как там у них это называется? — он просто запутался, вконец запутался. Что ж, надо утереть слезы, взять сынишку за руку и ехать домой.

В автобусе она думала об этой женщине. Ей, наверно, тоже тяжко, если она и вправду такая скромная и серьезная, у нее ведь уже есть ребенок от другого, прелестная малютка, такая очаровательная в жокейском костюмчике. Да, ей тоже нелегко, и она совсем не легкомысленная. Просто они забылись, а остановиться уже не могли, вот их и затянуло, все оказалось куда сильней, чем они, наверно, сначала думали, и затягивало все глубже и глубже, такое уж это дело, хоть о нем все и говорят этак снисходительно, как бы между прочим («ах, боже мой, было, конечно, разок, сами знаете, как это бывает»),— а теперь вот, оказывается, затронуты, втянуты шестеро, и еще один, маленький, будущий человечек, которому уже шестой месяц...

V

В этом он давно исповедался, еще тогда, в самом начале, поехал в субботу за город в первую попавшуюся церковь, где в исповедальне даже оказался священник, молоденький, от него пахло лавандовым мылом, бедняга аж подскочил, когда он без долгих слов перешел к

делу, делу, которое ощущает в себе как грех — нарушение служебного долга и супружеской верности, прелюбодеяние, и ему сразу полегчало, потому что священник вроде бы тоже воспринял все всерьез. Наверно, потому что голос у него был исповедальный, нешуточный; надо было изложить все обстоятельства, он изложил, рассказал о Хельге и Сабине, насколько все это для обеих серьезно, а будет еще серьезней. Совет был дан однозначный: просить о переводе, немедленно. Да, он раскаивается, но уже там, в исповедальне, стоя на коленях, потом сидя, он знал, что о переводе не попросит. Это было давно, задолго до того, как выяснилось, что Сабина беременна, и он вынужден был обвинить самого себя «в нелюбви к жене и сыну». Он не в состоянии объяснить, почему вдруг подобрел к Хельге и Бернхарду, когда узнал, что Сабина ждет ребенка. А теперь, если удавалось выкроить в субботу час-другой, он снова едет в ту церковь, даже заходит, но не в исповедальню. Церковь ему не нравится, некрасивая какая-то: послевоенной постройки, бедная, сложенная из чего придется, почти нищая и уже вся побитая, хоть и стоит лет двадцать пять, не больше,— внутри сумрачно, неугасимой лампады почти не видно, перед образом богоматери одна, от силы две свечки, да и то, если повезет; вокруг исповедальни никакой толчеи, как в дни его юности, лет в пятнадцать-шестнадцать,— несколько исповедален, к каждой очередь, запах ладана от предыдущей службы и потом странная, почти физически ощутимая сладость покаяния, когда, встав на колени, все они замаливали свои грехи,— словом, толкучка. А теперь, лет двенадцать-тринадцать спустя,— никого, редко женщину встретишь или стайку детишек, по которым сразу видно, что их к исповеди пригнали, вот они и хихикают. И все равно он привязался к этой церквухе с ее жалким, отполированным святым Иосифом в нише, который, видимо, считается покровителем храма, да, он привязался к ней, как-никак он нашел тут священника, который еще способен выслушать кого-то всерьез,— Монка рассказывала ему про совсем других исповедников, те вообще слышать не хотят слово «грех», вот почему он так тревожится за Бернхарда, сыну ведь скоро к первой исповеди идти, а Хельга молчит. Ему больно думать о ней, больно и горько, как и о Сабине, которая однажды шепнула ему: никогда, никогда она больше не пойдет к исповеди.

Кругом хаос, разложение, и сам он погряз в этом по уши, и не по чьей-нибудь, а только по своей вине, в крайнем случае — это опасная мысль, но Сабина не боится ее высказывать,— по вине «тех». Ее слова — «этим мы обязаны им» — не идут у него из головы. Он одно знает: надо поговорить с Хельгой, все ей сказать, это нужно и ради Сабины, которая тоже связана его молчанием. А ведь и ей необходимо объясниться — с мужем, с родителями.

Пивная напротив церкви, судя по всему, особым успехом не пользуется, за пять месяцев в ней третий раз сменился хозяин, два-три пенсионера да столько же иностранных рабочих — вот и вся публика, ростбиф и котлеты в стеклянной витрине смахивают скорее на окаменелости, но пиво хорошее, и музыка, слава богу, не верещит, музыкальный автомат сломан, молодежи он здесь вообще не видывал, хозяин был явно не в духе и так демонстративно скучал, что, подав ему вторую кружку, начинал клевать носом.

Получить перевод, конечно, проще простого: нервы, переутомление, один и тот же круг охраняемых лиц, притупившееся восприятие. Кирнтер санкционировал бы перевод без колебаний, но перевести их можно только всей группой, разбивать их никак нельзя, они «сработались», к тому же «адаптировались к среде», у Блямпа уже были, на вечеринках и солидных приемах тоже; он бы мог вообще попроситься на другую работу, даже в другой город. Его бы поняли, у них серьезно относятся к подобным вещам — срывы, раздражительность, даже личная антипатия,— все бывает, и все это принято открыто обсуждать;

к Блямпу так и так больше не пошлют, после того как Цурмак сказал: «Туда — ни за что, к этой — никогда, лучше уж всю жизнь проторчать в любой дыре, драть штрафы за неправильную стоянку и превышение скорости!» Это Цурмак о том, что Кирнтер называет «моментами легкой непристойности, которые затрудняют работу». Но ведь речь не о спичках, о живых людях, об их нервной системе; на собеседованиях с Кирнтером обсуждались и не такие вещи, тут можно, нужно было говорить обо всем, что накипело, Люлер, например, то и дело поминал «этих шлюхастых дамочек, которые специально подставляются, а попробуй тронь!» Действительно, был такой случай, на вечеринке в саду, на вилле одного весьма важного деятеля, они и так нервничали изрядно, видимости почти никакой, только бумажные фонарики, работать трудно. Около трех, когда нравы стали раскованней, а самого деятеля, пьяного в дым, на их глазах буквально волоком оттащили в машину, Люлер и пал жертвой одной такой дамочки, про которую было известно, что она совсем не прочь, так сказать, выдать стриптиз и в частном порядке, вот Люлер «и хватанул разок, коли сама напрашивается», за что тут же получил по рукам, да еще был обруган «легавым». «Сейчас же избавьте меня от приставаний этого легавого!» Черт возьми, конечно, все они были на стороне Люлера, обсудили этот инцидент и возможность других подобных инцидентов, которые Кирнтер и Хольцпуке отнесли к категории «потенциальных опасностей». Больше, конечно, такое не повторится, но если бы Люлера от них перевели или, тем паче, наложили на него взыскание, они бы тут же собрали манатки; но их просто перестали посылать на вечеринки, где дамочки выходят из себя, а всякие важные деятели напиваются до такой степени, что их, будто мешок с дерьмом, надо в машину волочить, ну и, конечно, Цурмака никогда больше не отправят сопровождающим в обувной магазин.

Кирнтер просил с пониманием отнестись «и к другой стороне»: «вы учтите, такая неусыпная охрана убивает у людей всякую личную жизнь — тут есть от чего свихнуться, им это можно, нам нельзя». За себя-то он спокоен, на дамочек, которые сами предлагаются, ноль внимания, они для него хуже потаскух, у тех, по крайности, это хотя бы профессия, пусть и сомнительная. Кирнтер говорил в таких случаях о «зыбких границах между промискуитетом и проституцией». И только одного, выходит, никто из них не учел: что дело может принять серьезный оборот, что найдется такая, которая не закричит, не позовет на помощь, не обругает «легавым», не станет бить по рукам, и притом совсем не шлюха; такая, для которой все настолько серьезно, что она еще будет чуть ли не благодарна «тем» — чтоб им пусто было — за свое счастье. И обрадуется ребенку, а про пилюли и про аборт и не подумает. А ведь такое бывает между мужчиной и женщиной, бывает и у миллионеров с секретаршами и продавщицами, и вот у жен миллионеров с полицейскими, выходит, тоже.

И он не стал просить о переводе, вообще никому ничего не сказал, даже Кирнтеру, который, разумеется, сохранил бы, так сказать, тайну исповеди и подыскал благовидный предлог, чтобы его перевести. С наигранной тоской, втайне прекрасно осознавая, что это сладкий самообман, он мечтал о тихом местечке в деревне: драки по праздникам, пьяный за рулем, мелкие кражи, но и — это он тоже знал — гашиш и героин, и безнадежное рысканье, беготня, расспросы, толпы скучающих юнцов с шоферских курсов в кафе или на автостанции. Хаос, тлен, разложение, он никогда не хотел в эту грязь, а вот влип по уши, и никому он не желал беды, ни Хельге, ни сынишке, и рад, что Сабина вовсе не выглядит несчастной, только, как и он, тревожится за Хельгу и Бернхарда. Но как быть с ее ребенком и с еще одним, которого она ждет, как быть с ее мужем? Как-никак он ей все еще муж, их свадебные фотографии до сих пор печатают, ведь не так уж много лет прошло: эта баснословно дорогая «простота», с которой они были одеты,

оба молодые, сияющие и оба ужасно «скромные» в своих баснословно «скромных» нарядах. Он не стал просить о переводе, не ходил больше к исповеди, только иной раз часами просиживал в захудалой церквухе и в грязной пивнушке напротив, размышляя о субботнем запустении, о серьезности священника, думал о его единственно правильном совете: перевод, и немедленно. И снова и снова вспоминал слова Сабины — «этим мы обязаны им» — и еще этого Беверло, с которым она так любила потанцевать. Ревность? Да, ревность, и опять-таки не к Фишеру. Не может он последовать умному совету, не хочет никуда уезжать, расставаться с Хельгой и Бернхардом, хотя знает ведь: втроем — да нет, вшестером, даже всемером,— нет, не получится, не бывает так.

И вот он торчит в замке, бродит вокруг замка и не может ни позвонить, ни написать, а в мыслях только одно: неужели ей так трудно родителей навестить? Она редко приезжала, и он пытался представить, о чем она беседует со стариками: может, о ребенке, которого ждет, о его ребенке. «Мой» — как-то это в голове не укладывалось, да и прежде, когда Хельга ждала Бернхарда, он чувствовал то же самое: мой, твой, его — все это пришло потом, когда Бернхард уже родился: это был его ребенок...

Лучше не думать о том, что будет, если все «откроется» прежде, чем Хельга сама об этом расскажет; охранник с подопечной, скандал, хотя что тут такого особенно скандального: мужчина и женщина, он женат, она замужем... Мир от этого не перевернется. Мир и не такое видывал, вон сколько их, грешников, в земле лежат, сколько могил травой поросло, и вовсе он не думает, что он Сабине «жизнь порушил», не такая уж пропащая у нее будет жизнь. А думает он все время почему-то о «тех», о том, сколько они всего натворили, сколько незримых ниточек дернули, сколько мелочей сдвинули с привычных мест: начиная от обувных коробок, которые проверял Цурмак, бледных от ненависти продавщиц, шлюхастой дамочки, что перед Люлером выставлялась, и кончая Сабиной, а еще эта чертова история с соседкой Сабины и ее любовником, вот тем-то, похоже, и вправду «жизнь порушили», хотя — как уведомили общественность — «не без оснований», так и написали: не «по заслугам», а именно «не без оснований», потому что у Шублера и вправду обнаружили пистолет, некую подозрительную литературу, но ни малейшего намека на конспиративные связи, а тем паче на какие-либо списки или планы; да и литература была довольно старая, примерно десятилетней давности, а уж пистолет — допотопный револьвер, скорее на детский «пугач» смахивает, правда с патронами.

И еще одно не дает ему покоя, злит, мучит, выводит из себя: отчего так получается, что в шашнях Шублера с Бройер он видит только мерзость, вероломство, грязь, а все, что у них с Сабиной, кажется ему возвышенным и чистым, это «совсем другое», между тем разницы-то никакой! Сидя в пустынной забегаловке, в еще более пустынной церкви, он все пытался вытравить злосчастное «это не одно и то же», хотя ведь ясно как дважды два, что сам он нисколечко, ни на йоту не лучше, но почему-то мнит о себе бог весть что. В свое время, когда он в нравах стажировался, отлавливая парочки в парадных и под кустом, в закоулках, за деревьями и вообще где только можно, он считал, что это мерзость, скотство — вот так, «в любом углу»,— а оказалось, он, полицейский, такой корректный и добропорядочный, способен делать то же самое, а она, Сабина, обнаружила такую изощренную сноровку в заметании следов, что его это даже пугало: вдруг где-то там, в той, давно прошедшей, давно позабытой жизни, она все это уже проделывала — тоже украдкой и тоже в любом углу.

И вот он торчал в замке, бродил вокруг замка, обследовал лестницы и коридоры, пытался угадать ее черты в лице матери, отца, угадывал и узнавал в обоих, обмениваясь с ними парой слов, на ходу, но всегда любезно, радовался малейшим приметам сходства: в уголках

губ, очертаниях лба — и мучился, ужасался от одной мысли, что ему придется ее оставить. Но еще чаще думал о Хельге и о том, что вынуждает Хельгу его «соблазнять», а ему от этого только хуже. Может, прежде чем объясниться с Хельгой, стоит посоветоваться с кем-нибудь еще, не с Кирнтером, но, может, с Карлом, ведь он и вправду, тут уж ничего не скажешь, вон сколько приложил ума, любви, долготерпения — не исключено, что и системный анализ помог,— чтобы вытащить Монку из трясины. Кругом хаос, разложение, тлен, вот он и влип. С родителями не поговоришь, тут надежды никакой. Его профессия настолько оскорбляет их «сословную честь», что «полицейский» звучит в их устах куда презрительней, чем у иных «легавый». Никак, никак они не поймут, что и на этой стезе вполне можно снискать почет и уважение. Кичатся профессией «юрист», хотя в самом этом слове уже есть что-то жуликоватое. Расскажи он им о Сабине, и, как знать, они еще, чего доброго, удумают, что Сабина «подходит» ему куда больше, чем Хельга, ведь Хельга всего-навсего дочь силезского беженца, который хоть и утверждает, что работал фабричным мастером и что у него был собственный домик, но даже фотографию этого домика так ни разу и не сподобился показать. И с братом Хансом тоже не поговоришь, тот сразу начнет гнусавить что-то научное, все больше в социально-историческом аспекте, на словах-то он все растолкует, все по полочкам разложит, только где они в жизни, полочки эти самые; Ханс пустился бы в отвлеченные материи, во всем обвинил бы пороки моногамии, может, в этом что-то и есть, он и сам задумывался, почему ему и Сабину нужно удержать, и Хельгу отпускать не хочется, причем с Хельгой его связывает что-то одно, и этого не объяснишь, а с Сабиной что-то совсем иное, и этого тоже не объяснишь, но с обеими — накрепко, до боли, а выглядит все до ужаса банально, в любой газете каждый день про такое пишут,— и тут уж не поможет ни исповедальня, ни лаванда, и раскаяние не поможет, да и перевод вряд ли; да, он искал ее черты в лице матери, в лице отца, и все же он испугался, когда она сама, живьем и во плоти, приехала в замок.

Приехала с матерью, с дочкой, с очень скромным багажом — но насовсем, это было видно и по всему чувствовалось. Он как раз заканчивал обход парка, осмотрел оранжерею и приостановился в углу во внутреннем дворике, чтобы не столкнуться с ними нос к носу, но все же достаточно близко, чтобы вежливый поклон выглядел уместным: девчушка в ответ вскинула руки — «свинская яма!». И в осанке Сабины, в развороте плеч, в ее лице он прочел окончательность переезда и сразу подумал о Фишере: что там у них стряслось? Было во всем этом что-то от фильмов, где немой кадр предвещает беду, хотя никто не виноват, только судьба, трагедия,— и он испугался, но не за Сабину, не служебных неприятностей и уж тем более не Фишера, он испугался только за Хельгу и за мальчика, который всего этого еще не поймет. Испугался камня на своей шее. Кому, кому такое объяснишь?

(Окончание следует)

ТОМ ГАНН

■

С английского

Лазарь невоскресший

Его друзья в могилы полумрак
Глядели жадно, в робком ожиданье
На жирно блещущем лице заметить знак...
Казалось, все, конец... уже ему никак
Не встать,— не исполнялось предвещанье.

Недвижен, он лежал под сенью рук,
В чьем жесте возвращенья обещанье.
И хоть готов был разойтись смертельный круг
(Едва б раздался сердца первый стук),
Но все не исполнялось предвещанье.

О Лазарь, ты как будто невесом,
На глади смерти в мертвенном сиянье
Лежишь и вниз нейдешь... Восстань, мы ждем,
Нам страшно у трясины — в месте сем
Исполниться не может предвещанье.

Когда, вначале, был он пробужден,
Мысль началась и началось дыханье,
Луга младенчества, их безопасный сон,
Такой со смертью схожий, выбрал он
(В те дни не исполнялось предвещанье);

Сперва пришел он к помыслам таким
И не прощенье выбрал, а прощанье.
Потом, на склоне дней, покой был с ним...
И вот последнее усилье... Мы хотим
Узреть исполненное предвещанье:

Покойник веком дрогнул. Головой
Качнул и соскользнул в зиянье
Могилы глубочайшей, в горловой
Канал земли. Сам выбор сделав свой.
Все, не исполнилося предвещанье.

Ну вот и все... Но я и тех видал,
Кто ждал еще, глядел, глядел в молчанье...
Друзья свершили все, к чему их долг призвал:
Когда б не этот страх, когда б не света шквал,
Вдруг да исполнилось бы предвещанье.

Из-за северного ветра

Весь лета жар хранило это сено;
Внизу поилки промерзали: мальчик
Взбирался еженощно по ступенькам
И, с головой в тряпье зарывшись, слушал
Послушный ветра шум, но узнавал лишь
В мозгу царящий острый запах сена.

В конюшнях здесь, один, он пробуждался.
Из лета — кубарем, ползком — сквозь зиму,
И — в воздух, где времен у года нет:
Нет смены их — ведь воздух там недвижен
(Он выедает память постепенно),
В ней тают замок зим и запах сена...

Сказали конюхи (хоть знали больше):
«Удел наш — сено». Запахи другие —
Коней и кож, навоза, пота, смерти —
Все это в ветре Северном нашел он.
Но выл Восточный целый день бессменно,
С конюшен выметая хлопья сена.

Перевод ОЛЕГА ЮРЬЕВА

Гимн столице

I

Приемля равнодушно
то равнодушие, что создало ее,
Утратив грацию под полнотой излишней,
Она вбирает — как грязь и чужеземцев,
Иль мох, что вырос на ее церквах,—
Все, что воздашь и ты случайному пристанищу,
Иль закоулку, безликим монументам...
И уж, конечно же, центральной магистрали.

Ты в ней приветствуешь подобие себя;
Ведь все, что незакончено и чуждо,
Внушает неосознанную страсть
К тому, чем сам не можешь стать.

II

Лишь на заре
Ты мог бы от нее уйти: она на час уснула.
Прислушайся к ее спокойному дыханью. Остывшая,
Она простерта в предутреннем безлюдье мостовых.

III

Но ты остался. Не глядя на тебя, она погружена в свои дела,
Но вдруг лукаво рекой взглянула сквозь туман,
Ее ли ты еще. Да, ты остался. А вечером
Кровь бьется в венах, все ускоряя бег, ее потоку вторя.

IV

Призвав случайного избранника, капризная в любви,
Она всечасно утверждает свою свободу:

То обратит к тебе заплаканные стены —
Твои творения (давно уже и краска и шпаклевка с них сошли),
То погрузит тебя во мрак аллей,
И вдруг свои объятья раскроет —
О них весь день напрасно ты молил.
И вот она, в тумане вожделенья, бредет, нашептывая имена:
Чаринг-Кросс-роуд — иль Форти секонд-стрит;
Как нескончаемая цепь желаний текут те улицы,
Знакомые и непонятные, они украшены
Огней фальшивых блеском (подделка очевидна дураку).
К своим изгибам жестким она тебя прижала,
К ночным кинотеатрам, барам, аркам, витринам, сияющим
И изобильным. Сейчас она как никогда прекрасна
Земная, щедрая, творенье человека.

Перевод ЛЕОНИДА АРИНШТЕЙНА

Коридор

Меж помыслом и чувством есть провалы —
Гостиничный пустынный коридор.
И скважины замочные! И взор
Припал к одной, где вроде замерцало.

А вдоль по коридору, где светлей,
Зеркальное трюмо обозначалось —
В нем скважина во мраке отражалась
И человек, склонившийся над ней.

А в скважине показывали счастье,
Которого он в жизни не имел
(Брезглив, непривлекателен, несмел —
Или грехом считая соучастье.)

Вся суть любви — он думал,— кто кого?
И стоит лишь начаться ей, как сразу
Послушен станешь внешнему приказу,
Чужое утверждая торжество.

Пристроился у щели поудобней
И в этот миг заметил, что само
Его занятье выглядит в трюмо
Как зрелище — не сыщешь бесподобней.

И сразу же несчастен стал и наг:
Он жертва, он актер, он наблюдаем!
Он высмеян каким-то негодяем!
Он прочь от щели — и повсюду мрак.

Ведь если тот, за зрителем следящий,
Как за спектаклем, сквозь глухую тьму,
Сам наблюдаем,— то тогда кому
Дано уйти от воли привходящей?

И более того: кому дано
Узнать, что предстаешь неискаженным
В чужих глазах (сквозь щель и отраженным
В кривом трюмо, когда кругом темно)?

А зренье лжет порой и напрямую!
Все так, но любоглядство не про нас,
Гляди в глаза, не опуская глаз,
И с миром поспешай на мировую.

Перевод ВИКТОРА ТОПОРОВА

Невинность

Он вырастал, когда бежал вперед,
Он после боя больше знал, чем прежде,—
Вид самомненья, свойственный, как пот,
Здоровой плоти в форменной одежде.

Он с прошлым рвал, он забывал о том,
Что есть вина, раскаянье и жалость.
Душа и проч. Жизнь набухала в нем,
И как в весенних почках обнажалась.

Он был в войсках, и все, что он умел,
Он здесь узнал: его отвага, сила,
Привычка не раздумывать взамен
Морального закона, все в нем было

Лишь частью их самих,— и, как предел
Всех совершенств, доступных им, явилась,
Компактно воплотясь в его мундир,
Младенчески прозрачная невинность...

Потом, к костру, где русских партизан
Живых сжигали, придвигаясь ближе,
Он мог смотреть, как их огонь терзал,
И полагать, страдая лишь от стужи,

За пламенем следя, и дым кляня,
Что неизбежно так же исчезает
Любая боль, как около огня
Она в его ступнях замерзших тает.

В церкви
Санта Мария дель Пополо

В те полчаса, пока я ожидал,
Чтоб солнце, передвинувшись чуть ниже,
Мне осветило сумрачный придел
С картиной Караваджо в темной нише,
Тень на холсте, вбирая тень извне,
Размыла формы, сделалась темнее,
Лишь круп коня позволив видеть мне,
Но сам сюжет поставив под сомненье.

Потом я разглядел: там проводник
Держал коня, из мрака выступая,
А на земле (его не виден лик)

Простерся Савл, преображаясь в Павла.
Лукавый живописец, почему
Сквозь этот хаос тусклых форм и мрака
Ты сцену свел лишь к жесту, к одному
Усилью рук, раскинутых широко?

Позднее боль чудесно исцелил
Анания, открыв источник боли.
Художник знал лишь то, что здесь открыл —
Лишь таинство, чьи цели смутны были.
В другие дни он написал портрет
Той юной шлюхи в поясе Венеры,
Тех шулеров, еще какой-то сброд
И был убит одним из этой своры.

Я возвратился в полутемный неф,
Где прихожане — все одни старухи —
Уже молились, головы склонив,
Упрятав лица в сложенные руки,
Как бы укрывшись в их сухую клеть.
Им не под силу тот, открытый к небу,
Тот сильный жест — попытка защитить
Себя от пустоты, обнявшись с нею.

Открытие Тихого океана

Тогда, в Канзасе, в сумерках сухих,
К покрытой пылью прислонясь машине,
Следя, как солнце в многих сотнях миль
Клонилось в океан, они решили

Махнуть за ним,— все дальше с каждым днем
От прошлого, почти без остановок,
В пути сменив привычки и потом
Вновь их сменив и вновь привыкнув к новым...

Той ночью, вне «когда» и «где», она
От шороха ветвей проснулась, следом
Сквозь спальник ощутив, как холодна,
Тверда под ней земля — лишь спящий рядом

Хранил ее от холода, пока
Она уснула; привыкая к гулу
Ночного ветра с примесью песка,
Сквозь сосны проникавшего в лагуну.

И вот теперь, раздевшись наверху,
(Дорогой долгой выдублена кожа)
Они спустились по камням и мху
В тот океан, его покой тревожа.

Суровый Запад хмуро встретил их,
Они вошли, покуда не достала
До плеч вода, и пауза меж двух
Пологих волн с объятьем их совпала.

Перевод ДМИТРИЯ ЗАКСА

■

АЛОНСО САМОРА ВИСЕНТЕ

Новеллы

Перевод с испанского А. КОСС

Новая квартирка

Гляди, нет, ты гляди, какая чудная квартирка!.. Прелесть, и не спорь. Вот повезло нам, сколько искали, прямо отчаялись, а в конце концов... Увидишь, как хорошо здесь будет. Главное приспособить ее малость, все втиснуть — уж больно они крохотные, новые квартиры, что да, то да. Жизнь теперь такая, вот в чем дело, не думай, теперь не то что раньше, когда комнат было сколько хочешь, приволье разным родственничкам из захолустья, приедут хлопотать о местечке или на операцию аппендицита и торчат месяцами, ни гроша не платят, воображают — раз привезли курчонка-другого, с них ничего не причитается, живут себе и не чешутся, и ничем их не выкурить. Нет уж, миленький, никаких таких штучек. Дом есть дом, а не пристанище для всего рода-племени. Никаких тебе комнат для дедки с бабкой, для зятьев-сватьев и прочих. Нужно себя ограничивать, не зря же правительство призывает. А правительство сантиментов не разводит, такую тебе жизнь устраивает — налоги и налоги, даже если ты возьмешь к себе под кров все старичье, сколько есть на свете. Ты уж больно не от мира сего, в глаза бросается. Мы ссориться из-за этого не будем, но за дело нужно взяться решительно и с первого же дня. Мы должны с самого начала относиться к нашему браку со всей серьезностью, а ты как думал? Гляди, передняя до чего красивая, верно? Сюда можно будет поставить большой сундук, он принадлежал еще моим предкам. В наше время старинная мебель — это страшно престижно, знал бы ты, сколько за нее дерут на аукционах, вот уж будут завидовать наши сослуживцы, у них-то небось никаких предков нет и в помине, ничего такого, точно тебе говорю, вчера перебрались в Мадрид, убогие канцелярские крысы... Слишком велик сундук, говоришь? Ну и что? Вот увидишь, как будет современно. А на сундук поставим серебряный барельеф, подарок твоих сестер, «Тайная вечеря». Безвкусица жуткая, зато серебро высшей пробы, а нам так и так придется приглашать их на чашечку чая, самое для них милое дело... А уйдут, я сразу уберу с глаз долой. У меня есть другие картины, очень красивые, из современных, что нарисовано, не понять, мы их и выставим, когда придет твое начальство, вся эта публика делает вид, будто шибко разбирается в таких вещах, а сами ни в зуб ногой, бьюсь об заклад на что хочешь, спросят, что там нарисовано, что скажем мы, тому и поверят, не беспокойся. А в этот угол поставим этажерку с фарфоровыми статуэтками из Эль-Ретиро[1], купим как-нибудь в во-

© Ediamérica, 1983; Alonso Zamora Vicente, 1982

[1] Знаменитый парк в центре Мадрида; украшающие его изваяния часто воспроизводятся в виде сувенирных статуэток, фарфоровых или гипсовых.

скресенье на базаре Эль-Растро[1], и еще какие-нибудь, из других мест, но тоже знаменитых, а то люди скажут, наш патриотизм ограничен узкими пределами местных рамок; вот увидишь, есть бесподобные статуэтки, и не очень дорогие, ой, милый, мы еще не купили, а ты уже брюзжишь... Так мы зайдем в тупик, мы должны быть заодно во всем, в радостях и в горестях, в оформлении дома и в политике, гармоничный брак, а как же, мой сладкий... Так что́ насчет статуэток?.. Ну вот, правильно. Вот это мне нравится. Единодушное согласие по всем вопросам, как на заседании кортесов. Ой, чуть не забыла! Я видела во всех журналах, где печатают фотографии из домашней жизни знаменитостей, что в прихожей... Только нужно говорить — холл. Смотри, когда мои родители придут к нам ужинать, не ляпни «передняя», или «прихожая», или «вестибюль», я тут же подам на развод. Видишь, предупреждаю заранее, как говорится, кто честно предупреждает, измены не совершает. Только не «холльчик», ни в коем случае. «Холл» звучит очень заграничко. Потрясающее словечко! Ты мне прямо не даешь слово сказать; так вот, я про что начала, я видела в журналах, что в холлах у знаменитостей, у той же Тейлор, у Лоллобриджиды, у них там растения и голые скульптуры, мужские и женские... Слушай, Раймундин, объясни мне, лапушка, по какому принципу они выбирают, какую статую поставить — по дням недели, или в зависимости от того, кто приглашен, или еще от чего-то? Сам понимаешь, если к нам пожалует мой братец, тот, который служит приходским священником в Пиринео-де-Уэска, нам придется держать ухо востро. И говорю тебе сразу, он к нам так и рвется, прямо ужас. А у него нет светских костюмов. Придется дать ему поносить твой какой-нибудь, сам понимаешь, миленький, не покупать же ему на свои кровные ради какой-то недели, от силы двух! Может, ему подошел бы какой-то из тех костюмов, что ты себе недавно сшил, можно было бы дать ему, вдруг понадобится для визита к епископу, не являться же ему туда в чем попало, мы такого допустить не можем. Ладно, ладно, не накаляйся, что-нибудь придумаем. Экономия, экономия, у тебя это прямо пунктик. Тебе бы экономистом быть, они всегда возятся с цифрами, у которых целый хвост нулей. Ладно, замолчи, лучше скажи — тебе бы только перечить мне,— ты за статуи или против? Учти, их ставят голышом, так оно практичнее. Никаких вешалок, как во всех этих жутких квартирах, хоть, к примеру, в квартире твоих стариков, у них вешалка — страх божий, да еще взяли поставили здоровенный талаверский[2] кувшин и суют туда зонтики, до того старомодно, ужас, от меня такого не требуй, я женщина с передовыми взглядами, и вкус у меня безупречный, а ты как думал. Значит, статуи. Представляешь: приходит гость и вешает пальто на статую, и нам незачем тратиться на вешалку или принимать у гостей верхнее и складывать на кровати, поди знай, где эти вещи побывали и какая гадость к ним прилипла. Ладно, дело решенное, ставим статуи. А растения — там видно будет, посмотрим, какие подойдут по оттенку к портьерам. Чувствуешь, сколько сложностей, тебе ведь самому шторы не выбрать, верно? Какого цвета, однотонные или с рисунком, чувствуешь, как трудно? Раз сам ничего не смыслишь, предоставь это дело мне. Уж я тебе такую квартирку организую... Я прямо сама не своя, столько планов, мне даже не выразить. Ты только представь себе: тяжеленные шторы, бахрома длинная, золотая... Такие традиционные-традиционные. Или, лучше сказать, в стиле «ретро», я правильно выразилась? В общем, лапуля, я вижу, до тебя дошло. А растения... Ты разбираешься в растениях, солнышко? Он опять за свое. Знаешь, миленький, если бы я за тебя

[1] Известный мадридский базар, где торгуют всевозможными товарами, в том числе подержанными.

[2] Талавера-де-ла-Рейна — город в провинции Толедо; славится, в частности, керамическими изделиями.

не думала... Ну ясно, гвоздики, азалии, герань... А больше тебе ничего не приходит в голову? Здесь надо поставить тропические растения, миленький, оранжерейные растения, вот такой высоты, в этом углу мы пробьем дырочку, пускай, когда разрастутся, вылезут наружу, во двор, и еще одну дырочку вон там, пускай вылезут на лестницу, чтобы соседи знали, какой у нас современный вкус, любовь к растениям — это так современно. Прямо вижу, как они вьются по перилам до квартиры, что под нами. Лапонька, ты ведь будешь поливать их по субботам, когда останешься дома в роли мужа-сторожа? Потому что я хочу, чтобы на время моего отпуска ты остался дома в роли мужа-сторожа, ладно? Я уже договорилась с Лауритой и с Кети, с девочками из архива, мы вместе махнем на побережье, проведем там месячишко. Нам с тобой вдвоем выбраться — денег не хватит, ты на рождество съездишь на несколько дней в горы, по крайней мере, перезимуешь без бронхита, заодно сэкономим, ехать к морю вдвоем слишком накладно, уж в чем я уверена, в том уверена. Господи, чуть не забыла, надо бы чем-то прикрыть радиатор. Чем-то декоративным. Загляни-ка в календарик, лапушка, проверь, свободен ли ты в среду вечером, сходим на какой-нибудь аукцион, может, что-то подвернется, чтобы прикрыть эту жуткую штуковину. В таком виде она неудобоварима. Ну да, конечно, уж ты скажешь, радиатор как радиатор, все-таки до чего ты не оригинальный и не тонкий... Вот в квартире у моей двоюродной сестры, Фатимы, радиаторы поставили совсем не такие, вроде как бы аллегорические, каждая деталь изображает сцену из отечественной истории. Вот радиаторы так радиаторы. Сменим эти, darling? Ой, до чего же ты некоммуникабельный! Ну, не сейчас — так позже сменим. А зато здесь в центре поставим малюсенький столичек и кресло — для гостей, пускай сидят и ждут — не впускать же сразу, а вдруг застукают нас в расхристанном виде, сам понимаешь, бывает, ходишь расхристанная, ну и... А чтоб не скучали, пока ждут, само собой, не примем же мы их в ту же минуту, если вы заставляете гостей ждать, это повышает вашу... ну это самое... престижность, вашу, так сказать, светскость, надо, чтобы нас ценили... Ну вот, у тебя уже испортилось настроение, господи, до чего невыдержанный. Ты слушай: вот сюда, на эту часть стены возле окна, понавешаем разного, пускай гости пялятся. Как — что именно? Засушенные цветы под стеклом, они такие романтичные и ко всему подходят, и гравюры с изображениями рыб, они такие веселенькие, и репродукцию «Герники», знаешь, сейчас она висит в домах у всех почти политических деятелей — кто бы мог подумать?— и барометр, и стеклянный ящик с коллекцией бабочек, и план Барселоны, и нашу свадебную фотографию, и факсимиле странички из старинной книги с готическими буквами, и... Пистолет? Ну, ты скажешь, чего ради нам вешать сюда пистолет? Что тебе только приходит в голову, миленький, убиться прямо, пистолет, придет же в голову... Гляди, гляди, молчи давай, гляди, здесь внизу наставим корзинок, в народном испанском стиле, дроковых, как же они называются, такое простонародное слово... агуадеры[1], они страшно красивые и жутко модные, я видела такие в лавочке корейских народных промыслов, мы будем держать в них тапочки, а на рождество положим рождественские пакетики. Вот так. Твои — тут, мои — там. Твоя агуадера будет стоять под окном, а то ты по своей близорукости вечно спотыкаешься. На столичек положим разные журналы, пускай гости знают, какой у нас образ мыслей. Знаешь, я даже не возражаю против тех, где девочки. Они жутко занятные, а теперь есть и такие, где мальчики, а ты что думал — мы, женщины, не умеем за себя постоять? А твоим друзьям-приятелям сюда путь заказан, уж я об этом позабочусь, зря воображают, что могут опивать меня и объедать. Эти

[1] Агуадера — плетеная корзина для переноски глиняных сосудов с водою.

времена прошли. Слушай, как ты думаешь, если сюда поставить старинный кувшин и статуэтку из тех, что сейчас продаются в церквах, жутко дорогие, зато ко всему подходят! А потом переставим в другое место, в общем, решено — ищем такую статуэтку. Если ее можно переставлять с места на место, стало быть, выходит экономия, не нужно покупать отдельно статуэтки для каждого места. Ой, какая мне потрясающая пришла в голову идея. У нас будет не холл, а игрушечка, как говорится, если мы сюда повесим большую люстру из квартиры твоих стариков. Мы-то сами привыкнем ее обходить, а что она будет висеть так низко, даже лучше, будет бросаться в глаза, все придут в восторг, ты как считаешь? Ну вот... Что значит — родители будут против? Ну, голубчик, это уж твое дело, сам думай, как уломать, но ты только представь себе, эта люстра здесь, у тебя в квартире... Да если ты ее сюда не притащишь, бог тебе никогда не простит, еще чего не хватало. Ух, гляди, гляди, как я раньше не додумалась, сюда мы поставим... Ой, куда ты так быстро, ты же свалишься с лестницы! Ты что, это же неприлично, мчишься сломя голову да еще свистишь, ужас... Да-да, смейся, вот увидишь, когда вырастет лиана, которую я посажу... Как ты сказал — ни за что не сунешь голову в петлю? Идиотина, неблагодарный, погоди, погоди, нам же нужно еще посмотреть, как мы оформим спальню. Этого я тебе не прощу. Сказать мне такое: а где я отведу местечко для мужа? — жутко безвкусные у тебя шутки, лапушка, я же сказала, нам надо обсудить, как мы оформим спальню и как мы...

Умереть по бедности

Господи боже мой, господи боже мой, совсем другая выпала бы нам жизнь, не родись я у нас в селе. У нас в селе, знаете ли, рождественскую ночь празднуют вовсю, иначе не могут, пляшут, хохочут, поют, пьют, обжираются, а бывает, и концы отдают. Уж такие мы люди. Очень даже хорошие, в полночь — на мессу, потом собираемся всем семейством, вильянсико [1] проорем — для виду, чтобы по соседству разговоров не было, а там — гуляй, душа, жизнь коротка! Но при всем том, сеньор, наше село не только гулянками славится: были у нас и святые, и мученики, и святош невпроворот, а в последние годы и черный рынок появился, и деляг хватает. Так-то вот; ежели угодно вам, все как везде, только малость получше,— верно? — получше, потому что наше село... Старокастильское оно, этим все сказано.

Ну так вот, в нашем селе у всех в крови, само собой, страсть к приключениям, все мы — завоеватели Америки. О чем и хочу рассказать вам нынче вечером, вы ведь, сдается мне, не больно разбираетесь в таких вещах, понятное дело, вы, люди ученые, не знаете, что с чем едят. Я говорю «не знаете, что с чем едят», чтобы вы сразу поняли: перед вами человек бывалый, тертый, поездил, свет повидал; а просиди я всю жизнь у нас в деревне, сказал бы, по старинке, что не знаете вы даже, как обедня поется, и это, согласитесь, звучит очень уж по-церковному, никак не вяжется с моими прогрессивными взглядами. Так-то вот. Ну, стало быть, Колáс, двоюродный мой, уже женатик, и ваш покорный слуга... Само собой, с нами и жена Коласа, супружница его, Бласа Наррос, из такой она семейки — скупердяи, грубияны из грубиянов — так вот, мы все втроем подались в Нью-Йорк,— ничего себе размах, верно? — в страну толстосумов попытать счастья. Местечко мы нашли у нашего посла, состояли при нем, при послице и послятах, компания чуток тошнотворная, и мнили о себе много, но добрые христиане, а главное, платили нам потря-

[1] Испанская народная рождественская песенка, колядка.

сно. Бласа занималась сладкими блюдами и постелями, да еще ходила в drug-store, это у них лавки такие, вроде той, что у нас в селе, торгуют всякой всячиной, только там они куда больше, с грузоподъемниками, и с кино внепрерывку, и с закусочной, и с курительной, где треплются про политику и про кошмарные зарубежные проблемы. Колас, тот мыл машины, и чистил обувку, и выгуливал собак в Сентрал-парке, там они облегчались, а перед случкой он расчесывал их, так что любо-дорого, и вешал бубенцы на ошейники, потому что там это дело делается по-серьезному, с документами и в большом порядке, не то что у нас, мы же просто дикари, послушайте. Ну а я-то... По моей части были дела особой важности, так сказать, деликатные, знаете ли. Не буду хвастать, но я-то человек не без образования, у нас в селе мог за себя постоять, не думайте. Ну и в Америке в этой я ходил на почту, наводил лоск на позолоченные дверные ручки, чего-чего, а этого добра хватало, и следил, чтобы детки не спалили дом, когда родители уходили. Случалось, и оплеухи им отвешивал, полновесные, от всей души, это же была шайка богатеньких подонков, воспитаны хуже некуда, ломаный зонтик и тот воспитанней, так их папеньку, а уж спеси... Еще ходил платить по счетам сеньоры, и поливал ее цветочки в горшочках, и следил, чтобы у нее в аптечке было все что надо, тут тебе пилюли и от головокружения, и от мигрени, и для аппетита, и для кислотности, и снотворные... И ходил в лавку, где торгуют дарами моря, в те дни, когда хозяевам хотелось вкусненького, чуть не каждый божий день, бедняжечки, жрали без передыху, себя не жалели, а зачем ходил — проследить, чтобы прислали все свеженькое, а не размороженное, а когда хозяева устраивали у себя вечеринки с танцами и спиртным, я обслуживал гостей, чтобы не надели чужое пальто либо шарф. Словом, образцовая жизнь. Не без тягот, но очень культурная, очень господская, и уж такая благовоспитанность, можете мне поверить, уж такая благовоспитанность...

Тут-то и наступило то самое рождество. Всю вторую половину дня хозяева елозили вверх-вниз по елке, ни дать ни взять мартышки, изукрасили ее всякими бомбошками, бантиками, блестками, игрушками, гирляндами, пакетиками всех размеров, искусственным снегом... Доставили елку прямо из лесу, очень знаменитого — в этом лесу, судя по всему, растут елки исключительно из пластиков, сразу видно, очень передовая страна. Хозяин вырядился санта-клаусом — дешевенькая одежка, недостойна человека его ранга, он ведь мало того, что родом был не откуда-нибудь — из Асукеки, это в Гвадалахарской провинции, налево пойдешь, так найдешь,— он к тому же по-английски шпарил. Недостойно вырядился, скажу я вам. А уж какую чепуху городил в этом наряде... Как только государство может платить жалованье таким несерьезным типам, прямо не верится, клянусь вам. К девяти вечера вся семейка смылась в неизвестном направлении, не то к дружкам-приятелям, не то спать, не то на побережье, мне-то что. Мы все были очень расстроены, рождество какникак, вот и вспомнилось нам сельцо наше, когда в каждом доме ставили «насимьенто»[1] и ели треску с чесноком и взбитыми белками[2], и вспомнились нам разные разности, как пели у нас «Подошли мы к этой двери» и «Вон идет старушка, нам несет подарки, поубавила чуток, видно, стало жалко», и разобрала нас тоска по родине, ясное дело, тянет человека на родину, так тянет, что только держись, другой такой нету, как будешь справлять рождество вдали от родины, ни тебе доброго миндального марципана, ни тебе доброго марципана из Сонсеки, и не калятся в очаге каштаны, ох и треску

[1] Насимьенто (от исп. Nacimiento — рождество) — макет, заключенный под стеклянный колпак; изображает сцену поклонения волхвов и пастухов младенцу Христу. Традиционное рождественское украшение испанского дома.

[2] Испанское праздничное блюдо.

от них, прямо канонада... «Листья виноградные, веер мой зеленый...» У Бласы слезищи из глаз — каждая с земной шар, мы с Коласом как увидели эти слезы, как увидели, до чего она разрюмилась, прямо тебе кающаяся Магдалина, ну куда денешься, слушайте, мерехлюндия, она прилипчивей оспы. Ох, кофе с ромом, его у нас «вырвиглаз» зовут, и сдобные булочки, и хворост, и засахаренный миндаль, и андалусские пышки, и медовые коврижки с орехами, и... и... и... И барабан самбомба, и большой бубен, и малые бубенчики, и «Дева Мария, Матерь Господня»... А как соскучились мы по винцу, по ликерчику «мистела», по анисовке, у нас не было под рукой даже красной кислятины, что прямо в голову шибает, как ее там раздобудешь. Но Бласа, женщина очень даже хозяйственная, прикопила бланки рецептиков за подписью послицына мозольного оператора, мулат он был, помесь итальянца с негритянкой, педик из педиков, а уж характерец... Заполнили мы эти рецептики и раздобыли несколько бутылок рома и вина французского. Сухой закон был, слыхали небось. Вы-то в этом что-нибудь смыслите? Я, по правде сказать, не шибко, но, видно, серьезное было дело, заковыристое... Словом, страху было много, может, это у них с тех времен осталось, когда они индейцами были, но только они, когда выговаривали эти слова, глаза закатывали, нос морщили, словно тужась при запоре, и ладонями перед лицом трясли, словно от невидимой опасности отмахивались: «Сухой закон!» Звучало так, словно они букой мальцов пугают. А вообще-то они по большей части все долговязые и обожают платить налоги, так что не разобраться толком. Ладно, были, значит, у нас эти бутылки да виски нашего патрона, он их, видать, где-то за границей раздобыл, мы и решили прибрать эти самые вúсочки-висюлечки к рукам, чтобы у него неприятностей не вышло... Так что святую ночь справили как добрые христиане. По-турецки, одно слово!.. Колас сразу накачался и расхныкался, а Бласа, та подоткнула юбки и разорила всю елку, во славу Агустины Арагонской [1], а потом давай пинать ногой подарочки, перевязанные шелковыми ленточками... И началось!.. Как веселились мы, как орали, «Марсиал, ты среди тореро первый», «За тебя, Испания, страна очарования, будь оно неладно», «Нет на земле другой такой». «Слава Христу из Лимпьясской [2] церкви», «Слава Пречистой из Ковадонги»[3], «Виват, святой покровитель гарпунщиков галисийских», «Янки, вон из нашей страны», «Слава Испании», «Оле, оле, многие лета мамаше моей»... Ну, спели, ясное дело, как у нас в селе, «Послушайте, сеньор Хосе, ее вы в щечку не целуйте», а Бласа, та до того серьезная сделалась, давай наставлять нас и поучать, с божьей помощью и под парами, мол, никому из этих мерикашек и дела нет до ляжечек Тарары [4], тут все сплошь чурбаны неотесанные, слыхом не слыхивали, для чего нужны косы причетницы и сорочка Лолы, одни невежды вокруг, ни об чем никакого понятия, балаболы, дотошные и веснушчатые, причем рыжие, как Иуда, а то вообще негры. Так и шла ночь; и голосили мы песни, и орали, и слезы лили — от тоски по родине, ностальгия, а то как же, приятных-то воспоминаний у нас хоть отбавляй: и как в очередях стояли в голодные годы, и как справки о благонадежности добывали

---

[1] Агустина Сарагоса-и-Доменеч (1786—1857), прозванная Агустиной Арагонской,— национальная героиня, прославившаяся во время войны за независимость против вторгшихся в Испанию наполеоновских войск (1808—1814); при осаде Сарагосы обстреливала из артиллерийского орудия наступавших.

[2] Лимпьяс — испанский городок в провинции Сантандер, местная церковь известна статуей Христа.

[3] Ковадонга — деревня в провинции Овьедо, в битве при Ковадонге в 718 г. национальный герой Пелайо разбил мавров. Собор знаменит статуей Богоматери.

[4] Тарара — народная песня-танец, разновидность хоты; распространена в провинции Сория. Кроме того, Тарара — прозвище искусной плясуньи, фигурирующей в текстах этого жанра. Упоминающиеся ниже Лола и причетница — персонажи народных песен.

во время последних репрессий, и как хлыстами сами себя стегали, когда на Страстную участвовали в крестном ходе, и как севильские молодчики резвились с ножиками, и какой грипп был в девятнадцатом году, а потом эпидемия тифа, его вши разносили... И решили мы выйти на улицу, чуток проветрить голову и восстановить душевное равновесие. Такая уж это штука — жизнь вдали от родины, понимаете ли, человек приходит в волнение от чего угодно, тем более если он родом из нашей деревни, тут такое дело, будь оно неладно, в глотке у тебя ком застревает, твердый такой, ни сглотнуть, ни выплюнуть, стал и стоит, чертовня... Выбрались мы, значит, на улицу, снег идет, мы давай снова орать «Испанский солдатик», ну и пошло: ты чего, я ничего, да ты не больно того, урод несчастный, а ты заткнись, вахлак, вон как нализался... Короче сказать, во время такой перепалки Колас свалился ничком на асфальт, у самого поребрика, и не встает, словно шибануло его чем, сразу окоченел весь, заледенели и слезы на глазах, и бранные словечки на губах, это же бесчестье прямо, стыд и срам, отдать концы посереди какой-то треклятой улицы, а там все спать ложатся в такую рань, уж поверьте, в восемь вечера всякая птаха — к себе в гнездо... У нас-то в селе все бы обошлось: уж не будем говорить, что пили бы мы что-нибудь не такое смертоубийственное, но, главное дело, мы бы живехонько втащили его в первый же дом, какой оказался бы поблизости, устроили бы в самом теплом углу, поближе к жаровне, ступни снегом бы растерли, белешеньким, чистейшим, влили бы ему в глотку хорошую порцию «вырвиглаза», от этого мертвый воскреснет, но в тех краях, правильно Бласа говорила, живут сплошь чурбаны неотесанные, эдакие простые души, одна-единственная думушка — как бы выплатить все налоги тютелька в тютельку, что да, то да... Короче, так и остался там Колас, на углу Седьмой улицы и Сорок третьей авеню, в виде каменной статуи, в двух шагах от собора. Место что надо, самый центр города. Наутро к нему прицепили плакатик, очень симпатичный, с надписью большими буквами: «Хранить в испанском вине». Успех был неописуемый — отменили этот сволочной сухой закон, который столько страху нагнал на мерикашек, и теперь имеются у нас суда, сауны, парикмахерские, парфюмерия, компьютеры, похоронные бюро, которые так и называются «Коласпейн» [1]. Даже домашние туфли выпускаются под этой маркой и задвижки с секретом. И на всех этих изделиях обязательно рисуночек есть или переводная картинка: стоит наш Колас на перекрестке и улыбается, он знаменитее, чем Попи или Супермен. Бласа вернулась к нам в село и живет себе состоятельной вдовой, выстроила шале в местном стиле, понавешала по всему дому фотографии Коласа и рекламные плакаты, а в саду у нее красуется копия покойника в натуральную величину. Каждое рождество сельские власти устраивают торжества в честь Коласа, с музыкой и танцами на площади и с внеочередным розыгрышем епархиальной лотереи; случается, наезжают и заправилы из правительства, приносят соболезнования Бласе Наррос, она изрядно состарилась, над губой волоски торчат и на подбородке. В этот день Бласа, сами понимаете, на угощенье не скупится, а уж наряжается — это надо видеть: аж туфли надевает на высоких каблуках и ожерелья... Живется ей прямо замечательно, можете мне поверить, я за нее радуюсь, проценты ей отовсюду так и капают, потому как мериканцы, какие там они ни есть, а честности у них не отнимешь, и они посылают, что ей причитается, со всей точностью, а она знай себе молится, а как же, за Коласа, тяжелое, надо думать, у него похмелье, может, потому и не пришлось больше ему пить в рождественскую ночь...

---

[1] Пародия на рекламное «словотворчество»: имя «Колас» присоединено к английскому Spain — Испания.

Прощание

— Да, дружище, да. Решено — подзаправимся. Горе — не беда, коли есть еда. Правильно говорится, и точка. Пора отпусков на носу, надо нам отметить это дело и то, что мы расстаемся... скажем, на некоторое время.

— Я покачу на море, вот так. А ты?

— Нет, я останусь дома, оно и не так накладно и спокойнее. После сегодняшнего надо вести себя осмотрительно. Компенсации надолго не хватит, а что потом... Ладно, неохота и думать.

— Ой, лапонька, ну что ты, какое может быть сравнение, я поеду на побережье, есть такое село, Гандия называется, мне сказали, там потрясающе, южнее устья Эбро, ну, ты представляешь себе, в районе Кастельона.

— Ты имеешь в виду Кастельон-де-ла-Плана?

— Не задавай глупых вопросов, другого нет.

— А, ну правильно, видели мы его на карте.

— Одно плохо, теперь мне что-то страшновато туда ехать, утром на работе мне рассказывали, ездил туда родственник сестры одного приятеля Фернандито, того, который из бухгалтерии, и этот самый родственник, судя по всему, разбирается в жизни и особенно в политике, так вот, Фернандито рассказывал с его слов, что в тех местах уже не говорят по-испански.

— Господи, тебе же голову морочат. Тоже мне приверженец централизации. Слушай, Кончи, ты погляди на этого пустомелю, что только плетет...

— Этот-то? Чепуху, уж мне ли не знать?..

— Если бы мы его не раскусили...

— Нет, правда, нет, мне рассказывали на полном серьезе; хотя, конечно, под секретом.

— Да ладно тебе, парень, ладно тебе...

— Нечто похожее действительно имеет место, но только севернее, там обосновались шведы, живут колониями, я-то в курсе, но они учат язык, посещают вечерние занятия, и тут на днях передавали по телику, что учатся они замечательно и все мгновенно усваивают. Их заодно приобщают ко всем нашим национальным культурным ценностям: учат стряпать чурро [1], пить из бурдюка, проглатывать залпом стопку чинчона [2] и, кажется, но тут могу соврать, плясать сардану [3] по-каталонски...

— Да хватит, что ты заладил, должны же быть у плебса какие-то свои ценности, я так считаю, а ты что, против?

— А я что, я ничего...

— Ну так вот...

— И вообще, почем знать, если мы махнем туда, может, приживемся за милую душу, на службу так и так возвращаться не надо.

— Ох, не напоминай!

— Слушай, Хуансито, уроженец Куэнки, не наводи нас на грустные мысли, давайте-ка закажем чего-нибудь пожевать, а то в этом заведении все трещат почем зря и мельтешат разные физиономии, а официант — или кто он, бармен? — стоит себе ждет, гляди, ишь, пасть разинул, чтоб тебе...

— Ладно, ладно, принесите нам винца поприличнее, красного, само собой...

— Риоху 1946 года желаете?

— Дружище, в прошлый раз мы пили вальдепеньяс, такая была кислятина...

— Ясно, все, что из Вальдепеньяса,— дрянь.

---

[1] Крендельки, жаренные в масле.
[2] Испанский хинный ликер.
[3] Каталонский национальный танец.

— Потише, потише, думайте, что говорите, вот эта моя приятельница Лоли — родом из Вальдепеньяса, и она из семьи виноделов, и очень почтенной, так что... Полегче на поворотах...

— Простите, сеньор, я только повторил то, что слышал от шефа, обычное дело, когда шеф говорит...

— Ваш шеф — невежда, неуч и чурбан и в винах совершенно не разбирается, понятно?

— Конечно, конечно, а скажите, что возьмете на закуску?

— Вот это уже деловой разговор. Но прежде всего с полной откровенностью провозгласим на весь мир, что необходимо уничтожить шефов как класс.

— Все мы за!

— Слушайте, все вы, холера, знай себе треплетесь, а надо обратиться, точнее, воззвать к состоятельному предпринимателю...

— Вернее, нужно оказать содействие мелкому предприятию...

— Вот именно.

— Начнем с холодных закусок. Я предложил бы, если сеньоры не возражают, ассорти: ветчину, соленый миндаль, салат из осьминогов, креветки с красным перцем, салатик по-брежневски и чуток карбоната.

— Слушайте, не зарывайтесь, карбонат не по карману малоимущим, сбавьте скорость.

— Тогда маслины...

— Севильские.

— Сорт «лакомка». Они самые крупные.

— Ничего себе, что вы нам предлагаете: их же накачивают с помощью шприца, пока не станут величиною с яйцо жаворонка. Я сам читал в журнале «Для тех, кого потребляют», в октябрьском номере, он только что вышел.

— Ты, обормот, надо говорить «Для тех, кто потребляет», вечно вгоняешь нас в краску.

— Регулярно выходит журнальчик, глядишь, ноябрьский номер купишь после нового года.

— Вижу, парень, ты в курсе дела.

— Вечно ты ко всему придираешься, такое впечатление, что состоишь в оппозиции.

— Сейчас это в моде, а как же, человек передовых убеждений, как положено.

— Это ты-то человек передовых убеждений? Не смеши.

— Вот когда я сидел в тюрьме...

— Ага, не упустил случая, опять эта пресловутая тюрьма. Слушай, приятель, хватит действовать нам на нервы, ты злоупотребляешь темой! Мы, видно, так и будем до скончания века воздавать должное тем, кого преследовали, тоже мне сливки общества. Поменьше трепа; а если смелый, берись за дело.

— Слушай-ка, ты, надо мной не потешаться, понятно?

— Я потешаюсь не над тобой, а над твоими мытарствами и реагирую так всегда и со всяким, кто сует мне свои мытарства под нос. Мытарства, и преследования, и подполье — я через это прошел, парень, заруби себе на носу, но не треплюсь направо и налево — ясно? — потому что нет никакого смысла ворошить все это.

— У нас кому раздолье — прохиндеям, а все прочие — терпи и помалкивай...

— Подумать только, мы же пришли сюда, чтобы легче было перенести то, что случилось, а вы сцепились...

— Потише, ты, потише... «Прохиндей» — это словечко, насколько я понимаю, значит «жулик», думаю, ты не решишься назвать жуликом Мигельчо, он упустит и то, что само плывет в руки, типичный разиня...

— Кто спорит, простая душа...

— Ладно, мир-дружба, может, перекусим все-таки? Слушайте, официант, что еще вы можете нам предложить?

— Чувствует мое сердце, что вам в самый раз подойдет что-нибудь горяченькое. Шеф-повар уже на месте, а руки у него, я вам скажу, не ради рекламы нашего заведения, но руки у него... Обалдеть, что за руки!

— Золотые, что ли, или хватка железная?

— Скорей всего, шеф как шеф, трепло, у которого все подгорает.

— Я вам такие фрикадельки принесу, пальчики оближете.

— Стоп, приятель, стоп, еще чего — фрикадельки. А что за фарш, может, тот, что рекламируют по телику, то ли собачина, то ли кошатина, поди знай, какую тварь пустили под нож, сухопутную, либо водоплавающую, либо...

— Могу предложить почки с грибами, бараньи отбивные, креветки, у нас они двух сортов.

— Ша, ша, не увлекайтесь, нам за глаза хватит и салатика, стоит нетронутый, обидно будет, если, пока мы с ним покончим, остынет то, над чем старается его высокопреосвященство шеф-повар...

— А откуда шеф-повар родом?

— Он-то? Из Логроньо... По-честному, в тех краях люди ничего себе.

— Да уж, есть края, где люди пострашнее, об этом и малые дети знают.

— Послушайте, куманек, я нюхом чую, ваша компания хочет подмочить репутацию и доброе имя нашего заведения. А у нас марка — три вилки [1], мы пользуемся известностью и доброй славой еще с довоенного времени.

— Слышите, ты, парень, ты, Мари Хосе, он говорит — «с довоенного времени». Ты бывала здесь до войны?

— Миленький, мне всего-то двадцать годков, недавно сравнялось, твои воинские охи-ахи устарели на полвека, усвой себе раз и навсегда, моя рыбка.

— Ладно, несу я вам горячее или нет?

— Понимаете, в чем дело, мы все тут хотим отметить прощание, рождество ведь на носу, вам известно? Нынче празднуем сочельник, завтра будет рождество... Как бы не так! Тут такое дело... Вам непонятно? Обстоятельства у нас необстоятельные...

— Ну, тогда омлетик с ветчиной и бобами либо голубцы со шпиком... И пирожки с сыром под мансанилью либо же херес, есть у нас очень хороший...

— Оле, оле и еще раз оле — в честь всего, что вы нам предлагаете. Вы, как видно, человек с понятием. Вы, дело ясное, человек с огоньком, как оно мужчине и положено. Хотя сейчас не говорится — «как мужчине и положено», верно? Надо думать, из-за демонстраций феминисток.

— Демонстрация знаете, где состоится — здесь, если ваша милость, дон официант, не... Откуда вы родом? Ах, вы тоже из Куэнки, из тех краев, где сплошь пустоши и неудоби. Встряхнитесь, приятель, встряхнитесь. Уроженцы Куэнки — все люди добрые, очень понятливые, очень самые-самые. И нужно оправдывать репутацию, а то как же. И вы репутацию оправдываете, само собой. Видите ли, дело в том, что мы прощаемся не перед рождественским отпуском, а потому что нас уволили с работы, по сокращению штатов, в целях экономии средств, а как же, все — в целях экономии средств, святое дело,— экономия средств, о ней кричат на всех углах, а у всех у нас ни медяка в кармане, ни одного распроклятого медяка... Так что остается вам разве что отправить нас в кухню, чтоб мы подсобляли ваше-

[1] В Испании категория ресторана, кафе или отеля обозначается условным знаком; так, количество звездочек — от одной до пяти — обозначает категорию гостиницы.

му искуснику из Логроньо! Вот наша Пакита, из отдела страхования, тоже мастерица делать фрикадельки... Она родом из Уэски, это неподалеку от Логроньо, так что под пару вашему повару!.. А вошли мы сюда, потому что наша Лолина раскапризничалась, она у нас большая упрямица, и нам не хотелось, чтобы она лила слезки. А то весь грим у нее размазался. Да, невозможно стало с женщинами, уж поверьте, до того это несносный народ, а все же такие они душевные, такие... И вечно у них всякие идеи... Послезавтра розыгрыш лотереи, и то слава богу...

Семейная жизнь

Снимается (или покупается, одному богу известно, ценою каких мук) квартира в новом доме, среди зеленых насаждений — крохотных садиков, сложенных из кусочков, словно в детской головоломке; в таких садиках неизбежно чахнут несколько экзотических растений, привыкших к совсем другим климатам и требующих множества забот. Специалисты по рекламе из строительной фирмы не пожалели сил, чтобы заполнить брошюрки-проспекты болтовней насчет араукарий, пальм всевозможных размеров и разновидностей, бугенвиллий, азалий, колумбийских декоративных лиан... Сказочная флора, придающая престижность и сусальный блеск квартирке с хилыми стенами, астматическим отоплением и с лифтом, который страдает ревматизмом всех суставов. Вот мы и въехали. Городской грохот сюда не долетает, семейная жизнь потечет здесь наиприятнейшим образом, можно не сомневаться, вот разве что тянет дымом, но здесь он в малых дозах, примешивается к туману рано утром, когда люди, полусонные, спешат по своим делам. И когда возвращаешься, тоже чувствуется запашок, но разве сравнишь с ароматами в центре города... Люди идут домой, измочаленные работой: кто калькулировал, кто стоял у такого-то и такого-то станка, кто, не исключено, ставил подпись под фантастическими суммами, ему не принадлежащими; еле дыша, добираются до патриархального чуда, до уютного семейного очага... Домой! Кто-то, возможно, работает в крупнейшем бюро путешествий и мечтает выбраться хоть ненадолго на один из знаменитых пляжей, изображенных на плакатах, или, наоборот, забраться в глубь страны, осматривать соборы, топать по музеям, лишь бы забыть на время про эти каждодневные десять — двенадцать километров, всегда одни и те же; да, вот так — недолгая и недорогая поездка, и никаких беспокойств, квартирка обеспечит по возвращении добрый прием. Все эти люди возвращаются домой под вечер, им уже неохота читать, болтать с ребятней, сражаться в шахматы с дедом, выжившим из ума. Нет, нет, только не это. Швыряют пальто на первый попавшийся стул, торопливо разуваются и спешат в гостиную, к телику. Даже не здороваются — чего ради? Те, кто уже сидит, не вздрогнут, не оглянутся, чтоб узнать, кто пришел с работы, со службы,— сидят как привинченные, боятся пропустить эпизод, сам виноват, что опоздал... Звук пропал, изображение размылось: сколько накопилось разных мелких проблем, тут и счета за стиральную машину, и за машину для мытья посуды, и за автомашину, и за телевизор, и за приобретенный в рассрочку клочок земли в тайном, скрытом от всех раю, и нужно заполнить бланки подоходного налога, налога на автомашину, заполнить квитанции, чтобы внести плату за школьное обучение детей, и написать очередное прошение о предоставлении участка для семейного склепа на кладбище, которое не находилось бы где-то у черта на куличках, прошение, которое останется без ответа, как и предыдущие, и написать прошение о денежном вспомоществовании в связи с тем-то и с тем-то, а всемогущий телик никог-

да не разъяснит, как все это заполнять, вот было бы облегчение... Словом, отдыха не получается, поднимается крик: «В этом доме все приходится делать мне одному!» Члены семьи внезапно чувствуют себя никчемными и виноватыми, и, чтобы отделаться от этого ощущения, все живым духом мчатся к телику, отталкивая друг друга. Никто не знает, что сегодня покажут, никто и знать не хочет, не все ли равно. Что покажут, то покажут. Мелкие уступки, ленивая перебранка: одни — за спортивную передачу, другие — за телефильм. Девочки обожают все про природу, но, может, по другому каналу идет передача с чемпионата по дзюдо, по фехтованию, по тяжелой атлетике, и, стало быть, придется пожертвовать всей флорой и фауной. Накрывают на стол, не отрываясь от телевизора. Никто не обращает внимания на остальных, все ушли в себя, все не здесь. Даже женщины, расставляя тарелки и раскладывая приборы, путаются, потому что не сводят глаз с экрана, откуда бесконечные рекламные кадры осыпают всех живых тварей счастьем по бросовым ценам. И едят, не отрываясь от телевизора. «Сегодняшний фильм лучше, чем «Ангелы Чарли»,— и никто ни слова в ответ. «До чего скучная программа, сплошное занудство». И никто не откликается. «Может, выключим ненадолго, у меня голова разболелась, на службе тяжелый был день». Никаких реакций. Приходится терпеть телевидение. Мать между двумя походами в кухню набирается смелости: «Надо бы повести малышку к врачу... Плоховато слышит... И глазки слезятся, ужас...» В ответ, не оборачиваясь, не сводя глаз с ящика (передают советы по домашнему лечению): «Ну так отведи сама, не отвлекай меня всякой чепухой». И перебраниваются, не сводя глаз с экрана. Международный Год ребенка, Звездный День, что там еще... Мать хнычет, заявляет, что никто с ней не считается, а сама не спускает глаз с отважной и неунывающей красотки в полицейской форме, красотка мчится на мотороллере по проспектам и площадям, по горам и долам, кажется, миновала какой-то вулкан, ей грозит опасность, как предупредить, вот-вот наедет грузовик... «Ой, ой, разобьется же... Вот молодец, вывернулась»,— и, вдохновившись, может быть, этой женской победой, жена отвечает мужу без должного почтения — ну вот еще, вечно ей приходится водить детей по врачам, можно подумать, она мать-одиночка. «Ох, если б я прислушивалась к тому, что мне говорила мама, она как в воду глядела, господи боже мой!» А старшие, не сводя глаз с экрана, договариваются в воскресенье съездить в горы и — дошлые ребятки, фатер сейчас не сечет — вытягивают у родителя обещание субсидировать поездку: ох, как все дорожает, придется, видно, взять ссуду... А мелюзга скулит, не хочет в постельку, очень нужно, еще чего, и отец выходит из себя, и дед брюзжит, и все не сводят глаз с экрана, одна только передышка — объявления, сплошные чудеса, духи, меха, изысканные сигары, роскошное оборудование для ванной, автомашины-вездеходы, стереоэлектрофоны, серии книг — про войну, про ботанику, про любовь, вставные челюсти просто загляденье, и элегантные наряды, и приглашения на зимние курорты и в круизы по всем морям и океанам... Сдавленно звучит национальный гимн, наступило время навести некоторый порядок... Так ничего сверхординарного и не обещано в связи с походом в горы, так и не обеспокоились, не нужно ли все-таки показать младшенькую доктору, да ладно, обойдется; и все, расставшись с миром иллюзий, протирают глаза, встают, смотрят друг на друга, наконец-то узнавая, выныривают из глубин прошлого, из путешествия в бездну неведомого мира, дальнего и непохожего на этот, и мебель снова обретает обычные оттенки, и снова видно, как облупилась штукатурка на стенах, и питье для дедушки совсем остыло, липовый чай или настой лаванды, чтобы лучше спалось, а младшенькая посапывает на диване, измяла вязанную крючком диванную накидку — предмет особых попечений мамочки: о господи, в этом доме

сколько ни стирай, никакого толку, просто горе... И ничего уже не исправишь, нужно поскорей лечь спать, завтра рано вставать, и нужно будет как следует подготовить машину к обычному пробегу, проверить, а вдруг стекла замерзли, несмотря на антифриз, вдруг сняли дворники, колеса, нужно спать, смотреть сны, а сны — все та же явь, и сниться будут все те же повороты, где, того и гляди, угодит под колесо какой-нибудь зевака, и утром надо выехать раньше соседа, тот каждый день вылетает как шальной, бибикая на полную катушку и не разбирая, куда едет, вот разобьется в лепешку, тогда будет знать, и нужно помнить про тот участочек, про склон, где всегда гололед, надо вести очень осторожно, мало ли... И только теперь, перекрикиваясь в коридорах перед тем, как разойтись по комнатам, члены семьи вспоминают, какое сегодня число, на отрывном календаре становится листком меньше, еще несколько деньков — и придется ехать автобусом, сущая пытка, но цены на бензин растут и растут, куда денешься... И так проходит день за днем, и никто ни с кем не поговорит толком, никто ни о ком ничего не знает, родители не замечают, что дети растут, дети не видят, что родители старятся, а ведь все стало бы совсем иным, осознай они это, все стало бы глубже и прочнее: бремя дней всем нести, но по-разному, одним в гору, другим под гору, и все они чужие друг другу в этом общем гомоне... Еще слава богу, что телевидение, как само оно утверждает, удерживает всех дома, что правда, то правда, по крайней мере, торчат в квартире и насвистывают в один голос одни и те же позывные, только в этот миг и ощущают, что живут в одном и том же времени; и в разговорах они повторяют нелепые рекламные речения, и горят желанием разъяснить соседке, насколько оправдал себя стиральный порошок той марки, которой они отдали предпочтение; и даже хохочут, слушая друг друга,— бедняги, каково им придется, когда случится что-то, не предусмотренное телерекламой, не выпала бы им на долю та же участь, что постигла «зеленые насаждения» у входа: они зачахли от скуки, никто не позаботился купить им телевизор, чтобы не чувствовали себя такими одинокими и беспомощными... Рекламный проспект демонстрировал бугенвиллии, азалии и колумбийские декоративные лианы, но там ни слова не было о том, как эти растения любят телевидение, программы на неделю, пресс-конференции политиков, людей искусства, историографов, социологов, и все эти деятели так озабочены общественными проблемами, что, трепетно внимая им, не замечаешь, как сменяют друг друга времена года... Да, правда, от всего устаешь, а то и раздражаешься, самое лучшее — снова нажать на клавишу, может, услышим немного музыки и успокоимся, может, покажут старую кинокомедию, смешную, короткую, мы хотим забыть, уже сами не знаем, что именно, но, главное — забыть, забыть...

Начитанность, дар запоминания

По правде говоря, не очень-то умею я поддерживать с ним разговор. Такая широта суждений, такие интеллектуальные выверты, такая изощренная осведомленность. Тут тебе и исполнители песен протеста и всяких прочих, и чемпионаты по баскетболу, и тур де Франс [1], и собачья выставка, и ежегодные соревнования дрессированных черепах, или говорящих попугаев, или образцовых домохозяек, или математически одаренных тюленей. Да что толковать. Мне еще в школе говорили: «Вы,— указательный перст угрожающе вонзался в воздух, и безграничное отчаяние выплескивалось из-под оч-

[1] Традиционное международное соревнование велосипедистов, гонка-марафон по Франции.

ков дона Кандидо, нашего учителя,— вы никогда никем не станете. Вы ничего не запоминаете, молодой человек. Чего ради ваши родители тратят деньги? О! Когда не обладаешь даром запоминания... Вы жалкая личность, в реальном мире вам нет места». И нынче утром я снова ощущаю, насколько обделен этим даром, поскольку утром мне повстречался дон Деметрио Перансулес де ла Роса-и-Мартинес де ла Мембрилья-и-Вальдеррабано-Санчо, пенсионер, в прошлом почтовый служащий (отдел почтовых открыток), родом из селенья Ла-Мина-Рика, как поднимешься в горы — направо, если стоять спиной к Санта-Полония-де-Пьедрас-Альбас [1]. «Вы не знаете, где находится Ла-Мина-Рика? Но, дружище, наше селение знаменито во всем мире. Знали бы вы только! Какая церковь, какой заалтарный образ! Какие шесты с призами мы выставляем в праздники! И какой простор полей, какие фруктовые сады окрест! Ибо окрест нашего села расстилаются просторы полей, вы хоть представляете себе, что это такое? Просторы полей — это очень красиво, обычно они расстилаются за населенным пунктом, а если населенный пункт настолько значительный, что обладает собственными судебными и следственными органами, то просторы полей, соответственно, расстилаются окрест. У нас, например, они начинаются слева, если стоять лицом к восходу. Но слушайте. какого дьявола вы делаете такую физиономию? Вы что, не знаете, где восходит солнце? А, ну ладно, простите, в конце концов, вы только поймите меня правильно...»

Дон Деметрио Перансулес и прочая, и прочая, и прочая знает кучу всякой всячины. Я слушаю его с глубоким изумлением. Иной раз от усталости я бываю не очень-то вежлив, но дон Деметрио отходчив, достаточно заказать пиво — «Мне «Мао»[2], только «Мао», я не любитель каких-то редких напитков; «Мао» как олицетворение единовластия, помните, раньше было в ходу это словечко?» Но можно заказать и что-нибудь совсем легонькое, просто тоник. Временами дон Деметрио надолго погружается в сострадательное молчание. «Ох, что за люди, боже правый, никакого соображения, ни о чем ничего не знают», и скорбь льется потоками из его серых бегающих глазок. И он мысленно считает пузырьки у себя в стакане, перебирая карточки в воображаемой картотеке, где значатся актеры, боксеры, балерины, художники — финалисты таких-то и таких-то состязаний, победительницы конкурсов красоты, коллекционеры бумажных ленточек от сигар или художественных изделий из плодовых косточек, убийцы, диалектальные формы плюсквамперфекта...

Сегодня мы сидим за столиком кафе на одной из этих пыльных террас, у самого края тротуара. Дон Деметрио — с кем живет он, дон Деметрио, что у него за семья? — помаленечку смакует оранжад. Проносятся машины, оставляя за собой мутную кильватерную струю — копоть и гул. Дон Деметрио, немного приунывший, оглядываясь — как бы кто не услышал — тихонько насвистывает мне мелодии из сарсуэл [3] «Еврейский мальчишка» и «Праздник Голубки», а в промежутках излагает содержание оных, с неизбежными: «Ну и вот... И тут он, значит... А тот, значит, и отвечает... Поняли? Ах, наша сарсуэла! Взять хоть «Карнавальное шествие»! А «Старушечка»? «Тот, кто будет с тобою плясать, не собьется...» Ну конечно, дружище, конечно, знаете. Еще бы. А поглядите на тот вон автобус, видите рекламный плакат? «Спальный вагон — большое удобство! Работайте днем и спите ночью». Вот вам идеальное решение всех проблем. Способ обеспечить всеобщее процветание, да, сударь мой. Спать ночью. Хотите, могу продекламировать объявления, рекламирующие по телику матрацы? Есть очень выразительные. А вы можете опреде-

[1] Автор иронически обыгрывает длинные составные испанские фамилии и топонимику.

[2] Марка испанского пива.

[3] Сарсуэла — испанский театральный жанр, разновидность комической оперетты.

лить по лицу человека, спал он ночью или нет? Поглядите на блондинку за вон тем столиком, она точно не спала. Я-то знаю. Видите, как покачивает ногой? Просто не хочет подавать виду, что всю ночь не смыкала глаз. И не морочьте мне голову, мол, ничего такого незаметно, конечно же, вам и самому ясно, еще бы, да куда вы, прах побери, смотрите, куда? Вон та блондинка, говорят вам, вон она, потряхивает ножкой, ишь ты, ух как! Да уж, нечего сказать, быстро же вы соображаете! А впрочем, неудивительно, я вам скажу, неудивительно, здесь такая жара. Как в преисподней. Надо будет пойти в кино, в зал с кондиционером. Сейчас лето, всюду идут старые фильмы, видишь знакомые лица, давних приятелей: тут тебе и Фред Астер, и Грета Гарбо, и Мирна Лой, и Макс Линдер, и Марлен... Фред Астер в «Веселой разведенной». Вы никогда не бывали в роскошной гостинице или на шикарном курорте, как в этом фильме? Я тоже не бывал, но не теряю надежды. Да, а прелестная Бертини, а Пола Негри? Помните их? А первые озвученные ленты — «Ноев ковчег», «Белые тени»? Билет в любой кинотеатр на Гран-Виа [1] стоил три реала. Но вы, само собой, из тех, у кого с языка не сходит Чарли Чаплин, единственный свет в окошке — Чарли Чаплин. Надо расширять кругозор, любезный друг. Чарли Чаплин был, строго говоря, совсем неплох, но...»

Что-то не срабатывает у него в глотке. Проносятся в обе стороны автомашины и мотоциклы, голова идет кругом от непрерывного гула в двух шагах от нашего столика, оглушительно проревела сирена, какие-то молодчики выкрикивают чушь из вызывающе роскошной машины со съемным верхом. Дон Деметрио, развалившись на стуле, насвистывает нечто пронзительное, пытаясь отбивать такт, хлопая себя ладонями по коленям. И новая лавина слов, новый внезапный обвал... «Сейчас у меня главная забота — международный чемпионат по мусу и бриске [2]. Мы открываем список. Вы не следите за партиями? По телику отвели спецвремя. Ну слушайте, для чего же вы держите телик? Мы во главе списка! Выигрывает один мой земляк! Парень что надо, разумеется, не все то золото, что блестит, но этот — хват из хватов. И каждый ход у него — это нечто. Вы что, и впрямь не следите за турниром? Нет? Так я введу вас в курс, для меня это сущее наслаждение. Я знаю точнее точного, назубок, слышите, назубок, у кого сколько очков, как проходят партии, кто сколько поставил, какие фирмы финансируют мероприятие. Могу просветить вас насчет призов и устроительниц... Словом, все, абсолютно все. Вы что — и в самом деле не?..»

И дон Деметрио Перансулес и прочая глядит на меня, и вокруг чела его мерцает ореол недоумения. Я глуповато ухмыляюсь. «Да вот, как видите, я не в курсе». И пускаю в ход — себе в оправдание — всегдашние отговорки, такие пустые: масса работы, обязательств, дел, обычная суета... Дон Деметрио слушает, вставляя: «Ну да, ну да. Ясно, ясно», но не верит ни слову из того, что я говорю. Нервишки у него слегка расшалились, может, ему стыдно якшаться с таким невеждой и разиней, как я, но дабы доставить мне удовольствие, он снисходительно переводит разговор на другую тему, и вот мы уже толкуем об исполнителях хоты, и дон Деметрио чуть не плачет, когда обнаруживает, что я не знаю ни одной фамилии и — невообразимое бедствие! — ничуть не был растроган текстом, получившим только что первую премию. «Я люблю тебя больше, чем мать», а текст такой трогательный, вызвал единодушное одобрение жюри, состоявшего из авторитетнейших деятелей культуры, на прошедшем только что международном и европейском конкурсе исполнителей хоты, каковой состоялся в Педрегалес-де-ла-Матаррала [3] по случаю явления мест-

[1] Один из центральных бульваров Мадрида.

[2] Испанские карточные игры.

[3] Снова пародийная топонимика (букв. «место с каменистой почвой и чахлой растительностью»).

ным жителям некоего святого, принявшего в тех краях мученическую смерть в достопамятно-незапамятные времена... «Только подумать, вот был тип, ну и каменный же вы человек. А скажите, в стихах вы тоже не разбираетесь? Потому что, я так считаю, в стихах может разобраться любой, кто хоть мало-мальски соображает... Лишь бы были в рифму». И, покончив с хотой, переходит к Бики, немецкой овчарке, которую надо видеть, и сыплются точные данные: прикус, форма щипца, длина хвоста, расстояние между ушами в момент напряженного внимания, это для пса важнее всего... «И в собаках тоже ничего не смыслите? В собаках тоже? Да как это возможно, вы же разумный человек, у вас же есть загородный дом — и у вас нет немецкой овчарки! Да с ними ни один полицейский не сравнится, завтра же купите себе хорошего щенка! У меня есть приятель, он... Щенки недорогие, чистенькие, ни глистов, ни блох. Под вечер нужно выводить ненадолго, но в плохую погоду может справить свои делишки и дома. Никаких сложностей. И вообще очень приятно выйти под вечер ненадолго прогуляться, на бульварах полно влюбленных, сидят себе рядышком на скамейках, а то и на газонах и... Вы никогда к ним не приглядывались? Нет, вы немыслимый человек. Куда же вы смотрите, когда идете по улицам? Там же сплошь они. Влюбленные. Ну, еще разносчики есть, и полицейские, и чистильщики обуви попадаются, а изредка врачи и еще девицы, торгующие по дешевке спичками, якобы собирают деньги на путешествие в честь окончания учебного заведения. Наглое вранье, как по-вашему? Но меня-то не проведешь. Ну и еще попадаются на улицах, правда не везде, слепцы, хромцы и латиноамериканцы. Слушайте, дружище, слушайте, вы мне голову не морочьте. Еще будете тут мне говорить, что ничего похожего не замечали. Вот знаете Хулиту, смугленькая такая толстуха, дочка хозяина молочной, она служит кем-то в каком-то профсоюзе, здание на углу улицы — не помню, как называется,— хотя нет, оно чуть подальше. Так вот, жизнь есть жизнь, Хулита подцепила женишка. Он кто? Латиноамериканец. Где она его встретила? На улице. Ну так... Логика, сеньор мой, логика, и поменьше думайте о Чарли Чаплине. Вы хоть читали об этом малом, что убил чернокожего Мартина Лютера, он сейчас ошивается в Англии на свободе? А, ну и то хорошо, все-таки что-то знаете, а то мне было как-то не по себе...»

И дон Деметрио обрушивает на меня новый поток: выборы во Франции, самоуправление в университетах, новый закон о лесных пожогах, перестройка барселонского порта, в Молдавии взрывают церкви, в Восточном Берлине было несколько случаев гриппа; и он пересказывает речь, произнесенную президентом Кеннеди в Сан-Хосе, Коста-Рика, «знаете, он так очернил миссионерскую роль Испании на американском континенте, кошмар... Эти гринго — сущие подонки. И безмозглые, что да, то да. Вы только представьте, что была за речь, если даже тамошний вулкан не выдержал, раскалился и выбрасывал пепел, ну что тут скажешь... Форменная месть. Ну и когда в этих гринго летят раскаленные камушки, они поневоле одумываются, и это им очень на пользу, еще бы. Вы что, не знали даже, что у жителей Сан-Хосе-де-Коста-Рика есть вулкан? Называется... называется... Вертится на языке, а никак не вспомнить. Послушайте, если вы даже этого не знаете, так в чем же, черт побери, вы разбираетесь? Считаю, вам следует срочно подписаться на хорошую газету и не тратить времени на глупости. Сожалею, но должен вас покинуть. Нет, все-таки снова задаю себе вопрос: что вы, прах побери, знаете?»

И дон Деметрио Перансулес и прочая, и прочая уходит с величайшим достоинством, презрительный и торжественный. Несколько раз оглядывается на меня с недоуменной миной и разочарованно покачивает головой. Что поделаешь. Мне, как обычно, пришлось расплатиться — за оранжад и за стаканчик, который он тоже, как обычно, сунул себе в карман. Сколько их у него дома? Может, он знает

также все про стаканы, про их происхождение, героические деяния и повседневное житье-бытье? Возможно, погружается в глубокие раздумья, исследуя качество стекла, блеск, зазубринки. А может быть, поздно ночью дон Деметрио выстраивает перед собой все стаканчики и рассказывает сей послушной и дисциплинированной аудитории всякие чудеса в решете: тут и неизвестная марка с портретом Изабеллы II, королевы испанской, и чемпионат по новоизобретенной электронной игре, и жизнеописание кобылы по имени Аймара, победительницы на скачках, и общее количество лиц, погибших при обвале трибун облегченного образца, которыми оборудуют современные арены для коррид, и среднестатистические данные по опозданиям поездов на европейских железных дорогах, или, может быть, сведения о церемонии крещения у индейцев-анабаптистов в резервации какого-то американского штата... Как знать, возможно, он расскажет им всего лишь, какого труда ему стоило добраться до седьмого этажа, где живет дон Фабиан, его опекун. Лифт давно не работает, мочевой пузырь дает о себе знать так, что сил нет, какая мука. Господи, столько трудиться и усваивать, а к опекуну добираться на своих на двоих и в довершение, когда наконец доползешь, еле дыша, окажется, что пенсию пока не выдали, придется наведаться еще раз.

■

АРТУР МИЛЛЕР

Часы Америки

ПЬЕСА

Перевод с английского Т. ГОЛЕНПОЛЬСКОГО, С. КИБИРСКОГО

Первый раз Артур Миллер принялся за эту пьесу еще в 1970 году. Потом его то ли отвлекли другие, не творческие дела, то ли просто не писалось. Так или иначе только через десять лет на театральном фестивале в городе Чарлстон, штат Южная Каролина, объявляется премьера.

Отметив в постановке некоторые недостатки «технического порядка», корреспондент «Нью-Йорк таймс» высказался определенно: драма «полна чувств и идей и временами приближается к трагедии... /Автор/ сплавляет свой поэтический реализм и документальную точность. Исполнители так же хороши, как и письмо».

Проходит ровно полгода, спектакль показан на Бродвее, и тот же Фрэнк Ричи в той же газете пишет с недоумением: «Восхитительные части, из которых были сделаны «Часы Америки» оказались исковерканы почти до неузнаваемости». Спектакль выдержал лишь несколько представлений.

Почти невозможно установить, что именно произошло в ноябре 1980 года. Среди разноголосицы отзывов и объяснений бросилось в глаза одно, откровенно пристрастное, даже злорадное: публике неинтересна тема, «и мистеру Миллеру следует спросить у самого себя, не пора ли вообще бросить ее».

Миллер не пожелал «бросить» тему и продолжал искать ее театральное решение. Опубликованный в 1982-м текст пьесы подтвердил, что она достойна пера драматурга.

И все же автор, по-видимому, не удовлетворился сделанным или же почувствовал потребность вернуться к драме в ходе работы над большой мемуарной книгой «Сдвижения времени. Одна жизнь»,— пожалуй, так лучше перевести необычное название миллеровской автобиографии. Только что издана новая редакция «Часов Америки», по ней и подготовлена публикация в журнале.

Почему же замысел этой вещи так притягивал писателя?

Он не раз говорил — и эта мысль повторяется в пьесе,— что его страна испытала два сильнейших исторических удара: кровопролитую, братоубийственную Гражданскую войну (во время которой, кстати сказать, погибло больше американцев, чем за всю вторую мировую и Великую депрессию.

Кризисные тридцатые интересуют Миллера прежде всего потому, что на те бурные, роковые годы пришлась пора его собственной юности и юности людей его поколения, и оно, это поколение, буквально впитало в себя их лишения, и обольщения, и горечь. Депрессия вообще, утверждает драматург, оставила неизгладимый и «неизученный след в американской душе».

Неизвестно, что труднее — заглянуть в душу одного человека или в душу целого народа. Миллер задался целью сделать и то и другое одновременно. Решая эту двуединую художественную задачу, он и создает «фреску для театра» — таково авторское определение характера драмы.

Как и положено фреске, она разворачивает широкие картины общества, пораженного тяжелой социально-экономической болезнью, распадающегося на части, растерянного, расстающегося с великой Американской мечтой о равенстве, свободе и счастье, и не желающего расстаться с ней. Поголовное отчаяние и страх порождали ненависть и насилие. Страна была на краю катастрофы. Казалось, что кончается ее историческое время, что часы Америки сочтены.

Групповые и классовые противоречия и столкновения писатель чаще всего оставляет как бы за кулисами. А по сцене и страницам книги бесконечной вереницей проходят обанкротившиеся финансовые магнаты, разоренные фермеры, молодые безработные врачи, голодные рабочие, толпящиеся за пособием, полицейский, заискивающий перед чернокожим ресторатором. Кто-то с отчаяния выкидывается из окна небоскреба, кто-то в подземке бросается под колеса поезда. И к каждому автор приглядывается с одинаковым участием и состраданием, потому что считает: ничто так не уравнивает и не сближает людей, как большая беда.

На этом обширном и многолюдном фоне общенационального потрясения Миллер рисует эпизоды из жизни одной семьи, совсем недавно состоятель-

ной, а сейчас впавшей почти что в нищету, и молодого ее члена Ли Баума, осаждаемого вопросами и сомнениями. В нем проглядывают черты самого автора.

Два пласта драматургического текста и сценического действия постоянно чередуются, то далеко расходясь, то сближаясь так тесно, что реплики главных персонажей перемежаются и перебиваются высказываниями других, эпизодических, им незнакомых и находящихся совсем в другом месте. Этим композиционным приемом писатель старается добиться взаимопроникновения частного и целого, индивидуального и массового.

Список действующих лиц открывается именем Ведущего — Артуром Робертсоном, и недаром. Его место в предмете и поэтике драмы исключительно важно. Участвуя в действии и одновременно наблюдая за ним с дистанции десятилетий, он перебрасывает тем самым мосты из прошлого в настоящее и обратно. Именно благодаря ему вызываются из глубин памяти события полувековой давности и закрепляются в сознании сегодняшнего читателя и зрителя. Артур Робертсон — и хор из античной трагедии, словно бы воплощенный в одном лице, и традиционный резонер старой драмы, и больше всего — прямой комментатор происходящего на сцене, привычная фигура в современном театре. В его голосе различим голос Артура Миллера.

Пьеса сначала поражает безысходностью, но чем дальше, тем громче слышится настойчивый мотив: вера героев, что все так или иначе образуется. Одни по-прежнему верят в силу денег и ловят жар-птицу Удачи. Другие строят утопию возрождения мелкого предпринимательства, которое должно сменить гигантские корпорации и поправить дела. «Я верю в своих товарищей! — восклицает Эди, подружка Ли, экзальтированная молодая коммунистка.— Верю в Советский Союз! Верю в победу рабочего класса и мир, который воцарится на всей планете, когда наступит социализм!» А его мать, Роуз, зовет верить во что угодно — лишь бы верить!

Необыкновенное разнообразие ожиданий и надежд, связанных с судьбами Соединенных Штатов! И все же у них есть общая основа, и к этой основе ведет весь ход драмы. Механизм Часов Америки подвергся жестокой тряске и ударам, но в конце концов заработал снова. Страна перенесла тягчайшие испытания и выстояла потому, что народ в е р и л в б у д у щ е е.

Разумом не принимаешь такой легковесный и даже наивный итог, но сердце невольно отзывается на него. Может быть, на самом деле не до строгой логики, когда качается под ногами земля и мир летит ко всем чертям? Может быть, на самом деле, когда холодеешь при виде эпидемии эгоизма, подлости, бессмыслицы, самая верная духовная опора — негасимая и неистребимая, несмотря ни на что, надежда на победу человечности?

Да, прав был Артур Миллер, сказав, что эта драма — не только о Депрессии и Душе Америки, но и «о жизни и смерти, о страдании и желании выжить».

Г. ЗЛОБИН

Действующие лица:

Артур Робертсон
Кларенс
Ли Баум
Моу Баум
Роуз Баум
Фрэнк
Фэнни Марголис
Дедушка
Доктор Росман
Бэнкс
Уильям Дюрант
Джесси Ливермор
Артур Клейтон
Тони
Официант
Диана Морган
Генри Тейлор
Миссис Тейлор
Харриет
Чарли
Судья Брэдли
Брюстер
Фрэнк Говард
Сидни Марголис
Дорис Гросс
Джо
Ральф
Руди
Изабел
Райан
Мэттью Буш
Грейс
Капуш
Дуган
Айрин
Толанд
Куинн
Эди
Люсиль
Станислаус
Айзек
Шериф
Фермеры
Полицейские
Грузчики
Покупатели
Мисс Фаулер
Грэм
Колдуэлл
Солдаты

Часть первая

На сцену, перекидывая мяч с руки на руку, выходит бейсболист.

Куинн с балкона начинает насвистывать песенку «Крошка на миллион долларов». Постепенно сцена заполняется остальными действующими лицами; они поют «Я встретил крошку на миллион долларов в пятицентовой лавке...».

Роуз. К лету тысяча девятьсот двадцать девятого...

Ли. Говоря по совести, почти каждый американец...

Моу. Твердо верил в то, что он будет...

Все. Становиться все богаче и богаче...

Моу. С каждым годом.

Робертсон. Страна поклонялась золотому тельцу, завернутому в красно-белосинее одеяло.

Кларенс *(поет).*

У меня нет денег, не на что купить пожрать,
От голода пупок и позвоночник
Начинают друг с другом играть.

Робертсон. Как дела, Кларенс?

Кларенс *(вынимает из кармана смятую купюру).* Мистер Робертсон, я хотел бы поставить еще десять долларов на эту «Дженерал электрик». Поможете мне? *(Протягивает купюру.)*

Робертсон. Сколько акций ты уже приобрел, Кларенс?

Кларенс. Значит, так, эта десятка еще на тысячу долларов, а всего, значит, у меня, наверное, тысяч на сто, сэр.

Робертсон. А сколько у тебя дома наличными?

Кларенс. Ну, наверное, долларов сорок — сорок пять...

Робертсон *(после небольшой паузы).* Послушай, Кларенс, я тебе хочу кое-что сказать, только обещай мне — никому ни слова.

Кларенс. Я никогда ни с кем не делюсь вашими советами, мистер Робертсон.

Робертсон. Вот и хорошо. Ты только не удивляйся — собери-ка все свои акции и продай их.

Кларенс. Продать? Но ведь только сегодня утром в газете мистер Меллон сказал, что акции должны расти в цене. Должны!

Робертсон. Я глубоко уважаю Эндрю Меллона, Кларенс, но он по уши увяз в этой игре — он вынужден так говорить. А ты, Кларенс, продавай.

Кларенс *(собравшись с духом).* Мистер Робертсон, не в моих привычках критиковать своих клиентов, однако мне кажется, человеку вашего круга не следовало бы вести таких разговоров. Возьмите, прошу вас, возьмите эту десятку и поставьте ее для Кларенса на «Дженерал электрик».

Робертсон. Послушай, Кларенс, мне пришла в голову забавная мысль.

Кларенс. Слушаю, сэр.

Робертсон. Ты рассуждаешь точно так же, как все банкиры в Соединенных Штатах.

Кларенс. Вы мне льстите, сэр.

Робертсон. М-да... ну что ж... прощай. *(Уходит.)*

Кларенс уносит свой ящик. Все, напевая «Я встретил крошку на миллион долларов...», покидают сцену. Куинн поет «... в пятицентовой лавке...»

Роуз *(играя на рояле).* А теперь пой, дорогой... и не забывай дышать. Затем сделаешь уроки.

Ли. До двадцать девятого года был век веры. Как Линдбергу удалось перелететь через Атлантику в этом крошечном самолетике? Он верил! Почему Бейб Руту не было равных на бейсбольном поле? Потому что он верил! Чарли Пэддок — самый быстрый человек в мире — на спор обогнал скаковую лошадь, потому что он верил! В четырнадцать лет я твердо верил: волосы моей матери должны стекать ей на плечи. Но однажды она пришла домой...

Роуз *(продолжая играть).* А по-моему, не было лучшего времени для тех, кто любит играть или петь, слушать музыку или танцевать. Мне кажется, без новой песни не проходило и недели. Что с тобой?

Ли не в состоянии говорить и только мотает головой — «ничего».

Ну ради всего святого! Кому сейчас охота возиться с длинными волосами! Собирай их, распускай...

Ли. Ничего, все в порядке. Просто я не думал... что это когда-нибудь может случиться.

Роуз. Может же быть что-нибудь по-новому?!

Ли. Но почему ты не предупредила меня?

Роуз. Потому что произошло бы то же самое. Вообразил себе, будто я... невесть что! Пожалуйста, прекрати эти идиотские слезы и пой.

Ли поет.

Ты совсем не дышишь, дорогой...

Входит Моу. На нем смокинг, в руках телефонный аппарат.

Руди Вэлли[1] позеленеет от зависти.

На сцену в шоферской форме выходит Фрэнк.

Моу *(в телефонную трубку).* Трафальгар пять, семь-семь-один-один. Херб? Мне только что в голову пришла мысль — не прикупить ли еще пятьсот акций «Дженерал электрик»? Хорошо. *(Кладет трубку.)*

Фрэнк. Машина подана, мистер Баум.

Роуз *(обращаясь к Фрэнку).* Отвезете нас сначала в театр, а потом моего отца и сестру в Бруклин. За нами заедете к концу спектакля. И, пожалуйста, не заблудитесь.

Фрэнк. Не волнуйтесь, я знаю Бруклин. *(Уносит саквояжи.)*

Входит Фэнни, сестра Роуз. В руках у нее четыре прогулочные трости и две шляпные коробки.

Фэнни *(встревоженным тоном).* Роуз, послушай... папа... в общем... он не хочет переезжать.

Моу медленно поворачивается, вопросительно изгибает брови; Роуз тоже обеспокоена.

Роуз *(обращаясь к Фэнни).* Не говори глупостей. Он прожил здесь целых шесть месяцев.

Фэнни *(испуганно, понизив голос).* Уверяю тебя... ему все это не по душе.

Моу *(иронически повторяет последнюю фразу).* Ему это не по душе...

Фэнни *(обращаясь к Моу).* Вы же знаете, как он любит простор, а у вас такая большая квартира.

Моу *(обращаясь к Ли).* Знаешь, он купил себе место на кладбище по самому проходу, чтобы свободней было...

Роуз. Ради бога, прекрати!

Моу. ...ложиться и вставать...

Фэнни. Из могилы?

Роуз. Он же разыгрывает тебя!

Фэнни. Ах, ты!.. *(Обращаясь к Роуз.)* Он, наверное, боится, что у меня ему бу-

[1] Имеется в виду известный киноактер Рудольф Валентино. *(Прим. перев.)*

дет тесно: ты же знаешь — девочки, Сидни, мы с мужем... и всего одна ванная. Да и что ему делать в Бруклине? Он всегда любил город.

Роуз. Фэнни, дорогая, решайся. Я уверена, ему у вас будет хорошо.

Моу. Послушай, Фэнни, а не переехать ли нам всем к тебе, а он пусть остается здесь, в одиннадцати комнатах. Наша служанка будет приезжать сюда каждый день убираться...

Фэнни. Роуз, он уже причесывает волосы, но я знаю, я чувствую — ему все это не по душе. Мне кажется, ему недостает мамы.

Моу. О, это уже серьезно — пожилому человеку его возраста недостает мамы...

Фэнни. Да нет же — нашей мамы. *(Обращаясь к Роуз, с едва сдерживаемым смехом кивает на Моу.)* Он подумал, что папе недостает его собственной матери!

Роуз. Да он разыгрывает тебя.

Фэнни. Ах ты!.. *(Замахивается на Моу.)*

Роуз *(уводя ее к выходу)*. Иди поторопи его, Фэнни. Я не хочу опоздать на первое действие. Все-таки Гершвин. Говорят, оно потрясающе поставлено.

Фэнни. Понимаешь, у вас здесь все время что-то происходит...

Моу *(в телефонную трубку)*. Трафальгар пять, семь-семь-один-один.

Фэнни. ...у вас тут всякие дела, биржа, акции... Папа просто обожает все это!

Входит Дедушка. Он аккуратно одет: хороший костюм, трость, на руке пальто. Держится с достоинством, но на лице — жалость к самому себе. Обиженно останавливается.

Моу *(обращаясь к Дедушке)*. До скорой встречи, Чарли!

Фэнни. Ты готов, папа?

Моу *(в телефонную трубку)*. Херб?.. Как ты считаешь — не избавиться ли мне от водокачки в Уортингтоне? Что?.. Тысяча акций?.. И не забудь напомнить мне поговорить с тобой насчет золота, ладно?.. О'кей.

Фэнни *(вместе с Роуз помогает отцу надеть пальто)*. Роуз будет часто к нам приезжать...

Роуз. Мы все приедем к вам в ближайшее воскресенье... на целый день.

Дедушка. В Бруклине полно помидоров...

Фэнни. Не так уж полно, папа, поверь мне. Там начали строить многоквартирные дома, так что, можно сказать, Бруклин уже почти что город. *(Обнадеживающе.)* На некоторых улицах не увидишь и деревца! *(Увидев сверкающий бриллиантами браслет на руке Роуз.)* У тебя новый браслет?

Роуз. Подарок Моу ко дню рождения.

Фэнни. Он просто великолепен!

Роуз. Точно такой же он подарил своей матери.

Фэнни. Представляю, как она была рада...

Роуз *(с язвительной усмешкой в сторону Моу)*. Еще бы!

Дедушка *(жалостливо, с ноткой отчаяния)*. Итак, значит, я все-таки уезжаю! *(Неодобрительно покачивая головой, поворачивается к выходу.)*

Ли. До свидания, дедушка!

Дедушка *(подходит к Ли, подставляет щеку для поцелуя, затем, ущипнув Ли за щеку)*. Будь хорошим мальчиком, Ли. *(Проходит мимо Роуз, нарочито грубо выхватывает у нее из рук свою шляпу и выходит.)*

Моу. Наконец-то квартирант съехал. Я все-таки дожил до этой минуты!

Роуз *(обращаясь к Ли)*. Хочешь прокатиться с нами?

Ли. Я, пожалуй, останусь и немного повожусь с приемником.

Роуз. Хорошо. Только не засиживайся. Я принесу ноты песен из спектакля, и завтра мы с тобой их все пропоем. *(Целуя его.)* Спокойной ночи, милый. *(Набрасывает меховую накидку на руку и выходит.)*

Моу *(обращаясь к Ли)*. Почему бы тебе не подстричься?

Ли. Стригся, но они, видать, снова отросли.

Моу *(как бы увидев, что Ли уже совсем взрослый юноша)*. Не пора ли тебе подумать о колледже? Посоветуйся с мамой.

Ли. Еще два года...

Моу. Ну ладно, ладно, тебе виднее. *(Довольно смеется и выходит — полностью уверенный в себе человек.)*

Появляется Робертсон. Подходит к кушетке, ложится. Появляется доктор Росман, садится на стул у изголовья.

Робертсон. На чем я вчера остановился?

Росман. Ваша мать ошпарила кипятком кота.

Робертсон *(после небольшой паузы)*. Вот еще что, доктор... только как бы вам это сказать...

Росман. Говорите как есть. Для этого я к вам и прихожу.

Робертсон. Речь идет не обо мне, а... о деньгах.

Росман. О деньгах?

Робертсон. Ваших деньгах.

Росман *(встревоженно наклоняется к нему)*. И что же?

Робертсон *(колеблясь)*. Мне кажется, вам лучше продать все свои акции.

Росман. Продать акции?

Робертсон. Да, все до единой.

Росман *(после небольшой паузы медленно выпрямляется, тщательно подбирая слова)*. Не могли бы вы... э-э... рассказать об этом поподробнее? Когда, например, вам в голову пришла эта мысль?

Робертсон. Приблизительно четыре месяца тому назад. Где-то в середине мая.

Росман. А не припомните, что именно натолкнуло вас на нее?

Робертсон. Одна из моих компаний производит кухонную утварь...

Росман. Та, что в Индиане?

Робертсон. Да. В середине мая внезапно перестали поступать заказы.

Росман. Совсем?

Робертсон. Все до единого. Уже конец августа, а заказов все нет.

Росман. Но это же невозможно! Ведь акции-то непрерывно растут в цене!

Робертсон. На тридцать пунктов — менее, чем за два месяца! О чем я вам и толкую. Поймите, доктор, биржа — это не более чем плод человеческих иллюзий.

(Садится.) Впрочем, я допускаю, что все это — плод моей собственной фантазии...

Росман. Да, вас всегда преследовал страх надвигающейся беды.

Робертсон. Но всю эту неделю я встречался со многими людьми и имел возможность убедиться: везде одно и то же — склады ломятся от товаров, которые некуда девать. И это уже не плод фантазии, а объективный факт.

Росман. Своим коллегам вы говорили об этом?

Робертсон. И слушать не захотят. Признаться в поражении? После того как мы поставили всю страну на кон в беспроигрышной, казалось бы, игре?.. Лично я избавился от большей части своих акций еще два года назад, а завтра утром, как только откроется биржа, продам остальное. Конечно, я чувствую себя виноватым, но иного выхода не вижу.

Росман. Почему продажа собственных акций вызывает у вас чувство вины?

Робертсон. Двенадцать миллионов долларов ценных бумаг одним махом? Это же повлечет за собой неудержимую лавину, которая погребет тысячи стариков, вдов... Я даже подумывал, не сделать ли публичное заявление...

Росман. А разве это само по себе не вызвало бы панику и лавину?

Робертсон. Но зато по крайней мере простые люди были бы предупреждены.

Росман. А с другой стороны, если продать эти акции без лишнего шума, паники может и не возникнуть. Ведь вы м о ж е т е и ошибаться.

Робертсон. Не исключено. Да... так и надо делать: продать и помалкивать. Вы правы, я могу и ошибаться.

Росман *(с облегчением)*. Скорее всего. Но... пожалуй, я тоже продам.

Робертсон. Отлично, доктор. И вот еще что... *(Встает.)* Вам это покажется абсолютным идиотизмом, но... когда вы получите наличные, не держите их — скупайте золото.

Росман. Вы... вы, наверное, шутите...

Робертсон. В слитках, доктор, в золотых слитках. Боюсь, перед этой лавиной не устоит и доллар... Услышал бы наш разговор любой банкир в Соединенных Штатах, он бы не колеблясь сказал, что я — сумасшедший. Золотые слитки, доктор... и храните их не в банке, а в подвале. Всего вам. *(Уходит.)*

Свет на известный в ту пору ресторанчик «Тони», названный так по имени его владельца. За столиком двое респектабельного вида мужчин в смокингах.

Ливермор. Что Рэндольф Морган... Вы и впрямь видели, как он падал?

Тони. Точно, сэр. Начинало смеркаться, как раз перед наступлением темноты. Не знаю почему, но что-то заставило меня посмотреть вверх. А там, распластавшись, летит человек. Прямо на меня. Потом гляжу *(опускает голову)* и глазам своим не верю — Рэндольф!

Ливермор. Бедняга.

Дюрант. Идиот!

Ливермор. Не знаю, не знаю... в этом есть что-то благородное... Когда теряешь чужие деньги — и свои в придачу — другого выхода, пожалуй, нет.

Дюрант. Выход всегда есть — через дверь.

Тони. Еще брендимистер Дюрант?

Ливермор *(поднимает бокал)*. За Рэндольфа Моргана!

Дюрант тоже поднимает свой бокал.

Тони. Аминь. А я скажу вам — всем нам надо бы стать на колени и возблагодарить Джона Д. Рокфеллера!

Ливермор. Дело говорите.

Тони. Клянусь богом, аж дух захватывает! Вот это да, вот это человечище! Вокруг все трещит, а он заявляет: «Я и мои сыновья покупаем акций на шесть миллионов долларов». Ничего не скажешь — настоящий боец!

Ливермор. Он все поставит на свои места.

Тони. Это уж точно. Он — капиталист и, значит, умеет драться как надо. Погодите, уже завтра дела пойдут в гору.

Входит о ф и ц и а н т и что-то шепчет ему на ухо.

Да-да, конечно же, пригласите ее сюда.

Официант быстро уходит. Тони обращается к финансистам.

Боже мой, это сестра Рэндольфа... Она еще ничего не знает.

Входит Д и а н а.

Добрый вечер, мисс Морган, проходите, проходите. Сюда, пожалуйста. Вот отличный столик для вас.

Диана *(яркая красавица, южанка)*. Благодарю вас.

Тони. Позвольте предложить вам прекрасный бифштекс? Что-нибудь выпьете?

Диана. Я, пожалуй, подожду мистера Робертсона.

Тони. Конечно, конечно, чувствуйте себя как дома.

Диана. А вы, очевидно, тот самый... знаменитый Тони?

Тони. Точно, мисс, тот самый.

Диана. Очень, очень рада познакомиться с вами! Я столько читала о вашем восхитительном заведении! *(С жадной любознательностью оглядывается вокруг.)* А все эти люди — они, конечно, из литературных кругов?

Тони. Не все, мисс Морган.

Диана. Но ведь именно сюда частенько заглядывает сам Ф. Скотт Фицджеральд, я не ошибаюсь?

Тони. Точно... но сегодня здесь тихо. Со всей этой кутерьмой на бирже последние пару дней люди предпочитают сидеть дома.

Диана. А вон тот джентльмен — писатель?

Тони. Нет, мисс, это Джек Брадобрей, он по спиртному делу.

Диана. А эти? *(Указывает на Дюранта и Ливермора.)*

Услышав ее вопрос, Дюрант встает.

Тони *(представляет их друг другу)*. Мистер Дюрант — мисс Морган. Мистер Ливермор — мисс Морган.

Диана. В нашей семье имя Джесси Ливермор произносилось с благоговением, как имя гения!

Клейтон. Шекспир, Данте финансового мира!

А и. А Уильям Дюрант!.. Его именем назван автомобиль — «Дюрант сикс».

М о у. Автомобиль? Побойся бога, Дюрант владеет «Дженерал моторс»!

Д и а н а. Неужели тот самый Джесси Ливермор?

Л и в е р м о р. Боюсь, что да.

Д и а н а *(восторженно)*. Вот здорово! Сидят себе словно два обычных миллионера!

Л и *(с места для хора)*. О да, сильные мира сего! Легендарные первосвященники вечного бума!

Д и а н а. Сегодня у меня счастливый день!.. Вы, наверное, хорошо знаете Дарем?

Л и в е р м о р. Дарем? Боюсь, я там никогда не бывал.

Д и а н а. Там же ваша фабрика «Филип Моррис». Вы ведь по-прежнему владеете ею?

Л и в е р м о р. Безусловно. Однако для того, чтобы ставить на лошадь, совсем не обязательно ездить на ней верхом. Я никогда не вмешиваюсь в дела своих предприятий. Меня интересуют только акции.

Д и а н а. Просто невероятно — быть владельцем такого огромного предприятия и даже не знать, как оно выглядит! Мой брат — биржевой маклер. Рэндольф Морган. Не слышали о таком?

Л и в е р м о р. Я имел дело с Рэндольфом, когда покупал контрольный пакет «Ай-би-эм». Славный парень.

Д и а н а. Не понимаю, почему он до сих пор у себя в конторе? Ведь биржа уже закрыта, правда же?

Ее собеседники неловко переминаются.

Д ю р а н т. Да, конечно, но со всей страны непрерывно поступает поток распоряжений о купле-продаже, и они вынуждены практически круглосуточно обрабатывать их... Беда в том, что сейчас ни на что нет устойчивой цены. Видите человека вон там в конце стойки? Это — мистер Клейтон. Он тоже ждет последних сведений.

Д и а н а. Убеждена — что-то, наверняка, предпримут, как вы считаете? *(Смеется.)* А у нас отключили телефон...

Л и в е р м о р. Как так?

Д и а н а. Не знаю. Похоже, последние несколько месяцев папа много брал в долг и ему закрыли кредит. *(Смеется.)* Я и понятия не имела. Жила как во сне. Представляете, в поезде зашла в вагон-ресторан, ну просто умирала от голода — а у меня оказалось всего сорок центов! Я живу на одних шоколадках. *(За внешней беззаботностью угадывается тревога.)* Что происходит с деньгами?

Л и в е р м о р. Не принимайте этого близко к сердцу, мисс Морган. Скоро будет много денег. Ведь они подобны пугливой птичке: малейший шорох листвы — и она летит в укрытие. Но долго в уединении оставаться нельзя — надо добывать себе пропитание. Вот почему мы все должны с надеждой и уверенностью глядеть в будущее.

Свет на Роуз.

Р о у з. А они оказались просто карманниками, орудующими в толпе пилигримов.

Свет гаснет.

Л и в е р м о р. После сегодняшнего выступления Рокфеллера подъем, очевидно, уже начался.

Появляется Р о б е р т с о н.

Р о б е р т с о н. Но ведь они тоже верили.

Г е н р и Т е й л о р *(делает шаг вперед)*. Во что? Во что они верили?

А й р и н и Б э н к с в голос вторят ему: «Да, во что они верили?»

Р о б е р т с о н. Ну почему же, они верили в самое главное — скажем, сегодня понедельник, а вы хотите, чтобы сегодня была пятница. Убедите в этом достаточное количество людей и, ради бога,— получайте свою пятницу.

Д ю р а н т. На вашем месте, мисс Морган, я бы приготовился к худшему.

Л и в е р м о р. Ну к чему такие разговоры, Билл?

Р о б е р т с о н. И в конце концов они сами поверили в это!

Д ю р а н т. Все, что сейчас происходит, мисс Морган, даже во сне не увидишь.

М о у. Они как ни в чем не бывало болтают, а в это время господин в конце стойки...

Д ю р а н т. Посмотрите-ка на того джентльмена в конце стойки: сейчас он положит телефонную трубку и, держу пари, сообщит мне, что я лишился контрольного пакета «Дженерал моторс».

Д и а н а. Не может быть!

А р т у р К л е й т о н действительно кладет трубку, одергивает жилетку и направляется к их столику.

Д ю р а н т *(наблюдая за его приближением)*. На вашем месте, мисс Морган, я бы собрал в кулак все свое мужество.

Клейтон останавливается перед Дюрантом.

Слушаю вас, Клейтон.

К л е й т о н. Не могли бы мы поговорить наедине, сэр?..

Д ю р а н т. Я разорен?

К л е й т о н. Если бы вы смогли занять на две-три недели...

Д ю р а н т. У кого?

К л е й т о н. Не знаю, сэр.

Д ю р а н т *(встает)*. Доброй ночи, мисс Морган.

Она смотрит на него в изумлении.

Сколько вам лет?

Д и а н а. Девятнадцать.

Д ю р а н т. Надеюсь, барышня, вы найдете в себе силы смотреть правде в глаза... Никогда не имейте дела с бумагами. Это — чума! Желаю вам удачи. *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

Л и в е р м о р. Нам надо поговорить, Билл...

Д ю р а н т. О чем, Джесси? Иди-ка ты спать, старина, уже далеко за полночь. *(Уходит.)*

М о у *(пытается вспомнить)*. Послушайте... по-моему, Дюрант дошел до того, что заведовал кегельбаном в Толидо, так ведь?

К л е й т о н *(кивает)*. Разорился вчистую.

Л и в е р м о р *(поворачивается к Клейтону. Улыбается, стараясь казаться безразличным)*. Клейтон, какой будет начальная цена на «Филип Моррис» завтра утром, вы не в курсе?

К л е й т о н. До двадцати, не выше... Если вообще найдутся желающие.

Ливермор *(уже без улыбки)*. Но ведь Рокфеллер... Рокфеллер...

Клейтон. Похоже, не помогло, сэр.

Ливермор встает. Пауза.

Я должен вернуться в контору. С вашего позволения, сэр... *(Молчание.)* Мне очень жаль, мистер Ливермор. *(Уходит.)*

Диана, видя, как страдальчески искривляется лицо Ливермора, привстает со стула.

Диана. Мистер Ливермор...

Входит Робертсон.

Робертсон. Простите за опоздание, Диана, как добрались? *(Заметив выражение ее лица, поворачивается к Ливермору, подходит к нему.)* Что, плохо, Джесси?

Ливермор. Я разорен, Артур.

Робертсон *(с наигранной бодростью)*. Так уж и разорен. У такого человека, как ты, Джесси, всегда найдется где-нибудь миллионов десять...

Ливермор. На этот раз нет, Артур. Я всегда чувствовал, что если у человека нет настоящих денег, у него нет никаких денег. Это верно, что ты вовремя распродался?

Робертсон. Да, Джесси, я же предупреждал тебя.

Ливермор *(после небольшой паузы)*. Артур... ты не мог бы одолжить мне пять тысяч долларов?

Робертсон. Конечно, Джесси. *(Садится, снимает ботинок.)* Пять недель тому назад на борту своей яхты в Ойстер-Бей он сказал мне *(кивает на Ливермора)*, что общая стоимость его акций составляет четыреста восемьдесят миллионов долларов.

Ливермор. Что за фокусы, черт побери?

Робертсон молча вынимает из ботинка пачку пятитысячных банкнот, встает и протягивает одну Ливермору. Тот не в силах отвести взора от ботинка.

Боже мой, неужели ты ни во что не веришь, Артур?

Робертсон. Честно говоря, мало во что.

Ливермор. Ну что ж, мне это, пожалуй, понятно. *(Складывает купюру.)* Хотя и не особенно приятно. *(Кладет ее в карман. Снова смотрит на ботинки Робертсона, покачивает головой.)* Теперь это твоя страна. *(Поворачивается и, как слепой, уходит.)*

Диана *(переводя взгляд с уходящего Ливермора на Робертсона)*. А Рэндольф? Он тоже разорен?

Робертсон *(берет ее за руку)*. Диана... Рэндольф мертв. Он... он выпал из окна.

Диана стоит потрясенная, глядя на Робертсона невидящим взором.

Роуз *(повернувшись в сторону окна)*. Ли! Дорогой!

Ли *(садится на стоящий у кулисы велосипед и подъезжает к Роуз)*. Ну как он тебе, ма?

Роуз. О, какой великолепный велосипед!

Ли *(с гордостью)*. «Колумбия-рейсер» — гоночный! Я только что купил его у Джорджа Розена за двенадцать долларов.

Роуз. Откуда у тебя двенадцать долларов?

Ли. Снял со своего банковского счета. Все до последнего цента. Не важно, он стоит намного дороже!

Роуз. Ну и ну!

Робертсон. Вскоре после этой встречи Джесси Ливермор, плотно позавтракав в ресторане отеля «Шерри-Недерленд», попросил у официанта чистый конверт, написал на нем адрес Артура Робертсона, вложил в него купюру в пять тысяч долларов, вошел в туалет и... застрелился.

Роуз. Послушай, дорогой, ты ведь знаешь угол Третьей авеню и Девятнадцатой улицы, не так ли?

Ли. Конечно. Десять минут ходу.

Роуз *(вынимает из бумажного пакета бриллиантовый браслет)*. Это мой бриллиантовый браслет. *(Снова лезет в пакет, достает визитную карточку.)* А это — визитная карточка мистера Сандерса и его адрес. Он ждет тебя. Отдай ему браслет и возьми квитанцию.

Ли. Он что, должен подогнать его по размеру?

Роуз. Нет, дорогой, он — владелец ломбарда. Поезжай, я объясню тебе все когда-нибудь потом.

Ли. Скажи хотя бы, что такое ломбард.

Роуз. Это место, где можно на время оставить какую-нибудь вещь и получить за нее ссуду под процент. Я хочу заложить свой браслет до конца месяца, пока дела на бирже снова не наладятся. Он уже видел этот браслет в прошлую пятницу и обещает за него хорошие деньги.

Ли. А как ты получишь его обратно?

Роуз. Очень просто — верну деньги плюс процент. Через месяц-другой дела, без сомнения, поправятся. Ну, езжай, дорогой, и, пожалуйста, будь поосторожнее. Я так рада, что ты купил этот велосипед... он просто прелесть!

Ли *(садясь на велосипед)*. Папа знает?

Роуз. Да, дорогой, папа знает... *(Собирается уйти, но в это время быстрым шагом входит Джо.)*

Джо. О, привет, миссис Баум.

Роуз. Привет, Джо... ты что-то похудел.

Джо. Я? *(Похлопывает себя по животу.)* Не может быть, я в полном порядке. *(Вынимает из конверта фотографию размером приблизительно 20x25 см.)* Смотрите-ка, что у меня есть! *(Роуз и Ли разглядывают фото.)*

Роуз *(с удивлением)*. Откуда это у тебя?

Ли. Как тебе удалось заполучить его автограф?

Джо. Очень даже просто — написал в Белый дом.

Ли. Ну ты даешь!.. *(Ведет пальцем по подписи.)* Вот это да — «ГЕРБЕРТ ГУВЕР»!

Роуз. Как это мило, как человечно с его стороны! Что же ты ему написал?

Джо. Ничего особенного — пожелал ему успеха... в борьбе с депрессией.

Роуз *(с восхищением)*. Нет, вы только посмотрите! Ну, Джо, быть тебе политическим деятелем. *(Снова склоняется над фотографией.)*

Джо. Почему бы и нет? Мне это вполне подходит.

Ли. А стоматология?

Джо. Посмотрим: либо то, либо другое.

Роуз. Ну ладно, дорогой, поезжай. *(Уходит с озабоченным видом.)*

Ли садится на велосипед.

Ли. Может, потом поиграем в баскет?

Джо. А может, прямо сейчас?

Ли *(смущенно)*. Сейчас не могу... Мать кое-что просила сделать. Давай на площадке через час. *(Трогается.)*

Джо *(задерживает его)*. Подожди я с тобой. *(Хочет сесть на раму велосипеда.)*

Ли. Не стоит, Джо.

Джо *(почувствовав, что настаивать не следует)*. Не стоит, так не стоит.

Ли. Значит, на площадке. *(Уезжает.)*

Джо смотрит на фотографию, читает одними губами — «ГЕРБЕРТ ГУВЕР». Горделиво встряхивает головой и уходит.

Входит Айрин с коляской.

Айрин. Уволили, и что хочешь, то и делай: ни пособия, ни страховки — только родственники и... свежий воздух.

Напевая, Айрин уходит.

Появляется Фрэнк в шоферской фуражке и пальто, в руке аккуратно сложенный плед. За ним входит Моу в модном пальто с меховым воротником.

Фрэнк. Доброе утро, мистер Баум. Ваше авто готово и уже прогрето. Плед только из чистки.

Моу *(протягивает ему счет)*. Что бы это значило, Фрэнк?

Фрэнк. Это? Вроде счет из гаража, сэр.

Моу. Опять покрышки?

Фрэнк. Да, сэр, это за новые покрышки. Поставили на прошлой неделе.

Моу. А куда делись старые? Мы же купили их всего полтора месяца назад!

Фрэнк. Они оказались никуда не годными, сэр,— моментально облысели. Заверяю вас, сэр.

Моу. По двадцать долларов за покрышку — и всего на шесть недель?

Фрэнк. Вот и я про то же, сэр,— они оказались никуда не годными. Зато уж эти наверняка будут что надо.

Моу. Вот что, Фрэнк...

Фрэнк. Да вы не сомневайтесь, мистер Баум, насчет этих я лично вам гарантирую, сэр.

Моу. Фрэнк, я ведь никогда не обращал внимания на подобные мелочи, но... надеюсь, вы слышали, что творится на бирже? Все летит в тартарары...

Фрэнк. О да, сэр, конечно же, я слышал об этом.

Моу. Рад, что вы слышали об этом. Я слышал об этом куда больше. Кстати, за последние десять лет вы подзаработали на продаже моих покрышек...

Фрэнк. Как можно, сэр! Да разве я...

Моу. Фрэнк, за последние десять лет мы сменили столько покрышек... Да я не слышал о таком количестве с тех пор, как шестилетним ребенком приехал сюда из Европы! До нелепости огромное количество, Фрэнк. Ну да ладно. Вот что мы сделаем, Фрэнк: вы сейчас отгоните машину в автомагазин и оставите ее там. Затем возвращайтесь в мою контору, и мы уладим все наши дела.

Фрэнк. А как же вы?..

Моу. Я прекрасно обойдусь такси, Фрэнк.

Фрэнк. Мне будет очень жаль расстаться со всеми вами, это уж точно.

Моу. Всему есть свой конец. Фрэнк. Нам было хорошо с вами. Никаких претензий. *(Пожимает ему руку.)* Бывайте!

Фрэнк *(вдруг как-то потеряв представительность одетого в форму, довольного своей жизнью человека)*. Но... как же мне... теперь?

Моу. У вас разве нет родственников?

Фрэнк. Есть, но... я никогда с ними не ладил.

Моу. Напрасно, а следовало бы. *(Торопливо уходит, крича: «Такси, такси!»)*

Фрэнк с фуражкой в руке бесцельно ходит по сцене.

В отчаянии швыряет плед на пол: «Черт побери!» Появляется Робертсон и внимательно вглядывается в лицо Фрэнка, который с невидящим взором проходит мимо него.

Робертсон *(серьезным тоном, задумчиво)*. Это стало напоминать Германию 1922 года... Вот когда я понял — с банками что-то не то. Порой мне доводилось ходить в туфлях, где под стелькой лежало чуть ли не двадцать пять — тридцать тысяч долларов.

Роуз. И все-таки... в каком-то смысле это было даже приятно: население квартала росло не по дням, а по часам — домой возвращались женатые и замужние дети, к ним переезжали родители... детский плач раздавался даже там, где за последние двадцать лет никогда не было малышей... Приятно, но вместе с тем от всего этого можно было сойти с ума... *(Поворачивается к Дедушке, который выходит к центру сцены. В руках у него четыре трости и две шляпные коробки. Он делает несколько шагов, кладет трости и коробки на пол и с раздраженным, обиженным видом садится в кресло.)* С чего это ты?

Дедушка *(категоричным тоном)*. В моем шкафу для них не хватает места...

Роуз. Для четырех тростей?

Дедушка. А как быть с моими шляпами? Нечего было покупать такой крошечный домик!

Роуз *(кивает на трости)*. Поставлю их в шкаф в прихожей.

Дедушка. Нет, ни за что на свете! Будут они там падать, на них все будут наступать... А где мне хранить свои шляпы?

Роуз *(изо всех сил стараясь сдержаться)*. Папа, что ты от меня хочешь? Мы и так делаем все, что в наших силах!

Дедушка. Одна спальня на столько народу — это непорядок. В старой квартире было три ванные комнаты... Выглянешь в окно — перед тобой весь Нью-Йорк. А здесь? Ты только прислушайся — бруклинское кладбище! А уж парикмахер! Ты только посмотри, что он со мной сделал! *(Показывает на свою голову.)*

Роуз. А что, по-моему, отлично. *(Приглаживает его волосы.)* Местами, правда, чуть-чуть неровно...

Дедушка *(отталкивает ее руку)*. Не понимаю, Роуз: зачем он объявляет себя банкротом, если собирается оплатить долги?

Роуз. Для репутации.

Дедушка. Репутации? Репутации идиота! Не платить долги — вот зачем объявляют себя банкротом.

Роуз *(менее уверенно)*. Но он-то хотел поступить как порядочный человек...

Дедушка *(перебивает)*. Вся прелесть в том и состоит, что никому ничего не надо платить! Мог бы посоветоваться со мной. Когда я объявлял себя банкротом, я никому не платил.

Роуз *(собравшись с духом)*. Папа, я должна тебе кое-что сказать...

Дедушка. Ты лучше скажи не мне, а Ли: он всю ночь мечется в постели, будит меня... разбрасывает ноги... Для двоих эта спальня слишком мала, Роуз.

Роуз. Я бы не хотела, чтобы Моу расстраивался, папа. *(Подходит к нему. Он бросает на нее быстрый взгляд.)* Он хочет открыть новое дело, оттого и нервничает. Поэтому не надо жаловаться, прошу тебя, папа.

Дедушка. О чем это я говорил?

Роуз. Ни о чем.

Он с виноватым видом помогает ей сложить трости, лежащие на полу.

Может, я где-нибудь отыщу стойку для зонтов...

Дедушка. Я тут читал про этого Гитлера...

Роуз. Про кого?

Дедушка. ...Он выгоняет из Германии всех радикалов. Это еще куда ни шло, только вот зачем он так с евреями... Больше шести месяцев ему не продержаться... Немцы не дураки. Это напоминает мне о времени, когда я возил маму в Баден-Баден... как раз в это время года...

Роуз. Она была такой красивой!

Дедушка. ...Помню, как-то сидим мы в вагоне поезда на Берлин. До отправления несколько минут. Вдруг подбегает мужчина и выкрикивает мое имя. Я высовываюсь из окна и спрашиваю, что ему угодно. А он протягивает мне мои золотые часы на цепочке: «Вы забыли это в своей комнате, майн герр». Да-а, такое могло произойти только в Германии. Этот Гитлер — конченый человек.

Роуз. Прошу тебя... *(Протягивает ему трости.)* Пожалуйста, сложи их в свой шкаф. *(Поворачивается, чтобы уйти.)*

Дедушка. Я ведь только хотел сказать, что если уж объявлять себя банкротом, то...

Роуз. Я не хочу, чтобы он злился, папа! Ну неужели... *(Сдержавшись, нагружает его тростями и шляпными коробками.)*

Дедушка *(ворчливо)*. Даже объявить себя банкротом и то не умеют. *(Уходит.)*

На велосипеде въезжает Ли, но уже одет по-зимнему. Останавливается, слезает с велосипеда и ставит его у кулисы. Роуз садится в кресло, откидывается назад.

Ли. Ма, угадай, что случилось!

Роуз. Что?

Ли. Помнишь, я снял со счета все свои деньги на велик?

Роуз. И что же?

Ли. Так вот, правительство прикрыло этот банк! Банкротство! На улице собралась толпа, все орут, требуют назад свои сбережения, кругом полиция и все такое — а денежки тю-тю.

Роуз. Ты — гений!

Ли. Только представь себе — я ведь тоже мог потерять двенадцать долларов! Здорово, правда же?

Роуз. Потрясающе! *(Снимает с себя нитку жемчуга, пристально смотрит на нее.)*

Ли *(кивает на нитку жемчуга в ее руках)*. О, мама, неужели?..

Роуз. У меня сердце разрывается. Это был папин подарок на нашу свадьбу.

Ли. А папино дело? Он разве не сможет...

Роуз. Он вложил практически весь свой капитал в акции... Это было выгодней. А теперь вот... ничего не осталось...

Незаметно появляется Вор, подкрадывается к велосипеду, вскакивает на него и уезжает.

Но ничего, все еще поправится. *(Протягивает ему нитку жемчуга.)* Поезжай. Когда вернешься, съешь бутерброд с рыбой. *(Засовывая нитку жемчуга в карман, Ли направляется к тому месту, где стоял велосипед, недоуменно озирается вокруг, мечется по сцене, наконец останавливается, выражение растерянности и недоумения на его лице сменяется безнадежным отчаянием. Как бы почувствовав неладное, Роуз встает с кресла и подходит к нему.)* Где твой велосипед? Украли?

Ли словно окаменел.

Что б этот негодяй на первом же повороте свернул себе шею! *(Обнимает сына. Ли всхлипывает, но ему удается сдержать слезы. Она берет его за плечи, поворачивает лицом к себе и пытается вызвать у него улыбку.)* Ну что ж, теперь тебе придется топать в ломбард пешком — как все остальные. Ладно, бутерброд можешь съесть сейчас.

Ли *(ее слова действительно вызывают у него улыбку)*. Нет, не пешком, а бегом — заодно потренируюсь. Кстати, я уже почти решил, куда поступать: в Корнелл или Браун.

Роуз *(одобрительно, но довольно равнодушно)*. Да? Впрочем, впереди еще столько времени.

Труппа выстраивается на сцене и поет первый куплет гимна штата Айова: «Мы собираемся вместе, чтобы просить благословения Господа...». Появляется Робертсон.

Робертсон. Раньше мы не воспринимали это как систему.

Генри Тейлор. Нам это казалось вполне естественным...

Миссис Тейлор. Как погода: скажем, от плохой погоды никуда не денешься, но рано или поздно она кончалась — надо было только подождать. И мы ждали. А она не менялась. *(Смотрит на Генри, который устало садится на корточки.)* Мы ждали, а она не менялась. Могли ли мы когда-нибудь подумать, что настанет день, когда земля не будет давать плодов?! Земля всегда дает плоды! Однако вот она перед нами — мили и мили земли,— и вот мы хотим ее обработать, но не можем... Будто на Айову пало проклятье. Есть мы, есть жаждущая земля — и никто ничего не может сделать! Аминь.

Вперед выходит Брюстер в сопровождении фермеров.

Брюстер *(обращаясь к фермерам)*. Соберитесь с духом, парни, скоро начнется.

Первый фермер. Ну и август, черт его побери! Того и гляди, пойдет снег.

Второй фермер *(со смехом)*. Даже погода не работает. *(Смешки среди фермеров.)*

Брюстер *(подходит к Генри)*. Ты чего это расселся, Генри? Застудишь себе все на свете.

Генри. Смертельно устал. Всю ночь не сомкнул глаз. Даже не прикорнул.

Появляется миссис Тейлор с большим кофейником в руках. Ее сопровождает пятнадцатилетняя дочь — Харриет, у которой на каждом пальце висит по кружке.

Миссис Тейлор. Чашек на всех не хватит — придется по очереди, но зато кофе горячий.

Брюстер. Как здорово пахнет. Давайте-ка я вам помогу, миссис Тейлор.

Она отдает кофейник Брюстеру и подходит к Генри, своему мужу. Харриет раздает кружки.

Миссис Тейлор *(тихо, не без раздражения)*. И не стыдно тебе? Расселся, словно невесть кто! Ну давай, давай, вставай. *(Помогает ему встать.)* Мы же пришли на аукцион. Право-то прийти мы имеем?

Генри. Там у дороги больше тысячи человек — они не говорили, что придет так много!

Миссис Тейлор. Наверное, так и надо.

Генри. У них в грузовиках оружие.

Миссис Тейлор *(менее уверенно, с ноткой испуга)*. Все равно их уже не остановишь. Пойди хоть поговори с людьми — они ведь пришли тебе помочь.

Вбегает Чарли.

Чарли *(кричит)*. Брюстер, где Брюстер?

Брюстер *(выходит вперед)*. В чем дело, Чарли?

Чарли *(указывает куда-то в сторону)*. Судья Брэдли! Он уже выходит из машины с аукционистом!

Молчание. Все смотрят на Брюстера.

Брюстер. Ладно... это ничего не меняет. *(Поворачивается к фермерам.)* Значит, так, парни, все, как договорились, верно?

Негромкий одобрительный гомон: «Верно». «Не отступим, Ларри» и т. п. Входит судья Брэдли — ему слегка за шестьдесят — и мистер Фрэнк Говард, аукционист. Гомон стихает.

Судья Брэдли. Доброе утро, джентльмены. *(Пристально оглядывает собравшихся. Враждебное молчание.)* Я хотел бы сказать вам пару слов, прежде чем мистер Говард откроет аукцион. *(Подходит к небольшому возвышению, поднимается на него.)* Я решил лично приехать сюда сегодня, чтобы разъяснить вам всю серьезность положения в нашем штате. Айова — на грани анархии! Но анархия никого еще до добра не доводила. Вы все являетесь владельцами собственности и...

Брюстер *(перебивает)*. Являлись, судья, являлись!

Судья Брэдли. Брюстер, не будем заниматься пустой болтовней. *(Показывает рукой за сцену.)* Там — сорок вооруженных полицейских. *(Пауза.)* Я хочу, чтобы всем было ясно: согласно судейскому постановлению, эта ферма будет продана с молотка за неуплату долгов. Мистер Тейлор оказался не в состоянии своевременно уплатить то, что он задолжал за сельскохозяйственное оборудование и часть скота. Контракт есть контракт — он священен. Национальный банк имеет полное право требовать назад выданные им ссуды. Ну а теперь мистер Говард откроет аукцион. Предупреждаю, ему предоставлено право самолично отклонять любые неприемлемые предложения. Я еще раз прошу собравшихся уважать закон. Когда нарушается закон и порядок, никто не может чувствовать себя в безопасности. Мистер Говард, приступайте.

Мистер Говард *(поднимается на возвышение, в руках у него массивная деревянная папка с зажимом для бумаг)*. Итак, джентльмены, продается подержанный трактор марки «Джон Дир» и комбайн, три года, в отличном состоянии.

Появляются три покупателя, останавливаются. Замечая враждебность толпы, жмутся поближе друг к другу.

Кто желает...

Брюстер. Десять центов!

Мистер Говард. Итак, десять центов! *(Оглядывает собравшихся.)* Десять центов... десять центов... *(Выразительно смотрит на покупателей, но те от страха перед толпой будто онемели.)*

Первый покупатель. Пятьсот долларов!

Судья Брэдли *(зовет)*. Шериф, подойдите сюда и позаботьтесь о защите этих людей!

Появляется Колдуэлл со звездой шерифа на груди, с ним еще четверо вооруженных. Они с решительным видом становятся вокруг покупателей.

Шериф. Мистер Говард!

Мистер Говард. Пятьсот долларов раз... пятьсот долларов...

Второй покупатель. Шестьсот долларов!

Мистер Говард. Шестьсот долларов раз...

Третий покупатель. Семьсот долларов!

Мистер Говард. Семьсот долларов...

При этих словах Чарли выскакивает вперед — несколько фермеров быстро хватают полицейских и обезоруживают их. Слышится выстрел в воздух. Брюстер и еще один фермер мгновенно вспрыгивают на возвышение: Брюстер обхватывает руками судью, другой — набрасывает судье на шею веревочную петлю.

Судья Брэдли *(визгливо, со страхом)*. Брюстер, боже мой, что вы делаете?

Брюстер *(громко, в сторону остальных полицейских, они за кулисами)*. Эй, вы там, один шаг вперед, и мы тут же вздернем его! Давайте назад к дороге, иначе, клянусь господом богом, судье конец! А теперь, судья, послушайте-ка, что я вам скажу...

Генри. Отпусти его, Брюстер...

Миссис Тейлор. Генри!

Генри. Мне уже все равно... пусть забирают!

Брюстер. Не дергайся, Генри, никто ничего не заберет. Вам все ясно, судья? Мистер Говард, может, для экономии времени пустим все одним махом? Окажите нам такую любезность.

Мистер Говард *(поворачивается к*

толпе, дрожащим голосом). Продается... все сразу: трактор и комбайн, пара мулов и повозка, двадцать шесть коров, восемь телок, набор сельскохозяйственных орудий... и так далее...

Брюстер *(громко).* Один доллар!

Мистер Говард *(быстро).* Один доллар — раз, один доллар — два... *(Оглядывает толпу.)* Один доллар — три. Продано за один доллар!

Брюстер *(вручая ему один доллар).* А теперь подпишите эту купчую.

Мистер Говард подписывает документ. Брюстер спрыгивает с возвышения, подходит к Генри и вручает ему купчую.

Генри тебе пора доить своих коров. Да и нам пора, парни.

По сигналу Брюстера фермеры поспешно уходят вслед за ним. Судья Брэдли стаскивает петлю, слезает с возвышения и подходит к Генри, который оцепенело уставился на купчую.

Судья Брэдли. Ты вот, Генри Тейлор, самый настоящий вор!

Генри вздрагивает как от удара, съеживается, опускает глаза.

(Судья тычет пальцем в купчую.) Это — преступление против закона: и божьего, и человеческого! Но не надейся, этим дело не кончится! *(Поворачивается и разгневанно направляется к выходу.)*

Харриет. Папа, доить будем?

Миссис Тейлор. Конечно, будем, дочка, они ведь наши. *(Как бы ища поддержки у Генри.)* Правда же, Генри?

Генри *(не отрывая глаз от купчей).* Вроде как свой собственный дом украл.

С трудом сдерживая слезы от пережитого унижения, Генри уходит, за ним — жена и дочь.

Робертсон. Никто не знает, сколько людей оставляют свои дома, города, фермы и оказываются на дорогах. Сотни тысяч, может миллионы, американцев, беженцев в собственной стране!

Бэнкс. Трудный двадцать девятый год. У меня была маленькая хлопковая ферма в Арканзасе, но, как и тысячам других, пришлось оставить жену, мать и отправиться в дорогу, чтобы заработать хоть немного денег на пропитание. Но, боже мой, у меня ничего не получалось... Я стыдился даже послать им свое фото — весь грязный, оборванный, небритый... Хватило только на открытку: «Дорогая мама! У меня все отлично, надеюсь, у вас тоже все хорошо». А сам ночевал на лос-анджелесских тротуарах, накрывшись газетой... Зато моя мать будет говорить: «О, мой сын в Лос-Анджелесе, у него все в порядке». *(Усмехается.)* Да... «всю дорогу до Санта-Фе». Я был таким голодным и обессиленным... перед глазами вдруг помутилось... запрыгали чертики... Белый бродяга, кажется его звали Кэллэген, поднял меня, иначе я бы так и остался лежать там на кукурузном поле. Но кроме Кэллэгена рассчитывать на кого-либо среди этого отчаявшегося сброда было нечего: всеми владел страх, зависть и ненависть друг к другу. Жалкое зрелище... А я все еще слышу тот поезд, все еще слышу тот долгий, прощальный гудок — ту-ту!..

Слышится мелодия танцевальных марафонов «Танцуют все».

Моу. Так ты говоришь, курс обучения стоит триста долларов, Ли?

Ли входит с противоположной стороны. В руках у него справочники американских университетов.

Ли. ...Это в Колумбийском. Есть и поменьше.

Моу. Но это за четыре года?

Ли. Нет... только за один.

Моу. Ого! *(Садится в кресло, откидывается назад, закрывает глаза.)*

Ли перелистывает один из справочников.

Ли. В Миннесотском, например, сто пятьдесят, в Огайо, по-моему, столько же... *(Поворачивается к отцу в ожидании ответа.)* Па?

Моу спит

Роуз. От неприятных известий его всегда клонит ко сну. *(Подходит ближе к рампе.)* И тут начинается таинственная история «меченого дома»: по улице бредет незнакомец — оборванный, голодный, грязный. Он минует не останавливаясь, дом за домом, но у наших ворот почему-то решительно останавливается, проходит к задней двери и просит дать ему что-нибудь поесть. Почему к нам?

Появляется Генри Тейлор. На нем грубые башмаки, поношенная куртка, охотничье кепи, под мышкой — измятый бумажный мешочек. У него изможденный, потерянный вид. Он подходит к двери, звонит — тишина. Собирается с духом и звонит еще раз. К двери подходит Ли.

Ли. Вам кого?

Генри *(стесняясь — видно, что он еще не привык к своему новому положению).* Это... я извиняюсь, что беспокою вас в воскресенье и прочее, но...

Появляется Роуз, вытирая руки кухонным полотенцем. На ней домашнее платье и фартук.

Роуз. Кто там, дорогой?

Ли. Это моя мама.

Генри. Добрый день, миссис. Меня зовут Генри Тейлор. Я тут проходил мимо и решил спросить, не найдется для меня какой работы...

Моу *(вскакивает с кресла).* Вы что, не слышите — звонят в дверь! *(Замечает собравшихся у двери.)* О...

Роуз. *(иронически).* Еще один! Работу просит...

Генри. Я мог бы подкрасить ваш дом, починить крышу... могу по электрике, плотницкому или водопроводному делу, по уходу за садом или что построить... У меня раньше была собственная ферма — там все приходилось делать своими руками. Мне много не надо...

Роуз. Да, но нам не требуется...

Моу. Откуда вы?

Генри. Штат Айова.

Ли *(будто это на Луне).* Айова!

Генри. Могу работать только за еду. Материалы, конечно, ваши.

Моу *(как бы вычисляя).* В Айове?.. А где?

Роуз. Муж моей сестры из Кливленда...

Моу *(перебивает).* Да нет, Кливленд совсем не там. *(Обращаясь к Генри.)* Так где?

Генри. Знаете Стайлс?

Моу. Я знаю только магазины в больших городах.

Генри *(с радостным смешком)*. Да я и не рассчитывал встретить...

Внезапно глаза его стекленеют, он обмякает, пытается ухватиться за что-нибудь. Ли успевает подхватить его. Генри медленно опускается на пол.

Роуз. Что с вами?

Моу. Мистер!

Ли. Я принесу воды. *(Выбегает.)*

Роуз. Сердце?

Генри. Извините... Вот ведь... *(С трудом поднимается. Ли выносит стакан воды, протягивает ему. Генри отпивает половину, возвращает стакан.)* Спасибо, сынок.

Роуз *(обращаясь к Моу — полусовет, полувопрос)*. Ему надо бы посидеть? *(Указывает внутрь дома.)*

Моу. Хотите посидеть?

Генри беспомощно молчит.

Садитесь. *(Вместе с Ли помогает ему дойти до стула, сажает его.)*

Роуз *(наклоняется к нему, заглядывает в лицо)*. У вас что-нибудь с сердцем, да?

Генри *(смущенно, боясь получить отказ)*. Вы... вы не смогли бы дать мне хоть что-нибудь поесть? *(Все трое шокированы; видя их реакцию, Генри рыдает.)*

Роуз. Вы... голодны?

Генри. Да, мэм.

Она поворачивается к Моу, как бы спрашивая, можно ли этому верить.

Моу *(решительно)*. Лучше принеси ему что-нибудь поесть!

Роуз *(спешит к выходу)*. О боже, что же это такое происходит!

Моу *(подозрительным тоном, в котором проскальзывают даже обвинительные нотки)*. А как вы здесь оказались? Что вы тут делаете?.. Бродяжничаете?

Генри. Нет-нет, потерял ферму... и подался на Восток — говорили, что в Нью-Джерси набирают рабочих для уборки сельдерея. А работы оказалось всего на два дня... Раз пять обращался в Армию спасения, но только вчера получил чашку кофе и булочку...

Моу. Так вы ничего не ели со вчерашнего дня?

Генри. ...Обычно мне много-то и не требуется...

Роуз входит с подносом, на котором тарелка супа и кусок хлеба.

Роуз. Я как раз варила его и еще не успела заправить картошкой.

Генри. О, свекольник!

Роуз. Мы называем это борщом.

Генри *(с готовностью)*. Да-да, мэм. *(Не теряя времени, жадно ест.)*

Все смотрят на него — первого голодного человека в их жизни.

Моу *(скептически)*. Как же это вы ухитрились потерять ферму?

Генри. Вы разве не читали о фермерском бунте в Айове пару месяцев назад?

Ли. Я читал!

Моу *(обращаясь к Ли)*. Что еще за бунт?

Ли. Они там чуть не линчевали судью за то, что он приказывал пустить с молотка их фермы. *(Обращаясь к Генри, с восторженным интересом.)* Вы тоже в этом участвовали?

Генри. Сейчас-то уже все кончено, но и они больше не осмелятся выгонять нас... там такое творилось...

Роуз *(покачивая головой)*. А мне казалось, они там в Айове все республиканцы.

Генри. Наверное, так оно и есть.

Ли. Значит, это и называется — быть радикалами?

Генри. Как бы это получше сказать?.. Вообще-то в Айове люди практичные: если припрет, станут радикалами, отойдет, снова станут практичными.

Моу. Ну что ж, в следующий раз станете умнее.

Ли. Что ты говоришь, папа?! Этот судья выгонял их из собственных домов!

Моу. И за это его надо линчевать?

Ли. Но... но это же... это несправедливо!

Роуз. Тише, тише, не спорьте...

Ли. Мама, но это же несправедливо, ты согласна? Представь себе, что они пришли и выбросили нас из этого дома!

Роуз. И думать об этом не желаю! *(Обращаясь к Генри.)* А где вы ночуете?

Моу *(резко обрывает ее)*. Простите, но нас меньше всего интересует, где вы ночуете, мистер... как вы сказали, вас зовут?

Генри. Тейлор, Генри Тейлор... Я мог бы работать за еду... и спать в подвале, если вы разрешите...

Моу *(категорично, обращаясь к Генри, но одновременно бросая многозначительный взгляд на Роуз)*. В этом доме, включая подвал, больше ни для кого нет места, вы меня понимаете? *(Вынимает из кармана несколько купюр.)*

Генри. Я не прошу милостыню...

Моу. Я даю вам в долг. Вот... один доллар... и, надеюсь, он поможет вам начать новую жизнь. *(Сует Генри купюру в руку, провожает его к выходу.)* Деньги вернете, но... не торопитесь. *(Протягивает руку.)* Рад был с вами познакомиться. Желаю удачи.

Генри. Спасибо за суп, миссис...

Роуз. Баум... У вас есть дети?

Генри. Одной — пятнадцать, другой — девять. *(Задумчиво складывает купюру.)*

Появляется Дедушка, на ходу жуя сливу.

Роуз. Берегите себя и не забывайте писать своей жене.

Генри. Обязательно напишу. *(Поворачивается к Моу.)* До свидания, сэр.

Моу *(с довольной ухмылкой грозит ему пальцем)*. И держитесь подальше от веревки.

Генри. Да уж постараюсь. *(Идет к выходу.)*

Ли *(порывисто бросается вслед)*. До свидания, мистер Тейлор!

Генри *(не останавливаясь, оборачивается, машет рукой)*. Прощай, сынок!

Ли задумчиво смотрит, как бы запоминая.

Дедушка. Что это еще за тип?

Моу. Фермер из Айовы. Он чуть не линчевал судью, а она *(кивает на Роуз)* хотела оставить его жить у нас в подвале.

Дедушка *(недоуменно)*. Что тут делать фермеру?

Роуз. Он разорился... лишился фермы и всего остального.

Дедушка. Разорился? Значит, ему надо было достать ссуду...

Моу *(щелкнув пальцами, обращается к Ли).* Надо его догнать и сказать об этом! Глядя на него, я тоже проголодался. *(Повернувшись к Роуз.)* Пожалуй, пройдусь и заодно выпью на углу содовой с шоколадом. Пойдем со мной, Ли?

Ли. Что-то не хочется.

Моу. Не переживай понапрасну: жизнь — суровая штука. Тут уж ничего не поделаешь. Иногда малость отпустит, а иногда так прижмет... в общем, не балует. Ладно, пойдем выпьем содовой.

Ли. В другой раз, па, спасибо. *(Отворачивается.)*

Моу *(подчеркнуто выпрямляется, всем своим видом отвергая скрытый упрек сына).* Я скоро вернусь.

Идет к выходу через всю сцену, негромко насвистывая какой-то мотив. Дедушка, все еще жуя, украдкой озирается вокруг, выплевывает косточку сливы себе в ладонь. Предчувствуя неизбежное Роуз протягивает руку.

Роуз *(с брезгливой гримасой).* Дай ее мне, папа.

Дедушка роняет косточку в ее ладонь. Роуз уходит: в одной руке тарелка, в другой — косточка.

Ли *(все еще недоумевая).* Дедушка, этот человек голодает!

Дедушка. Да нет, он просто хотел есть...

Ли. Ошибаешься, дедушка, он чуть не упал в обморок.

Дедушка. Это еще не называется голодать. Вот в Европе люди действительно голодают, а здесь нет. В любом случае через пару недель все станет на свои места, и об этом можно будет забыть... Всему свой черед, мой мальчик. Ты лучше думай о себе.

Появляется Робертсон

Робертсон. Его зовут Теодор К. Куинн.

Куинн танцует и поет легкомысленную песенку.

Величайший ирландский танцор стал членом совета директоров! Его знают у «Линди», его любят «На двадцать первом» — высоко на американской пирамиде сидит Тед Куинн, в тридцать втором еще не достигший сорока...

Куинн. Тед Куинн! Иди сюда, Артур, мне надо с тобой поговорить. Поднимайся на двадцать девятый этаж... там мой новый кабинет.

Робертсон *(изумленно оглядывается вокруг).* И все это твое?

Куинн. Точно. Ты находишься на верхушке, на самой маковке человеческой эволюции. Вон из того окна можно дотянуться до усов всемогущего бога.

Робертсон *(тронут, с чувством беря Куинна за руку).* Тед! Тед!

Куинн. Да чего там... не надо... ладно?

Робертсон. Президент «Дженерал электрик»!

Куинн. Я не уверен, что мне это очень надо, Артур.

Робертсон саркастически улыбается.

Да нет же, черт побери! Мне и в голову не приходило, что Суоп выберет меня — и не мечтал даже...

Робертсон. Так уж и не мечтал! Ты боролся за это кресло последние пять лет...

Куинн. Нет, клянусь богом, нет! Просто мне не хотелось, чтобы оно досталось кому-нибудь другому...

Робертсон смеется.

это же не одно и то же... Серьезно, Артур, мне страшно, я... я не знаю, что делать. *(Оглядывается.)* Страшно, что я стою здесь, что на дверь вот-вот прибьют дощечку с моим именем, что скоро сюда придет корреспондент «Таймс»...

Робертсон *(серьезно).* Да что с тобой, Тед? Какая муха тебя укусила?

Куинн *(как бы пытаясь в себе разобраться).* Не знаю... Вроде как стыдно, что ли...

Робертсон. За что? Это все от твоего чертова воспитания, от этого отца анархиста...

Куинн. Какая разница от чего, Артур, если все это уже есть? Честно говоря, мне никогда не были по душе кое-какие вещи, которые мы творили.

Робертсон. Но почему вдруг так, сразу?..

Куинн. Понимаешь, одно дело выполнять распоряжения, а другое — отдавать их самому.

Робертсон. Никак не возьму в толк, о чем это ты, черт побери!

Пауза. Для Куинна это одновременно и исповедь, и потребность с кем-нибудь поделиться.

Куинн. Артур, месяцев восемнадцать назад произошел один странный случай. Позвонил мой менеджер из Филадельфии и сообщил, что «Фригидер» снижает цены на свои ящики. Я велел ему снизить цены на наши, а через несколько недель — пошло-поехало: снижают они, снижаем мы, снижают они, снижаем мы... Пришлось самому ехать туда — не отдавать же им, провались они пропадом, Филадельфию — однако все продолжалось по-прежнему, и вскоре мы продавали фактически по себестоимости. Затем — дзинь-дзинь-дзинь — звонок из Нью-Йорка: «Что у вас там, черт побери, происходит?» Вызвали на Уолл-стрит объясняться перед денежными тузами. А там, по другую сторону, ослепительного тикового стола — подумать только! — Джордж Фэрчайлд, начальник отдела сбыта «Фригидер». Когда-то мы были близкими друзьями, но теперь он из «Фригидер». Какого дьявола ему надо на заседании «Дженерал электрик»? Так вот, оказывается, обе компании кормятся из одного и того же денежного мешка, поэтому нам с Джорджем велели прекратить эту «чепуху» и поднять цены на прежний уровень. *(Смеется.)* Здорово, правда? Мой ум отказывается что-либо понимать: я веду против Джорджа смертельную войну от Бангкока до Бронкса, днем и ночью думая, как бы его перехитрить, а в результате... мы, как Грант и Ли, посылаем тысячи солдат убивать друг друга, а потом — проклятье! — потом выясняется, что все эти годы мы бомбили собственный народ! *(Смеется.)* Смех да и только.

Робертсон. Потрясающе! Один из величайших в мире коммерсантов и ни капли объективности...

Куинн. Объективность! Артур, если я и стал таким великим коммерсантом, чего я, кстати, не собираюсь опровергать, то только потому, что бесконечно верю в созидательную силу конкуренции.

Робертсон. Точно! И «Дженерал электрик» — самая быстрорастущая компания в мире, потому что...

Куинн *(подхватывает. Видно, что эта тема доставляет ему удовольствие)*... потому что у нас хватало денег скупать одно предприятие за другим. Это не дает мне покоя, Артур,— каждую неделю исчезают тысячи мелких предприятий, а мы с каждым днем растем, растем, растем... Что же станет с людьми в этой стране, когда все начнут сосать одну грудь? Может ли быть Америка без американцев? Нужна ли людям суперорганизация, которая будет распоряжаться их душами?

Робертсон. Тед, неужели...

Куинн молчит.

Ты действительно хочешь подать в отставку?

Куинн. А если и да, то какая тебе разница? Если бы я сделал заявление, что...

Робертсон. Какое бы заявление ты ни сделал, оно все равно призывало бы к возврату к лошади и телеге. Америка, которую ты так любишь, давно мертва, Тед. Сейчас это страна корпораций, возврата к мелким, индивидуальным предприятиям уже нет.

Куинн. Корпоративная страна! Господи, Артур, ну и перспектива!

Входит мисс Фаулер.

Мисс Фаулер. Мистер Куинн, к вам мистер Грэм из «Таймс»... Вы его примете или... перенести на завтра?

Куинн *(после небольшой паузы)*. Нет, нет, сейчас или никогда. Просите.

Она выходит.

Скажи мне, Артур, только честно: мои слова хоть что-нибудь в тебе пробудили?

Робертсон. Конечно же, я тебя понимаю. Но изменить неизбежное, увы невозможно.

В сопровождении мисс Фаулер входит Грэм.

Мисс Фаулер. Мистер Грэм.

Куинн *(пожимает ему руку, улыбаясь)*. Рад познакомиться с вами. Мой друг — мистер Робертсон.

Грэм *(узнает имя)*. О, здравствуйте!

Робертсон. Рад был познакомиться с вами. *(Куинну, собираясь уйти.)* Ну, до скорой встречи...

Куинн. Нет, останься... это всего на несколько минут..

Робертсон. Но мне надо...

Куинн *(смеется)*. Я пока еще президент, Артур — останься. Твое сопротивление всегда мне помогало.

Робертсон тоже смеется, украдкой бросает взгляд на ничего не понимающего Грэма.

У меня мало времени, мистер Грэм, присаживайтесь, пожалуйста.

Грэм. Я хотел бы задать несколько вопросов о вашем прошлом. Насколько мне известно, ваш отец был одним из первых профсоюзных активистов в Чикаго...

Куинн. Мистер Грэм, я ухожу в отставку.

Грэм. Простите?

Куинн. Я сказал — ухожу в отставку.

Грэм. С поста президента? Ничего не понимаю.

Куинн. Я не верю в гигантскую корпорацию, не верю в гигантское правительство, ни во что гигантское вообще. Но самое смешное во всем этом... никто не сделал больше, чем я, чтобы превратить «Дженерал электрик» в гиганта, каковым он стал сейчас!

Грэм. Ну, скажу я вам! *(Смеется.)* По-моему, это материал не для финансовой колонки, а для первой полосы! Но, послушайте, как же вам с такими взглядами удалось оказаться на вершине корпорации-супергиганта? Как вы попали в «Дженерал электрик»?

Куинн. Это долгая история, но я с удовольствием расскажу ее. В свое время я учился на вечерних юридических курсах и работал мелким клерком на заводе по производству лампочек для автомобильных фар. Понимаете, тогда имелось сорок или пятьдесят моделей автомашин и у всех своя конструкция фар. Вот скажем, получаем мы заказ на пять тысяч лампочек, но поскольку производственный процесс был далек от совершенства, нам приходится делать восемь-девять тысяч лампочек, чтобы получить пять тысяч, соответствующих спецификации.

В результате каждый год мы выбрасывали на свалку сотни тысяч новеньких, совершенно нормальных ламп. И вот как-то вечером после работы я посидел над расчетами и пришел к иному выводу: чтобы получить пять тысяч нужных лампочек, достаточно производить не восемь-девять тысяч, а всего шесть тысяч двести. Результат: годовая экономия в сто тридцать тысяч долларов. Хозяин был очень доволен. А однажды он вызвал меня и сообщил: «Я продаю свой завод компании „Дженерал электрик" Но. не зная, оставят ли меня новые хозяева, он предложил: «Вот что мы сделаем, Тед. Когда они приедут — эти банкиры с Уолл-стрит,— надо, чтобы ты их встретил». Он считал, что если я буду первым, кто их встретит, они могут обратить на меня внимание и оставить на заводе. Конечно, я не спал всю ночь — еще бы, мне, парнишке из провинциального городка, предстояло встретить таких больших шишек, великих банкиров с Уолл-стрит,— пытаясь придумать, как бы произвести на них впечатление.

И вот уже перед самым рассветом... за завтраком я вдруг вспомнил о стене. Понимаете, завод стоял за толстой кирпичной стеной длиной в целый квартал... без окон, два этажа... просто мощная стена из кирпичей. «А вдруг кто-нибудь из них спросит, сколько кирпичей в этой стене?» — пришла мне в голову мысль. На любой другой вопрос о заводе я ответил бы без запинки. Я тут же помчался к стене, перемножил количество горизонтальных рядов на вертикальные и получил ответ.

Приезжают, значит, эти три банкира, я сажаю их в лимузин хозяина и везу на завод. Никто меня ни о чем не спрашивает — сидят в своих меховых шубах и —

черт побери! — ни слова... Но вот мы повернули за угол, и — представляете? — один из них поворачивается ко мне и говорит: «Мистер Куинн, сколько, по-вашему, кирпичей в этой стене?» — «Столько-то» — говорю я. Он, конечно, не поверил, вылез из машины и сам пересчитал... С этого все и началось... Ну а там одно-другое... в общем, они сделали меня управляющим заводом. Так я оказался в «Дженерал электрик».

Грэм. И что вы теперь собираетесь делать? *(Изумленно.)* Пойдете в другую компанию или?..

Куинн. Нет, я сейчас подумываю о создании консультативной службы для мелких предприятий. Ну, скажем, у парня появилась стоящая идея, и я могу научить его, как ее практически осуществить... ведь я все это хорошо знаю и, может быть, смогу помочь... *(обращаясь к зрителям)*... стать на ноги многим таким парням. Потому что после этой Депрессии вокруг только и слышишь — сам по себе человек не стоит и выеденного яйца! Мистер Грэм, я не знаю ответа, но вопрос мне предельно ясен, это уже точно: «Как сделать так, чтобы все большое не проглатывало все маленькое?» Потому что когда такое происходит — боже всемилостивейший! — это совсем не смешно!

Грэм. Ну что ж... благодарю вас, до свидания. До свидания, мистер Робертсон. Должен заметить... *(Обрывает себя на полуслове, натянуто смеется, недоуменно покачивает головой, уходит.)*

Куинн. По-моему, он не в восторге, правда?

Робертсон. До него донесся неспешный перестук копыт и скрип телеги на проселочной дороге.

Куинн. Пусть так, Артур, но, черт побери, может, смотреть-то надо на подковы!

Робертсон. Да-а, ты всегда делал дела по крупному — тебе безусловно будет принадлежать мировой рекорд в истории корпораций... по краткости пребывания на президентском посту!

С открытой книгой в руках входит Роуз.

Роуз *(к залу)*. Кто бы мог в это поверить? В один прекрасный октябрьский день выглядываешь в окно, а там десяток парней с университетскими дипломами гоняют мяч, словно мальчишки. И с каждым днем все труднее и труднее вспомнить время, когда жизнь казалась исполненной смысла, когда не хватало терпения дождаться следующего дня!

Ли берет со стола справочник университетов, перелистывая страницы, подходит к ней.

Ли. Если поступить на бактериологический факультет Корнеллского университета, то платить не нужно вообще.

Роуз. Вообще?

Ли. Наверное, у них не хватает бактериологов.

Роуз. Тебя бы это устроило?

Ли *(смотрит в пространство, пытаясь представить себя бактериологом, вздыхает)*. Не знаю. Бактериологом...

Роуз *(морща нос)*. Должно быть, ужасно. А что-нибудь еще бесплатное там есть?

Ли. Пока не видел...

Роуз. Мне надо обязательно закончить это сегодня. Я и так задолжала за нее четырнадцать центов.

Ли. Что это?

Роуз. «Корона» Манюэлла Комроффа. Это о царской короне, которую выкрали и потеряли, затем нашли, но снова потеряли на несколько веков. Говорят, это настоящая литература, хотя я и... впрочем, она довольно легко читается. *(Погружается в чтение.)*

Ли *(захлопывает справочник)*. Ма!

Роуз *(не отрываясь от книги)*. М-м?

Ли *(осторожно, как бы прощупывая почву)*. Как ты считаешь, может, в этом году вообще не имеет смысла поступать?

Роуз *(поднимает голову)*. В этом году? М-м... Разве что в этом году...

Ли. Значит, договорились, ма?

Роуз. Я чувствую себя такой виноватой — все эти годы мы сорили деньгами, а теперь, когда они так нужны тебе для...

Ли *(с облегчением)*. Все в порядке, ма. Я постараюсь найти работу. Вот только я не совсем уверен, в какой колонке смотреть — «Требуются мужчины» или «Требуются подростки»?

Роуз. В «Подростках». *(Их взгляды встречаются. Она замечает в его глазах смутную тревогу.)* Не волнуйся, дорогой, у тебя все будет хорошо. *(Скрывая внезапно нахлынувшие чувства, она снова опускает голову к книге.)*

Свет на Сидни, сидящего за роялем и наигрывающего мелодию «Иногда». Входит Фэнни, останавливается и, подбоченившись, смотрит на сына.

Фэнни. Сидни...

Сидни увлеченно поет первую строчку.

Сидни!..

Сидни начинает вторую строчку.

Сидни!

Он явно слышит, но продолжает петь.

Мне надо поговорить с тобой, Сидни.

Он перестает петь, но продолжает тихо играть.

Ты что, не слышишь? Прервись на минутку.

Сидни *(перестает играть)*. Ма, ведь сейчас еще только июль. Если бы я учился в школе, у меня сейчас были бы каникулы...

Фэнни. А если бы я была румынской королевой, мне не надо было бы платить за квартиру! Ты уже не школьник, Сидни, и сейчас не летние каникулы.

Сидни. Мама, ты же знаешь, в бюро по найму обращаться просто бессмысленно... Там полно взрослых — инженеров, выпускников колледжей — они согласны на любую работу. Пойми, если мне удастся написать одну мировую песню — как эта *(берет несколько аккордов)*, только одну,— нам больше не о чем будет волноваться. Дай мне время до конца месяца, не больше, может, у меня получится... Потому что этот человек не шутил: он — приятель официанта в ресторане, где обедает антрепренер самого Бинга Кросби. Он может показать ему мою песню, и если Кросби исполнит ее хотя бы один раз...

Фэнни. Сидни, я хочу поговорить с тобой о Дорис.

Сидни. Какой Дорис?

Фэнни. Дорис! Дорис со второго этажа.

Я говорила с ее матерью... Ты ей нравишься, Сидни.

Сидни. Кому?

Фэнни. Ее матери! Миссис Гросс. Она от тебя без ума!

Сидни *(не понимая)*. Ну и что?

Фэнни. Она мне призналась, что Дорис только о тебе и говорит.

Сидни *(чуть обеспокоенно)*. С чего бы это?

Фэнни. Расхваливает. Ты ей нравишься.

Сидни *(со смехом)*. Кому — Дорис? Ей же тринадцать!

Фэнни. В декабре будет четырнадцать. А теперь послушай меня внимательно.

Сидни. Ну, что еще ма?

Фэнни. Это, конечно, твое дело, Сидни. Я не собираюсь ничего за тебя решать, но и ты должен понять: папа уже наверняка не поправится, а после свадьбы Люсиль мы можем забыть и о ее зарплате. Миссис Гросс говорит, что поскольку она вдова... да к тому же у нее базедова... в общем, ты же понимаешь...

Сидни. Что?

Фэнни. Так вот, если тебе нравится Дорис — просто нравится — и если бы ты согласился на ней жениться... конечно, когда ей исполнится восемнадцать или даже семнадцать... то есть, если бы ты согласился сейчас — понимаешь? — мы могли бы не платить за квартиру. Начиная со следующего месяца.

Сидни *(поражен, даже потрясен)*. Вообще?

Фэнни. Естественно. Ты считался бы ее мужем, а значит, и владельцем этого дома... переселился бы на второй этаж — там у них шикарный рояль и ванная вся в кафеле... Мне даже кажется, что если бы ты согласился, только согласился, она бы списала наш долг за три месяца... А то и пекарню свою отдала тебе...

Сидни. Пекарню? Ради всего святого, мама, я же композитор!

Фэнни. Послушай меня, сынок, не горячись...

Сидни. Ну какой из меня пекарь!

Фэнни. Сидни, дорогой, ты хоть раз обратил внимание на Дорис?

Сидни. С какой стати я должен обращать на нее внимание?

Фэнни *(берет его за руку, подводит к окну)*. С такой, что она красавица. Иначе я бы об этом и не говорила. Посмотри, ты только посмотри на ее носик! А ручки? Ты когда-нибудь видел такие прекрасные белоснежные ручки?! Такие ручки не каждый день увидишь!

Сидни. Но послушай, ма: если бы ты оставила меня в покое до конца июля — мне надо написать одну, всего одну мировую песню... я знаю, у меня получится...

Фэнни. Сидни, мы должны за квартиру уже сто восемьдесят долларов! Первого августа нас выбросят на улицу. Так что пиши эту свою мировую песню, пиши, дорогой. Мне остается только надеяться, что лет через пять ты случайно не встретишь где-нибудь Дорис Гросс и не влюбишься в нее... после того, как мы все умрем от холода!

Сидни. Но, ма, предположим, я соглашусь, а через год-другой встречу другую девушку, которая понравится мне по-настоящему — что тогда?

Фэнни. Ну а предположим, что ты женишься на той девушке, а через год встретишь другую, которая понравится тебе еще больше,— что тогда? Каждый год будешь жениться?.. Впрочем, я хотела только разъяснить тебе наше положение... Хорошо, хорошо, я закрою дверь, тебе никто не будет мешать. Пиши свою мировую песню, Сидни, пиши! *(Уходит.)*

Сидни начинает петь «Иногда». Дорис вторит ему строчку за строчкой из глубины зрительного зала.

Сидни. Привет, Дорис! *(Машет ей рукой.)*

Робертсон. Не было для меня зрелища более тягостного, чем то, которое я наблюдал из окна своей квартиры на Риверсайд-драйв. Это напоминало Калькутту: тысячи и тысячи людей в жалких лачугах из картонных ящиков и жестяных листов вдоль Гудзона... Ночью их костры светились вдоль всего Манхэттена, будто там расположилась целая армия. Иногда вечерами я выходил на улицу и бродил среди них. Невероятно, но они находили в себе силы даже шутить! И конечно же, винили в своем бедственном положении не столько правительство, сколько самих себя! Однако еще не было на свете такого общества, которому время не отсчитывало бы часы. И каждый из нас невольно задавал себе вопрос: сколько еще? Сколько можно это терпеть? Поэтому сейчас, когда за дело взялся Рузвельт, я думаю — время не ждет, надо спешить! И каждый раз, придя вечером домой, я невольно подхожу к окну и смотрю на эти костры, отраженные черной гладью реки.

Свет на Моу и Роуз: она — в домашнем халате и шлепанцах, он — в костюме и шляпе. На прощанье он целует ее в щеку.

Роуз. До свидания, дорогой, уверена, сегодня у тебя будет удачный день!

Моу. Мне тоже так кажется. *(Идет. Замедляет шаг, затем останавливается и оборачивается. В его взгляде чувствуется внутреннее напряжение и растущая неуверенность. В раздумье опускает голову.)*

Появляется Ли: на нем теплая куртка, в руке бумажный пакет с едой, под мышкой книга. Роуз целует его на прощанье.

Роуз *(показывает на пакет)*. Не дави на него, я положила туда печенье... Да, вот еще что... не расстраивайся, это вовсе не означает, что ты никогда не пойдешь в университет.

Ли. Пустяки, мама. Мне в любом случае нравится возиться с машинами. Мне здорово повезло, что я нашел эту работу.

Роуз. Все эти годы у нас было столько денег, а вот сейчас, когда они тебе так нужны...

Ли *(обрывает ее)*. Пока, ма! *(Идет. Она тоже уходит. Он замечает неподвижно стоящего отца и в удивлении останавливается.)* Я думал, ты давно уже ушел, папа.

Моу. Я провожу тебя. *(Не вдаваясь в объяснения, идет рядом с Ли, но гораздо медленнее, чем раньше. Чувствуя его необычное внутреннее напряжение, Ли то и дело бросает на него взгляд полный тревоги и недоумения.)* Как работа?

Ли. Нормально. Ты знаешь, я даже не поверил, что выбрали именно меня!

Моу *(кивает)*. Хорошо. *(Молча идут по сцене. Моу упорно смотрит себе под ноги и куда-то вперед, как бы решаясь на что-то. Наконец, собравшись с духом, останавливается.)* У тебя есть деньги, Ли?

Ли *(застигнут врасплох)*. Деньги?

Моу. Я имею в виду — при себе.

Ли. Ах это... *(Лезет в карман, вынимает несколько монет)* Вот, целых тридцать пять центов. Мне хватит.

Моу. ...Ты не мог бы одолжить мне двадцать пять центов? ...Мне надо в центр.

Ли *(поражен. После небольшой заминки)*. Конечно, конечно же, па!

Моу *(как бы оправдываясь)*. У тебя еда с собой, а я перекушу где-нибудь...

Ли дает ему двадцать пять центов.

Ли. Да, ладно... Па, а может, тебе нужно больше? У меня в тумбочке целый доллар... Сбегать?

Моу *(удерживает его)*. Нет-нет, не надо возвращаться. *(Возобновляет движение.)* И... э-э... не говори об этом маме, ладно?

Ли. Конечно нет.

Моу *(снова останавливается)*. Она нервничает.

Ли. Я знаю. *(Поворачивается лицом к зрительному залу)*.

Моу уходит.

Мы вместе ехали в метро, и нам было тяжело глядеть друг на друга. Мы изо всех сил старались делать вид, будто ничего не случилось, но ведь что-то случилось! У меня было ощущение, будто я начал содержать собственного отца! Не знаю, почему, но я вдруг почувствовал себя очень счастливым. И чтобы подбодрить его, стал взахлеб расписывать ему, какое прекрасное будущее нас ожидает. *(Смеется.)* Я говорил ему, что через год-два обязательно пойду в университет и стану там лучшим студентом, а потом меня не только возьмут в газету, но и дадут свою колонку — никак не меньше! К тому времени, как мы доехали до Сорок второй улицы, с депрессией было покончено! *(Смеется.)* И как ни странно, но в каком-то смысле так оно и было. *(Прикладывает руку к сердцу.)* Во всяком случае вот здесь... хотя я прекрасно сознавал, что тяжелые времена еще впереди. Подобно большинству людей я был во власти того безумного ожидания, которое приходит, когда нет никакой надежды — ожидания, что мечта, пусть пока несбыточная, все-таки сбудется!

Занавес

Часть вторая

На сцене Роуз играет на рояле; время от времени она прерывает свой монолог песенкой о любви.

Роуз. Но уж рояль-то не покинет стены этого дома! Драгоценности — пожалуйста, а он, мой милый рояль — ни за что на свете! Желание хоть чуть-чуть подзаработать рождает у людей самые сумасбродные идеи! Мистер Уорсо из нашего квартала устраивает у себя на кухне тараканьи бега. Держит тараканов в спичечных коробках — на них наклеены ярлычки с человеческими именами: «Альвин», «Муррей», «Ирвинг»... К нему приходят какие-то люди, делают ставки в пять — десять центов... *(Перелистывает ноты.)* Ах, что за прелесть этот спектакль! *(Поет.)* Годы идут, а смотреть, собственно говоря, нечего: Бруклин все больше и больше подражает Европе, Манхэттен вообще как чужая страна — за целый год можно ни разу даже не побывать там. *(Поет.)* Куда ни посмотри — кругом конкурсы: призы — пять тысяч долларов, десять тысяч долларов... Может, мне тоже стоило бы принять участие в каком-нибудь конкурсе, но победителями в них почему-то всегда становится кто-либо из Индианы. Я только молю господа бога о здоровье — одна пломба, и месяц сиди без света. Поем! Надо сходить в библиотеку — пора снова начинать читать умные книги, хватит тупеть! Я ничего не вижу и не слышу — кругом только и говорят: деньги, деньги, деньги... *(Играет Шумана.)*

Робертсон. Сейчас, оглядываясь назад, конечно, видишь и вторую сторону медали: банки за долги пускали с молотка первоклассное имущество, которое можно было купить практически за так!

В тридцатые я сделал денег больше, чем когда-либо раньше или потом. Но я уже знал, что на смену идет поколение, которое никогда не сможет оценить такую возможность.

Ли. Переменив множество работ и экономя буквально на всем, я все-таки оказался в университете — этом тихом островке посреди бушующего потока. Две пары носков, рубашка, выходная рубашка, куртка, возможность подзаработать в библиотеке... Можно было жить как король — без денег и без забот. Поэтому мало кто хотел расставаться с университетом и выходить в мир... где никому ты был не нужен... Просто трудно себе представить, Джо!

Джо. Что?

Ли. Что ты — стоматолог.

Робертсон, улыбаясь, уходит.

Ральф. Надеюсь, когда ты кончишь университет, Ли, все переменится к лучшему.

Ли. Уже решил, чем будешь заниматься?

Ральф. В Луисвилле по идее должен еще работать небольшой авиазавод...

Ли. Да, не повезло тебе со специальностью.

Ральф. Ерунда, без самолетов не обойдешься, это только вопрос времени: вот начнется война — сам увидишь.

Ли. С чего это ей начаться?

Джо. Пока существует капитализм, парень...

Ральф. Война будет всегда — так говорит Библия. Ну а если нет, тогда, наверное, уйду в служение.

Ли. Вот уж не думал, что ты верующий.

Ральф. В некотором роде... Они неплохо платят... дают дом, деньги на одежду...

Джо. Читай Карла Маркса, Ли. Случится бывать в наших местах, заходи...

особенно если заболят зубы. Буду следить, когда твое имя появится в газетах.

Ли. О, на это я сейчас не надеюсь — газеты закрываются одна за другой. Напиши мне, если откроешь собственную практику.

Джо. Я, наверное, устрою кабинет в доме у своей подружки. Ее отец обещал опустить пол в подвале, чтобы там можно было работать...

Ли. А оборудование?

Джо. Если смогу сделать первый взнос за подержанную бормашину, думаю, года через два-три можно будет открывать прием. Заходи, вставлю тебе зубы, выбитые в игре с «Огайо стейт».

Ли. Обязательно зайду. Пока, Руди.

Руди. Может, мы еще увидимся в следующем семестре.

Джо. Ты остаешься?

Руди. Хочу довести дело с зубами до конца — запломбировать все каналы. Если бы мне удалось записаться хоть на один факультатив, я имел бы право на медицинское обслуживание...

Джо (смеется). Ну да!

Руди. Точно, точно, на отделении классики: «Римские оркестровые инструменты». *(Оттягивает пальцами щеку.)* Видишь, три большие дыры на этой стороне? *(Все смеются.)* Да и куда мне, честно говоря, деваться? Антропологов в Чикаго хоть отбавляй. А здесь университет для меня словно родная мать: бесплатное жилье, кормят за мытье посуды, лечат зубы... И кто знает, может, однажды утром разверну газету, а там — «Требуется молодой выпускник университета с хорошей внешностью и здоровыми зубами — специалист по римским оркестровым инструментам!»

Смех. Под аккомпанемент Руди на банджо все поют песню «Любовь и грош».

Ральф. Что ж, Ли, буду следить, когда в газетах появится твое имя.

Ли. Не стоит. я в этом сомневаюсь. Пожалуй, я подамся на Миссисипи, попробую устроиться на колесный пароход.

Руди. Они еще бегают?

Ли. Да, несколько штук. Мне бы хотелось пройти по следам героев Марка Твена.

Руди. Ну, если встретишь Гекльберри Финна...

Ли. То передам ему от тебя привет.

Ральф и Руди, смеясь уходят.

Ральф. Задайте перцу «Огайо стейт», старик!

Джо *(оставшись наедине с Ли, делает прощальный жест поднятым вверх кулаком).* Пока, Ли!

Ли *(также поднимает вверх сжатый кулак).* Пока, Джо!

Джо присоединяется к Ральфу и Руди, юноши поют:

У нас есть любовь и грош, мы вовремя его нашли.
Мы мечтаем о любви, хоть живем на грош.
У нас много времени, чтобы жить на синкопах любви и ритме.
У нас есть любовь и грош, у нас есть ритм и эта песня.
То есть у нас есть все, что нам надо.
У нас так много того и сего,
Так разве мы можем быть неправы, малышка?
У нас есть всего понемногу.
У тебя есть пять центов, и у меня есть пять центов,
Я люблю тебя, а ты — сама надежность.
И у нас есть любовь и грош.

Ли *(оставшись один, жестами изображает, как он тянет за веревку пароходного гудка).* Бу-у-у... бу-у-у...

Затемнение, музыка. Свет на Ли. Он по пояс обнажен, перепачкан машинным маслом, вытирает с лица пот. Вдали слышатся мерное тарахтение пароходной машины и удары лопастей о воду.

(Ли, как бы на мостике и смотря вокруг). Как прекрасна и страшна Миссисипи! Не понимаю, как только они живут: практически все банки закрыты, в каждом городе полно людей, сидящих прямо на тротуарах, прислонясь спиной к стенам домов: уставятся на прохожих, словно в оцепенении, или просто дремлют. И гнев, гнев... когда раздавали бобы и мясо голодающим. Мясо буквально кишело червями... И тот человек, наставивший на мясника винтовку, требуя отдать людям хорошее мясо, за которое он получил деньги от правительства. Как такое могло случиться? Неужели Маркс прав? Недавно в одной статье прочитал, что двенадцать руководителей табачной промышленности получают больше тридцати тысяч фермеров. Сколько можно мириться с этим? Гнев имеет запах, он повисает в воздухе, когда люди собираются в кучу... внезапно вспыхивают драки и так же внезапно стихают. В воздухе пахнет революцией? А почему бы и нет? Я все время пытаюсь представить себе, как бы такую ситуацию описал Марк Твен — вооруженные полицейские охраняют кукурузное поле, а рядом голодные люди смотрят на это изобилие, которое гниет на корню, потому что его никто не в состоянии купить. Это безумие!

Роуз. Но ведь ему никогда не стать спортивным журналистом, если он коммунист!

Свет на Джо. У него в руках большая корзина с цветами. Он медленно идет по сцене, поет: «На западе тяжелые облака, похоже, будет дождь. Потратил последние деньги на метро. В Нью-Йорк сити, в Нью-Йорк сити, в Нью-Йорк сити, надо хорошо знать свой путь». Слышится звук уходящего поезда. Джо подходит к двери Изабел, звонит.

Изабел. Привет, мой сладкий.

Джо. Не могла бы ты называть меня просто Джо? Это не так безлико. *(Начинает стаскивать с себя туфли, затем верхнюю пару штанов.)*

Изабел. Как скажешь, мой сладкий. Ты не мог бы приходить попозже? В это время я обычно ложусь спать, ночью всегда много работы.

Джо. Не могу. Я должен быть на месте, когда девушки идут на работу. Купить себе свежий цветок с утра — это то, что им надо. А потом я уже еле волоку ноги.

Изабел. Неудобно небось две пары штанов-то?

Джо. На платформе подземки за день промерзнешь до костей. Ветер пробирает, как в пустыне Гоби. Вот только когда выбегаешь пописать, времени уходит вдвое больше.

Изабел. Книгами тоже торгуешь?

Джо. Нет, читаю. Стараюсь не забыть английский язык. Весь день только и слы-

шишь: «Дерьмо, засранец, падла». Да, все время забываю сказать тебе, Изабел. Разговаривая с тобой, я по-настоящему отдыхаю, особенно когда ты не понимаешь семьдесят процентов того, что я тебе говорю.

Изабел *(довольно смеется).* Да?

Джо *(берет ее за руку).* В такие минуты у меня хоть на время появляется ощущение здравого смысла. Там в подземке я все время думаю: может, настает царство безумия? Люди пропускают поезда, разговаривают сами с собой... громко... размахивая руками... А сколько американцев горят желанием пощупать меня за задницу! *(Со страхом.)* Понимаешь, я боюсь, что уже не смогу взять зубной бор в руки — нервы сдают... то есть, конечно, если я вообще вернусь к этому... Город... сошел с ума! А вчера какой-то горбун ни с того ни с сего вдруг заорал на меня: «В Конституции вы не найдете ни одного слова о демократии! Мы живем в христианской республике!» Никто даже не засмеялся. Нацистская свастика красуется на всех щитах, рекламирующих зубную пасту. И, похоже, никаких улучшений не предвидится — на углу Сорок девятой улицы и Восьмой авеню всего за семь центов можно купить пару отличных булочек с горячими сосисками!

Изабел. За семь центов пару? О господи!

Джо. Мне кажется, в одно прекрасное утро миллионы американцев высыпят на улицу и начнут... я не знаю, что: убивать друг друга? Или только евреев? Или просто сядут на землю и зарыдают? *(Садится на кровать рядом с ней.)*

Изабел. *(Открывает книгу).* Это о семье?

Джо. Нет, это она просто так называется. Происхождение семьи и государства. Энгельс. Марксизм.

Изабел. А что это такое?

Джо *(кладет голову ей на плечо, руку — на грудь).* Понимаешь, марксизм говорит, что все наши отношения в основном определяются деньгами...

Изабел *(кивает — кому как не ей об этом знать).* Это уж точно.

Джо *(убирает руку и поднимает голову).* Нет, это не то, о чем ты думаешь...

Изабел. И об этом целая книга?

Джо. Понимаешь, он хочет все переменить. При социализме у всех девушек будет работа и им не придется заниматься этим.

Изабел. А как же тогда быть мужчинам?

Джо *(в легком смятении).* Ну... им придется... э-э... скажем, были бы у меня деньги, чтобы открыть свой кабинет, я, наверное, сразу бы женился

Изабел. Но ко мне приходят и женатые мужчины. *(Весело.)* И два зубных врача, которых ты сюда привел — Берни и Аллан? — и у них свои кабинеты.

Джо *(с досадой).* Ты не понимаешь. Он показывает, что наши идеалы ну и тому подобное построены на экономических отношениях. А так не должно быть.

Изабел. А как?

Джо. Ну... вроде как в любви...

Изабел. О, это мне нравится. Я бы хотела почитать ее.

Джо. Конечно, попробуй... было бы интересно услышать твое мнение. Ты мне больше нравишься с утра, Изабел — такая свеженькая. Создает иллюзию.

Изабел. Я немножко устала, не сердись.

Джо *(целует ее, пытаясь возбудить себя).* Послушай, Берни поставил тебе пломбу?

Изабел *(открывает рот).* Да, вчера отшлифовал.

Джо *(заглядывая).* Хорошая работа. *(С гордостью.)* Я же говорил тебе, мы с Берни учились в одной группе. Передай ему от меня большой привет, когда увидишь.

Изабел. Он тоже всегда передает тебе привет.

Джо. Передавай ему от меня тоже.

Изабел. Может, он зайдет после пяти. До тебя у меня никогда не было столько зубных врачей.

Он заваливает ее... Затмение.

Бэнкс *(в люльке маляра поет).*

У меня нет денег, не на что купить пожрать,
От голода пупок и позвоночник
Начинают друг с другом играть...

Время от времени до нас доносились слухи, что в Нью-Йорке есть работа. Тогда мы все отправлялись туда... человек десять — пятнадцать на поезде. Но в Нью-Йорке работы не оказывалось, тогда мы поворачивали и подавались в Лайму, Детройт или на юг в Балтимор или Декейтер, штат Иллинойс. Но где бы мы ни были, нас везде ждала тюрьма. Я четыре месяца провел в кандалах на хлопковых полях Джорджии только за бродяжничество. Это было летом тридцать пятого. Я вышел из тюрьмы с тридцатью пятью центами в кармане. Да-да, тридцать пять центов — все, что мне дали за четыре месяца каторжной работы! Да, я до сих пор слышу тот поезд, тот долгий прощальный гудок... ту-ту-у....

Роуз *(сидит за роялем, играет. Два грузчика снимают ее руки с клавиш и выкатывают рояль).* Как все это глупо! Как глупо! *(Мечтательно, с надеждой.)* О мой дорогой Ли, где бы ты ни был — верь хоть во что-нибудь! Во что угодно, только верь! *(Встает и уходит, унося с собой табурет; чувствуется, что она опустошена.)*

Свет на Ли, сидящего за стойкой бара, которую только что выкатил на сцену чернокожий владелец бара Айзек. Ли в рабочей одежде, ест арбуз. Айзек протирает стойку.

Айзек. Вы на реке, видать, недавно. Похоже, я вас раньше не встречал.

Ли. Да, я здесь впервые. Я из Нью-Йорка. Езжу по стране — вроде как путешествую... разговариваю с людьми...

Айзек. Что-нибудь ищете?

Ли. Ничего. Просто пытаюсь понять, что происходит. Вы когда-нибудь слышали о Марке Твене?

Айзек. Он что, из здешних мест?

Ли. В общем-то да, только много лет назад. Он — писатель.

Айзек. То-то я его здесь не встречал. Вы не спрашивали на почте?

Ли. Нет, но, может, еще и спрошу. Удивительно — здесь еще можно за пятнадцать центов получить ломоть арбуза...

Айзек. О-о-о, белый человек обожает арбуз. Что, совсем плохи дела там на Севере?

Ли. Может, и не совсем. В любом случае не хотел бы стать одним из вас здесь... да еще с этой депрессией.

Айзек. Мистер, хотите услышать святое слово божьей правды? Так вот, самое главное во всем этом, что она наконец-то ударила по белым... ведь у нас, кроме нее, никогда ничего не было. *(Смотрит в глубь сцены.)* О-хо-хо, сюда идет большой человек.

Ли. Ждать беды?

Айзек. Ждать можно всего, что ему заблагорассудится, мистер. Это — шериф.

Входит Шериф: пистолет в кобуре, полусапожки, значок, широкополая шляпа, под мышкой какой-то сверток. Он пристально вглядывается в Ли.

Шериф. Айзек?

Айзек. Да, сэр!

Шериф *(после небольшой паузы)*. Сядь.

Айзек. Да, сэр. *(Садится на другой табурет. Визит Шерифа вызывает у него острое любопытство,* но не страх. Поскольку Шериф, судя по всему, не знает, с чего начать разговор...)

Ли *(нервничая, полуизвиняющимся тоном)*. Я с парохода *(Показывает за сцену.)*

Шериф. Ты меня не интересуешь, парень. Успокойся. *(Присаживается на табурет у стойки, опускает на пол сверток, с важным видом поворачивается к Айзеку.)*

Ли, стараясь не бросаться в глаза, молча наблюдает.

Айзек. Похоже, будет дождь.

Шериф. М-м-м... трудно сказать.

Айзек. Да... в Луизиане ничего нельзя сказать наверняка... Могу я что-нибудь для вас сделать, шериф?

Шериф. Читал сегодня в газете?

Айзек. Я не смог бы прочесть собственное имя, даже если бы аэ-ро-план написал его на небе, вы же знаете, шериф.

Шериф. Об Аллане, моем втором кузене? Сенаторе штата?

Айзек. О-о!

Шериф. Губернатор только что поручил ему заниматься полицией штата.

Айзек. О-о!

Шериф. В пятницу вечером он будет у меня обедать. С женой и двумя дочерьми. Хочу потолковать с Алланом о переходе в полицию штата. Там еще пока платят — улавливаешь?

Айзек. Да, это было бы здорово — правда же?

Шериф. Айзек, я хочу, чтобы ты приготовил мне несколько жареных цыплят — как ты умеешь. К шести часам в пятницу. О'кей? Я зайду за ними.

Айзек *(неопределенно)*. М-м...

Шериф. На... минуточку *(считает на пальцах)*... на восьмерых. Мой брат с женой тоже придут. Хочу устроить хорошую пирушку, чтобы Аллан остался доволен и можно было по-настоящему потолковать — улавливаешь?

Айзек. М-м... *(Неловкая пауза.)*

Шериф. Сколько мне это будет стоить... на восьмерых, Айзек?

Айзек *(не задумываясь)*. Десять долларов.

Шериф. Десять...

Айзек *(не без сочувствия)*. Да, десять, шериф.

Шериф *(после небольшой заминки начинает развертывать сверток)*. Хочу тебе кое-что показать, Айзек. Мой приемник — видишь?

Айзек *(не раскрывая рта)*. Угу... *(Ощупывает приемник рукой.)* Играет?

Шериф. А как же... играет будь здоров. Два года назад я выложил за него двадцать девять девяносто пять.

Айзек *(смотрит за заднюю панель.)* Можно включить?

Шериф. Давай, давай, не стесняйся... А здорово ты здесь разрисовал — как настоящий ресторан. Ты должен благодарить господа бога, Айзек.

Айзек *(вынимает провод, вставляет его в розетку)*. Я и благодарю. Господа и жареных цыплят!

Шериф. Ты же знаешь, графство вот уже три месяца вообще никому не платит...

Айзек. Да, знаю. А как его включать?

Шериф. Просто поверни ручку... вот так. *(Включает приемник.)* А полиции штата пока еще платят — улавливаешь? Вот я и думаю: если бы мне удалось уговорить Аллана устроить меня туда...

Из приемника доносятся очень слабые звуки музыки.

Айзек. Чего-то ничего не слыхать.

Шериф *(сердито)*. Черт побери, Айзек, надо же вытащить антенну! *(Вытаскивает моток провода из задней панели.)* Значит, договорились: ты готовишь мне восемь жареных цыплят на обед, а я оставляю это у тебя под залог, о'кей? Ну вот.

Отступает в сторону, разматывая антенну. Звук резко усиливается, слышится голос Рузвельта. Шериф застывает на месте, держа над головой провод. Ли напряженно вслушивается.

Рузвельт. Мрачные тучи подозрительности, приливы враждебности и нетерпимости сгустились над многими районами земли. В нашей собственной стране мы, без сомнения, живем более...

Шериф. Только смотри, чтобы цыплята были как надо — сочные, большие... Мне не нужны какие-нибудь там синюшные...

Айзек *(о Рузвельте)*. Кто это?

Рузвельт. ...полноценной жизнью, чем большинство других наций. Однако неудержимая поступь современной цивилизации сама по себе поставила нас перед новыми трудностями...

Шериф. Похоже, кто-то с Севера.

Айзек. Ш-ш-ш! *(Обращаясь к Ли.)* Эй, никак это сам Рузвельт, а?

Ли. Да.

Айзек. Конечно же! Сам Президент!

Шериф. Ну так как, договорились?

Айзек увлеченно прижимается ухом к приемнику. Ли подходит ближе, тоже наклоняет голову, чтобы не пропустить ни слова.

Рузвельт. ...перед новыми проблемами, которые должны быть решены, если мы хотим сохранить для Соединенных Штатов политическую и экономическую свободу, о которой мечтали и за которую боролись Вашингтон и Джефферсон. Наше правительство не должно быть бездушным орудием государства — мы стремимся придать ему чуткий личностный характер, воплощающий

собой человеческое милосердие. Мы недостойны процветания, если окажемся неспособными устранить из американской действительности гнетущий страх перед возможностью оказаться безработными, перед осознанием того, что они никому на свете не нужны. Мы должны явить миру пример стойкости человеческого духа.

Свет на Сидни и Дорис.

Сидни. Ну сколько можно, Дорис? Хватит уже!

Дорис *(качает головой, закрывает глаза).* Ничего не могу с собой поделать... Не выходит из головы, и все тут...

Сидни. И почему ты так переживаешь из-за этой дурочки Фрэнси? Не пойму.

Дорис. Потому что она раззвонила по всей школе! Как ты мог такое сказать?!

Сидни. Послушай... Я только и сказал, что если мы когда-нибудь поженимся, то я, наверное, буду жить у тебя, на втором этаже... Ну и что тут такого? Мы же не из-за этого хотим пожениться. Фрэнси просто ревнует!

Дорис *(с обидой).* Все равно, лучше бы ты этого не говорил...

Сидни. Ты хочешь сказать, что я мог бы сделать это из-за квартиры? Хорошо же ты обо мне думаешь...

Дорис *(плачет).* Просто... просто я очень тебя люблю!

Сидни. Если бы мне удалось продать хоть одну песню! Или даже сдать экзамен на почтаря! Тогда у меня были бы свои деньги, всему этому дерьму пришел бы конец!

Дорис. ... Я сказала, что люблю тебя, а почему ты никогда ничего мне не говоришь?

Сидни. Люблю, люблю.... но, послушай, Дорис, знаешь, о чем я подумал?

Дорис. О чем?

Сидни. Честно говоря... мне кажется, нам надо встречаться не только друг с другом.

Дорис *(не понимает).* А с кем еще?

Сидни. С кем-нибудь. Ты ведь еще маленькая, дорогая, ну и... даже в моем возрасте выглядит не очень хорошо, если мы... ни с кем не встречаемся...

Дорис. Ну и с кем же ты хочешь встречаться?

Сидни. Ни с кем!..

Дорис. Тогда что ты имеешь в виду?

Сидни. Понимаешь, не то, чтобы я очень хотел...

Дорис. Да-да, конечно, но все-таки с кем?

Сидни. Ну... не знаю. Может, с этой — как там ее зовут? — сестрой Нарги Ганс?..

Дорис *(встревожена).* Ты имеешь в виду Эстер Ганс с... *(Складывает ладони чашечкой, изображая большие груди.)*

Сидни. Тогда не с ней!

Дорис *(обижена).* Значит, ты хочешь встречаться с Эстер Ганс?

Сидни. Я же не говорю, что обязательно с ней! Но... а ты могла бы встречаться, скажем, с Джорджем.

Дорис. Каким Джорджем?

Сидни. Джорджем Кригером.

Дорис. Ты сплавляешь меня этому Джорджу Кригеру, а сам будешь встречаться с Эстер Ганс!

Сидни. Да ведь я же только например!

Дорис *(с отвращением).* Но ведь Джордж Кригер!..

Сидни. Хорошо, забудь о Джордже! Пусть это будет... ну выбери сама.

Дорис *(устремляет взгляд в пространство, мысленно перебирая лица).* А может... Моррис?

Сидни *(подозрительно).* Какой Моррис? Моррис из...

Дорис. Да, Моррис из обувного магазина.

Сидни *(как бы увидев ее в новом свете).* На самом деле?

Дорис. Он целый год учился в Сити-колледжи...

Сидни. Не год, а всего один семестр... и до сих пор ходит с расческой в кармане! Послушай, мне кажется, нам все-таки лучше подождать с этим.

Дорис. Не знаю, может, стоит попробовать? Хотя бы пока я не стану постарше...

Сидни. Нет, подождем. Надо подумать.

Дорис. Но...

Сидни *(с решительностью, за которой угадывается тревога).* Над этим надо подумать, дорогая!.. *(Подходит к роялю, берет несколько аккордов.)*

Она подходит к нему... запускает руку в его волосы, ерошит их.

Дорис. Сыграй «Ожидание».

Сидни. Она никуда не годится.

Дорис. Ты что, это твоя самая потрясная вещь! Ну пожалуйста!

Сидни *(вздыхает, поет).*

Ты заставляешь меня сидеть в ожидании,
Глядя на тени, пляшущие на стене.
Ты заставляешь меня сидеть в ожидании,
Когда забываешь все надежды.
Я хочу слышать слова любви,
Хочу чувствовать твои губы своими губами.

Дорис *(поет).*
Сидни/Дорис *(вместе).*

Но вместо этого...
Я сижу в ожидании, глядя,
Как мир проходит мимо.
Ты заставляешь меня сидеть в ожидании,
Будто я родился, только чтобы рыдать.

Когда ж я узнаю слова любви,
Твои губы на моих губах,
Вместо того, чтобы...
Сидеть, ожидая,
Сидеть, ожидая,
Сидеть ожидая...

На сцене выстраивается очередь безработных: они проходят мимо чиновника из агентства по распределению пособий, который вручает каждому из них талон с номером, и уходят за сцену. Ли обеспокоенно оглядывает кажущееся огромным пространство пустой сцены. Наконец появляется Моу, подходит к Ли.

Моу. Ты уверен, что так надо?.. А то в газете было ясно написано — я сам читал: любой, кто хочет получить работу, может обратиться прямо в Управление работ общественного назначения.

Ли. Да, сначала так и было, но теперь все совсем по-другому. Управление дает работу только тем, кто получает пособие.

Моу *(показывая на очередь).* Значит, это не Управление?..

Ли. Па, я же сказал тебе: здесь выдают пособия.

Моу. Вроде как... благотворительность?..

Ли. Па, если тебе неприятно...

Моу. Что значит неприятно? Надо, так надо! Давай еще раз повторим, что я должен говорить.

Ли. Ты выгнал меня из дому. Мы не ладим друг с другом.

Моу. Почему я должен выгонять тебя из дому?

Ли. Если я живу дома, мне не положено пособие. Таковы правила.

Моу. Ладно. Значит, я не переношу твоего присутствия?

Ли. Точно.

Моу. И ты вместе с приятелем снимаешь комнату?

Ли. Именно так.

Моу. ... И они в это поверят?

Ли. Почему нет? У меня там кое-что из одежды...

Моу. И все это ради двадцати двух долларов в неделю?

Ли *(раздражаясь)*. Что ты предлагаешь? Сейчас даже бывалые журналисты сидят без работы. Пойми, если Управление зачислит меня на курсы литераторов, я по крайней мере смогу поднабраться опыта, и если вдруг подвернется настоящая работа... Я тебе сто раз говорил, па, нет тут ничего сложного.

Моу *(неудовлетворенно)*. Я просто пытаюсь к этому привыкнуть. Ну ладно, пошли. *(Обнимаются.)* Нам, пожалуй, лучше выглядеть врагами — а?

Ли *(смеется)*. Вот именно!

Моу. Ты меня недолюбливаешь, а я тебя на дух не переношу!

Ли. Точно! *(Смеется.)*

Моу *(с наигранным негодованием)*. Он еще смеется!

На сцену выходит толпа безработных, в центр выносится стол и стул. Входит Райан, чиновник агентства по выдаче пособий, садится за стол.

Райан. Мэтью Р. Буш!

Представительный человек лет сорока пяти с величественной осанкой отделяется от толпы и следует за Райаном.

Моу. Выглядит как дворецкий.

Ли. Наверное, он им и был.

Моу *(печально качает головой)*. М-м-да...

Робертсон. В те дни я много ходил пешком. Контрасты просто потрясли! Вдоль западной стороны Манхэттена на приколе стояли восемь или десять крупнейших в мире океанских лайнеров — помню: «Манхаттан», «Беренгария», «Соединенные Штаты» — мало кто из них впоследствии выйдет в океан. И в это же время возводилось самое высокое здание в мире — Эмпайр стейт билдинг. Но кому придет в голову арендовать в нем помещение, когда на улицах полно пустых магазинов?!

Слышен плач ребенка, которого держит на руках Грэйс, молодая женщина в конце очереди. Моу оборачивается посмотреть, затем снова устремляет взор вперед.

Моу. Ли, что ты будешь делать, если тебе предложат работу землекопа?

Ли. Соглашусь.

Моу. Будешь рыть ямы на улицах?

Ли. В этом нет ничего постыдного, папа.

Робертсон. Как же долго все это продолжалось — просто невероятно! До этого я бы никогда не поверил в то, что мы не сможем оправиться от удара. Проходили годы... целое поколение увядало в расцвете сил...

Капуш *(ему далеко за шестьдесят, славянский тип лица с усами; обозленный, разочарованный человек)*. Чего еще можно ожидать от страны, которая сосиску делает членом Верховного суда? Феликса-Сосиску[1], проверьте сами.

Дуган *(с другого конца «комнаты»)*. Полезай назад в часы, кукушка чокнутая!

Капуш *(рассерженно поворачивается, чтобы увидеть обидчика, и толкает Айрин — чернокожую женщину, сидящую рядом с ним)*. Кто это там вякает?

Айрин. Эй, полегче, мистер!

Дуган. Скажи ему, скажи!

Поспешно входит Райан. Он бледен, из карманов жилетки торчат ручки и карандаши, в руке — бумаги. Усталый человек.

Райан. Ну что, опять бузить будем? Мистер Капуш, я ведь еще три дня назад сказал вам: живете в Бронксе, там и обращайтесь.

Капуш. Ничего, ничего, я подожду.

Райан *(проходя мимо Дугана)*. А вы оставьте его в покое. Он немного не в себе.

Дуган. Он — фашист! Я все время встречаю его на Юнион-сквер.

Айрин ударяет тростью по столу...

Райан. О господи... ну вот, опять...

Айрин. Время подходит к десяти, мистер Райан.

Райан. Я сделал все что мог, Айрин...

Айрин. Это же сказал господь бог, сотворив осла, но затем решил не пожалеть сил и довести дело до конца. Людей выбросили на улицу вместе со всем их скарбом — матрасами сковородками, кастрюлями — прямо на 138-ю улицу. Сегодня же они должны вернуться к себе, или мы здесь такое устроим!

Райан. Айрин, до первого числа следующего месяца ничего не выделят, и все тут.

Айрин. Мистер Райан, вы разговариваете не со мной, а с Сорок пятым отделением Рабочего союза — и вы знаете, что за этим стоит!

Дуган *(смеется)*. Коммунистическая партия!

Айрин. Вот именно, мистер, а она не шутит. Так что давайте-ка за телефон и свяжитесь с Вашингтоном. А заодно напомните мистеру Рузвельту, что на последних выборах благодаря мне он получил голоса 138-й улицы и если он не хочет их потерять, то пусть пошевелит мозгами.

Райан. О господи! *(Хочет уйти, но Ли задерживает его.)*

Ли. Мне сказали привести отца...

Райан. Что?

Ли. Вчера. Вы сказали мне...

Райан. Не морочь мне голову, парень. *(Поспешно уходит.)*

Дуган. Дело в стране кончится тем, что все залезут на пальмы и начнут швырять друг в друга кокосовыми орехами.

Моу *(тихо, обращаясь к Ли)*. Надеюсь, сможем оправиться от удара.

[1] Имеется в виду член Верховного суда США Феликс Франкфуртер (1882—1965); в переводе с английского означает «сосиска». *(Прим. перев.)*

мы выберемся отсюда до одиннадцати? У меня встреча с покупателем.

Толанд *(рядом с Моу, держа в руках развернутую «Дейли ньюс»)*. Вот это да, вы только посмотрите — Хелен Хейес собирается поправиться на сорок фунтов, чтобы сыграть королеву Викторию!

Моу. А это еще кто?

Толанд. Королева Англии.

Моу. Она была такой толстой?

Толанд. Виктория? Корова! В былые времена я подвозил Хелен Хейес в своем такси. Мелкая такая девица. А однажды Адольфа Менжу — тоже коротышка. И даже Эла Смита, тогда он еще не был губернатором. А уж этот был совсем крохотный.

Моу. Может, у вас такси было маленькое?

Толанд. То есть как это? У меня был нормальный «форд».

Моу. Пришлось продать?

Толанд. А что было делать? На такси теперь не проживешь — город ходит пешком. Отличный был «форд», новехонький, с бамперами и запаской... выложил за него пятьсот долларов... Слава богу, хоть с жильем повезло: неплохо и относительно недорого.

Моу. Сколько вы платите?

Толанд. Девятнадцать пятьдесят в месяц. В общем-то, конечно, сумма, но зато у нас три отличные комнаты. Жить можно, если тут немного помогут. А вы по какой части?

Моу. Сейчас продаю за комиссионные. В прошлом имел свое дело.

Толанд. В прошлом! С кем ни поговори, у всех в прошлом. Если там наверху что-нибудь не придумают, эта страна тоже окажется в прошлом.

Капуш *(взрываясь)*. Невежество! Невежество! Люди не знают фактов: величайшая в мире система общественных библиотек — и никто туда не ходит, кроме евреев!

Моу *(бросив на него взгляд)*. Ишь ты.

Ли. А вы кто — ирокез?

Дуган. Он — фашист! Я видел — он выступал на Юнион-сквер.

Айрин. Солидарность, люди, черные и белые вместе — вот что нам нужно! Вступайте в Рабочий союз: десять центов в месяц — и вы получите хоть какую-то поддержку.

Капуш. А ну найдите мне слово «демократия» в Конституции! У нас республика! «Демос» по-гречески — «толпа».

Дуган *(подражая крику кукушки)*. Куку!

Капуш. Пришел за своими деньгами, а банк, оказывается, вылетел в трубу: четыре тысячи долларов — тю-тю! Тринадцать лет в скобяном деле откладывал каждую неделю...

Дуган. Понос мыслей!

Капуш. Быдлократия! Только и знают: «дай мне, дай мне, дай мне».

Дуган. Тогда что ты здесь делаешь?

Капуш. Рузвельт присягал на иностранной библии — он ведь голландец. Кому-нибудь об этом известно? *(Обращаясь к Айрин.)* Ты-то об этом наверняка не имела понятия, скажешь нет?

Айрин. Мистер, у меня от вас изжога...

Капуш. Против цветных я ничего не имею. Цветные не лишали меня магазина. Вот моя банковская книжка — смотрите. Банк Соединенных Штатов — видите? Четыре тысячи шестьсот десять долларов тридцать один цент — верно? Кому достались мои деньги? Тринадцать лет копил, откладывал каждую неделю — кому достались мои деньги? *(Последнюю фразу выкрикивает, вскочив с места. Его ярость заставляет всех на секунду приумолкнуть.)*

Пошатываясь, входит Мэтью Буш. За ним — Райан.

Райан. Артур Клейтон!

Клейтон направляется к Райану, вдруг останавливается и показывает на Мэтью Буша.

Клейтон. По-моему, с ним что-то неладно...

Буш, потеряв сознание, валится на пол. На мгновение все застыли. Затем к нему поспешно подходит Айрин, наклоняется.

Айрин. Эй... эй, мистер...

Ли помогает ему подняться и сесть на стул.

Райан *(за сцену)*. Мирна, вызовите «скорую помощь»!

Айрин легонько похлопывает Буша по щекам.

Ли. Вам лучше?

Райан *(оглядываясь по сторонам)*. Клейтон!

Клейтон. Я — Клейтон.

Райан *(в руках заявление Клейтона)*. Вам пособие не полагается. У вас ведь имеется мебель и ценное имущество, не так ли?

Клейтон. Да но за них теперь ничего не возьмешь.

Райан. Почему ничего?

Айрин. Мистер Райан, этот человек умирает от голода.

Райан. Вы что, стали врачом, Айрин? Я же вызвал «скорую помощь»! И хватит, не делайте из мухи слона — ясно? *(Клейтону.)* Это ваш адрес: Грамерси-Парк-Саут?

Клейтон *(смущенно)*. Это ничего не означает. Я уже несколько дней голодаю, на самом деле...

Райан. Откуда у вас деньги на оплату такой квартиры?

Клейтон. Я не плачу за нее более восьми месяцев...

Райан *(собирается уходить)*. Это никого не касается, мистер Вы владеете мебелью и ценным имуществом, у вас нет оснований...

Клейтон. Я очень хорошо умею считать.. был маклером. Если бы мне дали любую работу, скажем заниматься статистикой. думаю...

Айрин. Грейс, у тебя в бутылке что-нибудь осталось?

Грейс *(с ребенком на руках выходит из конца очереди, протягивает бутылку — на самом донышке плещется молоко)*. Чуть-чуть...

Айрин *(берет бутылку, снимает с горлышка соску)*. О'кей, мистер, открывайте-ка рот.

Буш глотает молоко.

Видите — человек умирает от голода!

Моу *(встает, опускает руку в карман)*.

Вот... послушайте... ради бога... *(Достает из кармана мелочь, выбирает монету в 10 центов.)* Нельзя ли послать кого-нибудь купить ему бутылку молока?

Айрин *(обернувшись, зовет)*. Кларенс!

Кларенс *(выходит из очереди)*. Я здесь, Айрин.

Айрин. Сходи на угол, купи бутылку молока.

Моу дает ему монету, Кларенс уходит.

И пару соломинок, дружок! Да вы совсем дошли, мистер. Почему так долго тянули с пособием?

Буш. Мне противна сама идея.

Айрин. Это понятно — типичный буржуа. Вот что я скажу вам...

Буш. Я — химик.

Айрин. Верю — настолько образованны, что скорее умрете, чем произнесете слово «брат». Вот что я скажу вам, люди! *(Обращается к толпе.)* Настало время обратиться друг к другу словом «брат». Мой муж умер и оставил меня с тремя маленькими детьми. Ни денег, ни работы — хоть открывай газ и головой в духовку! Затем приходит судебный исполнитель, забирает мой комод, кровать, стол и я остаюсь в пустой комнате со старым ящиком из-под апельсинов. И тут на меня нашло — надо остервенеть! И я остервенела: выскочила на улицу, начала орать, вопить... как самая настоящая стерва. Вокруг судейского грузовика собралась толпа, и не помню как, но этой судейской крысе пришлось ни с чем убраться восвояси. Вот когда я увидела, что такое солидарность, и стала проповедовать ее где только могла. Я достала себе трость, и стоит мне начать отбивать ею ритм, многие начинают идти в ногу. Нас не сдвинешь с места, нас не поколеблешь! Иногда я со своим портфелем хожу в суд и устраиваю там судьям «веселую жизнь». Как только там появляюсь, «легавые» давай вопить: «Опять эта старая адвокатша!» А в портфеле у меня только обрывки газет и мешочек с красным перцем. Пусть только попробуют легавые вытолкать меня — вот вам перец, вот вам красный острый перец! А если судья оказывается католиком, у меня на этот случай имеются четки, которые как бы случайно торчат из портфеля — пусть думает, что я тоже из католиков...

Кларенс *(входит с бутылкой молока)*. Айрин...

Айрин. Давай, давай его сюда, Кларенс. Только пейте его не торопясь, мистер, медленно-медленно...

Буш маленькими глотками пьет молоко через соломинку. Остальные снова уходят в себя: читают газеты, оцепенело смотрят перед собой...

Райан. Ли Баум!

Ли торопливо идет к Моу.

Ли. Я здесь! Ну, па, пошли. *(Ли и Моу подходят к столу.)*

Райан. Это твой отец?

Моу. Да.

Райан *(обращается к Моу)*. Где он сейчас проживает?

Ли. Я не живу дома, потому что...

Райан *(перебивает)*. Пусть он сам скажет. Где он проживает, мистер Баум?

Моу. Ну он... он снимет где-то комнату.

Райан. Полагаю, сейчас вы начнете убеждать меня в том, что не позволите ему жить в вашем доме.

Моу *(с большим трудом)*. Ни за что не позволю... ни за что!

Райан. Значит, если он позвонит в дверь, вы откроете и не впустите его в дом? Хотите изобразить из себя такого человека?

Моу. Ну конечно... если он просто хочет зайти...

Ли. Я не хочу жить там...

Райан. Плевать мне, чего хочешь ты, парень! *(Обращаясь к Моу.)* Вы ведь впустите его в дом, правда же?

Моу *(собравшись с духом, напряженно)*... Я не выношу его вида...

Райан. Неужели? О чем же вы сейчас целых два часа так мирно беседовали друг с другом? Я же видел.

Моу. Мы не беседовали — мы спорили, ругались!..

Райан. Ругались? Из-за чего?

Моу *(невольно раздражаясь)*. Какая разница из-за чего? Просто ругались... мы всегда ругаемся!..

Райан. Послушайте, мистер Баум, вы ведь не безработный, не так ли?

Моу. Не безработный? Да, я не безработный! Вот! *(Разворачивает свернутую «Таймс».)* Смотрите, читайте сами: «Р. Х. Мейси.— Так? — Женские комбинации: длинные, настоящий японский шелк, ручная вышивка, кружевная отделка — два девяносто восемь». Мой босс имеет четыре цента со штуки, я — десятую цента. Вот какой я не безработный.

Райан. Значит, так: вы впустите его в свой дом. *(Хочет уйти.)*

Моу. Я не впущу его в свой дом! Он... он ни во что не верит!

Ли и Райан удивленно смотрят на Моу, который не меньше их поражен собственной вспышкой. Райан, бросив взгляд на Ли, ставит штамп на заявление, протягивает его Ли. Он поверил.

Ли. Спасибо, отец.

Поворачивается лицом к зрительному залу. Толпа уходит, светильники убираются наверх, остается только стол.

Робертсон. Время от времени я невольно задавал себе один и тот же вопрос: «Что же удерживает нас от полного развала?» Хотя на самом деле все, возможно, было намного проще — будущее! Люди были еще не готовы забыть о нем, люди всегда поклонялись ему словно божеству, всегда верили в него. И еще боялись отвернуться от него. Может, в этом и все дело? Может, именно поэтому они держались, держались, держались... Потому что никакие иные аргументы, какими бы разумными и объективными они ни были, не в состоянии объяснить мне, почему мы выстояли.

Безработные выстраиваются в линию на платформе подземки. За ними показывается Джо с корзиной цветов: он напевает и предлагает цветы. Слышится нарастающий звук приближающегося поезда. Неожиданно Джо бросается под него. Песня:

На западе тяжелые облака,
Истратил последние деньги на метро.
В Нью-Йорк сити, в Нью-Йорк сити.
в Нью-Йорк сити
надо хорошо знать свой путь.

Свет на Эди, работающую за столом. Свет на Ли.

Л и *(к зрителям).* Любая девушка с собственной квартирой была прекрасна... Она зарабатывала тридцать шесть долларов в неделю, придумывая диалоги для рубрики комиксов «Супермен». *(Поворачиваясь к ней.)* Эди, ты разрешишь мне здесь переночевать?

Э д и. О, Ли, привет — да, конечно же. Сейчас закончу и постелю тебе на кушетке. Грязное белье можешь бросить в ванну, попозже я займусь стиркой.

Он становится у нее за спиной, смотрит, как она работает.

Это будет потрясающий эпизод!

Л и. Удивляюсь, как ты можешь этим заниматься? Хотя, наверное, я тоже смог бы... за тридцать шесть долларов в неделю!

Э д и. А что? Он, как никто другой, учит людей классовому самосознанию.

Л и. Супермен?

Э д и. Конечно. Он борется за справедливость!

Л и. Ого! Значит, ты хочешь сказать, что при капитализме справедливость невозможна...

Э д и. Вот именно!.. Из этого следуют потрясающие выводы. *(С увлечением погружается в работу.)*

Л и. Знаешь, когда ты говоришь о политике, ты прекрасна... вся светишься изнутри...

Э д и *(улыбаясь).* Не будь таким буржуазным ослом. Я принесу тебе простыню. *(Встает.)*

Л и. Эди, ты меня сегодня пустишь в свою постель?.. В последнее время со мной что-то такое происходит... сам не знаю, что... Я чувствую себя ужасно одиноким... а ты?

Э д и. Иногда. *(Краснея.)* Но чтобы приобщиться к человечеству, совсем не обязательно ложиться в постель с его представителями.

Л и. Ты права. Забудь о том, что я тебе сказал, прошу тебя. Мне за себя стыдно.

Э д и. Почему ты не вступаешь в партию?

Л и. ...Наверное, боюсь рисковать своим будущим... хочу стать спортивным журналистом.

Э д и. Но ведь ты мог бы писать о спорте для «Уоркера».

Л и. Спортивная колонка в «Дейли уоркер»? Шутишь!

Э д и. Так помоги сделать ее лучше! Почему ты, черт побери, такой пораженец? Еженедельно в партию вступают сотни людей!

Л и. Не знаю — может, во мне слишком много скепсиса... или даже цинизма... Я был во Флинте, штат Мичиган, когда там начались сидячие забастовки. Думал, напишу очерк, продам его — представляешь, тысячи людей забаррикадировались внутри завода «Дженерал моторс», их жены приносили им еду в корзинках и на веревках поднимали их наверх, через окна... совсем как во времена Французской революции. Солидарности хватало — слезы на глаза наворачивались. А потом я взял интервью человек у тридцати, ты бы их только послушала — предрассудки, невежество... А на заводе Форда там вообще чуть было не вспыхнула расовая война из-за того, что негритянские рабочие отказались присоединиться к забастовке... кошмар!

Э д и. Они еще отсталые, я знаю.

Л и. Они не отсталые, они обычные люди. Эту страну переполняет ненависть, Эди, и я уже не уверен, будет ли у нас время, чтобы спасти ее от самой себя. Ты над этим когда-нибудь задумывалась, Эди? Ведь задумывалась, правда же?

Э д и *(борясь с соблазном уступить).* Ты в самом деле хочешь знать мое мнение?

Л и. Да, хочу.

Э д и. Завтра мы пикетируем итальянское посольство — Муссолини хочет вмешаться в гражданскую войну в Испании, посылает туда итальянскую армию. Приходи. Займись делом. Ты ведь обожаешь Хемингуэя — послушай, что он недавно сказал: «Человек один — ни хрена не стоит!» Вот, хоть и декадент, а все-таки доходит до него.

Л и. Твое лицо становится таким прекрасным, когда ты...

Э д и. Любой становится прекрасным, если прекрасно то, во что он верит! Я верю в своих товарищей! Верю в Советский Союз! Верю в победу рабочего класса и в мир, который воцарится на всей планете, когда наступит социализм...

Л и. Эди, ты чудесная девушка!.. Слушай, поскольку я сейчас на пособии, приглашаю тебя пообедать... Разумеется, за мой счет.

Э д и *(с улыбкой).* С чего это ты должен платить за меня? Только потому, что я — женщина?

Л и. Точно. Я забыл об этом.

Э д и *(склоняется над столом).* Мне надо закончить эту серию... Я постелю тебе через пару минут... Как дела с литературными курсами — что-нибудь получается?

Л и. Похоже, что да. Управление хочет создать что-то вроде исторического путеводителя для каждого штата страны. Сейчас оно набирает людей. Может, меня пошлют в район озера Чамплейн. Представляешь, они берут интервью у прямых потомков солдат, которые во времена Революции принимали участие в битве за форт Тикондерога!

Э д и. Да-да, они разбили там англичан.

Л и. Отличная идея! А то люди совсем не знают историю собственной страны.

Э д и *(убежденно, страстно).* При социализме все будет иначе!

Л и *(подходит к ней, смотрит из-за спины на ее работу).* А почему бы тебе не уложить своего Супермена в постель с какой-нибудь девицей или даже женить его?

Э д и. Ему не до того. *(Тихо смеется, продолжает работать. Неожиданно Ли наклоняется, поворачивает к себе ее лицо и пытается поцеловать. Она непроизвольно поддается порыву, затем резко отталкивает его.)* Зачем э т о?

Л и. Когда ты произносишь слово «социализм», твое лицо становится таким прекрасным...

Э д и. Цинизм, сплошной цинизм!

Л и. Почему?

Э д и. Потому что ты ведешь со мной серьезные разговоры, а на самом деле просто хочешь влезть в мою постель! То же

самое можно сказать и о твоих рассуждениях о рабочих...

Ли. Не вижу связи между рабочими и...

Эди *(снова обретая уверенность)*. Все едино, все взаимосвязано! Я вынуждена попросить тебя поискать для ночлега другое место.

Ли. Эди, неужели...

Эди. Уйди, прошу тебя. Ты — нехороший человек! *(Рыдая, встает, уходит в темноту сцены.)*

Ли *(видно, что его мучат угрызения совести)*. Черт! Пожалуй, она права!

Входит Дедушка с газетой в руках, садится, погружается в чтение. Входят Люсиль, племянница Роуз, Фэнни, Дорис — в махровом халате; ставят раскладные стулья вокруг стола, садятся. Люсиль начинает сдавать карты. Появляется Роуз, медленно идет к ним.

Роуз. Эти томительные июльские дни в Бруклине! Чердачные запахи, оседающие на лестнице маленького домика под палящими лучами солнца. *(Смотрит на женщин, уткнувшихся в свои карты.)* Полусонное пережидание за картами... Сколько тысяч женщин шлепают картами в гнетущем молчании от Кони-Айленд до Бруклин-Бридж... мечтая и молясь об удаче! О удача, удача...

Дорис. Тетя Роуз, Сидни написал еще одну прекрасную песню.

Роуз *(садится за стол, берет свои карты)*. Может, хоть с этой вам повезет... Ты заносишь халат до дыр, Дорис. Почему ты никогда не одеваешься?

Дорис. Зачем? Мы живем здесь за углом.

Роуз. Ты так молода и практически никуда не ходишь...

Фэнни *(с самодовольной гордостью)*. Все мои девочки тоже любят сидеть дома.

Роуз. Ты что, забыла? Твой ход.

Фэнни *(нервно оглядывая свои карты, стряхивает что-то со своей груди)*. Я просто думаю...

Роуз. Повнимательней — забудь хоть на секунду о своей перхоти. *(Смех.)*

Фэнни *(тоже смеется, но чувствуется, что она задета)*. Это не перхоть, это какой-то клочок...

Роуз. У нее перхоть клочьями. *(Обращаясь к Люсиль.)* Ну и мать у тебя!

Люсиль. Знаете, что она попросила нас с сестрами сделать?

Фэнни. Ничего такого ужасного!

Люсиль. ...Устроить уборку в ее доме!

Фэнни. Ну и что тут плохого? Как было хорошо, когда вы подрастали: мы постоянно убирались, убирались...— все четверо. *(Вытирает лицо.)* Здесь жарко как в печке, Роуз...

Люсиль. Я сейчас упаду в обморок...

Роуз. Не падай, с задней стороны дома открыты все окна. Пусть думают, что нас нет.

Фэнни. Но здесь совсем не продувает... Ради папы...

Люсиль. Могли же вы куда-нибудь уйти, не закрыв окно? Просто не открывайте дверь.

Роуз. Не хочу рисковать. Я знаю этого инспектора — профессионал! Видела его в деле: если окно открыто, он стоит и прислушивается к каждому звуку. Они не знают жалости... Я послала Станислауса за лимонами, он сделает холодный лимонад. Ходи...

Фэнни. Не могу поверить, что они посмеют вас выселить, Роуз.

Роуз. Не можешь? Проснись, Фэнни, это — банк, чтоб они подавились! Столько лет мы держали там целое состояние, а сейчас попробуй выпроси у них двести долларов... *(Ее глаза наполняются слезами.)*

Фэнни. Роуз, дорогая, ну не надо... все еще изменится, вот увидишь. Моу наверняка скоро что-нибудь придумает... такой известный человек...

Роуз. Я бы так не переживала, если б нас не оставили в дураках! Он создает отличное дело, а затем эта свора обирает его до нитки!

Люсиль. Неужели он не может попросить свою мать помочь?

Роуз. «Сейчас депрессия!» — заявляет его мамочка. А от бриллиантов на ее пальцах можно ослепнуть. Которые, кстати, подарил ей он! О, человеческая низость! Пусть у меня отсохнет язык, если я еще хоть раз кому-нибудь или чему-нибудь поверю! Хватит!

Дорис. Может, Ли следует вернуться и...

Роуз. Никогда! Ли должен жить собственной жизнью и смотреть в лицо действительности. У нас ему нечему научиться. Пусть живет своей жизнью!

Люсиль. Но увлечься коммунизмом...

Роуз. Люсиль, что ты знаешь об этом? Да и кто у нас знает об этом? Газеты? Газеты уверяли нас, что акции больше никогда не будут падать...

Люсиль. Но, тетя Роуз, они же безбожники!

Роуз. Я вне себя от счастья, что ты стала такой набожной, Люсиль, но, ради всего святого, никогда при мне не упоминай об этом!

Фэнни *(встает, собирается выйти)*. Сейчас вернусь.

Роуз. Хочешь на счастье пописать на свой пальчик?

Фэнни. Хорошо, я никуда не пойду. *(Снова садится на стул.)* К твоему сведению, я не собиралась писать на свой пальчик!

Роуз. Дорис, во что ты играешь — в карты или в истуканы?

Дорис смущенно смотрит в свои карты.

Дедушка *(опускает газету на колени)*. Зачем им понадобились эти выборы?

Роуз. Как это зачем?

Дедушка. Ведь и так ясно — Рузвельт победит. Лично я по-прежнему считаю, что он слишком радикален, но проводить еще одни выборы, по-моему, слишком дорогое удовольствие.

Роуз. О чем ты говоришь, папа! Прошло четыре года, и должны проводиться новые выборы.

Дедушка. Зачем? Если бы его решили сделать королем...

Роуз. Король!

Фэнни *(со смехом показывая на Дедушку)*. Это уж точно!

Дедушка. Будь он королем, ему бы не пришлось тратить столько времени на все эти бессмысленные предвыборные речи и тогда он смог бы заняться делом и улучшить положение...

Роуз. Была бы у меня марка, я бы написала ему письмо.

Дедушка. Он мог бы стать вторым кайзером Францем Иосифом. Сразу бы все попритихли! А уж после его смерти устраивайте выборы — какие хотите...

Роуз *(обращаясь к Дорис)*. Ты играешь в карты или высиживаешь яйцо?

Дорис *(вздрогнув)*. Мой ход? *(Кладет карту.)* Вот!

Роуз. Аллилуйя! *(Кладят карту. Затем свой ход делает Люсиль.)* Ты похудела?

Люсиль. Стараюсь. Думаю вернуться на сцену...

Дорис бросает обеспокоенный взгляд на Дедушку, который, не обращая ни на кого внимания, сосредоточенно читает газету.

Фэнни *(украдкой показывает на Дедушку: понизив голос)*. Лучше не говорить об этом...

Люсиль. Ему незачем знать... Впрочем, в любом случае о танцах теперь не может быть и речи — пойду ассистировать фокуснику... может, буду делать репризы... Говорят, в Джерси снова открывается варьете.

Роуз. Херб до сих пор не может ничего найти?

Люсиль. Он просто сходит с ума, тетя Роуз.

Роуз. Боже милостивый! Фэнни!..

Фэнни *(понимает, что ее торопят, вглядывается в свои карты)*. Секундочку, дайте подумать.

Роуз. Когда всем раздавали мозги, эта семейка умудрилась уйти обедать!

Фэнни. Здесь так душно, что ничего не лезет в голову.

Роуз. Играй! Окно открыть нельзя. Я не собираюсь снова встречаться с этим человеком. У него безжалостные глаза!

Слева, то есть со стороны передней двери, входит Станислаус — бывший моряк средних лет, в майке с короткими рукавами и джинсах.

Вы вошли через переднюю дверь?! Ведь сегодня может заявиться инспектор!

Станислаус. Совсем забыл. Впрочем, на улице никого не было. *(Поднимает вверх пакет с лимонами.)* Подать лимонад на мостик! *(Идет по сцене.)* Я накрахмалил все салфетки. *(Уходит.)*

Роуз. Накрахмалил все салфетки... хрустят, как маца... Погадать, что ли, на картах? *(Достает другую колоду, раскладывает карты.)*

Люсиль. Тетя Роуз, как только вы не боитесь жить с этим типом в одном доме!

Дорис. Я бы ни за что не решилась! Просто не смогла бы заснуть, когда рядом в подвале чужой человек.

Фэнни. Не-е-е, Станислаус — джентльмен! *(Обращаясь к Роуз.)* По-моему, он немного волшебник правда же?

Роуз. Надеюсь. Господи, Фэнни, ну ходи же своей дамой треф!

Все смеются.

Фэнни. Откуда ты знаешь, что она у меня?

Роуз. Потому что я мудрая — голосовала за Герберта Гувера. Надо следить за тем, что вышло, дорогуша, когда будешь знать, что осталось.

Фэнни *(обращаясь к Дедушке, который по-прежнему читает газету)*. Она просто чудо! У нее бабушкина голова!

Роуз. Ого! Вы только посмотрите, что у меня выходит!

Фэнни. Вот, хожу. *(Кладет карту на стол.)*

Роуз *(продолжая выкладывать гадание)*. Я всегда кормлю их на крыльце, но Станислаус — даю ему тарелку супа, а он мне: «До еды я хотел бы помыть окна». До еды! Такое мне еще не встречалось. Я чуть не свалилась с крыльца. Не тяни, Дорис, твой ход.

Дорис *(отчаянно стараясь играть быстрее)*. Сейчас-сейчас, я придумала отличный ход.

Женщины застывают, в молчании рассматривают свои карты. Свет на Роуз, которая поворачивается лицом к зрительному залу.

Роуз. В школе нас заставляли сидеть как солдат: прямая спина, руки вместе на парте — все должно быть прямым и открытым. Когда корабли входили в Гудзон, в глазах у всех блестели слезы — так это было красиво! Плакали даже, когда расстреляли русского царя — он тоже был красивым. Президент Уоррен Гамалиель Гардинг — еще один красавец. Мэр Джеймс Уокер улыбался как ангел — а какой нос, какие крошечные ножки! Ричард Уитни, президент фондовой биржи — прекрасный, прямой человек. Я могла бы перечислить таких хоть сто с фотогравюры!.. Кто бы мог подумать, что эти прямые, прекрасные люди окажутся либо невеждами, либо мошенниками, которых посадят в тюрьму? Во что еще можно верить? В уборную! Я запираюсь там изнутри и изо всех сил сжимаю краны, чтобы не закричать... на мужа, на свекровь, на бог знает что... пока меня не вытащат оттуда... *(Возвращается к гаданию.)* Что это у меня тут вышло? Что это, черт побери?

Свет на Роуз затухает.

Дорис. «Элегия Грея на сельском кладбище»...

Роуз. Что?

Фэнни *(обеспокоенно дотрагиваясь до ее руки)*. Ты бы лучше прилегла, Роуз...

Роуз. Прилегла? Зачем? *(Обращаясь к Дорис.)* Что за «Элегия Грея»? Кто ты?..

Быстрым шагом входит Станислаус: на нем короткая накрахмаленная белая курточка официанта, на плече он с профессиональной уверенностью несет поднос с бокалами и свернутыми в трубку салфетками. Роуз выкладывает еще одну карту, и на ее лице появляется выражение тревоги.

Станислаус. Итс э бро брихт мунлихт нихт тунихт — что по-шотландски означает: «Сегодня великолепный лунный вечер!»

Фэнни. Салфетки-то стоят! Как ему это удается?

Роуз *(отрывает взгляд от выложенных карт; в ней чувствуется огромное внутреннее напряжение)*. Откуда вдруг эта курточка?

Женщины пристально наблюдают за ней.

Станислаус. Пароход «Манхэттен». Капитанский стюард к вашим услугам! *(Отдает честь.)*

Роуз. Прекратите этот кошмар! Снимите эту куртку! Какой капитанский стюард? Кто вы?

Станислаус. Был личным стюардом капитана, пока «Манхэттен» не поставили на прикол. Обслуживал Дж. Пьерпонта Моргана, Джона Д. Рокфеллера, Энрико Карузо, Лайонела...

Роуз *(очень подозрительно)*. Принесите печенье, пожалуйста.

Он берется за ручку кувшина, чтобы разлить лимонад.

Благодарю вас, я сама. Идите, пожалуйста. *(Она не смотрит на него. Станислаус уходит. В наступившей тишине она берет кувшин, наклоняет его, но рука ее заметно дрожит, и Фэнни отбирает у нее кувшин.)*

Фэнни. Роуз, милая, пойдем наверх...

Роуз. Как он вам нравится?

Фэнни. А что — очень даже милый!

Люсиль. А как здорово он следит за домом! Точно на корабле, тетя Роуз.

Роуз. Зато он враль, несет несусветную чушь — сама не знаю, почему я ему верю! И что на меня нашло? Сразу же видно — прощелыга, а стоит ему постучать в дверь, и я позволяю ему остаться в доме — совершенно чужому человеку!

Люсиль. Ш-ш-ш!

Входит Станислаус с тарелкой печенья в руке. На нем снова майка с короткими рукавами.

Роуз *(решительным тоном)*. Послушайте, Станислаус... *(Встает.)*

Станислаус *(предчувствуя неизбежное)*. Завтра схожу в судовую лавку, возьму специальной белой краски и покрашу снаружи весь дом. У меня солидный кредит — вам ничего не будет стоить.

Роуз. Я уже решила, поймите...

Станислаус *(с улыбкой отчаяния)*. Длинную лестницу займу в скобяном... Хочу также сделать отличные занавески на окна... Простите, мне надо вычистить холодильник. Попробуйте мой лимонад. Научился делать такой на испанской субмарине. *(Уходит.)*

Фэнни. По-моему, он очень мил, Роуз... Вот... *(Протягивает ей бокал лимонада.)*

Люсиль. Тетя Роуз, об инспекторе можно уже не волноваться. Сейчас шестой час, после пяти они не приходят...

Роуз *(колеблется)*. По-твоему, он мил?

Дедушка *(откладывая газету)*. Рози, знаешь, Ли следует...

Роуз. А?

Дедушка. ...следует поехать в Россию.

Женщины в изумлении поворачиваются к нему.

Роуз *(недоуменно, с испугом)*. В Россию?

Дедушка. Русским столько всего надо! А здесь, сама видишь, никто никому не нужен, вот и работы нет.

Роуз *(на грани истерики)*. Пять минут назад тебе Рузвельт был слишком радикален, а теперь ты готов отправить Ли в Россию!

Дедушка. Это другое дело. Вот посмотри, что тут пишут *(тычет пальцем в газету)*: сто тысяч американцев просят работы в России. Смотри — прямо так и написано. Так что, если бы Ли поехал и открыл там небольшую сеть магазинов готовой одежды...

Роуз. Папа! Ты такой антикоммунист... и не знаешь, что в России все принадлежит правительству?

Дедушка. Да, но не магазины!

Роуз. Конечно же и магазины!

Дедушка. И магазины?

Роуз. Да!

Дедушка. Вот дьяволы!

Роуз *(обращаясь к Люсиль)*. Я здесь рехнусь...

Дорис. Так кто же все-таки ее написал?

Роуз. Написал — что?

Дорис. «Элегию Грея на сельском кладбище». Вчера, когда вас не было, этот вопрос задавали по радио — кто ответит, получит пятнадцать долларов. Я побежала за вами...

Роуз. Кто написал «Элегию Грея»?

Дорис. Когда я вернулась, задавали уже другой вопрос.

Роуз. Дорис, деточка... *(Подчеркнуто медленно.)* Грей: «Элегия на...»

Фэнни смеется.

Ты хоть знаешь, над чем смеешься?

Фэнни *(нарочито приятным голосом)*. Откуда мне знать?

Люсиль. Значит, Грей?

Роуз смотрит на нее долгим взглядом — в глазах бесконечная печаль.

Там ведь говорится «Элегия Грея», так же?

Дорис. При чем тут Грей? Это же название!

Роуз смотрит перед собой, в глазах отчаяние.

Фэнни. Что с тобой, Роуз?

Дорис. Ну, что я тебе говорила?

Фэнни. Роуз, что с тобой?

Люсиль. Вам плохо?

Фэнни *(по-настоящему встревожена, поворачивает к себе лицо Роуз)*. Что с тобой? *(Роуз рыдает. Фэнни встает, обнимает ее, сама на грани слез.)* Роуз, ну, пожалуйста... не надо... Все еще поправится... не может же это продолжаться до...

Слышатся звуки у входной двери. Все настораживаются.

Моу *(за кулисами)* Приве-ет!

Дорис *(показывает налево)*. Там кто-то...

Роуз *(яростно взмахнув руками)*. Ш-ш-ш! *(Шепотом.)* Я пойду наверх. Меня нет дома.

Идет вправо. Входит Моу.

Дорис *(со смехом)*. Это же дядя Моу!

Моу. Что за переполох?

Роуз *(подходит к нему)*. Слава богу! А то я подумала, это инспектор. Ты что-то рано сегодня.

Он стоит, молча смотрит на нее.

Фэнни. Ну, мы пошли.

Они начинают убирать со стола поднос, кувшин с лимонадом, бокалы...

Моу *(пристально глядя Роуз в глаза)*. Ты плакала?

Люсиль. Как там в городе?

Роуз. Только выходите через заднюю дверь, ладно?

Моу. Город — это кошмар!

Фэнни. Не забудьте собрать счета. Завтра я собираюсь в центр.

Роуз. Прими душ. Почему ты так бледен?

Люсиль. Пока, дядя Моу.

Моу. Пока, девочки.

Дорис *(уходя вместе с Фэнни и Люсиль)*. Надо спросить его, как он делает этот лимонад...

Уходят, Моу смотрит в пространство на что-то видимое только ему; он спокоен, но всецело поглощен своими мыслями.

Роуз. Ты... что-нибудь продал?.. Неужели нет?

Он отрицательно покачивает головой, но думает не об этом.

На...

Берет бокал, со стола.

выпей... холодный...

Он берет бокал, но не пьет.

Моу. У тебя каждый вечер истерики...

Роуз. Нет-нет, все нормально. Просто все так глупо, что... иногда я просто не могу... не могу... *(Обхватывает себя за голову.)*

Моу. Дело в том... Ты меня слушаешь?

Роуз. Что? *(Внезапно поняв, что присутствие ее отца давит на Моу, поворачивается, быстро подходит к Дедушке.)* Папа, иди на заднее крыльцо, ладно? Там сейчас тень... *(Протягивает ему бокал с лимонадом.)*

Дедушка. Но меня там увидит этот инспектор...

Роуз. Не бойся, так поздно он не придет. Да и Моу уже дома. Иди...

Дедушка идет в глубь сцены.

...и... надень другие очки, в них намного прохладнее.

Дедушка уходит.

(Роуз поворачивается к Моу.) Да, дорогой... Что? Что теперь будет...

Моу. С нами будет все в порядке.

Роуз. Почему?

Моу. Потому! Так что кончай эти свои истерики. Господи, как бы я хотел...

Роуз *(показывая на разложенные на столе карты)*. Судьба... я стала гадать на картах и увидела... молодого человека... смерть молодого человека...

Моу *(поражен)*. Не может быть!

Роуз *(почувствовав что-то)*. Почему?

Моу поворачивается лицом к зрительному залу — поражен, испуган.

Почему ты так сказал?

Моу. Ничего...

Роуз. Ли?.. Что-нибудь с Ли?

Моу. Прекрати...

Роуз. Скажи мне!

Моу. В метро я видел ужасную сцену — человек прыгнул под поезд.

Роуз. Ох-х — опять! Боже!.. Ты видел его?

Моу. Нет... за несколько минут до моего прихода. Похоже, совсем молодой. Один из полицейских держал в руках большую корзину с цветами. Наверное, бедняга торговал ими.

Роуз. Я видела это! *(С дрожью в теле показывает на разложенные карты.)* Смотри, вот здесь!.. Надо написать Ли, чтобы он немедленно возвращался домой. Прошу тебя — добавь от себя, что ты тоже этого хочешь.

Моу. Мне нечего ему дать, Роз. Как я могу звать его домой?

Роуз *(со слезами на глазах кричит)*. Тогда иди к своей матери и поговори с ней как мужчина... Хватит, черт побери, быть таким идиотом! *(Рыдает.)*

Моу *(уязвлен, чувствует себя так, будто его побили: не глядя на нее)*. Так не может... не может продолжаться вечно, Роуз. Страна не может просто так взять и умереть!

Роуз продолжает рыдать, он с болью в голосе кричит.

Прекрати! Я же стараюсь. Бог свидетель — я же стараюсь!

Звонок в дверь. От неожиданности оба вздрагивают: она смотрит влево, он полуоборачивается на звук. Торопливо входит Дедушка, показывает налево.

Дедушка. Рози...

Роуз. Ш-ш-ш!

Еще один звонок; Моу прикладывает одеревеневшие пальцы к вискам, униженно отводит взгляд в сторону, что-то шепчет.

Боже милостивый, сделай так... чтобы он ушел!

Снова звонок; Моу опускает голову, дрожащей рукой хватается за лоб.

О боже, всесильный боже, дай нашему новому президенту силу и мудрость...

Несколько более настойчивый звонок.

...укажи мистеру Рузвельту способ помочь нам...

Стук в дверь.

О мой бог, помоги нашей дорогой стране... и ее народу!..

Свет постепенно уменьшается, стук в дверь становится непрерывным...

Бэнкс. Когда началась война *(другие солдаты повторяют за Бэнксом все выделенные слова)*, я был очень рад, что оказался в армии. Там в этих поездах человека могли убить в любое время, но, надев форму, я сказал себе: «Теперь я в безопасности!»

Сидни. Эй...

Ли. Что?.. *(Наконец узнает.)* Сидни!

Сидни. Ну и родственник у меня! Смотрю прямо на него, а он и не думает меня узнавать!

Бэнкс. Я с гордостью отдавал честь, с гордостью смотрел на других бравых солдат Соединенных Штатов. Я тоже был бравым солдатом и был награжден пятью боевыми орденами.

Другие солдаты повторяют: «пятью, пятью пятью».

Сидни. Знаешь, кто очень хотел тебя видеть? Помнишь Лу Чарни?

Ли. Чарни?

Ральф. Стометровка — вы с ним каждое утро бегали в школу...

Ли *(все еще не уверен, но...)*. Конечно же — Лу... Ну и как он?

Сидни. Мертв — убит в Италии, на войне...

Бэнкс. Да-а, я повидал всякие войны... включая ту, которую называют...

Труппа. ...Мир!

Солдаты *(поют)*.

Старуха-депрессия, с тобой покончено,
Мы купаемся в деньгах, на небе ни облачка.
Сколько горя ты нам принесла!
В газетах больше ни строчки об очередях.
А когда мы встречаем домовладельца,
Мы не боимся смотреть ему прямо в глаза.

Сидни. Ты, наверное, знаешь — Джорджи Розен тоже убит.

Ли. Джорджи Розен...

Ральф. Крошка Джорджи.

Сидни. Он продал тебе свой гоночный велик.

Ральф. Который украли.

Ли *(вспомнил)*. Да-да! О боже — и Джорджи?

Труппа *(шепотом)*. Корея!

Ральф. Война этот квартал не обошла.

Один из актеров *(поет)*.

Послушайте, матери и отцы всей земли.
И не критикуйте то, чего вы не в состоянии понять.
Ваши сыновья и дочери вышли из-под вашей опеки.
Старый путь себя исчерпал,
Так, пожалуйста, не стойте на пути у нового,
если вы не можете протянуть руку помощи.
Грядут иные времена.

Сидни. Да, а сын Лу Чарни был во Вьетнаме. *(Вместе с труппой.)* И все же это великая страна, ведь так?

Ли. Почему ты так считаешь?

Сидни. Понимаешь, преступность, разводы... чего только не было. Но не в этом дело. Главное — люди, такие как мы с тобой, пройдя через худшее, научились видеть разницу между «плохим» и плохим.

Бэнкс. Однажды, бродяжничая в штате Монтана, я набрел на памятник последнему оплоту генерала Кастера и написал там свое имя... чтоб мне провалиться... на память... чтобы мое имя осталось там навсегда... вот так. Сейчас работаю в одном из лучших отелей — дежурный в туалете. Но думаю вернуться, как только они разберутся с этим диабетом.

Сидни. Иногда, оглядываясь на все это... не знаю, как тебе... но мне кажется, что тогда все было как-то дружелюбнее... Я прав?

Ли. Не уверен, что это было дружелюбие... Скорее, люди были чуть заботливее.

Сидни. Подобно песням... то есть я хочу сказать, слушаешь песню тридцатых и, хотя большинство из них такие счастливые, все равно хочется плакать.

Бэнкс. Но я до сих пор иногда слышу тот поезд, до сих пор слышу тот долгий прощальный гудок. Да, сэр, до сих пор слышу тот поезд... Ту-ту-у...

Ли. Ты по-прежнему пишешь песни?

Сидни. Да.

Ральф. По-прежнему ждешь свой шанс?

Сидни. Но четыре мои песни опубликованы, и на них довольно большой спрос. А сейчас я написал еще одну — хочешь послушать? Я назвал ее «Совсем моя луна». Она пришла ко мне совсем неожиданно, когда я сидел на крыльце. Я не выдержал, побежал в дом и сказал Дорис... она не могла уснуть...

Ли. А вы с Дорис?..

Сидни. Да. Из наших общих знакомых мы остались практически единственными, кто не развелся.

Ли. Твоя мать умерла, это правда?

Сидни. Да, ее уже нет... и тети Роуз и... Моу тоже, соболезную.

Время от времени слышно, как поет Роуз.

Ли. За все эти годы я так и не смог до конца разобраться в собственной матери. В ее сумасбродстве было что-то очень, очень похожее на нашу страну. Во что бы она ни верила, она одновременно верила и в обратное. В метро она могла оказаться рядом с чернокожим, и тот через пару минут делился с ней самым сокровенным в своей жизни. А уже через день...

Ли и Роуз *(встревоженно)*. Вы слышали? Нашими соседями будут цветные!

Ли. Или начнет жаловаться на свою женскую долю.

Ли и Роуз. Я родилась на двадцать лет раньше своего времени.

Роуз. С женщиной обращаются как с коровой — сделают ей ребенка и на всю жизнь запирают в четырех стенах...

Ли. И тут же предостерегает меня: «Не доверяй женщинам — если они не глупы, они тебя обязательно обманут». Приду домой, выплю на нее поток радикального идеализма, и она готова штурмовать баррикады — а к вечеру она снова без ума от принца Уэльского. Она была так похожа на эту страну! Деньги стали для нее навязчивой идеей, но по-настоящему ей нужна была какая-то высота, откуда она могла бы обозревать все вокруг и где бы она могла дышать воздухом собственной свободы. И несмотря на все свои поражения, она до конца верила — мир рожден для лучшей доли. Не знаю, но, думая о ней, я твердо уверен только в одном: в конечном итоге я всегда нахожу в себе ту же жажду жизни!

Роуз *(издалека, будто призрак)*. Пой!

Ли *(поет)*.

Так повторяй неустанно,
Это вишни, самый сильный дуб упадет.

Ли и Роуз *(поют)*.

Прекрасные вещи в жизни
Ты получил взаймы,

Роуз *(поет)*.

Так как же можно потерять то,
чем никогда не владел?

Ли и Роуз *(поют)*.

Жизнь — это просто тарелка вишен.

Ли *(поет)*.

Так живи и смейся над всем этим!

Труппа поет «Любовь и грош» во время монолога Робертсона.

Робертсон. Бывали моменты, когда слово «революция» произносилось не просто для красного словца. Я не думаю, что Рузвельт со всеми его колебаниями и экспериментами мог сотворить чудо, но мне ясно одно: благодаря ему люди каким-то образом снова поверили — страна принадлежит им! По-моему, именно возврат этой веры и спас Соединенные Штаты. Америка пережила всего две подлинно национальные трагедии. Нет, не первая или вторая мировые войны, не Вьетнам и даже не американская революция. Многие пережили их, ни разу не забыв спуститься к обеду. Только Гражданская война и Великая депрессия ударили практически по каждому американцу, независимо от его места жительства, работы и классовой принадлежности. Вот те две раны, которые едва не обескровили страну. А для некоторых Депрессия не умерла до сих пор. Поговорите с людьми моего возраста и вы поймете: в глубине души у них затаилось зернышко настороженного ожидания того, что она еще вернется. В ней было что-то настоящее. Как только с депрессией было покончено, страна превратилась в кино — мы наслаждаемся им, но... когда же снова придется жить в настоящем? Глубоко в душе не умирает настороженное зернышко ожидания.

Конец

◆

Литературное наследие

АЛЕН

Суждения

Составление, предисловие и перевод с французского С. ЗЕНКИНА

Во французской литературе с давних пор, начиная еще с Монтеня, Лабрюйера и Ларошфуко, живет традиция моралистического эссе — сжатых, афористичных рассуждений о нравственной природе человека, о его разуме и страстях. Автор в таком эссе обычно обходится без сюжетного повествования, без подробно обрисованных персонажей; свои мысли он открыто излагает от собственного лица, а если и рассказывает какую-либо историю, то лишь в качестве примера, притчи. Но таков уж сам предмет исследования, такова подчеркнуто личностная, нередко ироничная авторская интонация, что «моралистическая» проза оказывается сродни прозе художественной. В XX веке эту жанровую традицию, близкую и к беллетристике, и к художественной публицистике, с успехом продолжил самобытный писатель и мыслитель Ален (1868—1951).

Настоящее его имя было Эмиль-Огюст Шартье. Сын сельского ветеринара, он окончил у себя на родине, в Нормандии, католический коллеж (что не помешало ему впоследствии стать убежденным и тонким критиком религии), затем в Париже — Высшую нормальную школу, самое престижное в стране учебное заведение. Несмотря на блестящие способности, проявившиеся в учебе, карьеру он сделал скромную — проработал всю жизнь преподавателем философии в провинциальных и столичных лицеях. В годы «дела Дрейфуса» молодой философ включился в общественную борьбу, стал боевым публицистом, сторонником партии радикалов, выступавшей за буржуазно-демократические реформы в стране. А с 1903 года в нормандской провинциальной газете «Депеш де Руан» начали появляться — сперва еженедельно, а с 1906 года и ежедневно — его короткие корреспонденции, подписанные псевдонимом Ален и озаглавленные емким, труднопереводимым словом «Propos» («суждение» — перевод лишь приблизительный, «propos» — это еще и «реплика», «замечание», «слово в диалоге»). Эти очерки Ален неутомимо писал на протяжении тридцати с лишним лет; после первой мировой войны, временно прервавшей работу над ними, «Суждения» стали печататься уже не в газете, а в специальных ежемесячных брошюрах как своего рода журнал одного автора. Философский дневник Алена привлекал к себе тонкостью мысли, независимостью авторской позиции и чисто дневниковой искренностью — Ален не позволял себе делать в тексте никаких поправок, писал всегда сразу набело, что явственно сказывается в отрывистом, неприглаженном стиле «Суждений». За свою долгую жизнь Ален выпустил немало книг по философии, эстетике, литературной критике, однако именно моралистические эссе снискали ему авторитет в среде демократической интеллигенции; они и до сих пор переиздаются во Франции наравне с признанными шедеврами национальной классики.

К писателям и даже публицистам редко подходят точные социологические характеристики, и даже сама попытка их дать иногда воспринимается как недопустимая вульгаризация; однако же к Алену такая характеристика вполне применима и

многое в нем объясняет. И по происхождению, и по убеждениям Ален был мелкобуржуазным мыслителем — только, чтобы правильно это понять, нужно отрешиться от привычки видеть в слове «мелкобуржуазный» негативный ярлык. Известно, что мелкая буржуазия как класс социально неустойчива, ее политическая позиция подвержена резким колебаниям; и действительно, злободневно-политические оценки и предложения Алена в наибольшей степени устарели, многие из них продиктованы иллюзиями и утопическими представлениями. Сильнее всего Ален был не в политике (хотя и писал о ней много), а в этике, и здесь он тоже принадлежал своему классу. Мелкий буржуа — фермер или ремесленник — человек пусть и «маленький», но трудящийся, вольный и дорожащий своей свободой, ему близка традиция демократической, «третьесословной» морали, с ее уважением к труду и личному достоинству человека. Таким был и сам Ален, и такой тип личности — человека обособленного, независимого и самостоятельно мыслящего — он утверждал в своем творчестве, отстаивал в борьбе против бюрократизма и милитаристского угара, против религиозного фанатизма и фашистского террора.

Такая защита духовно независимой личности была весьма своевременной. В конце XIX и начале XX века гуманистическая идеология переживала кризис, вызванный разочарованием в результатах буржуазного прогресса. В противовес ей появились антигуманистические тенденции, и еще прежде чем реализоваться в социальной практике (в наиболее страшном виде — в форме фашизма), они заявили о себе в культуре: идеям равенства и личного достоинства людей были противопоставлены мистика стихийно-родового начала и мифология «высшего», «сверхчеловеческого» индивида. В этой ситуации Ален оказался одним из тех деятелей культуры, кто открыто и стойко защищал принципы гуманизма. Он не пытается строить глобальных социально-политических систем, его мысль развивается главным образом в «домашней» сфере, в области повседневной житейской морали, и даже рассуждая об общесоциальных проблемах, он берет за исходную точку простые и прямые отношения между людьми — между членами семьи, между учителем и учеником. Можно сказать, что в таком самоумалении есть некоторое отступление гуманизма,— но это именно отступление, а не капитуляция. Гуманизм у Алена отказывается от слишком больших претензий, но в то же время припадает к своим глубинным духовным корням, черпает силу в элементарных и непреложных законах человеческого общежития. Такие основополагающие начала Ален как раз и ищет в трудовой этике частного человека, мелкого буржуа, основывая на них свои критические суждения о цивилизации.

Ален был оптимистом. Он твердо — кому-то покажется, что даже слишком безоглядно,— верил в прогресс, в торжество здоровых сил жизни, в ее, как мы бы сейчас сказали, способность к саморегуляции. Примеры тому он видел в природе и в свободном человеческом разуме.

Идея гармонии человека и природы — одна из главных мыслей Алена, особенно в ранних «Суждениях». В известной степени он предвосхитил современное «экологическое» направление в западной культуре. Противник агрессивного вторжения человека в природу, он недолюбливал скоростные экспрессы и восхищался конструктивным изяществом парусника, который побеждает стихию ее же собственной силой. Ален смотрит на мир как труженик, без ложного умиления, «по-крестьянски»: в каждой детали элегантного судна, даже в девственной красоте дикого, казалось бы, леса воплощен человеческий труд. Согласие природы и человека вырастает из их противоборства, только противоборство это — взаимно уважительное, равноправное соперничество, а не слепое разрушение и истребление.

И вторая надежда Алена — здравый смысл людей, который, впрочем, и сам неотделим от природы, «растет... как растет в поле рожь или пшеница». Ален-моралист настойчиво старается содействовать этому росту, формированию подлинно разумного человека, умеющего преодолевать предрассудки и обуздывать свои страсти. Свободный разум людей — залог выживания всей нашей цивилизации, которой постоянно грозит «механичность», духовная спячка; в нем же и защита от беспринципных властолюбцев — «господ правителей», которым так хотелось бы иметь дело не с сознательными, критически мыслящими гражданами, а с бессловесным бараньим стадом...

В 1914 году «господам правителям» с помощью ура-патриотических демагогов удалось развязать в Европе империалистическую войну. Ален, по возрасту свободный от мобилизации и нимало не обманутый шовинистической пропагандой, все же счел своим долгом пойти на фронт добровольцем, полагая, что судить о войне вправе лишь тот, кто сам ее прошел. Трехлетний фронтовой опыт заметно сказался на его творчестве 20—30-х годов. Беспощадно осуждая шовинизм (в победившей Франции это звучало отнюдь не в унисон общим настроениям), Ален в то же время понял, что путь к гуманизации жизни труднее, чем представлялось раньше. В бедствиях войны он увидел прежде всего нравственную деградацию общества — хладнокровно-деловитое пренебрежение человеческой жизнью, забвение традиций Разума, бессовестную спекуляцию извращенными понятиями о справедливости, долге и праве. В послевоенные годы Ален ясно ощущал, что война хоть и прекратилась на полях сражений, но прочно застряла в сознании людей, осталась неизжитой духовно. В Европе, перекроенной по Версальскому договору, назревали новые конфликты, в разных ее странах стали появляться фашистские диктатуры. Ален доброжелательно принял социалистическую революцию в России, но опасался — как оказалось, обоснованно,— что в ходе конфликтного политического развития она может далеко отойти

от своих первоначальных демократических идеалов. Что же касается мечты писателя о гармоничном союзе человека с природой, то она явно противоречила реальному промышленному развитию цивилизации Запада.

В поздних эссе Алена чаще звучит тревога, горечь, порой даже свифтовский сарказм: нравственный упадок людей может, не ровен час, кончиться тем, что о них станут свысока рассуждать даже домашние животные — не лошади-гуигнгнмы, так премудрые собаки... И все же Ален-гуманист не складывает оружия и продолжает упорно, терпеливо стучаться в сердца людей, отворачивающихся от неприятной правды, закрывающих перед ней свои двери и окна. А достучаться до сердец он умел — недаром он был не только литератором, но и профессиональным педагогом, воспитателем. Его средства художественного убеждения разнообразны — тут и прямые житейские советы и наставления, учащие человека критическому самосознанию, внимательному и уважительному общению с окружающими; тут и дразняще-парадоксальные рассуждения, в которых Ален не уступал своему английскому современнику Г. К. Честертону (тот также был защитником гуманизма и здравого смысла, и оборону свою он также держал на «домашнем», моралистическом плацдарме); тут и лукаво-ироничные басенные иносказания — скажем, «император и царь Лев Первый» в оригинале недаром зовется не Léon, а Lion, то есть не «Лев» (имя человека), а «лев» (наименование «царя зверей»)... Но особенно, может быть, важна аленовская задушевность, обращение к лично пережитому: он ведь и запах интернатской столовой знал не понаслышке, и нормандскую природу любил с детства, и на фронте служил рядовым артиллеристом. За иронией Алена слышится мягкий, слегка застенчивый лиризм, который дал повод ученику и почитателю Алена Андре Моруа охарактеризовать некоторые миниатюры своего учителя как «стихотворения в прозе». Как и всякая настоящая литература, аленовские «Суждения» заставляют читателя сопереживать и задумываться.

Публикуемые тексты взяты из книги: Alain. Propos. Paris, Gallimard, 1960 (Bibliothèque de la Pléiade). При жизни автора многие из его «Суждений» печатались без заглавий; эти недостающие заголовки присвоены им составителем указанного издания Морисом Савэном.

Лев Первый

Лев I, император и царь, водрузил свое копье на вершине плоского холма и рек: «Здесь будет город, и имя ему будет Левград». И сошлись отовсюду землекопы и каменщики, наметили улицы и широкие площади и начали воздвигать дворец правителя.

Сама царица, взяв в руки маленькую золотую лопатку, заложила первый камень. Сотворили молитвы богам. С помоста, покрытого красным бархатом с золотой каймой (в то время подобное убранство было еще в новинку), члены Академии произносили скучные речи, ставшие образцом для многих последующих. Но поскольку во всех этих речах прославлялась доблесть Льва I, Льву I совсем не было скучно.

Меж тем многие рабочие и пришедшие вслед за ними торговцы начали строить дома и для самих себя. Один из них выкопал колодец чуть поодаль, за чертой города, проведенной архитекторами, и нашел чистую и приятную на вкус воду. Другие тоже стали бурить скважины и рыть колодцы по соседству; водоносный пласт удалялся от города, и за ним потянулись постройки и сады; стайка бело-красных домиков очертила на фоне зелени контуры прежде невидимого водоносного пласта. Тщетно царский город простирал во все стороны от недостроенного дворца свои улицы — дома на них не росли.

И тогда царь Лев I выдернул из земли свое копье и водрузил его в другом месте, среди бело-красных домиков. Тем самым он проявил свою царскую мудрость и могущество; своим простым деянием он совершил нечто гораздо лучшее, чем молитву богам,— почтил Природу.

Ибо города растут отнюдь не по воле завоевателей. Они, словно древесный мох, тянутся к воде.

8 июля 1906

Дон Жуан

Дон Жуан просто обезумел от любви, которую выказывал к красавице Эльвире. То была женщина замечательной красоты, умом же

не уступавшая самой Минерве. Притом красива она была не самодовлеющей, мраморной красотой изваяния. Нет, в выразительных чертах ее лица, в ее огненном взоре сияло предвестие сильной страсти; и в то же время ясно было, что в ее душе всем ложным достоинствам уже вынесен приговор и что сокровища ее не достанутся никому. Дон Жуан считал себя вправе пренебрегать многими, но здесь он потерпел крах. Он изумился ее красотой, обманулся двусмысленными знаками внимания, поклялся не отступать, истомил себя надеждой, изнемог от ожидания и в конце концов уверился, что перед ним единственная на свете женщина, чей суд чего-то стоит. В общем, он повел себя глупо, как юнец. Что думала на сей счет Эльвира, никто не знал, и это-то и было хуже всего.

И сколько он ни жаловался ей слезно на свои страдания, малопомалу начиная и впрямь их испытывать,— она все отвечала рассудительными речами, напоминала общеизвестные истины, разбирала причины и последствия страстей, переносилась мысленно в будущее, заранее предсказывала, что влюбленные неблагодарны и несправедливы, что за радостями следуют печали, что суждения света безжалостны, и напоследок восхваляла ясность духа, дружбу, покой и здравомыслие.

«Неужто,— говорил он себе,— я не увижу в этих прекрасных глазах ничего, кроме любопытства, дружелюбия и благоразумия? Ведь даже если мне и чудится в них восторженный жар, то это лишь восхищение собственной стойкостью: она словно поклялась, что в силе воли не уступит древним героям. Или же это мягкое сострадание, непременно просветленное благоразумием. Я для нее просто забавное зрелище. Неужели настал конец моей власти?» Так размышлял он и готов был даже прибегнуть к силе. Но чего добьешься силой, если ищешь добровольного согласия? Он ни на шаг не продвигался вперед, и сердце его разрывалось от унижения.

Убедившись, что Эльвира не лукавит и что ее благоразумие и здравомыслие возмутить невозможно, Дон Жуан почувствовал себя словно в адской бездне, словно бес, утративший свое могущество, и тогда, сгорая от им же зажженного пламени, он скрылся у себя дома, подвесил к потолку крепкую веревку и уже просунул было голову в петлю, как вдруг с высоты, на которой он стоял, увидел в окне прекрасную незнакомку, посылавшую ему воздушные поцелуи. Оставив висеть веревку с петлей, он поправляет галстук, бросается на приступ и, карабкаясь по стенам, проникая сквозь запертые двери, добирается наконец до незнакомки. Он падает на колени, поет ей свою всегдашнюю песенку; она отвечает ему безумными речами, превозносит его на тысячу ладов, поминая землю, море, звезды и незримые силы вселенной, и наконец отдается ему с упоенным стоном. Эльвира была забыта.

Но, едва утолив вожделение, Дон Жуан пригляделся внимательнее к страстным восторгам незнакомки и вскоре со всей очевидностью понял, что женщина эта действительно безумна и семья держит ее взаперти, потому что она готова с утра до вечера вести себя так, как вела себя с ним. И тогда Дон Жуан словно в озарении постиг всю свою жизнь и свершил над ней суд. Он вернулся домой, увидел свисающую с потолка петлю, быстро сунул в нее голову и на сей раз повесился окончательно.

28 июля 1907

Искусство торговать

Торговать — это целое искусство с тысячью приемов, цель которых сводится к одному — возбудить в раздумчивом и колеблющемся покупателе страсть к обладанию. От волнения, удивления, даже прос-

то от резкой перемены нерешительный человек получает встряску, и решение срывается с его уст, словно плод с дерева.

Все видели, как уличные торговцы продают с тележек цветы или фрукты; их отовсюду гоняют полицейские, и им вечно приходится перебираться с места на место. Но для них это совсем не так плохо: когда видишь, что желанный предмет ускользает, это прерывает твои раздумья и пробуждает в тебе инстинкт преследования. И вот уже желание превратилось в волю — что преследуешь, того и желаешь, именно потому, что преследуешь. Такая здесь механика.

Я знал одного продавца газет, который появлялся позже других, а товара продавал гораздо больше. Как он это делал? Очень просто: он все время мчался бегом, словно его отовсюду окликали покупатели; его было едва видно, едва слышались его выкрики — будто кричит он по привычке или делая вам одолжение, а вообще-то он свою выручку уже собрал. Его бешеная беготня вызывала желание догнать и схватить, и ты не успевал еще захотеть газету, как она уже оказывалась у тебя в руках.

Нынче на рыночной площади я видел торговца лоскутом. Он устроился под большим красным зонтом и надел красную шляпу — преловкая выдумка, известно ведь, что красный цвет возбуждает страсти. У него был особый стиль: отмеряя куски материи, он, ни на кого не глядя, выкрикивал: «Раз, два, три, четыре!» — а потом сгребал их в кучу и швырял покупателю; деньги получал уже другой человек. Своими резкими движениями он привлекал внимание, и каждая из толпившихся вокруг хозяек невольно протягивала руку, чтобы ухватить груду обрезков,— этот жест уже и означал согласие купить.

Я видел фокусы и почище. Один торговец распродавал целыми стопками фарфоровые тарелки — бракованные, но все же пригодные. Каждую стопку он пускал с молотка, предлагая набавлять цену. Если никто не набавлял, он сам снижал свою цену, пока не доходил до известного предела. И тогда — раз, два, три! — он хладнокровно разбивал вдребезги всю стопку. Можете себе представить возгласы окружающих и все дальнейшее. Но то был уже не просто талант — то был гений.

4 сентября 1907

Запах столовой

Есть такой особенный запах — один и тот же в столовых всех закрытых заведений. Кто бы здесь ни питался — монахи-картезианцы, семинаристы, воспитанники лицея или нежные барышни,— столовая всегда пахнет столовой. Чем именно — описать невозможно. То ли это вода из-под грязной посуды, то ли заплесневелый хлеб — не знаю. Если вы никогда не чувствовали этого запаха, мне не объяснить вам, что это такое: слепому не расскажешь, что такое свет. Для меня он так же отличается от прочих запахов, как синий цвет от красного.

Если он вам незнаком — ваше счастье. Это значит, что вас никогда не держали взаперти в интернате какого-нибудь коллежа. Это значит, что вы не были с детских лет пленником порядка, врагом всякого закона. Вы теперь стали отличным гражданином, отличным налогоплательщиком, отличным супругом, отличным отцом семейства; вы мало-помалу притерпелись к тому, что общество давит и воздействует на вас; даже в жандарме вы теперь видите друга, ибо жизнь в кругу семьи приучила вас обращать необходимость в удовольствие.

Но с тем, кто изведал запах столовой, ничего уже не поделаешь. В детстве он беспрестанно рвался с привязи, в один прекрасный день она наконец лопнула — и вот так он вступил в жизнь, словно подозрительного вида пес, за которым волочится обрывок веревки. Чем ни приманивай его, он всякий раз станет щетиниться. Никогда не будет

в нем любви к порядку, правилам — он слишком долго жил в страхе и больше не способен к почтению. Всегда будут его бесить законы и установления, учтивость и нравственность, классика, педагогика и академические награды — ибо все это пахнет столовой. И его болезнь обоняния станет каждый год давать обострение — в ту самую пору, когда небо из голубого делается серым и в книжных лавках торгуют сочинениями классиков и школьными ранцами.

11 октября 1907

Дружба

Дружба — чудесный источник радости. Это легко понять, ведь радость заразительна. Встретив меня, мой друг чуть-чуть обрадовался — и при виде его радости я тут же начинаю радоваться сам. Так оказывается, что сколько радости даришь, столько и получаешь назад; сокровища радости пускаются в оборот, и каждый из друзей говорит себе: «А ведь я носил в себе счастье и сам не знал, что с ним делать».

Да, конечно, источник радости — в нас самих, и ничего нет тоскливее, чем зрелище людей, которые досадуют на себя и на весь мир и тужатся, чтобы рассмешить друг друга. Но, с другой стороны, счастливый человек, оставшись один, быстро забывает, что счастлив; его радость вскоре замирает, сменяется вялым оцепенением. Внутреннее чувство нуждается во внешних проявлениях. Если бы какой-нибудь тиран заточил меня в тюрьму, дабы научить уважению к властям, я положил бы себе правилом для поддержания здоровья ежедневно в одиночестве смеяться — я упражнял бы свою радость, так же как мы упражняем ноги.

Вот вязанка хвороста. На вид это косная материя, наподобие земли; если оставить ее гнить, она и сделается землей. А между тем в ней заключен скрытый жар, полученный от солнца. От малейшего огонька она вскоре превратится в трескучий костер. Нужно только подергать дверь и разбудить спящего пленника.

Так и для пробуждения радости требуется какое-то первоначальное усилие. Когда младенец впервые в своей жизни смеется, его смех не выражает ровно ничего. Он не потому смеется, что счастлив, скорее он счастлив, потому что смеется, смех доставляет ему удовольствие, так же как еда,— но для этого его надо сперва накормить. И так не только со смехом: точно так же человек нуждается в словах, чтобы уяснить себе свои мысли. Оставаясь в одиночестве, нельзя быть самим собой. Глупцы-моралисты утверждают, что в любви мы забываем о себе. Все не так просто — чем больше выходишь за свои рамки, тем больше становишься самим собой и тем острее чувствуешь себя живым. Не гноите свой хворост в подвале.

27 декабря 1907

В чем сила корабля

Красивая штука этот парусник, что кренится от ветра и стремительно разрезает носом волны. Ветер надувает и клонит его парус, а килем он упирается в воду и под давлением ветра скользит туда, куда направлен киль. Так, косым ходом, он немного продвигается против ветра, потом ложится на другой галс, и все повторяется снова. Получается, что ветер борется сам с собой,— изящная победа, которой мы обязаны ловкости и терпению. Лавировать против ветра — в этом вся политика человека в борьбе с силами природы.

Тут мое рассуждение прервал инженер: «Вот видите, Ален, иногда силы природы работают на нас почти даром: ведь поворачи-

вать руль, натягивать и ослаблять снасти, переносить с борта на борт рею — все это не столь уж тяжелый труд».

«Здесь перед нами исключительный случай,— ответил я,— и среди всех наших изобретений это одно из самых совершенных. Но и здесь нельзя забывать о том, сколько труда вложено в этот киль, во вздрагивающий от волн корабельный корпус, в поющую на ветру оснастку. Не стану говорить о наблюдениях и опытах, занявших, быть может, сто веков. Но ведь даже дерево это сто лет росло в лесу; срубая его, дровосеку пришлось поработать топором; потом плотник распилил брусья, сделал округлые обводы, укрепил мачту. Теперь посмотрите на полотно, принимающее на себя напор ветра,— сколько труда в этом сплетении нитей! Я словно слышу, как бегает взад и вперед челнок ткача; а ведь пряжа, которую он тянет за собой, тоже сделана не без труда. Вот взрезает землю плуг, ходит по полю сеятель; затем работают мать-Земля и бог-Солнце, отец всех земных сил. Вырастает конопля. Дальше опять трудится человек. Коноплю убирают, вымачивают, сушат, варят, мнут, треплют. Но пока это только спутанная кудель, которую унесет первым же порывом ветра. Надо, чтобы за дело взялась пряха со своей прялкой, веретеном и бесконечной песней.

Сила корабля слагается из всех этих трудов; в скрипе переборок, в пении снастей, в хлопках поднимаемого паруса звучит человеческая сила; вместе с парусом она напрягается, сопротивляется ветру, наклоняет судно, толкает его сквозь волны, взрывает их водоворотами, взбивает соленую пену. Сосчитать бы все дни и вечера, затраченные для этого людьми! Когда под песню пряхи вертелось веретено, а пальцы ее скручивали легкую нить — тогда уже ковались оковы для ветра».

25 апреля 1908

Дровосеки

Настала пора, когда в рощах по склонам холмов стучат топоры дровосеков. Везде свалены кучи ветвей, сложены штабелями бревна; а так как зелень листвы еще только едва затуманила лес, то повсюду бросаются в глаза обрубленные сучья и покалеченные деревья.

«Этим дикарям просто неймется,— сказал мне поэт.— А ведь прелестная была долина: все одето листвой, поля окаймлены лесом, дивная гармония радует глаз. Но им бы знай дров нарубить, природу они любят лишь как дойную корову, не умеют как следует вглядеться в нее, полюбить природу ради нее самой, такой, как она есть».

«Вы тоже этого не умеете,— ответил я поэту.— Крестьяне сами принадлежат природе, их нужды и поступки столь же естественны, как распускание листьев. Ветер, дождь, снега, ручьи — все они по-своему действуют на лес, ломают, корчуют и валят деревья; так же и дровосек. И люди и деревья рождены одной и той же землей. Это вы, поэт, здесь чужой; вы, пожалуй, и должны учтиво и деликатно относиться к деревьям. Местным же жителям деликатничать незачем. Если ветром повалит высохшее дерево, оно давит молодые побеги — так и создавался лес, радующий теперь ваш взор. Ну, а топор дровосека — тоже часть природы.

Что было бы на месте этой светлой долины, если бы не труд человека? Болото, заросшее непроходимой чащей. Человек своим трудом невольно вносит разнообразие в краски леса, прорубает окна, сквозь которые просвечивает небо. Все, что вы называете красотой и изящной гармонией, начертано на земле плугом, лопатой и топором. Человек очистил от травы и ила ручей, журчащий у ваших ног. Человек проложил тропинки и просеки. Вам ведь наверняка нравятся эти темные древесные своды и голубая дымка вдали.

И вот люди украсили долину, сами о том не задумываясь,— так крестьянская женщина заплетает себе волосы. Не мешайте же им. Они готовят летний убор долины, как готовили его испокон веков. Не стремясь к гармонии, они ее создают, вот так же, как этот дождь, так звучно стучащий по ветвям. А вздумай вы, поэт, навести в лесу порядок по образцу своих причесок и своих стихов — что бы вы из него сделали? Да какой-нибудь английский парк. Мне же нравятся груды хвороста и стук топора».

27 апреля 1908

Кофе без сахара

Я собирался бросить еще кусочек сахара в чашку кофе, как вдруг призрак папаши Гранде удержал меня за руку и сказал: «Не надо: ты можешь пересластить».

«Да, но сейчас-то кофе явно горчит»,— возразил я.

«Подумаешь, языку будет чуть-чуть горько,— отвечал он. — Когда ты научишься соизмерять удовольствия с лишениями, которых они стоят?»

«Слушайте, папаша Гранде, времена ведь изменились с тех пор, как вы жили на свете. Теперь сахар стоит недорого».

«А ты не по деньгам считай, ты считай по страданиям людей. Осенью бедняки-фламандцы — их называют «камберло» — собираются в артели, чтобы убирать свеклу. Если ночью прошел дождь или выпала роса, они промокают до пояса, словно работают в воде. Живут они в сараях, спят на соломе. Теперь посмотри, как на заводе выварывают и очищают сахар,— увидишь, как полуголые люди с мешками на горбу снуют туда-сюда, обжигаясь жаром котлов, простужаясь от сквозняков. Не забудь и женщин, что раскладывают колотый сахар по пакетам. Думаешь, это милое занятие для нежных ручек? От такого милого занятия они до крови сбивают себе ногти и кончики пальцев. Ты и теперь скажешь, что сахар стоит недорого? Так вот учти, это лишь значит, что за весь их каторжный труд ты отдаешь совсем немного своего времени и труда. Ничего себе оправдание!»

Он задумался. Его безжалостные глаза излучали жуткое сияние. «Знаешь,— продолжал он,— в те времена, когда я считал каждый золотой и держал под замком сахар, я чувствовал, что презирать меня не за что,— только сам не знал почему. Нынче я считаю уже не свое, а чужое добро и знаю, отчего не краснел тогда за свою скупость. Я сам себя обслуживал; обнаружив подгнившую доску, я с удовольствием сам приколачивал вместо нее другую. Заплати я немного золота, и к моим услугам была бы хоть сотня плотников; но я не хотел иметь рабов. В золоте выражалось мое право на чужой труд — но я этим правом не пользовался. И всякий раз, укладывая в свою шкатулку очередную стопку золотых монет, я тем самым отпускал на волю еще одного раба. Конечно, сам я об этом не подозревал — мне просто нравился блеск золота; как видно, чтобы люди полюбили добродетель, она должна притвориться пороком. Но ты-то, раз уж ты пытаешься иногда задумываться о чужом благе, представь себе, что в каждом золотом заключена царская власть для тебя и рабство для других; тогда тебе станет ясно, отчего золото лучше хранить, чем тратить». Призрак исчез. Я выпил свой кофе без сахара, и он показался мне очень вкусным.

20 октября 1908

Стачка

Горожанин стукнул тростью по земле и сказал: «Да-да, мы идем ко всеобщему рабству». С площадки, где мы сидели, открывалась

вся долина, щедро напоенная солнцем. Вскопанные и прополотые участки, расчерченные словно садовые клумбы, являли взору все яркие цвета земли — коричневый, охряно-красный, желтый, синевато-серый,— и на их фоне проступали пятна свежей зелени. Иногда доносился окрик, или грохот упряжки, или пронзительный звук удара заступом о камень. Но горожанин все твердил о стачке почтовых служащих.

«Да,— говорил он,— скоро мы начнем настолько зависеть друг от друга, что в наших отношениях не станет больше ни свободы, ни дружелюбия. Все наши потребности будут рабски подчинены централизованным системам раздачи и уборки, как уже подчинены им почта, освещение и канализация. Нашим питанием станет ведать какая-нибудь компания или синдикат, вроде тех, что ныне ведают транспортом. Всякая стачка окажется для нас смертельной угрозой. Соответственно придется и защищаться от нее — потребуются жесточайшие карательные меры, любой коллективный отказ от работы будет рассматриваться как военные действия и подавляться военной силой. И поскольку каждый окажется в зависимости от каждого, все мы будем жить в страхе и рабстве».

«В страхе и рабстве люди живут недолго,— ответил я ему.— Они приходят к взаимному согласию. Взгляните-ка на эти деревенские крыши, на крестьян, что работают на своих участках. Они ведь опасные существа: любой из них может в два счета убить меня заступом или лопатой, если ему придет такое желание и если его не удержит страх. Вы тоже можете это сделать, ибо человек вы сильный и в руках у вас трость с железным наконечником. Между тем я мирно уживаюсь и с ними и с вами. Я полагаюсь на их и на ваш здравый смысл. Я исхожу из того, что они, так же как и я, заинтересованы в безопасности. Цивилизованное Человечество — столь же непреложный факт, как питьевые качества воды. Если бы на всей земле вода стала непригодной для питья, нам недолго пришлось бы об этом рассуждать. И если бы все люди разом потеряли рассудок, тут тоже говорить было бы не о чем. Я, признаться, верю в Человечество. Если трудящиеся люди добиваются повышения оплаты и для того объединяются вместе, то они не вызывают у меня ни страха, ни удивления. Это растет человеческий Разум — как растет в поле рожь или пшеница. И если почтовые служащие все вместе заявляют, что не потерпят несправедливости, то это, на мой взгляд, очень обнадеживает. Я с удовольствием заключаю, что среди нас больше невозможна тирания. Если же вы предполагаете, что большинство людей объединятся вместе, чтобы отравить жизнь себе и другим, то, по-моему, здравого смысла здесь не более, чем если бы все эти крестьяне, копающие землю, вдруг бросились бить друг друга лопатами и мотыгами. Люди хотят жить в мире — вот что означают буквы этих зеленых, красных и коричневых квадратов, начертанные лопатой и заступом на земле».

18 апреля 1909

Я люблю дождь...

Я люблю дождь. Промытый воздух дарит мне запахи земли. Я люблю ливень, что барабанит по крыше, и лохматые тучи, и мягкий, ежеминутно меняющийся свет, и нежную розовую полоску над горизонтом.

Я рассказывал об этих радостях нормандской жизни одному образованному человеку, и он сказал мне: «Вы просто хотите оригинальничать. Не спорю, дождь полезен для земледелия. Но вообще дождь — это грязь и тоска. Я только что встретил на дороге тяжелый воз, увязший по ступицы, да и сам забрызгался грязью по уши. От серого неба и мысли в голову приходят тусклые. Теряешь мужест-

во и решимость, точно тебе всю душу дождем размыло. Нет, знаете ли, источник жизни — это все-таки синее небо и солнечный свет. Как хорошо понятны мне греки — и яркие сцены «Илиады», и кроткая Ифигения, которая прощается с сиянием дня!»

Во всем этом много напускного, литературного. Грязь гораздо чище пыли: грязь видна, ее можно счистить, ею не приходится дышать. И Гомера я тоже читал, его герои — жестокие хищники; а греческие трагедии довольно-таки скучны. Форма их прекрасна, но недостает колорита — естественно, ведь солнце поглощает всякий колорит. Заметьте, что при ярком свете все краски блекнут. Человека, приехавшего с Севера, Юг поражает какой-то сухостью, резкостью, грубостью линий. Повсюду голые вершины гор, каменистые обрывы, зеленовато-серые оливы, неизящные и словно черные кипарисы. И глаза, способные вобрать в себя весь этот поток света, должны быть черны, как колодезная скважина.

Нам нужен более мягкий свет и не столь резкие тени. Едва лишь среди облаков мелькнет промытый дождем квадратик голубого неба, как сразу дубы, буки, вязы, каштаны и акации радуют взор бесчисленными оттенками зеленого цвета, более чистого и сочного, чем краски палитры. Свежий ветерок шевелит листву, над тропинкой поднимается пар, земля мягко пружинит под ногами, блестят мокрые крыши. Все предметы видны по-своему, в зависимости от расстояния: те, что близко, ярки и отчетливы, те, что вдалеке, словно грезятся во сне. Тогда и мысль твоя начинает рыскать по округе, петляя и возвращаясь назад, словно верный пес. А там, где всюду спекшаяся от зноя земля, там человеческая мысль вечно стремится к горизонту. Оттого-то, должно быть, и люди там живут страстные и речистые — их мысль не знает ни деталей, ни крупного плана. Из них получаются юристы и философы; и на вид они черные, как кроты, а все потому, что там не бывает дождей. Если бы на римском Форуме шел дождь, он освежил бы голову Цезарю и у нас бы теперь не было католицизма [1].

3 июня 1909

Нравственность хороша для богатых

Нравственность хороша для богатых. Говорю это совершенно серьезно. Жизнь бедняка скована внешними обстоятельствами, в ней не остается места ни для личного произвола, ни для свободного выбора, ни для раздумий. Одни добродетели приходится блюсти волей-неволей, другим следовать невозможно. Оттого ненавистны мне добрые советы, которые филантроп дает нищему.

Наименее требовательные призывают бедняков только как следует мыться — вода, мол, ничего не стоит. Неверно: принести воды стоит труда, а купить мыла стоит денег. Да и время нужно, чтобы мыть детей, чтобы стирать штаны и блузы.

Хозяйство нужно вести предусмотрительно и с умом — ну еще бы, кто же спорит! Но эти добродетели подобны процентам с капитала: они приращиваются лишь к первоначальному накоплению. Как, по-вашему, сохранять благоразумие, когда ежедневно бьешься с заботами, а они возникают вновь и вновь, словно отрубленные головы гидры? Как вы себе представляете предусмотрительность без уверенности в завтрашнем дне? И как можно постоянно думать о будущем, если там один мрак? Нет, из этого круга не вырвешься: нерачительность порождает нищету, а нищета — нерачительность.

Я знаком с одной воспитательницей детского сада, которая искренне пыталась преподать своим питомцам начатки морали — но

[1] Ален связывает иерархическую организацию католической церкви, возглавляемую папой римским, с государственным устройством Римской империи, основателем которой был Гай Юлий Цезарь. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

всякий раз невольно прикусывала язык. «Как хорошо, дети, когда у тебя дома чисто и светло!» — и тут она встречала взгляд двух или трех ребятишек, у которых дома окно было размером с табакерку, а вместо самого дома — узкая мансарда, где трех кроватей не поставишь. «Раз в неделю нужно менять нательное белье!» Увы, ей приходило в голову, что, если постирать рубашонку вот этого малыша, она развалится от ветхости. Так же и с поучениями об опасностях алкоголизма — только она начинала расписывать, до чего отвратителен пьяница, как спохватывалась, что имеет в виду отца вот этих двойняшек, уже краснеющих от стыда. Есть слова, которые застревают в горле.

Что же делать? Не читать нравоучений. Если можешь — отмывать перепачканных малышей. Если можешь — одевать тех, кто ходит в лохмотьях. Быть самому справедливым и добрым. Не заставлять детей краснеть. Не выставлять бестактно напоказ их беды. Не льстить невольно тем из них, кто, по счастью, опрятно одет и чьи родители не пьют. Нет, право, лучше уж говорить о чем-то другом, о чем-то общем для всех — о солнце, луне и звездах, о временах года, числах, реках и горах. Пусть тот, у кого нет пары носков, все же чувствует себя равноправным гражданином; пусть школьный дом будет храмом справедливости, единственным местом, где нет презрения к бедным.

Прибережем свои проповеди для богатых — и прежде всего для себя самих. Если ты владеешь чем-то сверх необходимого, если у тебя есть немного досуга — вот тогда ты можешь жить по своему разумению, преодолевать воображаемые невзгоды и предпочитать чтение карточной игре или лимонад абсенту. Но тем, кому жизнь не дает ни минуты передышки, а завтрашний день перед глазами уже сегодня,— тем думать остается только о том, чего все равно не поправить, потому и хочется, коли есть возможность, напиться и не думать ни о чем вовсе. Кто посмеет сказать, что на их месте он сам не поступил бы так же?

13 ноября 1909

Историческое мышление

Есть два рода умов. Одни, читая книгу, сразу же осмысливают ее в рамках истории, как написанную позже или раньше других книг. Скажем, роман Бальзака для них — предмет тогдашней эпохи, наподобие шкафа или комода. Другие воспринимают Бальзака как пищу для сегодняшней мысли, для сегодняшней жизни. Я, признаться, не в силах отрешиться от такого внеисторического образа мыслей. Если, например, мне попалась у букиниста «Астрономия» Лаланда [1], то я с наслаждением читаю ее — не для того, чтобы узнать из нее о состоянии астрономии в ту эпоху, а просто чтобы подучиться; и как раз потому, что наука тогда была еще не столь развита, не столь перегружена знаниями, я и нахожу там нужные мне сведения и пояснения, которые вряд ли попались бы мне в нынешних книгах. Другие пишут историю; я же стараюсь воскрешать историю в том, что есть в ней живого и полезного для наших дней. Остальное же все — бесплодные попытки и неудавшиеся произведения — меня просто не интересует. Я похож на хозяйку, получившую в наследство антикварный шкаф: не считаясь с его антикварным достоинством, она складывает в него белье, а если нужно, то и меняет замок (и правильно делает).

Любопытно, что человек, мыслящий исторически, относится и к настоящему так же, как к прошлому; я тоже — на свой лад. Он читает все подряд: журналы, брошюрки, скверные книги — все ему го-

[1] Жозеф-Жером Лефрансуа де Лаланд (1732—1807) — французский астроном.

дится. «Разумеется,— говорит он,— я немного найду тут мыслей, которые бы меня чему-то научили, но я вовсе не их и ищу; я исследую свою эпоху и принимаю ее такой, как она есть; на мой взгляд, она одинаково выражена как в плохом, так и в хорошем романе. Может быть, в плохом даже лучше — ведь в посредственных произведениях выражается образ мыслей большого числа людей, а выдающийся художник может быть и одиночкой, отставшим от своего времени лет на сорок». И вот он читает-читает, а в глубине души презирает все это.

Что до меня, то с современностью я обращаюсь так же, как и с прошлыми веками: я читаю только по надежной рекомендации и только после того, как схлынет общее любопытство. Иначе говоря, я пытаюсь заранее угадать, какие книги будут забыты, и не загромождать ими попусту свой ум. Так же и с наукой: мне думается, что многим ее теориям суждено кануть в небытие, и я предпочитаю чуть-чуть отставать от нынешних физиков. Тем самым я живу историчнее, чем кажется историку: ведь история шествует по развалинам, и главное в ней — поступки живых, а не прах мертвых. Историк к этой истории, что идет сама собой, просто добавляет другую — ту, которую он пишет. Я говорю ему, что он родился стариком, а он мне отвечает, что я умру малым ребенком.

12 апреля 1911

Курс лечения

Все сообщили, кто чем лечится — ваннами, душами, диетами,— и тогда незнакомец сказал им: «А я вот уже две недели как лечусь хорошим настроением, и мне очень помогает. Бывает, на душу находит язвительность, неудержимо тянет все бранить, ни в других, ни в себе самом не видишь уже ничего красивого или доброго. Когда мысли принимают такой оборот — значит, пора полечиться хорошим настроением. Лечение состоит в том, чтобы упражняться в хорошем настроении наперекор любым неприятностям, особенно тем пустякам, от которых в обычной жизни хочется разразиться проклятиями. Когда же лечишься хорошим настроением, то подобные мелкие пакости, наоборот, очень полезны, как крутые склоны полезны для развития ног».

И еще незнакомец сказал им: «Есть занудливые люди, которые собираются вместе, чтобы жаловаться и хныкать; в обычное время их обходишь стороной, но когда лечишься хорошим настроением, то их общества, напротив, надо искать. Это как гимнастические занятия с эспандером: сперва растягиваешь тонкие, слабые пружины, постепенно доходишь и до самых толстых. Так и я распределяю своих друзей и знакомых в порядке возрастания дурного нрава и упражняюсь сначала на одних, потом на других. Когда они настроены еще более кисло, чем обыкновенно, еще более изощренно на все брюзжат, я говорю себе: «Ага, отличное испытание! Ну-ка, смелее, попробуем перенести и это нытье».

И еще незнакомец сказал им: «Многие вещи тоже хороши — то есть достаточно плохи,— чтобы с их помощью лечиться хорошим настроением. Подгоревшее мясо, зачерствевший хлеб, жара и пыль, долги, которые пора платить, пустота в кармане — все это дает повод для полезнейших упражнений. Говоришь себе, как в боксе или фехтовании: «Искусный удар! Нужно теперь как следует отразить или принять его». В обычное время ты вскрикиваешь, как маленький, и от этого становится так стыдно, что кричишь еще громче. Но когда лечишься хорошим настроением, все происходит совсем иначе. Принимаешь удар словно освежающий душ, встряхиваешься, делаешь вдох и выдох; потом потягиваешься, разминаешь мышцы, складываешь их одну к другой, как белье, замоченное для стирки. И тут

тебя фонтаном окатывает струя жизни, приходит аппетит, все в тебе промывается, жизнь приятно пахнет... Но мне пора,— добавил он.— Ваши лица совсем просветлели, вас больше нельзя использовать для лечения хорошим настроением».

24 сентября 1911

О злых людях

Когда имеешь дело со злыми людьми, всегда приходится в чем-то им уступать. Вспомните, какую власть забирают капризные дети,— свои привилегии они сохраняют всю жизнь, нужно только, чтобы зловредность не знала устали, чтобы человек был готов возмущаться и негодовать до тех пор, пока ему не пойдут навстречу. Никакое добродушие, никакое благоразумие не выдерживают против злобы и ненависти. Либо ты сам подражаешь этому чудовищу, либо как-то задабриваешь его — другого выбора нет. Но изобретать для себя все новые и новые аргументы способна, наверное, только совершенно закоренелая злоба, так что в искусстве тиранить окружающих мастерство вряд ли когда-нибудь превзойдет и одолеет натуру. Все решает желчный темперамент. Рассудительному человеку лучше смотреть на вспышки злости как на природные явления и, убрав паруса, тихонько дрейфовать по ветру; в конечном счете так оно и приятнее. Угодничать — занятие, конечно, низкое, но зато очень выгодное. В отношениях с вещами маневрировать — значит побеждать; в отношениях с людьми это значит подчиняться. Потому-то злые люди всегда и властвуют.

Говоря о злых людях, я, стало быть, имею в виду не тех хитрых бестий, которые берут нас лицемерием; речь идет о скандалистах, о тех, кто не умеет сдерживать свои страсти, кто в простоте душевной судит обо всем с точки зрения своих желаний и постоянно принуждает окружающих их исполнять, сам о том не подозревая и даже искренне негодуя, что с ним никто не считается. Сила злых людей в том, что сами они мнят себя добрыми, страдающими из-за чужих прихотей. Оттого они вечно твердят о своих правах и взывают к справедливости. Они, если их послушать, стремятся только к добру; думают, по их словам, только о других; они вечно выставляют напоказ свои добродетели, вечно всех поучают, и притом от чистого сердца. Их проникновенные интонации, страстные тирады, горячие и взволнованные речи подавляюще действуют на души миролюбивых и честных людей. Порядочный человек никогда не бывает настолько в ладу со своей совестью; ему недостает пламенного чувства, озаряющего своим светом самые негодные доводы; он умеет сомневаться, рассматривать дело с разных сторон, а когда принимает решение в свою пользу, то от этого ему всегда немного не по себе. Он никогда не станет ничего требовать для себя и охотно готов обойтись тем, что имеет; он пошел бы на любые уступки, лишь бы его оставили в покое,— но покоя ему не видать. Его совестливость — веревка, за которую его тянут. Злой человек говорит ему: «Вы ведь такой добрый, справедливый и великодушный!» Порядочный же человек и хотел бы быть таким, да ему все кажется, что это у него не выходит. Как и всем людям, ему нравятся похвалы; зато упреки задевают его за живое, потому что он и без того слишком склонен винить себя сам и преувеличивать любые свои прегрешения. Вот вам и два средства, чтобы им управлять.

В довершение всего такие люди еще и снисходительны, они с пониманием относятся к скандалистам, жалеют и извиняют их; в сущности, они изначально носят в себе слабость и покорство — они счастливы. Они легко утешаются, смиряются. В детстве они играли где-нибудь в уголке с оставшейся на их долю пробкой от бутылки. Став взрослыми, они по-прежнему умеют радоваться вещам, которые ни-

кому больше не нужны, и оттого слишком быстро забывают о причиненном им зле. Дурной нрав — немалое преимущество в жизни, и, должно быть, именно поэтому желчные люди преуспевают в политике. Их боятся и, еще более интересная вещь, их любят за одно то, что они делают меньше зла, чем могли бы. Улыбку, похвалу, доброжелательный жест с их стороны принимают как благодеяние. Никто не гордится, завоевав симпатию доброго человека, зато сколько усилий мы тратим, чтобы заставить улыбнуться надувшегося ребенка! Забавнее всего, что злой человек, прочтя эти строки, скажет себе: ну, я-то человек добрый,— тогда как добрый спросит себя: а вдруг я на самом деле очень злой? Так что рассуждение это, хоть и метит в злых людей, поразит одних лишь добрых.

15 октября 1911

Царство глупцов

Одно время на всех стенах висели плакаты Лиги граждан[1], провозглашавшие этакую правовую максиму: «С бандитами не спорят — их судят». Меня часто подмывало подклеить к этому лозунгу другой, напоминающий, что «никто не судья в своем собственном деле». Однако я воздержался от этого, чтобы не попасть в тюрьму. То было время, когда у нас всех запугивали и всем заправляли глупцы.

Глупость-то и раздражала меня больше всего — глупость в каком-то смысле преднамеренная и исходившая от людей, которые в иное время по большей части мыслили бы корректно. Я еле переносил эту жизнь на военном положении, когда у меня на глазах разумные люди один за другим переходили в стан буйно помешанных. Легко было шарахнуться в противоположную глупость, а я всегда говорил, что одна не отличается от другой, ибо идея и ее отрицание вместе составляют одну и ту же идею, как выпуклый медальон и вогнутая форма для отливки изображают одну и ту же фигуру.

Глупость — это речь, устная или письменная, в которой говорится не то, что она, казалось бы, значит. Оттого полезно разбирать ее грамматически, восстанавливая нормальный смысл каждого слова. Никто не смешивает месть, которую вершит оскорбленная сторона, с судом, который вершит третейский арбитр. Написав на стенах просто «Не забывай о мщении», они лучше выразили бы свою мысль. Я люблю, чтобы в мнениях людей был четкий смысл, и в таком выкрике я распознал бы нечто человеческое, что уже можно как-то принять. Человека, идущего на войну из чувства мести, я остерегаюсь, как брошенного камня. Это опасность преходящая. Как бы быстро ни летел камень, рано или поздно он упадет на землю. Ярость не может длиться бесконечно, так как человеческое тело не способно долго выносить одинаковый настрой. Самый разъяренный человек в конце концов проголодается или заснет. В худшем случае он кого-нибудь убьет или будет убит сам. Так что если бы члены Лиги граждан все как один пошли на фронт по примеру Колиньона и Байе[2], которым не стал помехой их возраст,— мне осталось бы только набраться терпения. Когда сражаешься с врагом на расстоянии ружейного выстрела, это настолько усмиряет страсти, что я способен по речи человека угадать, воевал он или нет.

Дурно составленная фраза грозит куда худшими бедами. Дело в том, что она может оглушить и ввести в заблуждение добрую волю людей, в которой только и заключена наша надежда. Люди прекрасно знают, что мира нет без справедливости,— и они стремятся к доб-

---

[1] Лига граждан, или Лига патриотов,— шовинистическая организация во Франции, выступавшая за войну с Германией «до победного конца».

[2] Видный чиновник, государственный советник Анри Колиньон (1857—1915) в 1914 году вступил добровольцем в армию, воевал в чине ефрейтора и погиб на фронте; добровольцем воевал также и известный историк, профессор Шарль Байе (1849—1918).

ру, вглядываясь в его очертания, но обманываясь затемняющими его призраками. И если им покажется, что в чтимом ими слове «правосудие» скрывается опять-таки война, что право требует насилия,— тогда, даже не будучи ослеплены яростью, они снова возьмутся за оружие. Поэтому создатели призраков и ложных мнений страшнее всех. Войну развязывает человеческая мысль. И даже теперь, спустя столько времени, та убогая максима, давно исчезнувшая со стен, продолжает отбрасывать призрачную тень на многие умы. А те, кто в нее не верит, боятся ее — значит, тоже верят.

12 апреля 1921

Дух войны

Представьте себе эскадрилью на летном поле. Грузные летающие насекомые неподвижно раскинули крылья или ползают по земле; полотняные стены палаток хлопают на ветру, точно корабельные паруса. Чумазый механик тащит куда-то инструменты и канистры с маслом. А вот и люди-птицы, чисто умытые, щеголеватые, с тросточкой в руке; они просты, приветливы, дружелюбны, как люди, которые в ответе лишь за свои собственные поступки. И наконец, командир, в более темной одежде, с холодным и жестким лицом — он тут единственный военный человек. Не сразу ясно, отчего этот суровый и угрюмый деспот так выделяется среди юных лиц, на которых столь отчетливо читаются дружба, чувство чести, природная отвага и тяга к приключениям. Если бы вождь иногда улыбался, какой вольной и благородной была бы эта война — словно перед нами лагерь рыцарей из поэм Тассо или Ариосто. Но он не улыбается; быть может, ему просто мешает возраст или больной желудок.

А может быть, и кое-что другое. Главнокомандующий, тот, кто завтра двинет вперед целую армию пехотинцев, пушек, самолетов, обеспокоен новыми укреплениями, которые спешно сооружает противник. Авиационная разведка должна их сфотографировать. Любой ценой. И это не пустые слова — известно, что в небе вражеские истребители. Но главнокомандующего не заботят средства для достижения цели: его дело — приказывать и карать. Его приказ следует по команде — и превращается в достойную спартанца речь, произнесенную под рев двух запущенных моторов: «Необходимо, чтобы самолет-разведчик вернулся со снимками. Ваша задача, господа истребители прикрытия, сделать так, чтобы он вернулся. Если он не вернется, вам тоже возвращаться незачем». Такие слова трудно выдумать; но я верю в правдивость этого рассказа еще и потому, что мне видится в нем дух войны, каким я ощущаю его повсюду,— в основе его непреложная необходимость. Требуется совершить невозможное, и для этого не хватит никакой смелости и твердости духа — нужно еще принуждение, безжалостное, глухое к возражениям, постоянно нависающее над головой. С точки зрения командира, все прошло наилучшим образом, насколько позволяла трудная обстановка: самолет-разведчик вернулся, оба истребителя пропали без вести.

Легко возмущаться расстрелами без суда и следствия, но, на мой взгляд, было бы духовной трусостью обращать внимание только на них. Ведь и при малейшей атаке часть бойцов посылают на верную смерть, и это ясно всем, кто отдает приказ об атаке. О риске и удаче можно говорить в отношении исхода самой операции; но в том, что касается гибели, увечья и страданий известного числа людей, не повинных ни в каком преступлении, не может быть ни сомнений, ни удачи, ни риска — здесь все предрешено. Вот вам и смертный приговор, без всякого учета заслуг и провинностей, без всякого рассмотрения доводов и возражений. Не так было в гладиаторских боях, когда боец сам защищал свою жизнь и ставил на службу этой цели свою решимость, силу, сноровку и вооружение. Ныне война настоль-

ко механизировалась, что смерть известного числа людей — и, прямо скажем, лучших — включается в заранее исчисленные издержки предприятия; убыль личного состава — вдумайтесь, что это значит,— рассчитывается таким же образом, как износ лопат, колес или пушечных стволов. Как известно, что придется сжечь столько-то килограммов пороха, точно так же известно, что придется превратить в трупы такую-то как минимум массу живых людей; здесь нет места сомнениям. Когда же ставят к стенке одного или двух человек, не слушая их оправданий и даже не думая о возможной ошибке, то вы говорите, что тут совсем другое дело. По-моему, мало-мальски пристальное размышление на эту страшную тему показывает, что разницы никакой нет.

10 июля 1921

Задевая чувство чести

Среди молодежи, что в сентябре четырнадцатого года вместе со мной училась солдатскому ремеслу, был один дюжий молодец с дворянской частицей в фамилии, член Лиги патриотов, который раздавал всем брошюрки и присовокуплял к ним свои собственные речи, напыщенные и плоские. Шуму он поднимал на всю казарму. Иногда я вынимал трубку изо рта и спрашивал, не знает ли он, когда господин Баррес [1] вступит в армию добровольцем на весь срок войны. Раздавался хохот. Хорошие шутки не стареют, а эта всякий раз действовала двояко: фронтовики смеялись, тыловики злились. Так в руках у меня очутилась словно лакмусовая бумажка, позволявшая в случае сомнений быстро узнать, бывал ли в боях встреченный мною человек в униформе. Мои неожиданно действенные насмешки явились как бы местью за весь простой фронтовой люд. Но хотя опыт научил меня многому не удивляться, я все же до сих пор удивлен, как это человек на виду у всех мог до такой степени пренебрегать общим презрением.

Сей молодой герой образца четырнадцатого года в дальнейшем удивил меня еще больше. Свалившись два-три раза с коня (без особого вреда для себя), он стал нам говорить, что у него больно покалывает сердце, что врачи когда-то предрекли ему смерть во цвете лет и, наконец, что он просит назначить его караульным в гарнизон Мон-Валерьена [2] — он был бы рад хоть на таком скромном посту послужить отечеству. Другие новобранцы, еще принимавшие всерьез сердечные болезни, не знали что ответить. Но мне бог ниспослал красноречие. «Не делайте этого,— сказал я.— Я вижу, жить вам остается всего месяц, значит, использовать его нужно как можно лучше. В Мон-Валерьене вы умрете зря, без славы. Пойдемте лучше на фронт. Я знаю, полковник ни в чем вам не откажет. Пусть же он сделает такое одолжение сразу вам, мне и еще двум-трем парням, что изнывают тут от тоски. Вам нечего терять, вы будете храбрым воином. Какой-нибудь осколок снаряда вас уж не минует; а если, на худой конец, вы умрете от страха, то и это называется пасть смертью храбрых». С тех пор мы избавились от его разглагольствований, а остальные юноши получили урок презрения.

Примерно так же я ответил в письме одному своему приятелю, несколькими годами моложе меня; в ожидании призыва в армию он распалял мой дух воинственными посланиями, утверждая, что ему самому не терпится в бой. Увы, он тоже ощущал болезненное покалывание в сердце и опасался неблагоприятного приговора медицинской комиссии. Против медицины мое письмо оказалось бессильно.

---

[1] Морис Баррес (1862—1923) — писатель-националист, возглавлявший с 1914 года шовинистическую Лигу патриотов.

[2] Мон-Валерьен — форт на окраине Парижа.

Этот здоровяк был сбережен до победы, которую он ныне и торжествует.

«Но к чему такие жестокие слова, которые многих больно заденут? — спросит меня благоразумный человек.— Вы как будто кому-то мстите, то есть продолжаете войну? Или тут что-то иное?» Да просто я ищу подход к людям. По-моему, чувство чести есть почти у всех. Я убежден, что именно из чувства чести сильнейшие из людей не позволяют себе думать о примирении. Избавиться от этого нельзя — мне бы не хотелось, чтобы молодежь не заботилась о своей чести. Но беда была бы не столь велика, если бы все слабые — женщины, старики, больные — сочли делом своей чести никого по своей воле не подстрекать к войне. Ибо нет никакого бесчестия в том, что ты слаб, болен или стар; но бесчестно, если ты, будучи слаб, болен или стар, позволяешь себе подстрекать к войне других. По крайней мере, таково мое мнение на этот счет. Я никого не порицаю — я лишь пытаюсь осветить неясный вопрос.

14 сентября 1921

Чужое племя

У Киплинга рассказывается[1], как слон ночью начинает рваться с привязи, вырывает вбитые в землю колья и, отвечая на призывы сородичей, бежит в лес на священный танец слонов, которого никогда не видел ни один человек. Потом, как верный друг человека, он возвращается в свой загон. Так и дитя, разлученное с ребячьим племенем, стоит у закрытого окна, вслушиваясь в призывные крики детей. Тесные узы связывают его с семьей, но не менее естественны и его связи с ребячьим племенем. В известном смысле он чувствует себя как дома скорее среди детей, чем в своей семье, где между окружающих нет ни равных, ни подобных ему. Оттого, лишь только ему удается перегрызть свою привязь, он спешит присоединиться к игре — этому священному культу ребячьего племени. Тут он вполне счастлив, подражая себе подобным и видя, как в их поступках отражаются его собственные.

В семье дитя не может быть самим собой; у него здесь все заемное, ему приходится брать пример со старших; от этого ему тоскливо и беспокойно, а мы не можем понять, в чем причина. Он здесь словно чужеземец: ему приписывают чувства, которых он не испытывает, и он сам под них подделывается. Нередко детей называют непослушными просто потому, что им не терпится порвать привязь и присоединиться к ребячьему племени. Племя это безбожно-набожное: в своих играх оно творит обряды и молитвы, но не знает никакого потустороннего бога. Оно само себе бог, оно боготворит сам обряд и ничего более — такова любая религия в свою лучшую пору. Непосвященным не подобает подглядывать за игрой; еще хуже, если они сами в нее вмешиваются,— истинно верующие не выносят фальши. Отсюда беспричинные, казалось бы, вспышки раздражения. Однажды, когда я был маленьким, отец одного из моих друзей неосмотрительно вздумал поиграть с нами в солдатики: я видел, что он ничего не понимает в игре, и даже его собственный сын злился и раскидывал фигурки. Взрослые ни в коем случае не должны играть с детьми; по-моему, благоразумнее всего вести себя с ними учтиво и сдержанно, как с представителями чужого племени. Если рядом с ребенком нет его сверстников, пусть лучше играет сам с собой.

Вот почему школа — учреждение, соответствующее природе. В ней ребячье племя собирается вместе; да и само ученье — своего рода обряд; важно только, чтобы учитель сохранял дистанцию и обособленность — ему не подобает вставать на одну доску с детьми и

[1] См. рассказ «Маленький Тумаи» («Слоновый Тумаи») из первой «Книги джунглей» (1894).

самому притворяться одним из них. Это все равно что непосвященному вторгнуться в тайное общество. У ребячьего племени свои священные законы, и оно ими ни с кем не делится. Узы товарищества по играм настолько сильны, что они связывают людей на всю жизнь и заставляют встречаться по-дружески, даже если прежние друзья не виделись двадцать лет и уже почти не помнят друг друга. Так ребячье племя растет и становится племенем взрослых, обособленным и от тех, кто старше, и от тех, кто идет следом. Всегда трудно найти общий язык со старшим братом; еще труднее, почти невозможно, — с отцом; легче — с незнакомцем другого возраста; еще легче — с учителем чистописания, математики или словесности, потому что учитель чувствует и уважает возрастные различия, в то время как отец или брат ищут взаимопонимания накоротке и, не добившись его, быстро теряют терпение. Учитель, таким образом, служит послом, посредником между ребячьим племенем и племенем старших.

25 февраля 1922

О тех, кто отворачивается

Не думаю, чтобы на свете было слишком много глупцов; лично я до сих пор не встречал ни одного. Нет, все это скорее закрытые, замурованные умы. Думаете, их природа так обделила? Ничего подобного — они сами в этом упорствуют. «Не желаю я открывать свой ум для всяких там идей — они еще станут мне в копеечку». А моту, наоборот, не хочется считать деньги: «Не желаю я знать этих строгих цифр — а то еще придется из-за них жить по-нищенски». Третий говорит себе: «Не люблю я всех этих рассуждений — из-за них еще придется долги прощать; я хочу, чтобы мне заплатили, и ни о чем другом думать не желаю». Человек любит правду, но еще больше боится ее. Скажем даже точнее: боится, потому что любит. Так отворачиваешься, чтобы не смотреть слишком долго на очень красивую женщину.

Меня не раз изумляло, как такие любители отворачиваться издалека чуют приближение неудобной мысли и как умело они переводят разговор на другое. «Давай не будем об этом»,— осмотрительно говорят они себе. Так наполовину усыпленной женщине внушают, что один из присутствующих отошел прочь,— испытуемая перестает видеть его, считая отсутствующим, но при этом ловко избегает столкновения, малейшего соприкосновения с ним; она всякий раз аккуратнейшим образом обходит его стороной. Я сам неоднократно наблюдал такие поразительные опыты, и вижу я в них отнюдь не свидетельство слабости, механической податливости ума; напротив, я всегда усматривал здесь тайное двуличие и хитрость. Гипнотизер, при всей своей внешней власти, в конечном счете всегда оказывается обманут сам. Человеческая природа покорно разыгрывает комедию, но в глубине нимало ей не поддается. Как бы послушно она ни открывала мне свое механическое устройство, я все равно остаюсь ей чужд, как осел, вращающий мельничный вал, чужд шестерням и жерновам мельницы. Все это одни лишь слова или внешние ужимки; так дрессированные крокодилы проделывают всякие прелестные фокусы — однако же крокодил остается крокодилом.

Оттого не очень-то мне верится, когда читаю о чистых душах, что среди жестоких испытаний войны искали и не могли найти правду. Кто ищет правду, тот быстро ее найдет. Но если искать ее опасно или же твои интересы связаны с неправдой, тогда всяк облачается в этакий политический панцирь, наглухо застегивается и зорко следит за каждой щелкой. Заметьте, что это требует весьма тонкого ума — ведь наши крокодилы в мыслях своих останавливаются задолго до того, как доберутся до узкого места. Как скряга за версту ви-

дит, что у него идут попросить взаймы, так и они за версту чуют, что их хотят в чем-то убедить и ловко уклоняются от встречи либо захлопывают и запирают двери своего ума. Но не думайте, что жильцы спят — из темных окон дома они следят за вами, как скупец следит за вором. Вам их не видно, а они вас видят прекрасно. Вам ни шагу не ступить перед запертой дверью, чтобы об этом не узнали по ту сторону. Наивно кидать камешки в окно, пытаясь разбудить того, кто вовсе не спит. Не говорите же, что все ваши слова пропадают зря: именно что ни одно из них не пропадает. А потому — терпение, медленная осада и хитрость против хитрости.

24 мая 1922

Я родился рядовым...

Я родился рядовым. Попы, учившие меня тому, что знали сами и что вскоре я стал знать не хуже их, всегда это понимали; мои переводы с латинского и греческого удивляли их так же, как нас удивляют птичьи гнезда или бобровые плотины — и впрямь странно для столь примитивных тварей. Многие из моих товарищей родились офицерами, о чем я быстро догадался по тому, как они бесцеремонно обращались со мной и забрасывали на дерево мою фуражку. Защиту от этого я нашел — давал им время от времени хорошего тумака. Позднее я стал защищаться изящнее, разящей насмешкой. Так что пишу я это не для того, чтобы пожаловаться на свою участь, а чтобы объяснить свой образ мыслей тем, кто удивляется и даже огорчается им — ибо они родились офицерами. Не глупцами, нет: глупцов на свете далеко не так много,— просто они убеждены, что на свете есть люди, рожденные повелевать, и что сами они из их числа. Мне легко их узнать по особому, довольному и самоуверенному, виду — как будто впереди них идет незримая стража, отстраняющая с дороги чернь. Профессии у них самые разнообразные: одни и в самом деле офицеры, другие — лавочники, священники, профессора, журналисты, швейцары или церковные привратники. Объединяет их уверенность, что стоит им упрекнуть или предостеречь меня, как я тут же откажусь от своих убеждений рядового; в этом они всякий раз ошибаются.

Позднее, очутившись по чистой случайности в среде наших книжников и законоучителей [1], я встретил там своего собрата в лице неимущего студента, жившего на государственном обеспечении, а в учебе опережавшего прирожденных офицеров; ему не это ставили в вину, а скорее несоответствие между его талантами и его манерой судить о жизни. «Как же так? Вы ведь государственный стипендиат»,— не раз говорил ему с оттенком грусти некий политик из газеты «Тан», по рождению — полковник. Этот студент побивал всех в латинском и греческом языках, но был слишком бесхитростен. Не стремиться к карьере — преступление, а показывать это любителям воровать чужие фуражки — непростительная ошибка, как я убедился на седьмом году жизни.

Мне по душе рядовые социалисты, и мне искренне хотелось бы всегда быть с ними — как говорится, «в горе и в радости». Но в их руководителях, в проповедниках их учения я почти всегда узнавал прирожденных офицеров; потому-то я всякий раз и отшатывался от них в болото, к жалким лягушкам-радикалам, которых учение социалистов надменно втаптывает в грязь. Исключением был только Жорес, в котором я сразу признал рядового по призванию — ибо он никогда не пытался меня убеждать, даже не думал об этом. Так я и остаюсь студентом-отличником с неблагонадежным образом мыслей; вечно приходится мне говорить то, что думают лягушки, которых втаптывают в грязь, вечно я вынужден высказывать то, что они сами не умеют или не решаются сказать; проявляя черную неблагодар-

[1] Ален имеет в виду свою учебу в высшей нормальной школе — привилегированном учебном заведении в Париже.

ность, я обращаю острие риторики против тех, кто научил меня ею владеть, и покалываю своей сабелькой самого Цезаря. Когда я вернулся с войны, один славный малый, мой старый верный друг (хотя в последнее время у него и появились фельдфебельские повадки), кратко определил меня так: «Солдат-бунтовщик». Подумать только, как просто и ясно стало бы все в нашей политике, если бы запретили писать и говорить всем тем, кто по чину ниже капитана!

10 июня 1922

О баранах

Барану не с руки иметь свое суждение о жизни. Потому и видим мы, что впереди идет пастух, а бараны толпой бредут следом; для них нет худшей беды, чем перестать слышать голос пастуха — ведь он для них вроде бога. Мне рассказывали, что бараны, которых гонят в город на убой, по дороге мрут от горя, если вместе с ними не идет их всегдашний пастух. Оно и естественно: ведь пастух и впрямь много заботится о баранах, об их благе. Все, правда, портит бойня — но это дело быстрое, скрытое от глаз, так что бараньи чувства не страдают.

Матери-овцы так и учат ягнят, прививают им баранье послушание и пугают их волком. А еще больше их пугают черным бараном, если такой есть в отаре: подумать только, он пытается утверждать, что злейший враг баранов — пастух! «А кто заботится о вас? Кто укрывает вас от жары и от дождя? Кто подлаживает свой шаг к вашему, чтобы вы могли в свое удовольствие щипать травку? Кто из сил выбивается, разыскивая заблудшую овечку? Кто на руках приносит ее обратно в отару? Я сама видела, как этот грубый человек плачет над павшим от болезни бараном. Да, я видела, как он плачет. А когда одного ягненка задрал волк, как он взъярился! Этим делом занялся сам главный пастух, наше высшее и незримое божество; он дал клятву отомстить за ягненка, началась война против волков, и за одного-единственного ягненка пять волчьих голов были прибиты к воротам нашего хлева. К чему иные доказательства? Мы плоть и кровь его, он наша сила и наше благо; его мысль — наша мысль, и его воля — наша воля. Потому-то, сын мой ягненок, ученый баран и говорил тебе, что твой долг перед самим собой — достойно нести бремя повиновения. Поразмысли и рассуди сам: по какой такой причине можешь ты ослушаться? Ради пучка травки? Или ради удовольствия попрыгать на воле? Получилось бы, что ты весь во власти своего языка и своих непослушных ног. Но ведь это не так. Ты же сам понимаешь, что у дисциплинированного ягненка, который хочет стать настоящим бараном, ноги не могут перечить всему телу. Подумай хорошенько, в этой бараньей идее, быть может, лучше всего проявляется дух истинного барана. Будь же послушным членом отары, как нога твоя является твоим членом».

И ягненок думал обо всех этих возвышенных идеях, пытаясь унять дрожь в ногах,— ибо отовсюду он чувствовал запах крови, и то и дело слышалось жалобное блеяние, которое вскоре прерывалось; он предчувствовал что-то ужасное. Но чего бояться, когда у тебя добрый хозяин и ты всегда его слушался? Чего бояться, если пастух стоит со своим обычным спокойным видом, как и на пастбище? У кого не вызовет доверия длинная череда его поступков, каждый из которых приносил благо? А раз благодетель и защитник хранит спокойствие, чего же тут бояться? И даже когда ягненка уложат на залитый кровью стол, он все еще будет искать глазами благодетеля и, заметив на себе его пристальный взгляд, соберет все мужество, какое есть в его ягнячьем сердце. И тут одним ударом ножа с доски стирается решение задачи, а заодно и сама задача.

13 апреля 1923

Еще раз о баранах

Продолжая свои исследования по бараньей политике, начатые мною вслед за Платоном [1], я обнаружил, что бараны обладают большой, почти неограниченной властью над пастухом. Ведь если бараны теряют в весе или хотя бы шерсть у них плохо вьется, то пастух совершенно искренне печалится. А если среди баранов начнется мор? Тотчас же пастух начинает искать его причины, следить за травой, водой и за поведением своей собаки. Говорят, пастух любит свою собаку, она служит ему как бы министром полиции; но баранов своих он любит еще больше. И если доказано, что собака слишком больно кусается, слишком громко лает и вообще вечно рычит, отбивая у своих подопечных охоту есть, пить и жить на свете, то пастух утопит собаку. Таким образом, мнение баранов, даже самое вздорное,— закон для пастуха. Пастух, конечно, скажет: до чего же глупы эти бараны — но тут же постарается их ублаготворить и для этого стремится примечать, какой ветер им нравится, как они относятся к солнцу, каких звуков боятся и от какого запаха приходят в ужас.

Поэтому пастух мог бы, ничуть не лицемеря, обратиться к баранам с такими словами: «Господа бараны, друзья мои, мои подданные и повелители! Знайте, что нет и не может быть у меня иного, чем у вас, мнения насчет травы или ветра; если же говорят, что я вами правлю, то это надобно понимать в том смысле, что я придаю вашему мнению еще большую цену, чем вы сами, и храню его в своей памяти, дабы вы сами его не забыли, увлекшись чем-нибудь или просто от данного вам в удел блаженного легкомыслия. Вам довольно всякий раз лишь дать мне понять, что вам нравится, а что нет, и больше об этом можете не думать. Я ваша память, я ваше предвидение, или, выражаясь высоким слогом, провидение. Если же я не даю вам делать что-то такое, чего вам хочется,— скажем, щипать мокрую траву или спать на солнце,— то единственно потому, что уверен: вы бы сами потом об этом пожалели. Ваша воля превыше моей, да у меня и вовсе нет другой воли, кроме вашей, и вообще я неотделим от вас».

Эта речь правдива и логически безупречна. Тот, кто вздумал бы ввести у баранов всеобщее избирательное право, чтобы они могли контролировать пастуха и переизбирать его на новый срок, услышал бы в ответ, что и контроль и перевыборы происходят сами собой, вытекают из самой сути постоянных отношений между отарой и пастухом. А теперь представим себе, что бараны вдруг решили умирать только от старости. Ну разве додумается кто-нибудь до такого, кроме самых неблагодарных, самых отъявленных черных баранов? Да разве можно всерьез рассматривать столь диковинную причуду? Разве найдется в бараньем праве хоть какой-нибудь принцип или прецедент, применимый к такому небывалому требованию? Бьюсь об заклад, что собака, министр полиции, сказала бы пастуху: «Эти бараны сами не понимают, что говорят. Их нелепая затея просто означает, что им не нравится хлев или пастбище. Здесь-то и нужно искать причину».

12 мая 1923

Очки

Один дипломат, вынужденный на склоне лет носить очки, жалел, что не обзавелся этим полезнейшим предметом лет на двадцать раньше. «Я всегда обращал внимание, что на свете всем заправляют те, кто в очках, только не мог понять почему»,— говорил он. Дело

[1] См. первую книгу «Государства», где обсуждается, в частности, образ пастуха и овец как метафора государственной власти.

в том, что в незащищенных глазах можно прочесть твои мысли; по крайней мере ты сам так считаешь, и собеседник твой считает так же и постоянно следит за блеском твоего зрачка, как фехтовальщик за кончиком шпаги. Лично я думаю, что во взгляде можно вычитать много такого, чего вовсе и нет на уме; однако в нем проступают мгновенные тайные движения души — основа всякой мысли; а столь необдуманные порывы лучше держать при себе. Говорят, в таких внезапных мыслях сказывается живость ума; но мысль эта, мячиком скачущая из рук в руки, в конце концов возвращается к тебе обессиленной, как запыхавшийся от бега ребенок, и уже не годится для серьезного размышления. Уже хотя бы поэтому лучше быть скрытным. Писатели не раз замечали: то, что однажды рассказано вслух, потом уже невозможно написать; оттого они и избегают участвовать в беседе. Ясно теперь, что сдержанность дипломатов — не всегда ложь. Но при чем же тут очки?

Именно тут-то они и приходят на выручку. Сквозь них я вижу все, но меня сквозь них толком не видно. Мой взгляд неуловим — мешают отблески стекла. Так я выигрываю время. Конечно, можно и без очков отвести взгляд — но это средство коварно: столь смиренный жест обратно не возьмешь, а ум человеческий чувствителен к внешним знакам и теряет всякую уверенность, едва ощутив, что его уловка разгадана. Зато какое отличное убежище очки — как легко за ними выжидать, подстерегать противника! Под их прикрытием растет, крепнет и зреет мысль — а иначе ей придется дрожать от холода у всех на виду и, за неимением лучшего, согреваться бесцеремонными выходками. О человеке, который не чувствует этой наготы своих глаз, не озабочен ею, говорят, что у него «глаза не зябнут»[1]. Мысли у такого человека или совсем куцые, или уж они глубоко выношены и продуманы. Известно, что Гёте не выносил людей в очках — он был достаточно уверен в себе, и не опасался бесцеремонности, и притом любил читать в сердцах; к тому же Олимпийцу льстила робость его почитателей.

В очках есть какая-то дьявольская — кривая — сила, от них невольно делаешься лукавым и язвительным. Их стекла поблескивают словно вспышки выстрелов и бьют без промаха; причем поначалу это получается ненарочно — просто ты сходил в мастерскую и купил там очки. Но вскоре ты начинаешь играть ими, как мальчишка с солнечным зайчиком,— отражать свет в глаза докучным людям. Человек в очках любит резко менять позу, вертеть головой; собеседник наивно пытается как-то расшифровать эти жесты — а меж тем из-за вспыхивающих стекол за ним наблюдает невидимый глаз. Оттого говорить с человеком в очках нелегко — все равно как с человеком, которого ты не видишь, не можешь разглядеть, а сам он прекрасно тебя видит; или же как с человеком, который тебя узнал, а ты его никак не вспомнишь. Самый уравновешенный ум теряется при таких встречах: начинаешь припоминать имя, и эти попытки отнимают все силы. Но у близорукого есть еще и другие средства в запасе: вот он снимает очки, дышит на них и протирает платком — он словно вышел и оставил вас одного, ибо теперь вы его видите, а он вас нет. Вы выключены из его мира и вернетесь туда, лишь когда он сам пожелает, когда он сам вернется к вам; он сам решает, когда войти и выйти. Что может быть естественнее? Полюбуйтесь-ка, как он нетороплив и уверен в своей неуязвимости — у него даже руки заняты, его решительно ничем не проймешь. Робость, на мой взгляд,— общераспространенный недуг; а потому хорошо быть близоруким.

18 августа 1923

---

[1] Игра слов: «n'avoir pas froid aux yeux» означает «не знать страха».

Применение силы

Артиллеристу виден столб пыли и рушащиеся стены. Эта игра похожа на охоту, только на вид не столь жестокую. Артиллерист не видит ни крови, ни трупов, он о них даже и не думает. Он озабочен тем, чтобы рядом с ним, утверждая силу командирского голоса, грянул выстрел, а немного погодя в бинокль будет видно реальное действие этой силы. Поскольку же внешне одно с другим не связано, то кажется, будто разрушительный эффект порожден одним лишь усилием воли и ожиданием. Даже сторонний зритель всякий раз ждет, высматривает, приветствует удачное попадание.

Так и летчик, сбрасывая бомбы, нимало не думает о том, чтобы разбивать головы и разрывать тела людей. Ему хватает забот со своим делом; ему, наверное, и испугаться-то некогда. Мне не раз приходилось слышать и читать нелепые фразы об «убийцах наших женщин и детей». Повсюду эта безрассудная и страшная несправедливость, когда каждый считает, что борется за цивилизацию против варваров; причиной тому, вероятно, нынешнее дальнобойное оружие. Шпаги слишком длинны, и каждый из противников видит только свой эфес и чувствует, как в него вонзается чужое острие. Оттого каждому собственные действия кажутся благородными, а чужие — преступными. Мы наверняка были бы человечнее, если бы могли охватить взглядом все части шпаги.

Многим известно, и даже слишком хорошо известно, страшное действие зажигательных снарядов — особенно в 1914 году, когда в деревнях еще было чему гореть. После третьего разрыва все пылало, как спирт в пуншевой чаше. Тогда и в наши батареи поступили такие снаряды; о них рассказывали чудеса. Так вот, представьте себе артиллерийского наблюдателя, которому приказано засечь первые загорания, а он ничего не видит. По телефону его честят малоприятными словами — комическая сцена, со стороны над ней можно и посмеяться. Но в эту минуту его взгляд жадно ищет, алчет, призывает пламя, чтобы выйти из своего дурацкого положения. До чего обрадуется он, заметив, что деревня вдали вспыхнула словно факел! И как ему задуматься о раненых, которые сейчас сгорают там заживо?

Из винтовки выстрелить легко — достаточно слегка нажать пальцем; и отныне человек не больше чем мишень в прорези прицела. Если бы войну приходилось начинать на ножах, это не пошло бы на пользу политикам. В первые дни войны я прочитал в газетах об одном случае, вряд ли целиком выдуманном. Несколько вражеских кавалеристов во главе с офицером столкнулись на деревенской улице с патрулем из двух-трех наших пехотинцев. Внезапно оказавшись лицом к лицу, они увидели друг в друге людей; произошло мгновенное замешательство. Тогда офицер попытался убить одного из пехотинцев и тут же был убит сам. В этой быстротечной драме скрыт глубокий смысл. Офицер понял, что он не может выполнять свою работу, что сам он выглядит нелепо; и он, видимо, решил наказать плохого солдата, забывшего о воинском уставе.

Иногда в артиллерийские бинокли было видно, как пехотинцы из передового охранения вылезают на бруствер и перекликаются с чужими окопами. В таких случаях немедленно следовал приказ открыть огонь, и огонь этот был направлен не столько против врага, сколько против мира. Так и Ришелье сам не знал, до какой степени оправданна его знаменитая латинская надпись на пушках: «Последний довод королей».

27 сентября 1923

Права человека

В Лиге защиты прав собаки однажды разгорелся спор о правах человека. «Вопрос в том,— сказал пудель,— чем обусловлена роль

домашнего животного, которую у нас на глазах вот уже столько веков исполняет человек,— то ли его природа изначально ущербна, то ли в незапамятные времена претерпела какой-то ущерб. В самом деле, никто не видел, чтобы собака сама строила себе конуру, или варила себе суп, или резала и жарила мясо; эти холопские обязанности всегда были уделом человека, и можно даже предположить, что исполнять их доставляет ему удовольствие. Более того, следует признать, что собака, если бы не поразительный инстинкт ее меньшого брата, сама никогда бы не додумалась употреблять в пищу пшеницу и свеклу и ей остались бы неведомы хлеб и сахар. Испокон веков мы получаем от человека лучшую часть этих припасов — точно так же, как, по свидетельству исследователей, человек отбирает мед у пчел. Однако нужно отметить, что по своим навыкам человек значительно превосходит пчелу. Он добывает мед и сладости из всего на свете; и если бы умение делать вещи было равносильно знанию, то следовало бы счесть человека ученейшим существом. Однако рабское состояние, в котором мы его держим без особого труда (при том что он гораздо сильнее), наводит на мысль, что в его изобретательности разум сказывается не в большей степени, чем у пчел, когда они вырабатывают мед. Наш ум теряется в догадках при мысли об удивительных творениях человека; тут и огромные здания, и благодетельный огонь, и мягкие ковры, и продлевающие день светильники — всевозможные блага, которыми мы лениво пользуемся. Что это — плоды разума, запутавшегося в своих собственных тенетах, или же следует признать, как предлагают некоторые, что навыки человека обусловлены просто необычайным строением его руки? Факт тот, что род людской трудится, собачий же род пребывает в покое, мечтах и созерцании. Позволительно, однако, предположить, что непрерывная череда забот, следующих одна за другой и требующих неусыпного внимания, полностью поглощает человека, так что ему некогда задуматься и составить суждение о себе и о том странном положении, когда собака, без всякого принуждения со своей стороны, получает от человека пищу, кров, защиту и ласку.

Конечно, способность суждения значит немало,— продолжал пудель.— Но позвольте задать вопрос: разве была бы возможна эта благословенная свобода духа без помощи тех, кто беден разумом? Во что превратилась бы наша жизнь, особенно по ночам, если бы в глуши непроходимых чащ нас по-прежнему подстерегали чудовища из древних легенд — львы, гиены, шакалы, вепри? Вероятно, нам приходилось бы драться, прятаться, спасаться бегством, если бы не достохвальное изобретение заборов, оград, стен и дверей,— а ведь надо признать, что даже и под их защитой мы не спим по ночам, терзаемые, очевидно, наследственным страхом. По первому же зову собаки словно некий инстинкт сторожа и защитника пробуждает человека ото сна, заставляет его тревожно прислушиваться. Господа, мне видится во всем этом удивительная гармония, ибо мыслящему существу свойственно по незначительным признакам предвидеть и даже представлять себе возможные опасности, инстинкт же всякий раз срабатывает с тупой безотказностью. Так разделяются на путях естества, совершенствуясь каждая по отдельности, предусмотрительность и сила, причем сила подчинена предусмотрительности. Мыслящий дух, порождающий страхи, держит при себе бесстрашных сторожей. Такое сочетание не случайно. Здесь просматривается высший промысел. Суета человеческого улья нужна для того, чтобы бытие в конечном итоге предстало перед собственным взором,— и свершилось это в сознании свободного от забот пуделя, который ведет на поводке своего человека и предугадывает каждый шаг этой затейливой твари, не пытаясь на нее воздействовать».

«Очень хорошо,— сказал на это самый большой пес,— но не нужно забывать, что, рассуждая о человеке, было бы ошибкой вооб-

ще предполагать у него какие-либо мысли. На мой взгляд, источник всех его дел — строение его рук, их бесцельная игра, так что, пристегивая себя поводком к собаке, он сам не понимает, что делает. Лично мне по нраву такая наивность, я могу ее только приветствовать. В труде происходит накопление ценностей; позднее, когда оно уже осуществилось, появляется и мысль. Человек и собака составляют древнейший союз. Не будем же забывать, что фактически он зиждется на более или менее признанной дружеской основе,— в этом-то смысле и существуют права человека».

10 октября 1925

Механическая цивилизация

Я глубоко восхищен нашей цивилизацией. Говорю это совершенно серьезно. Подумать только, как много жестоких поступков не может у нас совершить средний человек. Ударить старуху-нищенку, издеваться над слепым, обмануть ребенка, бросить на произвол судьбы больного, хладнокровно задавить собаку или кошку — все это невозможно для среднего человека. Точно так же ему претят пытки, жестокие казни, и не только в реальности, но даже и в воображении. У нас есть больницы для бедных, благотворительный суп, ночлежки, молоко для малюток — и все это само собой разумеется. Доброта разумеется сама собой. Никто об этом не спорит, никто не спрашивает, зачем это нужно. Не так мало значит, что обычай не дает нам делать зло так же непреложно, как заставляет нас носить галстук или брюки. Все само собой разумеющееся в наших добродетелях я и называю цивилизацией. Это своего рода учтивость — я бы даже не стал говорить «в более широком, более серьезном смысле», ибо учтивость включает в себя очень многое, она почти беспредельна; в учтивости порой скрыта глубочайшая любовь к людям. Учтивость — это уважение к ближнему, оказываемое сразу, без выяснения, кто он такой. Это значит, что в другом человеке мы предполагаем высшую утонченность ума и сердца и соответственно ведем себя, встречаясь и расставаясь с ним, оценивая его заслуги, помогая ему — но не слишком навязчиво, проявляя участие — но не слишком докучное. Средний человек изощренно учтив, не уступая трем моралистам сразу — он и Паскаль, и Вовенарг, и Вольтер в одном лице, причем сам о том не подозревает. Все происходит само собой, механически.

«О механическая цивилизация!» — восклицал Монтень, имея в виду завоевание Америки, из-за которого так быстро были уничтожены первобытные добродетели туземцев.

Монтень смотрел здесь в самый корень дела. Его слова должны пробудить нашу мысль. Мы слишком доверяем своей цивилизованности, слишком на нее полагаемся. Говорим почти так же, как лихач: «Если что случится — я застрахован»; только вслух мы этого не произносим, да и лихач этого не произносит вслух, просто мчит себе сломя голову. Так поступают все. Не знаю, бывали ли когда-нибудь вообще варварские народы. Те, кто писал о древних египтянах, персах или германцах, непременно отмечали их добрые обычаи и достойные восхищения нравы. Быть может, варварство — это когда кроме обычаев и нравов ничего больше и нет. Люди живут словно по дороге катят — не рассуждая. Как в бакалейной лавке выручку подсчитывает машина, так и мы в своих нравственных суждениях полагаемся на некую всеобщую машину для выработки суждений. Но ведь машины такой нет.

Учтивый человек демонстрирует самостоятельность суждения, но в действительности ею не обладает. Истинную цену учтивости знает человек малоучтивый, порой невольно задевающий и обижающий людей. Зато ему хорошо видны пределы учтивости, видны даже по-

рожденные ею преступления, разительным примером которых является война. Оттого во всяком моралисте есть нечто от дикаря — таков был, например, Руссо, который жил вне привычных установлений и тщетно пытался поступать всегда по собственному суждению. Добиться этого не дано никому. Нельзя по собственному суждению протянуть руку — пришлось бы рассечь все мышцы и нервы, расчленить и рассмотреть по отдельности мотивы, методы поступка и так далее. Мы протягиваем руку по велению природы и по привычке подносим ее к чашке с чаем; тот, кто станет здесь размышлять, разобьет чашку. Но одной лишь природы, одной лишь привычки, одной лишь цивилизованности мало. Высшее проявление, украшение всякой цивилизации составляют недовольные, и прежде всего те недовольные, которым по всему полагалось бы быть довольными. Драгоценная порода людей!

2 июня 1928

Умеренность

Мой друг Жак сидел и стучал своим сапожным молотком — стучал, пожалуй, сильнее, чем требовалось. За окном палили из пушек и звонили в колокола[1]. «Не понимаю,— сказал он,— почему считают, что маршал, выигравший сражение, более славный воин, чем рядовой солдат, идущий на смерть в бою. Наоборот, если приглядеться, есть большая разница: для чего нужно больше мужества — чтобы двинуть в бой десять армий или чтобы самому подняться в атаку? И ведь при этом маршал занимается своим ремеслом, за которое ему платят, и платят много, солдат же свое ремесло оставил дома, а вместо платы за перенесенные опасности только и имеет что нору в земле да холодный суп».

Удары молотка стали тише. «Нет, конечно,— продолжал мой друг Жак, взглянув на свою деревянную ногу,— на войне у каждого свое ремесло, каждый делает свое дело. Тут спору нет. Но вот к чему я веду: не надо нам славить и чтить своих полководцев — мы должны лишь подчиняться им, когда время подчиняться, и контролировать их, когда приходит время для контроля. Дальше им выплачивают жалованье, назначают пенсию, и мы в расчете, я больше ничего не должен. Зато остаются неоплаченными другие долги; подумать хотя бы о вдове, что живет по соседству и растит четверых детей, или о том фронтовике, который был отравлен газами и кашляет теперь в комнате наверху,— пусть-ка мне докажут, что я неправ. Беда в том, что гражданин у нас не смеет иметь свое суждение».

«По-моему,— отвечал я,— гражданин-то судит очень хорошо. Все эти народные торжества затеяны большими и малыми карьеристами, которые почитают вовсе не мужество, а власть. Они самозабвенно любуются и восторгаются верховной властью, о которой сами мечтают с пятнадцатилетнего возраста. Заполучив хотя бы крохотную власть, они сколько могут тиранствуют над окружающими и прекрасно отдают себе отчет, что верховный тиран поддерживает тиранов мелких. Эта порода не столь уж многочисленна, но шуму производит много. В таких случаях, как сейчас, они оскорбляют и запугивают противников, оглушают людей нерешительных; а тут еще и естественное почтение к умершим и притягательность торжественного зрелища. Так и выходит, что власть на первый взгляд всегда оказывается в выигрыше — иногда и в самом деле оказывается. Ну, а мы снова и снова ворочаем в голове свои мысли. Но многое уже переменилось, коли сапожник теперь думает не только о сапогах. Иногда я даже говорю себе, что здравый смысл вроде кожи — чем больше ее мнут и бьют, тем она крепче».

[1] Имеются в виду торжественные похороны французского маршала Фердинанда Фоша (1851—1929), который в конце первой мировой войны был главнокомандующим войсками Антанты.

«Если бы так,— сказал Жак,— тогда бы наш здравый смысл уже давно был крепче железа. Плохо только, что человек, зарабатывающий на жизнь своим трудом, легко впадает в дрему, едва лишь его дела начинают идти более или менее сносно. А между тем небольшая армия властолюбцев не перестает хитрить и изощряться; таково их ремесло — что-то придумывать, доказывать, разглагольствовать, за все эти рассуждения им платят. Только их и слышно, только их и читаешь. А за размышления гражданина, который не желает тиранствовать и самостоятельно судит о властях,— за них платят бранью и побоями. Не то удивительно, что в одной или двух далеко не диких странах правят тираны,— удивительно то, что тираны еще не правят повсюду. В молодости я верил, что справедливые идеи сразу завоюют признание. Только позже я понял, что прогресс движется не очень-то быстро и что если ты не желаешь быть просто пешкой на шахматной доске наших господ правителей, это уже немалое притязание. Как видите, ныне я пришел к умеренности и к философскому взгляду на жизнь. Но до чего же трудно быть умеренным и не быть при этом слабым! Если не требуешь себе луны с неба, и притом незамедлительно, то это уже как будто позор. В результате не получаешь вообще ничего — вот так и повторяется одна и та же история».

«Да, так и идет история,— сказал я.— Одного тирана приветствуют за то, что он победил другого. Но не будем терять терпение. Настоящий гражданин, который подчиняется, но и самостоятельно судит, еще только делает свои первые шаги на свете».

4 мая 1929

Боги в человеческом облике

Мизантропия — дело бесплодное. Если вы не доверяете людям, вас будут обкрадывать. Если вы их презираете, вас будут ненавидеть. Люди услужливо стараются соответствовать вашему представлению о них. Попробуйте-ка воспитать ребенка, тысячекратно повторяя ему, что он глупый и злой,— он именно таким и сделается. Может быть, все же не таким глупым и злым, как вам кажется,— в детской головке скрыты немалые способности,— но он станет лицедействовать, изображать злонравие. Отношения между людьми полны театральности, ибо вся их вера основывается на внешних знаках. Человек живет на глазах у сотен зрителей, произносит реплики, которых от него ждут. Поручите ему роль вероломного изменника — и он превзойдет все ожидания. Он станет артистически вероломным. Всякий человек — артист; и его пороки особенно страшны из-за этой блестящей актерской игры. Дураки намеренно валяют дурака, и у них это превосходно получается. Я знаю сотни людей, которые корчат из себя тупиц, потому что их считают тупицами. Это ощущение знакомо любому ребенку: своим сурово-пренебрежительным, заранее осуждающим видом взрослый как бы напоминает тебе твой долг — приходится хотя бы из учтивости изображать глупенького. Порой человеку, явно ожидающему, что ему будут лгать, окружающие лгут из чувства какого-то жуткого сострадания. Угрюмость, ворчливость — тоже роль; такому человеку просто неприлично вести себя приветливо. В трагедии нашей жизни участвуют сплошь лицедеи. Зато достаточно одного безразличного к игре человека, чтобы спектаклю пришел конец. Надерзивший ребенок ждет упреков, словно они причитаются ему по праву; и изобразить обиду проще простого. Но попробуйте вместо этого отнестись к его дерзости как к ничего не значащему природному шуму, и у вас на глазах все внезапно переменится.

Быть безразличным нелегко; да это и неучтиво. Есть, однако, другой, лучший путь. Можно убедить себя, что, скажем, рассерженный

человек стоит большего, чем он сам показывает. Оказать ему такое доверие — это всего лишь значит разглядеть в нем человека. Древние говорили, что боги принимают облик нищих, бродяг и оборванцев,— прекрасный образ! Но, развивая его, можно сказать, что боги принимают облик раздраженных, несправедливых или коварных людей, дабы испытать нашу мудрость. Этот образ учит нас мудро глядеть на других. «Вот,— говорю я себе,— передо мной человек гораздо умнее меня, и он хочет, чтобы я считал его идиотом. Что ж, я не дам себя обмануть». Похвальная недоверчивость! Когда мальчик-раб, которого Сократ расспрашивал о геометрии, с ходу начинал отвечать глупости, то Сократ драл его за уши, приговаривая: «Ты так не думаешь, не такова твоя мысль». То есть он предполагал в другом свой собственный ум. А что значит признать человека? Это значит признать его ум. Я обращаюсь к чужому уму, обращаюсь к нему вновь и вновь, как будто он крепко спит. Он отвечает мне сквозь сон, отвечает несуразно. Если в разговоре вы хотите только поразвлечься, то этой попытки вам хватит, чтобы убедиться в своем превосходстве. Но не полагайтесь на свое убеждение, пока не разбудите спящего. Подумайте, что это, быть может, бог, который смеется над вами. Стоит принять в расчет чужой ум, как сразу спускаешься с высот превосходства; потому люди с опаской относятся к уму, и здесь, возможно, разгадка остроумных насмешек, которые существуют главным образом в опасливом воображении. Пора сказать яснее: нужно разбудить человека в себе самом, если хочешь разбудить его в своем собеседнике.

Однако в действительности дело обстоит гораздо лучше. Ваш собеседник не спит — он следит за вами, прищурив глаза. Он спрашивает себя: «Какой роли ждет от меня этот другой лицедей? Во что мы будем играть, как будем плутовать на сей раз? Каким мне надо быть — убогим, темным, сварливым, придурковатым?» Из чувства собственного достоинства он сразу же пытается сбить вас с толку. Он тоже ищет человека. Он суров, внимателен, недоверчив, может быть даже мизантропичен. Все это не ваше дело. Ваше дело — разглядеть в нем человека. Если он не отвечает на ваш призыв, не вините его, вините самого себя, раз вы кажетесь ему притворщиком. В вас осталась легкая тень сомнения, а большего и не надо. Вы усомнились в человеке у него на глазах — вот в чем ваша вина. Еще раз повторяю, берегитесь: боги принимают облик нищих, и они вполне способны вас перехитрить. И заметьте, насколько точен этот образ: ведь они просят милостыни, милосердия. Да-да.

27 апреля 1931

■

ФЕРНАНДО ПЕССОА

К столетию со дня рождения

С португальского

В европейской лирике нашего века Фернандо Пессоа — один из самых печальных и самых загадочных поэтов. И необычность его не в том, что созданное увидело свет лишь посмертно,— такие загадки, к несчастью, привычны. Необычно, что разные, контрастно обособленные пласты творчества, у других поэтов разобщенные временем, разделенные на периоды, у него существовали одновременно. Это не разные этапы, а разные поэтические имена.

Имен у него было много, и вообще Фернандо Пессоа не поэт, а литературная плеяда: пять или шесть поэтов и несколько прозаиков. Выдумав их, он каждого наделил обликом, биографией, творчеством, заставил печататься в журналах, писать друг о друге и даже оспаривать самого Пессоа. По меньшей мере один из таких призраков, Алваро де Кампос, существуй он во плоти, сам по себе оставил бы заметный след в португальской и европейской поэзии.

Этот литературный театр теней породил и доныне рождает множество толков и догадок. Его объясняли и склонностью к мистификации, и расщеплением личности, в нем видят и бегство от себя — «от пустоты, тоски и боли» (Жасинто до Прадо Коэльо), и развенчание царивших в обществе догм и умонастроений (Оскар Лопес). Одно из объяснений принадлежит самому поэту. «Если на сегодняшний день литературы нет, что остается человеку с талантом, как не стать самому литературой!» — не без горечи шутит Пессоа в письме другу.

Лирическую природу своего дара он сознавал: «Я человек, для которого внешний мир существует как чисто внутренняя реальность». Тем неожиданней для лирика, сосредоточенного на внутренней драме, парадоксальная, многократно повторенная на разный лад декларация: «Эта вещь, как и все, что последует за ней, не имеют ничего общего с тем, кто пишет. В нем нет согласия, как и несогласия, с написанным». И дальше, по-прежнему в третьем лице: «Он как бы пишет под диктовку, но под диктовку друга, и поскольку просьба записать этим оправданна, находит продиктованное интересным — быть может, единственно лишь из дружеских чувств». Легко здесь заподозрить авторское лукавство, но думается, что признание чистосердечно. Пессоа всю жизнь отличала и тяготила какая-то самоотчужденность.

Началось, наверно, с игры, а верней — с одиночества. Фернандо Пессоа родился 13 июня 1888 года в португальской столице и рано осиротел. Пяти лет он потерял отца, через год — единственного брата, а еще через год очутился в Южной Африке, куда отчима назначили консулом. Там, в ирландской монастырской школе, он начал писать стихи — по-английски и от лица вымышленных английских поэтов. Английский стал его вторым языком и в жизни и в литературе.

Семнадцати лет Пессоа возвращается в Португалию и долгие годы живет один, скитаясь по номерам и бедствуя. Попытки завести собственное дело (издательское) рушатся или пресекаются полицией, и в итоге поэт до конца дней работает клерком, не стремясь что-либо изменить в жизни и почти не покидая Лиссабона. Одиночество и спутник его — самоанализ — становятся для Пессоа привычкой и потребностью.

Между тем молодость его совпала с недолгой, но бурной молодостью страны. На его глазах вершилась история: в 1908-м убит король, через два года свергнут другой, втянутая в мировую войну республика пережила в 1917 году еще одну революционную вспышку, а через год убит новый президент Сидонио Паис, оплаканный в стихах Пессоа, и замаячил призрак военной диктатуры. В эти годы надежд, испытаний и разброда Фернандо Пессоа заодно с молодыми возмутителями спокойствия, он выступает в их дерзких и недолговечных журналах, и круг его привязан

ностей на удивление широк — от символизма до футуризма. Но выступает он больше как теоретик, и его холодноватые эксперименты не свидетельствуют об одержимости авангардизмом. «Для себя» он оставляет традиционные и даже традиционно песенные формы. В 1914 году впервые появляются в журнале «Возрождение» (номер первый и единственный) два его стихотворения — и оба проникнуты такой неожиданной для интеллектуала-горожанина деревенской печалью. И тогда же, сотворив трех поэтов разом и наделив их виртуозным и разноликим верлибром, Пессоа сочиняет «Четверостишия в народном духе». Некоторые из них пленяют простотой и подлинностью, и если не стали фольклором, то потому, быть может, что увидели свет лишь три десятилетия спустя после смерти автора (впрочем, как и большинство его стихов).

Экзальтированный патриотизм, с которым Пессоа возвращался на родину, перерос в ровное и глубокое чувство. Эта стойкая и скорбная любовь была много глубже исторических концепций поэта, его романтических пророчеств и обращений к теням Магеллана и Бартоломе Диаса. За год до смерти, издав единственную прижизненную книгу — «Послание» (поэму о великом прошлом и высоком предназначении Португалии), Пессоа создает «Элегию во тьме» — исполненный любви и боли плач по родине. Но услышан он был лишь через сорок лет.

В сущности, вся поздняя лирика Фернандо Пессоа — элегия во тьме. И с годами беспросветность росла. Военный переворот и фашизация режима, угасание культуры, потери близких, смерти и самоубийства друзей, безвыходность, алкоголь и многое другое рано состарили и надломили поэта. Не сложилась любовь, не удалась жизнь, стихи затерялись в эфемерных журналах, главные замыслы остались в черновиках и набросках. Все острей он ощущал жизнь — и прежде всего свою — как тяжкий сон или жалкую декорацию. Но, верный призванию, по-прежнему работал упоенно, даже на ночь клал у изголовья тетрадь и, просыпаясь, записывал. Последняя в жизни строка написана им уже в больнице — по-английски, на языке детства: «Не знаю, что будет завтра». Назавтра, 30 ноября 1935 года, Фернандо Пессоа умер.

О смерти он всегда думал и говорил спокойно:

Может быть, это последний мой день.
Я поднимаю правую руку к солнцу
Не для того, чтобы с ним проститься,
Но оттого, что рад его видеть.

(Переводы стихов во вступлении мои.— А. Г.)

И так же спокойно и безучастно оглядывался на жизнь: «Как Диоген Александра, я просил жизнь об одном — не заслонять мне солнце». В «Книге тревог», своеобразной исповеди под вымышленным именем, есть еще одно признание: «Я ненавижу жизнь из любви к ней». В этой контрастности — весь Пессоа.

Он с упорством исследователя вскрывал свою внутреннюю диалектику, сознавая ее всеобщность. И потому казался живым противоречием — целеустремленность, скованная самоанализом, и созерцательность, тоскующая по свершениям. Он томился иллюзорностью жизни, человеческим неумением обрести себя — и утверждал:

Человек — застенок,
Быть собой — стена.
Буду жить я бегством,
Но зато сполна.

И даже творчество его не утоляло: жертвуя всем ради призвания, он все-таки не чувствовал его своим. «Непосильная мечта» поэта прорывается в письмах: «Создать в себе государство с политическими бурями, партиями и революциями и стать самому всем этим, его духом и сутью, стать богом в этом живом пантеизме, телами и душами, и землей под ногами, и судьбой, которую вершит народ моего «я». Стать всем, будучи и не будучи им». Короче, стать Шекспиром (высший литературный авторитет для Пессоа).

Игровое начало было не чуждо ему, и в самом появлении на свет поэтов-призраков есть элемент театра. И все же склад его дарования, да и натуры несовместимы с драматургией. Его печальная лирика исповедальна, хотя внутренне он исповедальность отвергал, внешне — маскировал, а такое чувство, как жалость к себе, презирал безоговорочно. И не случайно его лирические герои (хочется сказать — персонажи) лишены подобного чувства. Но — с разной силой — они испытывают нечто сходное: это ощущение человека, запертого в клетке и не уверенного, заперт ли он помимо воли или вошел сам. Человека, парализованного догадкой, что клетка — дело и его рук.

Одарив каждого из своих «авторов» индивидуальностью, талантом и стилем, Фернандо Пессоа наделил их и теми «проклятыми вопросами», что были предметом его лирических вариаций. И среди них самый трудный вопрос нашего трудного века — терпит ли человек поражение.

Ответ Пессоа может показаться однозначным. Да, его лирические двойники терпят поражение, видят в нем неизбежность и вину берут на себя, доходя порой до крайнего самоосуждения. «Я сорная трава, которую забыли выполоть»,— говорит упомянутый уже Алваро де Кампос.

Но поэзия не бывает однозначной, и есть еще, по определению Гоголя, «поэ-

зия самой поэзии». И наверное, важнее смысла — уловить тон. Воспринятая целостно, лирика Фернандо Пессоа оставляет неожиданный отзвук — от нее исходит какое-то странное спокойствие. Скрытая гармония, которую он не находил вокруг себя, но как поэт нес в себе, предчувствуя и тоскуя по ней, смягчает и преображает черты безысходности. И видимо, он имел право в конце жизни сказать о себе:

Я в сумерках мирозданья,
Сгустившихся впереди,
Надежду, дитя страданья,
Укрыл на своей груди.

Узкая прижизненная известность Фернандо Пессоа стала всемирной после того, как в 40-х годах вышло в свет пятитомное собрание его стихов. Литературное наследие Пессоа оказалось огромным, и его публикация завершилась лишь в наши дни.

Фернандо Пессоа переведен на многие языки, переводился он и на русский. В 1978 году в издательстве «Художественная литература» вышел сборник «Лирика» — стихи Фернандо Пессоа и созданных им поэтов; в частности, Алваро де Кампоса перевел Борис Слуцкий.

Быть может, самые одухотворенные страницы Пессоа — это стихи, написанные от собственного имени. Некоторые из них, созданные в последние годы жизни и увидевшие свет лишь сорок лет спустя, предлагаются в нашей подборке.

А. ГЕЛЕСКУЛ

* * *

Клубятся тучи в вышине
И небо облегли,
И только синий лоскуток
Печалится вдали.

И точно так же разуму,
В безверье и глуши,
Какой-то лучик подтвердит
Присутствие души —

Та беззащитная кайма,
Которой суждено
Продлиться по другую грань
Того, что нам дано.

* * *

То музыка простая,
А может, колдовство...
И я перерастаю
В иное существо,

Которое стремится
Навеки не хотеть,
Которое томится —
С напевом улететь,

Которому знакома
Она с давнишних лет
(А сердцу нету дома,
И в сердце дома нет).

Когда же эти звуки
Бегут из забытья,
Душа не помнит муки,
Души не помню я.

То музыка простая....
Бездумно подпою,
Заплачу —и растаю
И быть перестаю.

* * *

В переулке уже замолчали...
Надвигается ночь.
Я не знаю, зачем я в печали
И зовется ли это печаль.

Может, эту влюбленную пару
Я пойму, никого не любя?
А вдали голоса и гитара,
Растерявшие сами себя...

И такая глубокая дрема
Наполняет чужую игру,
Что душа, как подобье фантома,
Невесомо парит на ветру.

* * *

Доносится ли ветер
До слуха моего...
А может быть, молчанье,
А может, ничего...

Меня тревожит нечто,
Чего не обрету,
Но только всей душою
Предчувствую беду...

И в то же время знаю:
Тревога пронеслась.
Где сам я? Где былое?
И где меж нами связь?

* * *

Этот нищий старый
Под моим окном
Со своей гитарой
Плачут об одном:

Что обоим выпал
Им удел такой
Мыкаться по миру
Со своей тоской.

Я и сам бездомный;
Я и сам незрячий;
Только сцена шире
И бесплатно плачу.

Перевод Г. ЗЕЛЬДОВИЧА

* * *

Один на один
С той болью, которой мечен,
Ее до седин
Стремлюсь оправдать, да нечем.

Все так же она
Бессменна и беспричинна.
Как небо, видна,
Как воздух, неразличима.

Помешанный

Во тьме, где звезды под запретом
И за решеткой призрак тела,
Душа, как я, томится бредом,
А может, господи, прозрела!

Он будит небо темной речью
Поверх решеток и увечий.
Немеют руки человечьи
И рвется крик нечеловечий.

* * *

Где-то в потемках у волнолома
Старая песня в винном подвале.
Как долгожданно и незнакомо
Отзвуки в сердце затосковали!

Чье-то былое — чьим оно было?
Не допытаться. Просто былое.
Время отпело и позабыло
И затянуло вечною мглою.

Встарь ли напето? Старит гитара.
Знал ли я песни те круговые?
Боль настигает раньше удара.
Словно отплакал, и не впервые.

Плачет и плачет жизнь, уплывая,
Вторю и вторит песня глухая.
Так и не знает боль вековая,
Сколько ей длиться не затихая.

* * *

Грустили мысли в лад моим шагам,
А сердце и подавно.
Вдруг улыбнулся встречный мальчуган
Так широко и славно.

Я знаю, улыбнулся на бегу,
А может, по ошибке.
Собой не стал, а кем-то — не смогу
И все же рад улыбке.

Чего желать тому, кто в стороне,
У жизни за порогом?
Чтоб улыбнулся кто-нибудь и мне
Хоть ненароком...

* * *

Через кордон дремучей тени
Крадется ветер так несмело,
Что ощутимо дуновенье
Лишь перед тем, как онемело.

Такой покой, что глохнут уши,
Ни вздох не тронет эту дрему,
Ни крик души: — Пусть будет хуже,
Но лишь бы стало по-другому.

Когда душа гадать устала,
Кого любить и ждать ей дальше,
Тогда и вправду горя мало
И зло не страшно, зло — без фальши.

Лесной кордон так чутко слышит,
Что звук шарахается с ходу.
И все мертво, но тайно дышит —
И листья рвутся на свободу.

Их бегство ширится над лугом,
Как будто ветер поднимая,
Но ветра нет — и друг за другом
Кладет их ниц земля немая.

О растревоженный равниной
Сиротский ропот листопада!
О голос, памятью хранимый,
Неугасимая лампада!

Как шорох шелка, что когда-то
Руками памятными вышит,
Вы безнадежность и утрата.
И все мертво, но тайно дышит.

* * *

К тому, кто постучится в эти двери
Как вестник, не испытывай доверья
И, будь он даже мной, не отпирай —
Мне гордости моей высокомерье
Стучаться не позволит даже в рай.

Но если в час негаданной тревоги
Почудится, что кто-то на пороге
Не смеет постучаться и молчит —
То вестник мой, что медлит и доныне,
И сам я, и печаль моей гордыни.
Открой тому, кто в дверь не постучит!

* * *

Не разойтись туману.
Поздно, и ночь темна.
Всюду, куда ни гляну,
Передо мной стена.

Небо над ней бездонно,
Ветер утих ночной,
Но задышало сонно
Дерево за стеной.

Ночь он не сделал шире,
Этот нездешний шум
В потустороннем мире
Потусторонних дум.

Жизнь лишь канва сквозная
Яви и забытья...
Грустен ли я, не знаю.
Грустно, что это я.

* * *

В затихшей ночи
На паперти смутной
Бессонной свечи
Огонь бесприютный.

Спокойны черты,
Где жизнь отлетела.
Спокойны цветы
У бедного тела.

Кто снился ему,
Кем он себе снился
Дорогой во тьму,
С которой сроднился?

* * *

Уже за кромкой моря кливера!
Так горизонт ушедшего скрывает.
Не говори у смертного одра:
«Кончается». Скажи, что отплывает.

О море, непроглядное вдали,
Напоминай, чтоб верили и ждали!
В круговороте смерти и земли
Душа и парус выплывут из дали.

* * *

Где лег покой устало,
Как человек во сне,
И век не рассветало
И не взойти луне,

Там задержусь у края
И прежде, чем уйду,
Хотел бы, умирая,
Забыться не в бреду.

На радости и боли
Взглянув со стороны,
Забыться мимо воли
И видеть только сны,

Пока года и даты
Не схлынут вразнобой
И все мои утраты
Не завершу собой.

Перевод А. ГЕЛЕСКУЛА

*Из «Книги тревог»**

* * *

Моя молчаливая прогулка — непрерывный разговор; все мы — люди, дома, камни, афиши и небо — огромная толпа, содружество, мы толкаемся локтями слов в великом шествии судьбы.

В смутных сумерках, пока вечер не обернется ночью, я наслаждаюсь безотчетным блужданием по преображенному городу и брожу как потерянный. Мне приятна — и скорее моему воображению, чем сердцу,— неотступная и смутная грусть. Я бреду и листаю в себе, не читая, какую-то книгу, где текст пересыпан летучими образами, из которых неощутимо складываются мысли, вечно незавершенные.

Внезапно разом вспыхивает двойной ряд безжизненных фонарей на всем протяжении длинной и извилистой улицы. Печаль растет как от неожиданного горя. Книга кончилась. В липком воздухе призрачной улицы сочится печаль, как слюна слабоумной Судьбы, забрызгивая душу.

* * *

Все тает, как дым. Вся моя жизнь, мои воспоминания, мои мечты и я сам — все улетучивается. Я постепенно ощущаю, что был другим, чувствовал иначе, думал по-другому. Я — зритель на спектакле, в котором постоянно сменяется сценарий, и спектакль — это я.

Но кто же он, господи,— тот, чьи спектакли я смотрю? Сколько их? Кто из них — я? И где грань между нами?

* * *

Вся запоздалая горечь моей жизни сбрасывает перед моим невидящим взором покров радости, в который изо дня в день привыкла рядиться. Приходится признать, что всегда, и даже будучи веселым и довольным, я грустен. Этот вывод словно делает кто-то посторонний и, притиснув меня к окну, через плечо или даже поверх меня глядит из моих глубин на медленные, извилистые нити уходящего дождя, которые прошивают мутный и тяжкий воздух.

...О чем же я думал, пока весь не обратился в зрение? Не знаю. О воле? О жизни? Светлеет, уже почти все небо кажется голубым. Но нет покоя и никогда не будет в моем сердце — заброшенном ко-

---

* «Книга тревог» — незавершенный роман-эссе в форме дневниковых записей. Вымышленный автор книги — Бернардо Соарес — наделен не только внешними чертами, но и биографическими приметами самого Пессоа, вплоть до рода занятий. *(Прим. А. Гелескула.)*

лодце на краю хутора, где следы детства заметены пылью на чердаке давно проданного, уже чужого дома. Я не знаю покоя — и горше всего, что даже не ищу его.

* * *

Внезапно я почувствовал какую-то нежность к этому человеку. Нежность к ничем не примечательной человеческой заурядности, к будничной жизни этого отца семейства, который каждый день ходит на работу, к его незатейливому и веселому домашнему очагу, к его радостям и горестям, к его бесхитростному, неосознанному существованию и той неподдельной животной простоте, что угадывалась по его спине.

Я вновь посмотрел в спину этому человеку — что-то приоткрылось и проглянули эти мысли.

Ощущение было такое же, как при виде спящего. Любой спящий — снова ребенок. Может, потому, что во сне нельзя совершить зло и не даешь себе отчета в том, что живешь; самый отпетый злодей и самый закоренелый себялюбец, колдовской властью природы, становится во сне святым. Не вижу разницы между убийством спящего и убийством ребенка.

* *

У меня были великие помыслы и бескрайние мечты — но то же можно сказать о мальчишке-рассыльном или девушке из швейной мастерской: мечта есть у каждого, разница только в том, способен ли человек достичь ее или осужден осуществить про себя.

Мечтами я равен рассыльному или швее. Меня отличает от них умение писать. Да, именно это действие доказывает, что я реально существую, в нем разница между нами. В душе мы одинаковы.

* * *

Каждый из нас, предоставленный самому себе, с отчаянием ощущает, что живет. Кажется, что назначение корабля — плыть, но назначение его — приплыть в порт. А мы плывем и даже не представляем куда. И возрождаем, на горестный лад, девиз аргонавтов: плыть — необходимо, жить — не обязательно.

* * *

За поворотом я увидел девушек. Они шли по дороге и пели, и голоса были счастливы. Какое-то время я слушал издалека, не ощущая ничего. И вдруг стало горько за них.

За их будущее? Или за их неразумие? Или — кто знает? — быть может, за себя.

* * *

Одни рождаются рабами, другие становятся рабами, в третьих рабство заложено. Та трусливая любовь, что мы питаем к свободе,— от которой, будь она у нас, добровольно отреклись бы, подавленные непривычностью,— и есть верный признак тяжести нашего рабства. Я сам мечтаю о хижине или пещере, куда бы скрылся от всепроникающей монотонности — моей же собственной. Но отважусь ли я отправиться на поиски этой хижины или пещеры, если интуиция подсказывает, что раз монотонность исходит от меня, я обречен на нее повсюду? Если я задыхаюсь там, где нахожусь, уже оттого, что где-то нахожусь, причина болезни — в моих легких, а не в окружающем воздухе. Раз я во всеуслышание твержу, что страстно мечтаю о ясном солнце, просторе полей, шири моря и чистом горизонте, мне уж

и впрямь не нужны кровать и пища, не надо преодолевать восемь ступенек лестницы, чтобы выйти на улицу, и незачем заходить в табачную лавку на углу или же обмениваться приветствием со скучающим парикмахером?

Все, что окружает, становится частью нас, проникает в ощущение плоти и жизни и незримой нитью слюны огромного Паука связывает со всем, что близко, опутывает нас и укачивает на паутинном ложе медленной смерти. Всё — это мы, мы — это всё; но какая тому цена, если всё — это ничто?

* * *

Мне жальче тех, кто мечтает о доступном, реальном и близком. Грезящие великим — либо безумцы и тем счастливы, либо просто мечтатели, для которых грезы — колыбельная души и баюкает их, ничего не означая. А вот того, кто мечтает о доступном, подстерегает подлинное разочарование. То, что не быть мне римским императором, я переживу, но вот то, что ни разу не удалось заговорить с девушкой из швейной мастерской, которая каждый день где-то около девяти заворачивает за угол направо, способно причинить боль.

* * *

Сколько непоследовательности в желании свести себя к пределам своего «я»! С горькой иронией осознаешь, как все приходит извне! Связь души с миром, мысли — с воздухом и рекой заставляет говорить, что во мне болит жизнь,— и я говорю, не умея это выразить простыми и бездонными словами книги Иова: «Душа моя устала от моей жизни!»

* * *

Чтобы понять, я разрушил себя. Понять — значит утратить любовь. Не знаю ничего более неверного и одновременно знаменательного, чем фраза Леонардо да Винчи о том, что нельзя полюбить или возненавидеть, не поняв прежде.

* * *

Для всех нас наступит ночь и прибудет карета. Мне нравится легкий ветерок, который они несут с собой, и душа, которой я был наделен, радуется ему. Мне нечего больше выпытывать и искать. Если запись, которую я оставлю в книге проезжающих, будет прочитана другими и развлечет их в пути,— хорошо. Если ее не прочтут или заскучают, не хуже.

Перевод Т. РОДИМЕНКО

■

Публицистика

Л. СТЕПАНОВ

ПРИНЦИП ПИТЕРА, ТЕОРЕМА АНТОНОВА И ДРУГИЕ ОТКРЫТИЯ ВЕКА

Едва ли мне когда будет присуждена Нобелевская премия. Это обстоятельство, огорчительное во многих отношениях, смущает и тем, что наглухо закрывает дорогу к почетной трибуне в Стокгольме, откуда полагалось бы выступить с традиционной лекцией, то бишь с речью благодарственной и содержательной.

Не стану преувеличивать душевные муки, испытываемые за отсутствием столь пленительной надежды. Выросли мы во времена, когда прочно усваивалось, что от окружающей среды милостей ждать не приходится. Их надо брать. Так вот, я эту милость хочу взять, полагаясь на понимание и поддержку «Иностранной литературы».

Как явствует из опубликованного ею сообщения (№ 1, 1988 г.), «рассмотрев итоги работы журнала в 1987 году и учитывая полученные редакцией отклики читателей», она сочла возможным отметить в ряду «наиболее значительных публикаций» напечатанные в моем переводе отрывки из книги Л. Дж. Питера «Почему дела идут вкривь и вкось». Очевидно, этим решением редколлегия сделала меня в некотором роде лауреатом и тем самым, предположительно, дала право облачиться если не в церемониальную мантию, то, по крайней мере, в приличествующий случаю кафтан и произнести речь со страниц журнала.

Вот она, эта речь. Разрешите начать?

Уважаемые члены редколлегии! Дорогие почитательницы и почитатели «принципа» Питера.

Умение видеть смешное в себе и вокруг есть обязательное свойство незамутненного ума и душевного здравия, что равным образом относится и к отдельному человеку, и к целым народам. Это сказал Сократ. Или так говорил Заратустра. А может быть, святые слова произнес Мигель Сервантес де Сааведра. Я мог бы точнее указать автора, покопавшись в изданиях, именуемых «Кладезь мудрости», «Ларец с мыслями по разным поводам» и т. п. Но вряд ли удалось бы подкрепить только что провозглашенную истину ссылкой на авторитетное мнение в поддержку известия о том, что дважды два четыре.

Короче говоря, радушие, с каким советский читатель вторично (первый раз в 1971 году) встретил «принцип Питера», правомерно считать убедительным свидетельством нравственного здоровья нашего народа. Признайтесь, что серьезные умозаключения шутника-профессора понравились вам не в последнюю очередь потому, что на удивление точно перекликнулись с вашими собственными жизненными передрягами, опытом и догадками. Вы и сами не раз задумывались, почему дела идут вкривь и вкось, сами смеялись над согражданами, не умеющими эти дела выправить. Смеялись и над собой — особенно в пору продвижения к личному уровню некомпетентности и, разумеется, меньше по его достижении.

Лоуренс Питер, наверно, того не ведает, но мы-то с вами знаем, что поворот в нашей общественной жизни, перестройка, гласность обладают замечательным свойством выставлять на посмешище все расходящееся со здравым смыслом. Критика, непременно ныне присутствующая у нас и в партийной, и в хозяйственной, и в сельской, и в городской, и в моло-

дежной, и в стариковской жизни, творит свою очистительную и созидательную работу, не скупясь на улыбки иронии и при случае пуская в ход жало сатиры. Деловая ценность смеха становится для нас все более очевидной.

Правда, не всегда ясно бывает, как им лучше распорядиться. Скажем, как, где, когда и для чего применять «принцип» Питера? Если у вас хватит духу дослушать... извините, дочитать мою речь, вы поймете, что она посвящена этому — одновременно простому и сложному — вопросу.

Напрашивается вроде бы ухватиться за «принцип» как за действенное средство борьбы с бюрократизмом. Ибо кого же развенчивает, бичует, срамит этот «принцип», если не бюрократов, безмозглых рабов и жрецов богини по имени Казенная Бумага? Но послушаем старшего литературного родственника Л. Питера, тоже хорошо нам знакомого открывателя «закона». Весной 1987 года в интервью для печати он — вы, конечно, догадались, что это Б. С. Норткот Паркинсон — следующим образом отозвался о действенности своей сатиры: «закон Паркинсона» я представил «в попытке побудить государственных служащих заняться более разумной организацией их работы. Если вас занимает, какова оказалась степень влияния на правительственные учреждения нашего мира, не могу не признать: ноль целых, ноль десятых»[1].

А разве могло быть иначе? Вы что же, сарказмом хотите прожечь бетонированную чиновничью душу? Вы хотите найти в юморе рычаг, позволяющий повернуть бюрократовы мозги к творчеству и здравомыслию? Полноте! Будь это возможно, и четверти литературных трудов незабвенного Михаила Евграфовича хватило бы для изведения бюрократов, всех без остатка, и в Государстве Российском, и далеко за его пределами. На деле же, как известно, чтобы освободиться от их засилья и вредоносного тупоумия, понадобилась Октябрьская революция. Чтобы заставить их шевелиться по службе, пришлось немного поуправлять канцеляриями даже балтийским матросам. Чтобы покончить с особо сопротивлявшимися, вынуждены были многими боевыми дорогами пройти полки Красной Армии. А когда все это осталось позади, да нет же, когда еще и не прогремел последний выстрел гражданской войны, они, бюрократы, спокойно, ничуть не поражаясь собственному воскресению, сказали: мы на месте.

Вот такая закавыка в истории нашего Отечества. Бюрократ не просто осмеян — он поруган. Не только пришиблен — убит. А глядь, уже встал, отряхнулся, перелицевался — тут как тут!

Слова для завершения предыдущего абзаца явились случайно, сами собой. Сразу, однако, резанули хрупкой, но многозначительной связью с отлично, до буквы, знакомым текстом — книгой Питера. Может быть, вспомните? Там, в канцелярских коридорах фирмы «Прелесть», на мгновение возникает новопришелец бюрократического цеха, которого я по-русски окрестил «Т. Уткакутт», в полном соответствии со смысловым значением оригинала.

Про этого Т. Уткакутта ни Питер, ни мы, читатели, не знаем и знать не хотим ничего, кроме факта его существования. Но поскольку нам ведомы и «принцип», и его проявления, и пути воплощения в жизнь, мы немедленно постигаем, что в лице Т. Уткакутта бюрократия обзавелась еще одним стойким рыцарем показухи и крючкотворства. Смейся, негодуй, издевайся, а все равно не сломишь даже собственной уверенности, что всегда найдутся и другие, коих заглотнет, подчинит, заставит на себя работать иерархия некомпетентности.

Так, может, в свете этих наблюдений не грех и отречься от мысли, будто юмор — злой, мягкий, домашний, привозной — следует ценить как орудие нашей преобразовательной работы? Нет, не будем спешить. Юмор ценить и можно, и должно. Только не переоценивать.

Питер, Паркинсон, конечно, нам друзья, но истина... Да, да, тот самый случай с Платоном. Истина нам с вами дороже. И гласит она, что юмор, хотя и свидетельствует о душевном здоровье, хотя и способствует его укреплению, но не более того. Здоровье же, будь то душевное или телесное, может, глядя по обстоятельствам, неплохо служить самым противоположным целям и интересам.

Рональд Рейган во время своего визита в Москву повеселил студентов МГУ старой притчей. Зря наша печать не удостоила вниманием эту часть университетского выступления президента. Упущение стоит, по-моему, восполнить. Речь шла о женщине, которая где-то когда-то пришла в отчаяние от гнетущей бездарности бюрократа, правившего ее городом. Возмущенная, она обратилась к собранию горожан и напомнила, что при появлении на свет ребенка с небес слетает ангел и целует новорожденного. Если целует в руку, младенец становится ремесленником. Если в лоб — быть ему мыслителем. Повернувшись к властительному бюрократу, женщина до конца раскрыла свою гражданскую мысль: «Я пыталась понять, куда ангел поцеловал тебя, что ты так долго сидишь здесь и ничего не делаешь».

В данном случае нет риска впасть в преувеличение, сказав, что это юмор высшего уровня. Вместе с тем понятно, надо думать, что интересы и цели, представляемые Р. Рейганом, существенно отличаются от наших с вами. А потому не риторики ради, а всегда по делу может и должен ставиться вопрос: с кем вы, мастера антибюрократической сатиры? И всегда к месту будет столь же взыскательно спросить: а чего хотите, чего добиваетесь вы, поклонники этой сатиры? Разве все только и замыкается на отвращении к бумажной круговерти и чиновничьей волоките?

[1] "Die Welt", 27 April, 1987.

Насмешницы над некомпетентностью и ненавистники бюрократии!

Сейчас я намерен увлечь вас далеко за границы веселого острословия. Но даже покидая пространство, открытое приволью шутки и смеха, давайте попробуем по возможности следовать совету, который дают своим клиентам предприятия автосервиса в Праге: старайтесь улыбаться, когда расплачиваетесь по нашему счету.

Предоставляю читателям (и читательницам, конечно) вдуматься и убедиться, как плавно, беспрепятственно вытекают из смешного «закона Паркинсона» совсем не смешные, скорее угрюмые и настораживающие суждения его открывателя: «В наше время успех определяется способностью индивида улучшать свое положение, прилагая как можно меньше собственных усилий и вырывая как можно большую материальную поддержку у государства. Этому посвятило себя новое поколение, позволившее Британской империи дойти до такого стремительного и полного краха, какого не знала в прошлом ни одна империя, если ее не разрушали извне. Для мира здесь урок, поясняющий, что несет с собой избыточное налогообложение и в сколь короткие сроки...»

Если кому мысль Паркинсона кажется туманной, постараюсь помочь. Прежде всего уведомлением, что взята она из вторых рук, из книги, автор которой с молитвенной почтительностью ссылается на социологические изыскания Паркинсона как на самые веские подтверждения собственной правоты. Автор же этот — Милтон Фридмен, признанный лидер так называемой Чикагской школы экономики, несгибаемый «монетарист», любимый наставник Белого дома при республиканцах. Цитируемая здесь работа Фридмена прямо предназначалась как учебник для «людей Рейгана» на второй срок его президентства.

Нет нужды предаваться разбору всех премудростей «монетаризма». Можно сразу приблизиться к их вершинам, к выводам. «Американцы воспринимают Советский Союз как непосредственную угрозу. Но не от него исходит подлинная угроза нашей национальной безопасности»[2],— уверенно пишет Фридмен. Вам показалось, что есть повод похвалить его за трезвость мысли? Не торопитесь. Фридмен просто начинает с другого конца, чтобы все-таки прийти к заключению, что Соединенным Штатам надлежит вооружаться и вооружаться перед лицом грозящей советской мощи. Главное же при этом — оставить бредни, будто пушки совместимы с маслом. Даешь пушки! Заботы о масле не должны отягощать государственную власть.

«Подлинную угрозу являет собой государство благотворительности... Растущая благотворительная деятельность государства все более поглощала налоговый потенциал нации и сейчас неумолимо втягивает Соединенные Штаты в состояние международного бессилия, о котором Паркинсон справедливо писал применительно к Британии. Мы убеждены, что в дискуссию о том, как обеспечить будущую безопасность нашей страны, Паркинсон способен внести гораздо больший вклад, чем все кремлеведы и военные эксперты»[3].

Крах империи, налоги, безопасность, благотворительность... Все понятия, оценки, приговоры сплетены здесь в один узел и представлены в цельной, однозначной идеологии. Вот какой:

Индивид, окруженный государственной или общественной опекой, утрачивает стимулы к работе, превращается в существо ленивое, бездеятельное. Нация, живущая в режиме государственной благотворительности,— это нация иждивенцев. Она расслабляется. Дух ее угасает, а труд становится малопроизводительным. Ее удел — беззащитность перед внешними напастями и оскудение внутренней жизни.

Орудие сотворения этих бедствий — налоги. Суммы, получаемые от налогоплательщиков и расходуемые федеральным правительством США, к концу 70-х годов достигли трети национального дохода, при том что сорока годами раньше этот показатель не дотягивал и до 4 процентов. И как же использовались деньги? Милтон Фридмен: если не считать военной части бюджета, «они пошли на повышение доходов пенсионерам за счет действующей рабочей силы, на повышение доходов безработным за счет работающих. Они пошли на покрытие затрат, требуемых службами здравоохранения и просвещения, что никогда не входило в обязанности федерального правительства»[4]. Ясно, да? Налоги взимаются с упорных тружеников, с людей здоровых, не опустившихся, не растерявших предприимчивости. А идут собранные средства на поощрение нерадивых, больных, не ищущих в жизни ничего, кроме покоя. Как тут нации не расслабиться, не разнюниться!

Вернуть ей мускулы и бодрость духа можно лишь одним способом — свертыванием государственных социальных программ. Все тогда станет на свои места. Не будет даже нужды убиваться по поводу налогов. Они, конечно, сохранятся, но для дела — пойдут на финансирование военной машины, а не сладкой жизни тунеядцев.

---

[2] Milton and Rosa Friedman. Tyranny of the Status Quo. San Diego, 1984, p. 73.

Эту книгу, как и ряд других, М. Фридмен написал в соавторстве со своей женой Розой. Я не зря только что добавлял в скобках «и читательницам, конечно». Нельзя к тому же не отметить, что особое внимание женщинам уделил еще в 1968 году Н. Паркинсон, издавший тогда «Mrs. Parkinson's Law», а также во многих своих произведениях Л. Питер, писавший, в частности, что «равные права полов могут привести к тому, что женщины поднимутся до уровня мужчин и сравняются с ними в некомпетентности». *(Здесь и далее прим. автора.)*

[3] Ibid, p. 74.

[4] Ibid., p. 26.

Впрочем, «если бы заботу об обороне каким-то образом удалось передать частному рынку, мы, несомненно, получили бы оборону, не уступающую нынешней, но приблизительно за полцены»[5]. Есть, стало быть, выражаясь чуждым Фридмену языком, неиспользованные резервы. Важно только усвоить, что путь к благу и безопасности нации пролегает через избавление ее от оков «большого государства», от «тирании бюрократии».

Двести лет назад составители Декларации независимости обвиняли короля Георга, что «он соорудил Громаду новых Канцелярий и наслал сюда Рой Чиновников, чтобы стеснять наш Народ и заедать его Существование». Какой же мстительной иронией обернулось дело в XX веке! За полстолетия, минувшее с начала 30-х годов, «население США едва удвоилось, тогда как численность служащих только федерального правительства возросла почти пятикратно»[6].

Все чиновники поставлены в условия, которые рождают стремление «расширять границы любого участка, составляющего вотчину данного бюрократа в гигантской структуре правительственной власти»[7]. Эту мысль Милтон и Роза Фридмен подкрепляют множеством едких высказываний. Но зачем стараться — она давно уже всеми принята в чеканной формуле «закона Паркинсона». И ее же легко извлечь, хорошо усвоить — как сделали мы, не правда ли? — из остроумных писаний Л. Питера, умело выставившего на обозрение глупости, множимые неутомимым ростом бюрократических иерархий.

Тем и страшна бюрократия, что она плодит некомпетентность, тормозит инициативу, гасит творчество, мешает работать. Словом, это злосчастный рассадник неэффективности. Согласились?

Теперь представляю вам еще одну американскую книжку. Называется «Демократия для немногих», и отсюда вы правильно делаете вывод, что в ней отнюдь не прославляются политические институты и общественный строй Америки. Действительно, принадлежит она перу человека, весьма критически оценивающего устои жизни в Соединенных Штатах. Имя его — Майкл Паренти. Он — профессор политэкономии и в этой области знаний в основном следует теории и методологии Карла Маркса.

То, чего хотелось бы Фридмену и что на практике, не без его подсказок, делает республиканская администрация в Вашингтоне, у Паренти вызывает возмущение. У него, например, готов поистине обвинительный акт налоговой политике правительства. Цифры, факты, свидетельские показания — полный набор улик в обоснование самого сурового приговора. Скажем, такая вот выдержка из «Вашингтон пост»: в 80-е годы «налоги, взимаемые с работающей бедноты, взлетели в поднебесье, тогда как налоги с обеспеченных людей и высокоприбыльных корпораций резко сократились»[8]. Не очень-то похоже на обирание здоровых в пользу больных или на государственное ограбление имущих ради помощи беднякам. Впрочем, «монетаристы» довольно потирают руки: для «возрождения величия нации» в 80-е годы кое-что удалось сделать.

Листая книгу Паренти, добираемся до главы «Политика бюрократии». Здесь читателя, настроившегося познакомиться с новыми образцами гнетущей неповоротливости государственных канцелярий, подстерегает нечто неожиданное. Нет, автор, разоблачивший к этому времени немало мифов о всестороннем процветании США, не изменяет себе, не отклоняется от избранной критической линии. Он снова разоблачает. Разоблачает на сей раз... миф о неэффективности американской бюрократии, о ее некомпетентности.

Он пишет: «Преобладающая идеология американских корпораций твердит о дорогостоящей, неэффективной бюрократии государства...» Это обман, надувательство обывателей, которым попросту запудривают мозги, чтобы отвлечь внимание от хищнических устремлений большого бизнеса, его корыстных классовых интересов. Почему родилась и процветает эта ложь? Паренти разъясняет: «Когда экономика разлаживается, консервативная критика обрушивается не на корпорации, хозяйничающие в этой самой экономике и контролирующие ее, а на правительство, которое отваживается вмешиваться в дела свободного рынка»[9].

С симпатией цитирует автор своих соотечественников, похвально отзывающихся об успешной работе государственной машины США. Либо даже восторгающихся ею. Например: «Событие-подвиг, высадка человека на Луну — это достижение не только науки, но и бюрократии»[10]. О чиновниках федеральной и местной администрации сообщается, что, по сравнению со служащими частных компаний, они обычно выполняют работу большего объема за меньшую плату. И вообще, если уж толковать об эффективности, то государственная бюрократия в этом отношении не только не уступает большинству корпораций, но и явно их превосходит.

Что же это получается? Бюрократию честят и в хвост и в гриву — справа. Ее превозносят — слева.

Покаюсь: не устоял перед искушением спрямить углы. На самом деле правые в удобных для них случаях умеют быть радетелями интересов бюрократии и не давать ее в обиду. Левые же, как бы тепло ни отзывались о бюрократии, отнюдь не страдают слепотой, мешающей видеть уродства казенно-чиновничьего мира. Так что если иметь в виду распределение литературных вкусов, то поклонники Паркинсона, Питера и других

[5] Ibid., p. 75—76.
[6] Ibid., p. 47.
[7] Ibid., p. 49.

[8] Michael Parenti. Democracy for the Few. New York, 1988, p. 98.
[9] Ibid., p. 256.
[10] Ibid.

авторов того же толка, пусть и меньшего таланта, могут принадлежать к каким угодно идейно-политическим течениям.

И тем не менее сегодня на Западе с особым удовольствием и громче прочих рукоплещут антибюрократической сатире именно люди справа. И не то главное, что громче, а что с большей деловитостью, расчетливостью. Не только наслаждаются блестками критического остроумия, а тут же украшают ими собственное политическое ораторство. Словом, ликуют по случаю пополнения своих рядов родственными душами.

Стоп! Помните, как называлось послесловие к публикации отрывков из книги Питера в № 2 «Иностранной литературы» за 1987 год? — «Союзник, подоспевший ко времени».

Совсем странное, чтобы не сказать крепче, складывается положение. Мы находим союзника — и прибывшего кстати, и способного, как полагаем, поддержать наши революционно-преобразовательные действия. А они, там, с не менее радостными чувствами и надеждами распахивают объятия для тех же насмешников над бюрократией. Да и ведь кто **они**! Яростные приверженцы так называемого неоконсерватизма или неолиберализма, что в сути своей одно и то же. Если сказать по-русски, более внятно, то имя им будет такое: самые страстные воздыхатели по свободному предпринимательству образца прошлого века, самые ревностные охранители буржуазных порядков, самые воинственные противники всего, что хотя бы издали напоминает общественную заботу о нуждах трудового большинства народа.

Вовсе для нас неподходящая компания. А вот угораздило же в нее попасть.

Читательницы и читатели!

Наш антибюрократический гнев есть гнев праведный. И коли создается впечатление, будто он смыкает нас скорее с правыми, чем с левыми, так только из-за того, что на Западе говорят «бюрократия», а в уме держат «государство». Настолько это стало привычно, что даже люди левого образа мысли вынуждены воспевать бюрократию, когда хотят защитить идею обуздания частнокапиталистических корпораций, подчинения их общественному контролю. С другой стороны, мудрость (хитрость?) правых на том в немалой степени и построена, что не бюрократизм, возведенный в систему бездушного упрямства, а государство, понимаемое как противовес частному капиталу, стремятся они представить источником общественных бед, губителем всего живого и разумного.

Стало быть, посетившее нас чувство неловкости лишено оснований. Слововерчение вокруг вреда или пользы бюрократии — это своего рода цветочки. С ним можно обойтись по совету Пахомыча, то есть отбросить незабудки, здесь помещенные для шутки. Но дальше поспевают ягодки.

Собака, как сказано, зарыта не в отношении к бюрократии, а в понимании роли, которую играет или должно, или способно играть государство в жизни общества, особенно жизни хозяйственной. Человечество не угомонилось в желании выяснить, откуда ждать ему большего земного благополучия — от свободного рынка или от общественно, планово (и, следовательно, государственно) организованного хозяйства. С давних пор спор на эту тему поднимается до высот, где он предстает в виде выбора — капитализм или социализм. Сейчас, на закате 80-х годов, в нем проглядывают некоторые новые качества, раскрываются новые грани.

Взять хотя бы вознесение к славе, превращение в авторитеты теоретиков, которые десятилетиями не находили сбыта своим идеям. В определенной мере это касается нашего знакомца Фридмена. Особенно же показательна судьба австрийца Фридриха фон Хайека. Наиболее активную часть жизни он провел в Лондоне и здесь в 1944 году выступил с первым из своих крупных произведений, признаваемых ныне за классику политэкономии свободного рынка. Книга называлась «Дорога в рабство» и растолковывала, что на безотрадный этот путь встает всякий народ, позволяющий правительству встревать в дела национальной экономики.

Нельзя сказать, что это было совсем новое слово теории. Но зато слово вызывающе смелое по тем временам, когда власть над умами делили между собой Маркс, пример не знавшей кризисов экономики социализма, с одной стороны, и Джон Мейнард Кейнс, подтвержденная «новым курсом» Рузвельта действенность его рецептов — с другой. Привлекательность государственно организуемой и регулируемой экономики казалась бесспорной. В Англии на весах общественного сознания это так много добавляло в чашу лейбористов, что на выборах они смогли победить даже партию «выигравшего войну» Черчилля. Хайеку ничего не оставалось, как терпеть положение провидца, лишенного доверия, и ждать своего часа.

Дождался тридцать с лишним лет спустя. Журналисты стали гоняться за честью взять у него интервью, впопыхах записывали речения вроде следующих: «...Общественный продукт потому только и существует, что люди получают плату в соответствии с производительностью, и это влечет их туда, где они способны дать больше всего»: стоит заняться государственным перераспределением доходов, и мы «парализуем это сигнальное устройство... воспрепятствуем постоянному приспособлению к непрерывно меняющимся обстоятельствам, что только и позволяет поддерживать эффективность нашего производственного аппарата. Причем получать информацию об изменениях человек не может иначе, как через рыночный механизм»[11].

Это он говорил всю жизнь. Это твердили его единомышленники разных уровней учености и известности. Их не слу-

[11] "Wirtschaftswoche"; 6 Märs, 1981.

шали. Лейбористы, социал-демократы, иные близкие им по духу реформаторы, вожди независимости, отбиравшие власть у колонизаторов,— все, будто сговорившись, вступали на хайековскую «дорогу в рабство». Даже демократическая партия США, которая не менее своих соперников-республиканцев страшилась любого действия, напоминающего «социализм», и та отдала дань возвышению экономической роли государства, использовав его для некоторого перераспределения доходов. Во благо народа — утверждали вершители этой политики. Во вред экономическому здоровью нации — ворчливо настаивали их противники справа.

Так оно худо-бедно и шло вплоть до 70-х годов, когда грянул гром. Сразу навалились и разлад производственных структур, и крайне низкие темпы роста, и «двузначная» инфляция, и безработица — на национальном уровне «семи-», а на международном «восьмизначная». Покатилась вспять волна национализаций. Государственный сектор впал в немилость.

Но действительно ли произошел этот поворот? Настаивать на том, что да, мол, он свершился, стал всеобщей явью — не есть ли это попытка вогнать в одномерную оценку наш бесконечно противоречивый мир?

Взвесить, разложить по полочкам все события и переживания, наполняющие и раскрашивающие общественное бытие человечества,— дело немыслимое. Тем не менее это не мешает, а наоборот, обязывает выявлять общие тенденции, особенно если они сами о себе навязчиво заявляют. Наука благословляет такое обращение с мятущейся в противоречиях действительностью. А поскольку мы здесь изначально движемся в обнимку с искусниками сатиры, позволительно опереться и на мнение одного из них, еще в XVIII веке справедливо утверждавшего, что «простота придает красоту даже многообразию, делая его более доступным восприятию»[12]. Ухватимся же за простоту, займемся просто перечислением некоторых явлений, прямо касающихся соперничества государства и частного капитала на поле национального хозяйствования.

Как там дела во Франции? «...За последние пять лет как социалистические, так и консервативные министры финансов целенаправленно уменьшали объем государственного вмешательства в экономику страны... В 1986 и 1987 годах консервативное правительство продало 13 государственных предприятий. Сюда входили и некоторые компании, национализированные социалистами в 1982 году»[13].

Что в Мексике? «...Правительство еще в 1985 году радикально изменило модель развития. От «курса на замену импорта» отказались в пользу рыночной экономики, открытой для заграницы... многие государственные предприятия были переданы в частные руки (в начале 1983 года в стране насчитывалось более тысячи государственных предприятий, а сейчас их по крайней мере на 700 меньше...)»[14].

В Индии идет напряженная дискуссия: что делать с государственным сектором? Сам Раджив Ганди задал ей тон, обратившись в декабре прошлого года к активистам своей партии с вопросом: «Можем ли мы позволить себе иметь такой социализм, при котором государственный сектор вместо того, чтобы создавать богатство, истощает народное достояние?» Оснований для тревоги хватает. Многие из 225 государственных фирм убыточны, с плановыми заданиями не справляются. В правительственных кабинетах рассматривались предложения насчет сдачи нерентабельных предприятий частным компаниям «по контракту» или в аренду самим рабочим, которые в этом случае должны будут организоваться как кооперативы[15].

«Ветер денационализации, веющий над Африкой уже несколько лет, не обошел стороной никого — от марксистской Анголы до либерального Кот-д'Ивуара, от Мадагаскара до Ганы, от Танзании до Сенегала»[16].

Подсчеты, проведенные в Лондонской школе экономики, установили, что общим числом не менее ста стран мира в той или иной мере сократили государственное вмешательство в экономику и переключились на поощрение частной инициативы, свободной игры рыночных сил. О том, что США с их «рейганомикой» и Англия с «тэтчеризмом» выступают здесь в роли ведущих, можно и не говорить. Они — признанные знаменосцы «неоконсервативной революции против большого государства». В Англии дело до того дошло, что лейбористская партия, которая в годы пребывания у власти национализировала весомую часть экономики, а потом была глубоко уязвлена развернутой консерваторами распродажей государственной собственности, даже эта партия дрогнула. В мае нынешнего года ее Национальный исполком, взявшись за обновление партийной программы, одобрил отказ от идеи прямого государственного участия в хозяйственной жизни и заменил ее призывом искать «более гибкие» формы общественного контроля.

Если бы смена вех в экономической жизни мира ограничивалась только несоциалистической его частью, в оценках происшедшего поворота можно было бы обойтись нашей мудростью не столь уж старых, не таких уж добрых времен. Можно было бы — и не без основания — указать, что-де не оправдались надежды, возлагавшиеся в странах капитала на государственное регулирование экономики. Не спасли они ее от кризисных

---

[12] У. Хогарт. Анализ красоты. Л., 1987, с. 129.

[13] "The Economist", March 12, 1988.

[14] "Monde diplomatique", Janvier, 1988.

[15] "Far Eastern Economic Review", January 14, 1988.

[16] "Jeune Afrique économie", Avril, 1988.

хворей, и пришлось срочно искать иные меры лечения.

Да, но... «Но» в том, что механизмы капиталистического, рыночного хозяйства, освобождаемые от государственной регламентации, и впрямь, за редкими исключениями, дают лучшие результаты и в рентабельности, и в освоении технических новшеств, и в качестве продукции. Раз. А во-вторых — и это, разумеется, должно больше занимать наши умы и теребить душу — никак не отмахнуться от того, что поход против всевластия государства в экономике развернулся и в мировых границах социализма. Знаем, видим, как поворачиваются дела в Венгрии и Китае, Болгарии и Польше, Югославии, Вьетнаме, Чехословакии... Главное же, мы сами по ходу перестройки движемся, как говорится, созвучно.

С введением Закона о предприятии, развертыванием кооперации, распространением аренды и подрядов, со всеми прочими новшествами в организации производства, банковского дела, материального снабжения, оплаты труда советская экономика устремилась к избавлению от стеснительных государственных команд. Не так пока обильны плоды, приносимые ее только-только обретаемой способностью к самодвижению. Но они есть. В тысячах промышленных и сельскохозяйственных фирм они присутствуют во внушительных прибавках производительности труда, рентабельности, заработков.

За рубежом почти не слыхать голосов в осуждение нашей экономической реформы. Ее хвалят. Многие предсказывают, что при последовательном ее осуществлении народное хозяйство СССР сделает семимильный шаг вперед. Но среди оптимистов и благожелателей есть немало таких, кто вдохновляется не столько светлым будущим советской экономики, сколько долгожданным и, как они полагают, самым убедительным подтверждением, что «Хайек прав», что лишь частный интерес, лишь механизм рынка и ни в коем случае не государство с его планами и министерскими распоряжениями способны сделать экономику эффективной. В толковании лондонского «Экономиста» реформы в СССР, Китае, Венгрии, Польше суть не что иное, как наконец-то проявленная коммунистами решимость «передать Маркса в частные руки»[17]. Сама Маргарет Тэтчер не останавливается перед тем, чтобы «указать на «поразительные параллели» между своими попытками преодолеть последствия «старомодной доктрины» английского социализма и усилиями Горбачева, направленными на «изменение экономической системы» в Советском Союзе с целью «расширения личного участия и увеличения личной ответственности»[18].

Недоразумение, возникшее было по поводу неожиданного нашего объединения с западными гонителями бюрократии справа, удалось, кажется, рассеять. Но как быть, если невооруженным глазом видать, что мы отнюдь не остались в стороне и от антигосударственного мятежа мировой экономики? Чем оправдать свое неудовольствие от того, что нас одобрительно похлопывают по плечу идеологи, лидеры бескомпромиссного капиталистического либерализма, если мы и вправду повернулись лицом к рынку и всеми силами стремимся отодвинуть собственное государство от текущих хозяйственных, производственных забот?

Есть над чем задуматься.

Уважаемые соотечественницы и соотечественники!

Давайте же задумаемся всерьез, с пониманием, что при всех стараниях соблюсти свою идеологическую чистоту непозволительно воротить нос от грубой действительности. Да и чем еще, если не жизненной теркой, отскребать, чистить идеологию, выставляющую первым своим требованием почитать реальности, а не выдумки. Не станем поэтому биться над тем, как бы поскорее откреститься от очевидного соучастия во всемирном разочаровании непосредственно государственным хозяйствованием. Не будем лихорадочно искать, как выгородиться за счет ссылок на особенности возлюбленного нами теперь социалистического рынка, на его отличия от рынка капиталистического. Есть эти особенности, есть отличия. Никуда они не делись и не денутся. Но давайте сперва уделим внимание не нашей исключительности, а нашей причастности к явлениям, обнаруживающим свойства всеобщности. Надо, конечно, уточнить, в чем суть этой всеобщности, из чего такого обязательного для всех стран и народов она складывается.

Нелишне тут заметить, как бы в скобках, что «принцип Питера», «закон Паркинсона» тем и сильны, что притязают на всегдашнюю и повсеместную применимость. А поскольку читаем мы с вами не одну «Иностранную литературу», поскольку знакомимся и с другими толстыми и совсем тонкими изданиями, теми, что больше заняты делами и страстями отечественными, постольку имеем возможность порадоваться, что по части установления законов непременного и вечного действия наши земляки тоже не лыком шиты.

Один такой «закон» (чьим именем назвать? — авторов множество[19]) выведен из многотрудного опыта родной истории и гласит, что труд, вдохновляемый личной заинтересованностью, производи-

[17] "The Economist" January 30, 1988.

[18] "The Washington Post", May 10, 1988.

[19] Грех, однако, было бы не помянуть В. Селюнина, выступившего с его подробными обоснованиями («Новый мир», 1988, № 5), не отметить определенный вклад писателей В. Белова («Правда», 15 апреля 1988), Б. Можаева («Московские новости», 5 июня 1988). Приводимый здесь перечень исторических столкновений производительной и непроизводительной экономики целиком составлен по материалам этих публикаций.

тельнее труда из-под палки. Право же, восхищения достойно, как этот «закон» пробивал себе путь сквозь столетия, как уверенно продирался он через социальные и политические бури времен давних и близких.

Стоит только приглядеться, и найдем ему подтверждение в соперничестве между опричниной и боярской вольницей. Между казенными сукновалами и безнадзорными фабрикантами ситца. Между Александром I, крестным отцом аракчеевских военных поселений (возникших то ли вопреки прожектам Сперанского, то ли в духе оных), и вольным мужицким хлебопашеством. Между куцыми решениями бюрократов из Государственного совета, учинивших реформу 1861 года, и изначальными освободительными помыслами Александра II. Между любезной сердцу податного чиновника сельской общиной и столыпинскими хуторами. Между «военным коммунизмом» и нэпом. Между плановой директивой и хозрасчетом. Вплоть до нынешнего: между несдающимися министерствами и предприятиями, работающими в режиме трех «С».

За что ни возьмись, цифирь, документы свидетельствуют: опричнина, Александр I, «военный коммунизм» — по одну сторону, по ту, где производительностью не пахнет, а бояре-вотчинники, Александр II, нэп — по другую, где и выход продукции повыше, и затраты пониже.

Нас, теперешних, можно, по-видимому, и укорить небрежением к корням, коли станем чересчур рьяно отрекаться от своего прошлого, коли будем напропалую рвать нити, пусть и не так прочно, но все же «как-то» связывающие наши нынешние неурядицы и заботы с некогда состоявшимся превращением Москвы в «третий Рим», либо с жесткой требовательностью продотрядов. Но попробуем-ка пристегнуть к логике этого неумолимого «закона», скажем, западноевропейских социал-демократов или политических наследников Рузвельта. Согласятся ли они на зачисление в опричники XX века? Пожалуй, ведь обидятся. Ни за что не признают, будто все их нашумевшие поползновения регулировать экономику, национализировать целые отрасли производства и услуг, создавать «государство благосостояния», проводить «политику доходов» — будто все это идет от сатанинских начинаний и заветов Малюты Скуратова.

Не согласятся, не признают — и правы будут. Потому правы, что среди них, как, естественно, и среди нас, сроду не было неразумных, коих надо было бы уговаривать, что-де работа лучше спорится, если она в охотку. Когда, где, кому это не было ясно? Ведь для смеху только говорится, что заяц, ежели его бить, научится и спички зажигать. Все знают, что не научится. Знал это даже Троцкий, хоть и памятно его лихое заявление на IX съезде РКП(б): «Это неправда, что принудительный труд при всяких обстоятельствах и при всяких условиях непроизводителен»[20]. Он, конечно же, не хуже любого ведал, что никакая принудиловка с эффективностью свободного, заинтересованного труда сравниться не может, и говорил обратное — явно поступаясь истиной в угоду собственным политическим целям.

Пример этот ценен поучительностью. Он помогает понять, что едва начнут вам объяснять, как повысить производительность труда, как поднять эффективность экономики, полезно тут же осведомиться: а зачем? Или, сказать по-иному, выяснить, какой интерес скрывается за предлагаемым способом хозяйствования.

«Зачем» встроено в саму природу экономики. Она и не движется иначе, как через утряску интересов, то есть сталкивающихся между собой «зачем?» производителей и потребителей, хозяев и работников, продавцов и покупателей. Но лабораторную чистоту рождающихся и действующих тут экономических законов непременно загрязняют еще и другие бесконечные «зачем?», поступающие в хозяйственную сферу извне, иной раз даже из таких духовных далей, где всерьез спрашивают: а в чем смысл жизни?

Так что заинтриговавший нас «закон» превосходства экономики, свободной от казенного принуждения, надо, видимо, принимать одновременно и за самоочевидность, и за нечто сомнительное, требующее оговорки: это, мол, как посмотреть.

Представься случай объясниться с царем Иваном Васильевичем или самодержавным преобразователем Петром Алексеевичем, они бы, ей-ей, не оставили сомнений в том, что очень даже хорошо послужила их целям и замыслам закованная в цепи, батогами подстегиваемая экономика. Что дорого обошлось это холопам да смердам, как и иным боярам, заметили бы они, так не взыщите: за величие трона и державы любую цену отдать не грех. Недурно бы, конечно, получить «ту же оборону за полцены», так ведь и самые ретивые сторонники свободного рынка соображают, что тут без обременительного пригляда и расточительной опеки государства, без жесткой его руки не обойдешься — так мир сотворен.

Для устроителей царств и империй не то что производительность труда работника, а и самая жизнь его — тьфу. В измерении эффективности экономики у них особый, монарший счет, и нечего тут приставать с соотношениями «затраты — выпуск».

Нечего этими выкладками колоть глаза и японцу Кудо — тому самому, что вызвал недоумение хозяина и был припечатан званием «сумасшедшего», когда в 1983 году решил расстаться с завидной должностью в могучем преуспевающем банке и выдвинул тому единственную причину: «У меня другие жизненные планы». Суть своего помешательства три года спустя Кудо пространно объяснил французскому публицисту П. Пикару:

[20] Цит. по статье В. Селюнина. «Новый мир», 1988, № 5, с. 169.

«...98 процентов людей, с которыми встречаешься на улице, находятся под воздействием системы, почти лишившей их разума. Иногда сомневаешься: кто же ненормальный, я или все остальные?» Пикар задумался: «В самом деле, неужели только горстка людей сомневается в достоинствах общества, всецело преданного экономическому росту?»[21].

Опросы общественного мнения, непрерывной чередой проводимые в Японии, США, Западной Европе, свидетельствуют, что как бы ни ценили тамошние жители технические, производственные, хозяйственные достижения своих стран, как бы ни убивались в иных случаях по поводу расстройства национальной экономики, значительная их часть, нередко и большинство, захвачены «другими жизненными планами». Если и прозвучит народное слово одобрения успехам экономики, тут же следует томительно-безрадостное «ну и что?».

Нынешней весной по заказу еженедельника «Обсервер» служба Харриса спросила у англичан, стали ли страна и люди богаче за девять лет правления консерваторов. Более трети этого не заметили, 48 процентов ответили утвердительно. А стала ли жизнь счастливее? Почти половина опрошенных отвергла подобное предположение, согласилась с ним лишь пятая часть. Стали ли люди добрее? Около двух третей англичан уверенно заявили, что, наоборот, они стали эгоистичней [22].

Приглашаю взять все это в расчет в беспокойных раздумьях о том, какие великие силы свели нас сегодня во всемирном войске «рыночников», выступивших в поход против «государственников». Понятно, кажется, что вся суть неожиданного объединения и мера его прочности — это одинаковый в общих чертах ответ на вопрос: **как** поднять производительность и эффективность хозяйствования. И сводится этот ответ к признанию, что законы экономики требуют к себе внимания, уважения, что за всякое насилие над ними рано или поздно придется хотя бы экономически же расплачиваться. В этих пределах вполне, можно сказать, сработал представленный выше «закон» превосходства экономики, отпускаемой на волю.

Тем, однако, исчерпывается простота видимого единства. Далее берут свои права совершенно различные «зачем?», и всеобщность сохраняется только в своем старом как мир облике всеохватывающей противоречивости интересов.

Прежде чем заняться некоторыми «зачем?», не помешает хотя бы на скорую руку разделаться с одним естественно возникающим «почему?».

Почему грозный час расплаты наступил и прозрение явилось сразу на всех широтах и меридианах, независимо от кричащих различий в социальных, политических, идеологических ландшафтах и климатах? Коренная, всеопределяющая тому причина — научно-техническая революция. Она самым наглядным и ощутимым образом подняла степень наказуемости всякого равнодушия и пренебрежения к уровню производительности труда, эффективности экономики. У вас могут быть какие угодно соображения насчет «зачем?» — сказала эта революция миру. Корыстные или благородные — неважно. Следуйте хоть державным интересам, хоть велениям морали, человечности — не имеет значения. Не покушайтесь только на природу экономики. Не рубите сук, на котором она сидит, не загоняйте в угол товарно-денежные отношения, не лишайте рынок его законных прав и чрезвычайно полезных для вас возможностей.

Вот, собственно, и все. Хотите кивайте на Хайека, хотите ссылайтесь на преимущества боярского хозяйства в сравнении с опричниной, хотите воспевайте достоинства полного хозрасчета — экономический диктат современной НТР будет на вашей стороне. Тут, однако, вполне уместно, пользуясь одним из дорого давшихся приращений нашей художественной и интеллектуальной культуры, а отчасти, может быть, повинуясь моде, задумчиво проговорить: и все же, все же...

И все же — зачем?

Искательницы и искатели истины!

Нам с вами, просвещенным марксистам, не приходится, конечно, ломать голову насчет того, зачем добиваются эффективности своей экономики ее капиталистические хозяева. Что интерес прибыли присутствует здесь как главная движущая сила, мы знаем так же хорошо, как знают это они сами (когда не выступают на публике).

Есть у нас полная ясность и по поводу наших собственных «зачем?». Повышение народного благосостояния, создание лучших материальных условий для жизни и развития человека — эти общественные интересы и цели никогда не меркли на знамени социализма. Но ведь при достигнутом уровне мировой цивилизации, в которую неотъемлемой и влиятельной частью вошла социальная культура социализма, то же самое, почти в тех же словах не забывает сказать и большинство идеологов современного капитализма, когда речь идет о конечных целях и мотивах его участия в гонке за высокую производительность и экономическую эффективность. В результате на вопрос «зачем?» народы всего мира слышат только один ответ, причем именно тот, который они хотят слышать.

Загвоздки начинаются тогда, когда этот ответ обосновывается теоретическими доводами или проверяется практикой. В последнее время с экономики строго спросила не только НТР. Все более взыскательный счет предъявляет ей общественное сознание. В нем стремительно нарастает тревога за то, что экономика, предоставленная воле ее собственных законов, при нынешней ее мощи станет особенно опасной разрушительницей общественной справедливости и нравственности, губительницей всего здорового в

[21] "Événement du jeudi". 6 février 1986.

[22] "The Observer", May 30, 1988.

социальной и природной среде обитания человека.

Тревога эта всемирная. Перед ней не может закрыть двери ни одно общество, когда оно берется за избавление своей экономики от прямых приказов государства. Касается это и нас. Сегодня, если захотим прислушаться, мы легко уловим вокруг себя ропот и сомнения по поводу возможных социальных последствий радикальной экономической реформы. Чем обернется для каждой семьи новая система цен и ценообразования? Не ударит ли последовательный хозрасчет по заработкам? Найдут ли работу и где люди, которых техническое обновление производства и сокращение управленческого аппарата вытесняют с привычных мест труда? А анафема уравниловке — не есть ли она предвестник образования узаконенной пропасти в доходах? Где тогда будут социальные, нравственные ценности, утверждаемые социализмом?

У общественных настроений всегда бывают их выразители, получающие и признание, и верную аудиторию. По ходу перестройки у нас появилась плеяда публицистов, умеющих найти самые проникновенные слова в защиту незыблемости социальных завоеваний советского общества. Возникло, мне кажется, и целое течение общественной мысли, зовущее к неустанному нравственному очищению, укреплению моральных основ нашего бытия. Только чести и хвалы достойно благородство этих дум и литературных стараний. И все-таки в некоторых случаях приходится недоумевая разводить руками — именно в тех случаях, когда делаются попытки не просто свергнуть с пьедестала экономику без морали, но тут же на освободившееся место водрузить мораль без экономики.

Такого рода попытка представлена, например, широко замеченными сочинениями Михаила Антонова[23]. «Сколь бы важными ни считали мы экономические показатели, в конечном счете течение народной жизни определяет изменение человека, его души»,— твердым голосом сообщает автор. Конечно, повышенное внимание к человеку и его душе важно сегодня как никогда, в частности, и потому, что оно должно помочь нам поскорее освободиться от всякого рода поверхностных и вульгарных толкований исторического материализма. Но стоит ли заходить так далеко, чтобы расправляться с истматом даже «в конечном счете», то есть там, где выясняется, что же все-таки первично в истории, в «течении народной жизни» — бытие или сознание?

Но пусть будет по М. Антонову. А он считает, что долго-долго «изменение человека, его души» шло у нас не в лучшую сторону — как бы подальше от морали и культуры, поближе к духовному опустошению и дикости. Когда именно началось «одичание» (выражение Антонова), точно не скажешь. Но чтобы установить, как далеко мы в нем зашли, как низко пали, за точку отсчета удобно брать что-нибудь из прошлого века. Например, об уровне подготовки специалистов в Московском институте управления просто смешно говорить, если вспомнить, как готовили их в Царскосельском лицее. Самокритичность всегда добавляет убедительности, и, видимо, как раз поэтому М. Антонов, в прошлом инженер-путеец, подчеркивает, что он сам значительно проигрывает в сравнении с Н. Г. Гариным-Михайловским. Имеется в виду, что тот лучше строил дороги (а не писал).

Из нашего «одичания», принятого за аксиому, выводится у Антонова следующее назидательно важное положение: «...Если мы осознали свои существенные упущения в духовно-нравственной сфере, то нам осталось осмыслить, что ничего не удастся существенно изменить в лучшую сторону в экономике, если не изменимся к лучшему мы сами». Поскольку сам автор уже основательно продвинулся в этом осмыслении, можно познакомиться с некоторыми его выводами. «Эгоизм людей и процветание экономики» — это, как говорится, «две вещи несовместные». И далее: «Представим себе, что работнички-рвачи... стали задавать тон не в каком-то отдельно взятом поселке, а везде и всюду. Разве не очевидно, что они быстро разнесут буквально вдребезги любую экономику, какой бы совершенный хозяйственный механизм мы ни придумали и создали?»

Боюсь, что нам с вами это не так очевидно, как М. Антонову. Мы чешем в затылке и думаем: а как же держится до сих пор капиталистическая экономика? Почему не разнесли ее вдребезги тамошние работнички — они что, сплошь сознательные, не рвачи? А как удается ей сохранять эффективность гораздо выше нашей при усердно насаждаемой там культуре эгоизма? Наверное, какие-нибудь разъяснения у автора отыщутся.

Пока же остается довольствоваться построенной Антоновым теоремой в ее общем виде: экономикой должна двигать нравственность.

Из всех исторических попыток делом доказать «теорему Антонова» наиболее успешной, хотя и недолговечной, была, кажется, предпринятая Робертом Оуэном в Нью-Ленарке. Там к прядильной фабрике был даже приставлен «Новый институт формирования характера». Ничего в конце концов из той затеи не вышло. При ее повторении в Америке Р. Оуэна опять постигла неудача. Сам он тем не менее до последнего вздоха сохранял веру в правильность своих начинаний. Надо воздать должное его светлым стремлениям, его мужеству и упорству. Но не надо бы почти два века спустя звать к воспроизводству его ошибок. Не стоит отказывать ему в признательности за то, что этими ошибками он дал человечеству возможность стать мудрее.

Между прочим, социально-производственные опыты Оуэна были своего рода неоправдавшимся вызовом, который

[23] «Октябрь», 1987, № 8, «Москва», 1988, № 4. Приводимые здесь цитаты — только из статьи «Что же с нами происходит?», напечатанной в «Октябре».

он бросил основательно сложившимся к тому времени в Англии взглядам на соотношение экономики и нравственности. Еще в начале XVIII века в английскую культуру вторгся Бернард Мандевиль со своей «Басней о пчелах», где он предложил осознать неприятную для записных моралистов политэкономическую истину:

Чтоб стать народ великим мог,
В нем должен свить гнездо порок;
Достаток — все тому свидетель —
Не даст ему лишь добродетель[24].

Мандевиль заявил, что алчность, тщеславное себялюбие, стремление к роскоши, лихое донжуанство — все это отменные стимулы, пробуждающие производственную, хозяйственную энергию общества. Выбирайте, что вам милее: повально высокая и голодная нравственность или трудолюбие, изобретательность, предприимчивость тех, кто вас кормит и кому распущенность влиятельной части населения предлагает растущий рынок для товаров и услуг?

Адам Смит, начавший свой путь к всемирной славе с публикации «Теории нравственных чувств» (1759 год), отнесся к сочинению Мандевиля с заинтересованностью, пропитанной истинно шотландской сдержанностью. Все-таки он содрогнулся, столкнувшись со столь отважным высвобождением теоретической мысли из пут общепринятой морали. Но в обессмертившем его имя «Богатстве народов» сам не смог уклониться от решения в духе «Басни о пчелах». Что между интересами экономики, с одной стороны, и нравственностью, справедливостью, с другой, надо выбирать, это А. Смиту было ясно. И выбор он сделал четкий — в пользу экономики. Но при этом в успокоение себе и прочим разъяснил, что своекорыстие, эгоизм каждого товаропроизводителя в конце концов непременно обеспечат достойное удовлетворение нужд всех жаждущих и страждущих.

Какой корифей без эпигонов? В начале 80-х годов в Америке изрядного шуму наделала книга Джорджа Джилдера «Богатство и бедность». Автор отчаянно-смело заострил мысль А. Смита, довел ее не только до полного морального оправдания преуспевающих бизнесменов, но и до утверждения, что в их погоне за прибылью торжествует никакой не эгоизм, а высшая нравственность. Рисковать, отрывать от себя, лишь бы облагодетельствовать неимущих — таково их предназначение на земле. Лондонский «Экономист» отозвался рецензией, заключив ее такими словами: «По-видимому, блаженны делатели денег, ибо назовут их отцами капитализма; блаженны лоснящиеся от жира, ибо обретут они мир»[25].

Чуть раньше Джилдера сходными идеями взбудоражил публику А. Лаффер, другой экономист неоконсервативной школы. Он заклеймил государственные социальные программы как вредоносные для тех, кому они якобы помогают. Известный американский обозреватель Уильям Сэфайр, сам человек крайне правых убеждений, наслаждался сочинением Лаффера как раз в дни (май 1979 г.), когда парламентское большинство в Англии попало в руки консерваторов. Сопоставив рассуждения Лаффера с правительственной программой тори, Сэфайр взялся за перо, и вот что у него получилось[26]:

— Британский избиратель наконец-то остановил разбойника из Шервудского леса, Робин Гуда, который в англо-американском фольклоре слыл героем с первого о нем упоминания в «Видении о Петре Пахаре» (XIV в.). Гуд и его пестрая команда ранних социалистов — Малютка Джон, братец Тук, Аллан из Лощины и дева Марианна (тогдашняя Джейн Фонда) — «отнимали у богатых и давали бедным». Называемое ныне «перераспределением доходов», это занятие имело хорошую прессу в течение пяти столетий. Теперь Артур Лаффер выдвинул ревизионистскую теорию, поясняющую, что Робин Гуд и его ватага были всего-навсего бандитами, которые вопреки своим добрым намерениям причиняли беднякам вред.

В Шервудском лесу банда (веселые люди, как называют ее апологеты) задерживала богатых купцов и отбирала у них часть выручки по ставкам прогрессивного налога — чем больше имел купец барышей, тем большей доли его лишали. Эти налоговые поступления за вычетом бюрократических накладных расходов и платежей за удобства, с которыми привыкла разъезжать Марианна, передавались беднякам.

В развитие легенды Лаффер ставит вопрос: что приходилось делать купцам? Одни нанимали войско охранников, и его надо было оплачивать. Другие стали объезжать лес стороной и дополнительно затрачиваться на окольную транспортировку грузов. Издержки так или иначе возрастали, и купцы прибавляли их к стоимости товаров. Беднякам стало хуже, чем прежде, до появления Робин Гуда. Поднялись цены на предметы первой необходимости (инфляция). Выдачи от Робин Гуда не могли этого компенсировать, поскольку купцы избегали появляться в лесу (сокращение налоговой базы). Ограблением богатых (ростом издержек, удушением инициативы) Гуд и окружавшие его леваки усугубили тяжелое положение бедняков.

К сему в завершение: Робин Гуд, под чьим именем скрывался, как предполагается, герцог Хантингтонский, погиб от руки аббатиссы Киркли — женщины!

Вы не откажете У. Сэфайру в галантности. Это был очень изящный способ поздравить М. Тэтчер с назначением на

[24] Перевод А. Л. Субботина, цит. по его книге «Бернард Мандевиль», М., 1986, с. 130.

[25] "The Economist". March 7, 1981.

[26] Несколько сокращенный перевод-пересказ из «New York Times», May 10, 1979.

пост премьер-министра. Этой галантности не хватило, как мы видели, значительной части англичан, откликнувшихся девять лет спустя на просьбу оценить итоги ее правления.

То же и в Америке, где едва стали созревать социальные плоды «рейганомики», как обнаружился их достаточно горький вкус. Понятно, что это вызвало бурные протесты у левых, у всех убежденных и профессиональных поборников интересов трудового люда. Но особенно стоит послушать людей, о которых принято думать, что они не от политики, а от совести.

В ноябре 1986 года католические епископы США в своем «Пастырском письме» выразили крайнее беспокойство положением дел в стране, где, несмотря на ее несметные богатства, «свирепствует вопиющая бедность. Бедны более 33 млн. американцев; по любым разумным нормам нуждаются еще 20—30 млн. человек». Уровень безработицы в 6—7 процентов, который «считают приемлемым сегодня, был бы совершенно нетерпим еще 20 лет назад». И далее — осторожно, но недвусмысленно: «Ненадежное положение столь многих семей требует изучения экономических устоев в США. Христианская вера и американское обещание свободы и справедливости для всех дают бедным и уязвимым особое право на внимание страны».

Ну что ж, экономические устои могут, конечно, и должны изучаться в свете прав бедных и уязвимых. Но не обойтись, видимо, без их изучения и в свете всего мирового опыта. А какой это опыт, известно. Капиталистический рынок с его безжалостным уничтожением всего невыгодного, непроизводительного умножал и умножал экономическую эффективность, вздымал ее, несмотря ни на какие кризисные перепады, все выше и выше. И столь же жестко он отметал любую общественную заявку на уважение человечности, на социальную справедливость, если в ней присутствовала малейшая угроза эффективности, измеряемой уровнем прибыли.

С другой стороны, социализм, положивший конец эксплуатации и давший человеку великое благо социальной защищенности, не показал все-таки за семьдесят с лишним лет, что в области технического прогресса, хозяйственной продуктивности он может идти по крайней мере вровень с капитализмом. В СССР пока, как ни считай, производительность общественного труда не дотягивает и до двух третей ее американского, западноевропейского, японского уровня. А из этого естественным образом вырастают нехватки, повседневные мучения «где достать?», очереди — на часы за пустяковым ширпотребом, на годы за квартирой. Есть социальные права, есть платежеспособный спрос — нет достаточного их материального покрытия. У них, там, наоборот.

Поклонницы и поклонники творческой мысли!

Заразительная это штука, законоотрывательство. Так и подмывает им заняться. А почему бы нет? Давайте сомкнем ряды, поднатужимся и совместными усилиями откроем какой-нибудь «закон» или «принцип». Исходного материала для него вроде бы поднабралось. А я еще позволю себе кое-что добавить в виде впечатлений от некогда услышанного и увиденного.

Прежде всего от услышанного лет десять назад из уст профессионального революционера, члена руководства компартии, действующей в одной из стран Южной Америки. Имени не называю, поскольку не запасся на это его разрешением. Дело было в Праге, и мы обсуждали тогдашние нововведения в хозяйственной практике Чехословакии. Живо он ими интересовался, одобрял, но вдруг говорит:

— А знаешь, социализм все равно никогда не будет иметь такой эффективной экономики, как капитализм.

— Это почему же?

— Очень просто. Могу на пальцах объяснить. Вот «Дженерал электрик», американская и, как сейчас выражаются, транснациональная компания. Все ее знают, а я еще знаю, как она работает. Близко наблюдал, у нас в городе находится один из ее заграничных филиалов. Им как-то в контору понадобился рассыльный, мальчик на побегушках. Дали объявление. Наутро — толпа. Лезут, галдят. Выходит на крыльцо какой-то младший менеджер и молча на них глядит. Долго глядит. Потом подзывает пальцем с десяток пацанов, остальные расходись. Этих избранных рассматривают уже в конторе — как поздоровался, как повернулся, как на вопрос ответил. Оставляют трех-четырех — на испытание. Дают каждому недели две поработать и, наконец, останавливают выбор на одном. Словом, на деле отбирают лучший человеческий материал. Крупинку из груды. Там их вначале человек триста набежало. Остался один; прочим все та же безработица. Что такое быть безработным, да еще в Южной Америке, все равно не поймешь. А вот почему социализму не видать капиталистической производительности, объяснил, кажется, доступно.

Ну что можно было возразить человеку, который, по его собственным словам, «с малых лет жил согласно одиннадцатому тезису о Фейербахе», то есть не щадя себя стремился изменить мир. Сказать, что, заведомо соглашаясь на падение эффективности производства, он стремится изменить мир к худшему?

Кому приходилось бывать на первоклассно оснащенных капиталистических предприятиях, знают, как легко уронить себя в глазах рабочих, профсоюзных деятелей, если дать волю восторгу окружающими чудесами техники. Представление о возникающих тут взаимонепониманиях можно получить из зарисовки советского публициста: «На заводе стального концерна Арбед в Люксембурге участникам международного симпозиума по проблемам профсоюзов показывали мощную домну, оснащенную современнейшим оборудованием. Сообщили, что ее обслуживают всего 8 человек. «Какая произ-

водительность!» — сказал я старому знакомому Берту Рамелсону, коммунисту из Великобритании. «Какая степень эксплуатации!» — отозвался он»[27].

Не знаю, как для вас, а для меня все укладывается в одну корзину, в ту, где собирается материал для намеченного нами открытия. Не улавливаете ли вы, что в каждом случае расходятся в стороны, отталкиваются друг от друга производительность и человечность?

Для знакомства с этим «либо-либо» можно и не отъезжать за государственные границы. Вот, говорят, нэп — первое в мире «экономическое чудо». Статистика, воспоминания старожилов подтверждают: как из-под земли появились в голодной, разрушенной стране и еда, и «мануфактура», и даже чистота на улицах. Заработали и деревня, и город; уверенно поползла вверх производительность труда. Но рядом расцвел оскорбительный для совести трудового человека разгул нэпманов. Жители той поры, сознательно вставшие под знамена революции, со скрежетом зубовным принимали социальные и нравственные издержки «экономического чуда». Иные и вовсе не смогли принять — как толстовская «гадюка».

Потом — пятилетки, создавшие передовые для своего времени индустрию, энергетику, транспортную сеть. Это был не просто хороший экономический рост, а настоящий рывок. Но какой же несправедливостью, сколькими человеческими страданиями он был оплачен! Жестокие безумства коллективизации были изнанкой, подкладкой индустриального взлета.

Было и обратное. Чего стоит, скажем, культурная революция. Чего она стоила? — в прямом, бухгалтерском смысле. Ответ ясен каждому, кто припомнит, почем десятилетиями продавались у нас книги, как стремление сделать их общедоступными явно брало верх над любыми хозяйственными расчетами.

В тот же ряд, только с гораздо более крупными суммами запланированных потерь, выстраиваются меры по преодолению отсталости бывших имперских окраин. В данном случае экономику не щадили, с ней не считались и сооружали заводы там, где от них заранее нельзя было ждать производительности, какую они дали бы в обжитых промышленностью, богатых кадрами центрах. Но строили, чтобы равноправие наций и народов, непременное требование человечности, получало какое-то зримое наполнение.

Желательный выигрыш в одном — обязательный проигрыш в другом. Либо — либо. Необходимость этого выбора — не тянет ли она на то, чтобы быть возведенной в закон? Если вы согласны, давайте считать, что существует непреложное правило, по которому интересы экономики и интересы внеэкономические всегда оказываются взаимно противоречивыми, вплоть до несовместимости. Этот плод наших совместных усилий мы вправе назвать «нашим общим законом», или, для краткости, «общим законом».

Кому-то почудится, что мы недалеко шагнули от обсуждавшегося выше «закона» ненасилия над экономикой. Но это будет ошибкой. Наш «общий закон» шире. Требование охранять экономику от кнута погоняльщика можно рассматривать как одно из его следствий.

Еще важнее другое. Тот «закон» однобок. Он берет под свое крыло экономику, но не признает ни духа захватывающих начинаний русского царя Петра, ни жизненных планов японца Кудо, ни тоски по добросердечию, одолевающей сегодняшних англичан. «Общий закон» считается с многообразием человеческих, общественных устремлений. Он не содержит в себе предвзятостей и предпочтений.

«Общий закон» не принимает, конечно, «теорему Антонова», ибо не допускает вознесения нравственности на такую высоту, чтобы ее можно было объявить средством повышения экономической эффективности. Но, не подхватывая традиции, корнями восходящей к прекраснодушным утопиям, он так же твердо говорит свое «нет» и современным ученикам школы Адама Смита.

Кстати, как называется случай столкновения взаимно противоречивых законов — антиномия? Так вот, чтобы избежать коварной ловушки антиномии, ни один приверженец «общего закона» не должен благосклонно внимать экономисту и писателю Н. Шмелеву, когда он сообщает: «Размышляя в последнее время над связью экономики и нравственности, я пришел к убеждению, что существует, может быть, не всем ясный закон, с которым мы сталкиваемся в жизни на каждом шагу; я бы этот закон сформулировал так: все, что эффективно — нравственно, и, наоборот, все неэффективное — безнравственно»[28]. Мы с вами перебрали множество свидетельств общественного опыта, которые едва ли говорят в пользу вдохновляющего, но пока что, видимо, не набравшего силы «закона Шмелева».

Лавры первооткрывателей не должны чересчур кружить нам голову. Останемся скромными. Великодушно признаем, что у нас были предшественники, напряжением мысли либо бойкостью пера пролагавшие путь к обнаружению «общего закона». Некоторые из них — Мандевиль, например,— излагали свои соображения с такой грубой прямотой, что наше к ним отношение не может быть иным, нежели известное отношение выбившихся в люди горожан к неотесанным родственникам из деревни. Трудно, но приходится терпеть.

Во сто крат тяжелее, однако, сталкиваться со случаями, когда авторы, схватившие суть «общего закона», делают из него обескураживающе мрачные выводы. Скажем, Альберт Линдеман, профес-

[27] А. Волков. Работа на себя. («Знамя», 1985, № 11).

[28] «Книжное обозрение», 1988, № 1. Несколько иными словами ту же мысль Н. Шмелев высказывает в статье «Новые тревоги» («Новый мир» 1988, № 4).

сор Калифорнийского университета, придерживающийся расплывчатых социалистических взглядов, пишет: «Жалок был бы мир, оставшийся без представлений о более гармоничной жизни людей, о более совершенном человечестве. Знание истории социализма оказывается тяжким бременем для тех, кто упорно вдохновляется этими представлениями. В то же время, работая с целью всем обеспечить достоинство, жизненные удобства и раскрепощение на основе разумного планирования, путем сдерживания социально разрушительных тенденций рыночной экономики, мы должны признать, что погоня за личной выгодой в рамках либеральной экономической системы действительно оказалась могучей силой повышения производительности труда и источником жизненности общества в целом. Этот парадокс едва ли отличается новизной, и едва ли есть надежда, что он будет разрешен в обозримом будущем»[29].

Как видите, «общий закон», названный «парадоксом», преподносится здесь как черная сила, которая не только давно преследует человечество, но и отнимает у него светлые надежды на будущее — по крайней мере обозримое. Грустно. Но это еще что! В прошлом году наша современница и соотечественница, приблизившаяся к пониманию «общего закона», повернула свои умозаключения еще круче. Советскому обществу она предложила жесточайший выбор. Либо, если вам этого хочется, громоздите на стол пышные пироги, испекаемые капитализмом, но тогда расстанетесь с мечтами о социальной справедливости и человечности. Либо сохраняйте свою преданность идеалам социалистического общежития, но тогда довольствуйтесь тарелкой жиденькой каши. По старой страшной сказке: направо пойдешь — волки съедят; налево — с голоду умрешь [30].

Н-да, пусть уж лучше родственники из деревни гостюют.

Гражданки и граждане социалистического общества конца XX века!

Ни вы, ни я не забыли, что в задачу этой речи-лекции входило уточнить, в какой области и каким способом было бы нам сейчас всего полезнее применять «принцип» Питера. Я поставил под сомнение, что он может быть действенным орудием борьбы против бюрократизма, чем вовсе не исключается его плодотворная вспомогательная роль в этом деле. «Да» и «нет» здесь достаточно хорошо согласуются между собой, что лишний раз получило подтверждение на XIX Всесоюзной партконференции. Требование «в полной мере использовать силу такого жанра, как сатира» вошло в ее резолюцию «О борьбе с бюрократизмом» по предложению Сергея Михалкова. Делегаты единодушно поддержали его инициативу, прекрасно сознавая, конечно, что границы оздоровительному влиянию сатиры устанавливает сама жизнь. Иначе после четвертьвекового огненного шипения «Фитиля» не осталось бы никакой нужды в политических решениях, особо заостренных против бюрократизма.

Что касается творчества Л. Питера, то представленные в нем образы и картины из жизни «иерархий» отвлекают, видимо, от должного восприятия его подлинного пафоса, который направлен не столько против бюрократов, сколько против некомпетентности.

Чиновникам достается от Питера как раз в ту меру, в какой они выступают носителями некомпетентности. На эту общественно вредную роль они попадают не по рождению, а лишь потому, что оказываются жертвами служебного возвышения, выпадающего на их долю как награда за проявленную компетентность. На беду — свою и нашу — они не умеют «уйти прежде, чем их повысили». Уйти куда? Вся жизнь переплетена иерархиями. Уйти из одной в другую? Питер рассматривает такую возможность. Но это лишь временное решение. Остается угроза, что компетентность, выявленная на новом месте, послужит, как всегда, толчком для быстрого продвижения к уровню некомпетентности.

Выход только в нас самих, в нашей воле и разуме, коих должно хватить, чтобы крепко держаться за компетентность, противоборствовать, противостоять любым собственным искушениям и чужим попыткам разлучить нас с нею.

Некомпетентно сводить понятие иерархии всего лишь к системам соподчиненности, которые сразу видны и понятны, как в случае с управленческим аппаратом. Желания и стремления каждого из нас встроены в иерархию личных предпочтений. Иерархична любая шкала ценностей. Уже поэтому опасность стать жертвой некомпетентности подстерегает каждого и на каждом шагу. Стоит только повысить в должности какое-нибудь свое частное стремление или представление, раздуть его до несоответствия действительности, реальным возможностям — и готово. Я не обижу Лоуренса Питера, если скажу, что его «принцип» был заложен еще в библейском «не сотвори себе кумира».

Есть особая иерархия, расставляющая по местам наши достижения в познавании мира. Наблюдение — это самый мелкий чиновник. Догадка — рангом повыше. Глубокое обобщение предстает в регалиях какого-нибудь заведующего отделом. И так далее. Если наблюдению прицепить титул открытия, в нем тут же проявятся все признаки некомпетентности. Гипотеза хороша на своем посту. Но если утвердить ее в должности обязательной к исполнению идеи и держать там вопреки всем опровергающим жизненным обстоятельствам, это будет только расширением царства некомпетентности.

Когда у человечества зародилась мысль, что свободные товарно-денеж-

---

[29] Albert S. Lindemann. A History of European Socialism. New Haven and London, 1983, p. 361.

[30] См. А. Попкова. Где пышнее пироги («Новый мир», 1987, № 5).

ные отношения, откликающиеся только на требования рынка, сами собой установят вокруг социальную и нравственную благодать, это была ценная мысль. Она была компетентной в соседстве с неуволенными еще из обихода представлениями, будто вожделенный порядок вещей может быть создан рыцарским благородством аристократии и христианским благонравием не разгибающей спину бедноты. Но когда та же мысль сделала карьеру и по прошествии веков оказалась возведенной в чин бесспорной истины, печать некомпетентности проступила на ней несмываемым пятном. Ей не могут уже помочь никакие сеансы омоложения.

Когда родилась мысль-мечта, что, наоборот, прямым установлением социальной справедливости и исправлением нравов можно будет сразу избавить людей от всяких материальных лишений и забот, поднять производительность труда, который станет им только в радость, эта мысль тоже была счастливым озарением. И именно потому она тоже сделала головокружительную карьеру, утвердилась как святая идея, облеченная огромной властью над умами. Она не подает в отставку, хотя и научная теория общественного развития, и сама жизнь в изобилии представили свидетельства ее некомпетентности.

Здесь нам надлежит посыпать голову пеплом. Мы впали в грех, согласившись записать себе в заслугу открытие, тогда как могли притязать не более чем на смутную догадку. Мы поспешили объявить законом замеченную при беглом обзоре повторяемость некоторых явлений. Чувствуя нависавшую тень «принципа Питера», сознавая опасность оказаться в лапах некомпетентности, я юлил, изворачивался, когда обосновывал название «общий закон» не тем, что он всегда и для всех обязателен, а тем, что мы пришли к его установлению совместно, общими усилиями.

Другие, уловив повторяемость описанных нами ситуаций, не принимают этих предохранительных мер. Они не внемлют предупреждениям Питера, не берут в толк, что точное наблюдение сегодняшнего факта останется компетентным лишь до тех пор, пока его не повысят, не возведут на ту ступень в иерархии мысли, где нужно глядеть на него снизу вверх и считать действительным и неколебимо верным на все будущие времена

В XX веке человечество только тем, можно сказать, и занимается, что упраздняет свои прежние представления и привычки, осваивает неведомые ранее нормы бытия. Пророчания прежних столетий, если и сбываются, то с такими поправками, что они говорят о творческом таланте наших современников едва ли не больше, чем о провидческом даре их далеких гениальных предшественников. За грани всего, что считалось возможным, шагнули материальное производство, техника. Неузнаваемо изменился социальный облик мира. Обитателям планеты Земля прибавилось и сил, и тревог. По собственной воле либо вынужденно они учатся сегодня тому, что крайне некомпетентно оценивать творящееся вокруг по меркам вчерашней компетентности. Они осознали,— все ли и до конца ли?— какова будет плата за дальнейшее подчинение извечному «закону» чередования войны и мира. Отказ от коленопреклоненного отношения к этому и другим «законам», полученным в наследство от прошлого, становится первым требованием компетентности в понимании новых возможностей, которые открываются там, где большие народные интересы не втискиваются в прежние «правила игры».

Если так было, то так и будет — это самая негодная посылка в занятиях законооткрывательством в области общественной жизни. Безысходные заключения, к которым ведет такая методология, можно осудить с нравственной точки зрения, оценить как политически неприемлемые, поскольку они гасят наши светлые порывы, заставляют опускать руки, словом, мешают жить и работать. Но прежде всего они некомпетентны. Они отрицают свободу нашей воли, свободу выбора. Отрицают то, что составляет всегдашнее и неотъемлемое наше достояние. Расходятся, таким образом, с действительностью, что и составляет суть их некомпетентности.

Некомпетентно даже задним числом посягать на свободу общественного выбора и утверждать, например, что сталинизм был для нашей страны роковой неизбежностью. «Так было» еще не означает «только так и могло быть». Могло быть иначе. Историки хорошо сделают, если подробно объяснят, почему иначе не получилось. Но они нисколько не просветят нас, если скажут только, что иначе не могло быть, потому что иначе не могло быть никогда. Ссылки на указующий перст Провидения весьма пригодны, чтобы морочить людям голову и гасить их веру в собственные силы. Они совсем пусты, когда люди дружно и всерьез берутся за обновление своего жизнеустройства.

Мы все-таки кое-чего добились, открывая «общий закон». Нам удалось, кажется, получше разглядеть, как обстояли дела до сих пор, то есть в прошлом. Это полезное знание. Оно помогает яснее увидеть, чего непременно надо избежать в будущем. Оно позволяет также вникнуть в существо ожидающих нас трудностей, подготовиться к их преодолению. Из исторически подтверждаемого противоречия между экономической эффективностью и социальной справедливостью вовсе не следует, что род людской приговорен метаться в устремлениях к несовместимым целям. Зато с несомненностью следует, что здесь есть проблема, что нельзя оставить ее без внимания. Более того, я думаю, что для нас сегодня это проблема проблем, в которой в общем-то заключены истоки всех головных болей перестройки.

Чего мы, собственно, добиваемся перестройкой? Говорим, что направляем дело к полному раскрытию созидательных возможностей, преимуществ социа-

лизма. Но сколько же раз дома и за границей недоверчиво или язвительно поднимался в последние десятилетия вопрос о том, чтобы точно было указано, где они и в чем эти преимущества. Любой словесный ответ никого уже не удовлетворит. Задача в том, чтобы ответить делом. На практике доказать, что социализму по силам соединить то, что пока во всей мировой истории оставалось несоединимым — процветание экономики и процветание человека (каждого!).

Это непросто. Нет недостатка в пророчествах, что это вообще не удастся. «Горбачев намерен сохранить коммунистическую систему, но сделать ее более эффективной... Это все равно, что пытаться поджаривать комья снега»[31]. Когда произносятся такие слова (в данном случае они принадлежат Францу-Йозефу Штраусу), имеется в виду, что все та же неизбежность выбора между обществом социальной справедливости и обществом передовой экономики погубит развернутые в СССР преобразования.

Безликая неизбежность ничего погубить не может, как не смогла она в своем противоположном толковании обеспечить нашему социализму сплошной триумфальный марш от успеха к успеху. Что погибнет, а что расцветет — зависит от нас самих. И не в последнюю очередь от компетентности, с какой будем действовать. От сохранения той компетентности, с какой начали перестройку.

Наши общественные интересы, как известно, не раскололи классовыми конфликтами и противоречиями. В базе, в основе — это все, на что можно положиться. И это очень много. Это прочно защищенный тыл. Но во всем остальном — только живое творчество масс. Так единственно компетентно, по-ленински понимаемый социализм зовет работать самостоятельно, с ежедневной критичной оценкой сделанного, не полагаясь на некие верховные законы, якобы обрекающие нас на успех, и не страшась других, будто бы закрывающих к нему путь. Эти упования и страхи — враги компетентности.

Мы предостаточно намаялись и настрадались, отдавая себя во власть представлений, которые возводились в «законы», хотя им положено было занимать куда более скромное место в иерархии идей. Поныне ходит в «объективных законах» бесспорная сама по себе мысль о необходимости плановой организации социалистического народного хозяйства. Как наладить требуемое планирование, как придать ему гибкость, быструю и действенную отзывчивость на меняющиеся запросы экономики — стоит ли беспокоиться на сей счет, если помимо нас и над нами творит свое благое дело «закон планомерного (пропорционального) развития»? Назначенный на свою высшую должность самим генералиссимусом, этот «закон» мог бы пополнить книгу Гиннесса рекордами некомпетентности. Сплошные срывы планов, вопиющие народнохозяйственные диспропорции давно взывают к тому, чтобы идея планирования была разжалована из «закона» и сведена к естественной для нее роли как мысли-напоминания, что план — это инструмент сознательного воздействия общества на экономику в пределах возможностей, предоставляемых ее действительно объективными законами.

Экономика по своей природе не любит стеснений. Но отсюда еще не вытекает, что она напрочь лишена способности приспосабливаться к мерам ограничительного и направляющего порядка. Так что некомпетентным будет любое суждение, которое повязывает нас догмой о недопустимости государственного вмешательства в хозяйственные дела. Вопрос в мере и характере этого вмешательства, в компетентности, с какой этот вопрос решается.

Некомпетентность, питаемая прямолинейностью, односторонностью мысли, упрощенчеством, отрывом от многосложной реальности мира, заставляет, например, думать, будто общественная собственность на средства производства и конституционно закрепленное право на труд сами по себе избавляют от необходимости заниматься явно набирающей остроту проблемой занятости. Будто возрастающая прибыльность хозрасчетных предприятий непосредственно поднимет уровень социальной справедливости в обществе, избавит его от хамства, преступности и прочих моральных несовершенств. Или будто дополнительные социальные блага, высыпанные всем сразу и без разбору, обязательно должны найти отклик в росте производительности труда, а не в закреплении иждивенческих настроений. Подобные расчеты и суждения небесполезны в поиске ключей к нужным решениям. Но пусть они все-таки уходят до того, как могут оказаться продвинутыми по службе, попасть на должности, где решения принимаются.

Кропотливая и компетентная работа несет в себе неприятный привкус прагматизма. Не стоило бы закрывать глаза на то, что это грозит образованием вакуума идеала и, соответственно, при удобном случае заполнением его фейерверками пустых фраз. Думаю, однако, что общественному сознанию постепенно открывается величие того труда, за который мы взялись. И самого по себе, интересного, большого, напряженного, и главное, его цели — впервые на людской памяти соединить высшую производительность с высшей человечностью.

Лоуренс Питер, между прочим, не только сатирик, не только — по изначальной профессии — педагог. Он еще и мечтатель — мечтатель об обществе, в котором каждому дано работать плодотворно и производительно, в утеху себе и людям, вкушать к тому же все наслаждения жизни, даруемые крепким здоровьем, созерцанием пейзажей — что от бога, и художественных полотен — что от гениев живописи... Тоска по этому недостижимо прекрасному идеалу расплескана по страницам всех книг Л. Питера, живущего в Калифорнии. Вы меня поняли.

[31] "Bild am Sonntag". 6 Juni, 1988.

◆

Критика

А. ЗВЕРЕВ

КРУШЕНИЕ УТОПИИ

Век на исходе

Да, век заканчивается даже календарно, и, однако, мысль, что он на исходе, все как-то внове для нас, все непривычна или, верней, неблизка. В лучшем случае она абстрактное знание, не становящееся, по-старинному выражаясь, истиной сердца. Некое отвлеченное наблюдение, от которого ни тепло, ни холодно в повседневной жизни, по самый край заполненной безотлагательными заботами.

Она всегда будет ими заполнена, так что наивно ожидать, будто придет как-нибудь день и мы выключимся из текущего, остановимся, задумаемся: боже правый, да ведь кончается столетие — и какое столетие! Сколько всего осталось позади, и хочется ли, не хочется, а все это неотъемлемо наше. Не отречешься.

Время подведения предварительных итогов, видимо, уже настало. Каждый без пояснений представит себе, до чего сложно их подводить, и тем не менее эти попытки в литературе делаются. Их, несомненно, будет больше год от года. Они всякий раз предпринимались на стыке эпох и столетий. Быть иначе и не могло. Дело не в мистике дат, а в чувстве рубежа — как завершения, как точки прямого контакта вчерашнего с будущим. В такие минуты становится, как говорил Гоголь, далеко видно во все концы света.

Так было и сто лет назад. Тогда вся духовная атмосфера в мире была пропитана предчувствием нового — и оно, мы знаем, не обмануло. Почти всеобщим становилось тогда чувство кризиса традиционных верований и понятий; искали других. Эти усилия очень по-разному выражались. Помните «Чайку», монолог Треплева в первом акте? «Нужны новые формы. Новые формы нужны, а если их нет, то лучше ничего не нужно». Можно было, как Аркадина, иронически пожимать плечами, комментируя сочиненную Треплевым пьесу: «Это что-то декадентское». Те формы, которые предлагал Треплев, можно не принимать и сегодня. Но что формы действительно должны были стать новыми, теперь сомневаться трудно. Пришлось бы подвергнуть сомнению чуть не весь художественный опыт нашего века.

Впрочем, вопрос совсем не в том лишь, как писать. Новый художественный язык появляется не по чьей-то прихоти, а оттого, что его требует время. И остается жить лишь при условии, что выразил новизну самого времени.

Ведь и Треплеву новые формы необходимы не по той только причине, что театральная рутина давит ему на мозг своею пошлостью, как Эйфелева башня — Мопассану. Видеть жрецов искусства, которые изображают, как люди носят свои пиджаки, невыносимо, но пишет он свою пьесу не из одного протеста против современного театра, который стал сплошным предрассудком. Дорн, утешавший Константина Гавриловича после недовершенного спектакля на эстраде у озера, очень тонко почувствовал, что было в монологе об остывшей земле, на которой когда-нибудь сольются в прекрасной гармонии материя и дух, нечто «важное и вечное». Его не смутили ни «сюжет из области отвлеченных идей», ни странность пьесы. Наверное, он уловил в сочинении Треплева дух эпохи, постигнутой как рубеж, переход, начало чего-то неведомого.

Атмосфера исторических канунов обязательно располагает к такому ощущению те-

кущего. Формы, в которых может воплотиться это восприятие жизни, набухающей глубокими переменами, разумеется, непредсказуемо многолики. Однако существенна родственность самого восприятия.

В июле 1905 года Д. П. Маковицкий записывает разговор Толстого с его последователем В. А. Лебреном: «В Евангелии сказано, что настанет конец века. Под «веком» я понимаю мировоззрение. Конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей. Настанет голод, смуты и охладеет любовь. Теперь охладела любовь. Надо ли бежать в горы? Никуда не надо бежать. Оставаться, где есть».

Тот монолог, который читала Нина Заречная, Толстому, вне всякого сомнения, показался бы несусветной чепухой. А если взглянуть шире, не придавая чрезмерного значения формам? Разве нет тут перекличек? В самом главном — в отношении ко дню сегодняшнему как времени, когда один способ общения людей закончился и должен начаться другой.

Толстой подразумевает Евангелие от Матфея, 24-ю главу: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам... И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь». Естественно было вспомнить эти стихи летом 1905 года, когда в России бушевала первая революция. Вера, определенное мировоззрение, «век», как толковал это понятие Толстой, с наглядностью завершались. История напряглась, проходя через крутой перевал, и слова из написанного Треплевым монолога: «Как пленник, брошенный в пустой глубокий колодец, я не знаю, где я и что меня ждет», зазвучали выражением собственных сокровенных чувств для свидетелей этой драмы.

Не для всех, конечно. Толстой твердо знает, что не надо «бежать в горы», знает, что назначение человеческое и в такие времена неизменно. За три дня до разговора с Лебреном он скажет другому своему собеседнику, социалисту Рындину, что надлежит «стараться о Льве Николаевиче, как мне, Льву Николаевичу, справиться со своими пороками и жить по-божьи; все остальное приложится. А не стараться устраивать жизнь других». Никакого «глубокого колодца», никакого «ужаса», никаких ожиданий «царства мировой воли», которое наступит лишь «через длинный, длинный ряд тысячелетий». Словом, все не так, как в треплевской пьесе. Все, кроме чувства перелома времени и сознания, что это перелом трагический: голод, смуты, охладевшая любовь, или, как у Треплева, угасшая жизнь.

Может быть, оно чисто русское, это чувство или, допустим, строго локализованное во времени, ослабевшее с уходом Чехова, затем Толстого? Ничего подобного. Откройте книги любого писателя из тех, кто определял европейскую литературную ситуацию в канун первой мировой войны,— не важно, Гамсуна ли, молодого Томаса Манна, Унамуно, Пиранделло, даже такого убежденного приверженца традиций, как Голсуорси. Очень по-разному выраженное, неоднозначно оцениваемое, оно, однако, оставалось безусловным, а в творческом отношении исходным для всех них — сознание, что действительность ломается стремительно и невосстановимо. И что обозначился убыстренный ритм движения жизни, утратившего плавную поступательность. И что мир стоит на пороге обновления, огромного по масштабам, по сути.

Философия, культурология, искусство — словом, вся духовная жизнь тогдашней Европы буквально переполнена ощущением заката эпохи, ощущением глубокой перемены, которая уже происходит, затрагивая не частности, но самый способ общения и то, что Толстой назвал верой.

Кстати, не у Голсуорси ли, хотя, по собственному признанию, был он так «безнадежно старомоден», наиболее полно выразилось типичное в ту пору представление, что настал «конец века». Перечтем «Сагу о Форсайтах», знаменитую главу, когда Сомс, только что женившийся на Аннет, наблюдает похороны королевы Виктории. Январь 1901 года. Что-то оборвалось в мире, что-то навсегда завершилось с этим царствованием, продолжавшимся шестьдесят с лишним лет,— ушло спокойствие, погребены под обломками прочность, незыблемость быта, и он уже не вернется, «великий век, всеизменяющему воздействию которого подверглось все, кроме природы человека и природы вселенной».

Тогда, на промозглой лондонской улице, героя Голсуорси вряд ли могли посетить именно такие мысли, но ведь вторая часть «Саги» («В петле»), содержащая эту сцену, создавалась много позже описанного события, почти через двадцатилетие. А это двадцатилетие вместило в себя слишком многое, чтобы выяснилось, какая большая дистанция пролегла между минувшим и хронологически едва начавшимся столетием.

Сомс оглядывается на викторианский век и вспоминает поражавшие людей в ту пору чудеса электричества, думает о небывало высоко поднявшемся престиже буржуазии, об удобном фарисействе, которое возвели в добродетель. Герою Голсуорси тревожно оттого, что все это уже в прошлом. А писатель видит несравненно дальше. Да, Форсайты потихоньку покинут авансцену, уступив место иным героям, более напористым и циничным. Но не поэтому стала знаком порубежья кончина престарелой королевы. Сам дух эпохи, ею воплощавшийся, утрачен. Рухнула былая непоколебимость взглядов, касающихся самого главного: что есть человек, какова вселенная, им населяемая, и как надлежит ему в этой вселенной жить.

А ведь это Голсуорси, архаист, противник всех новаций и пересмотров, на которые столь щедра была в его эпоху европейская мысль, включая художественную. Есть определенный контекст идей и умонастроений, создаваемых временем, и перед этим контекстом не так уж существенно, что позиция одного из современников может по всем пунктам противостоять позиции других. Если художник настоящий, время у него все равно о себе заявит, прорвется своими неотступными тревогами и создаст перекличку там, где, казалось бы, возможны одни размежевания.

Трудно представить себе столь же крайних антиподов, как Голсуорси и Марк Шагал. Все разное — до прямой противоположности. Все? Но загляните в книгу Шагала «Моя жизнь», писавшуюся уже на исходе долгого пути этого художника, а обращенную по преимуществу ко временам его юности, хронологически совпавшей с завершением эпохи, о которой грустит Сомс Форсайт. Там, в этой книге, нет ни ностальгии по уходящему, ни его опознаваемых житейских примет. Но вот понимание, что с «концом века» закачались старые представления о человеке и об универсуме,— столь же отчетливое, как на страницах «Саги». Только выражается оно намного более категорично.

Здесь, в прозе Шагала, как и на его картинах, всюду распознаваема атмосфера наступающего нового времени, его дух, его живой нерв. И, погружаясь в эту атмосферу, тут же вспоминаешь «Чайку», треплевские монологи об искусстве, отзывающиеся у Шагала поминутно, хотя вряд ли он об этом думал. Судите сами: «Не только в мастерстве искал я смысл искусства. Я видел перед собой иных богов... Меня осенило: мы все еще бродим вокруг да около предмета, боясь погрузиться в хаос, разбить, разрушить привычное». И дальше: «Куда мы идем? Что это за эпоха, которая воспевает искусство техники и превозносит формализм? Пусть процветает наше безумие! Искупительная баня. Революция глубины, не только поверхности».

Разве это только о живописи сказано? Думать так — все равно что предполагать, будто Треплев сочинил свою пьесу единственно с целью оживления пришедшего в упадок царства Мельпомены. В искусстве ничего нельзя добиться, заботясь только об искусстве; это Шагал знал лучше всех критиков. Он был экспериментатор по всему своему художническому складу и темпераменту, но формалистом Шагала могли назвать только самые недобросовестные из его оппонентов. Надо вовсе не обладать художественным чутьем, чтобы за любым «безумием» не различить у него пейзаж времени, потребовавшего «революции глубины», потому что свершавшиеся тогда перемены касались отнюдь не одной лишь «поверхности». Ведь это было время перелома, происходившего в миропонимании, а не просто в повседневном жизненном укладе или даже в формах отношений. Шагал острее других выразил чувство завершения, как и сознание драматизма перспектив, которые тогда открывались; сами же эти настроения были метой эпохи.

И такое же вот чувство, такое сознание ныне, под занавес нашего столетия, стали все настойчивее о себе заявлять в книгах, которые иначе не было бы ни повода, ни резона сопоставить, потому что в них все разное за вычетом атмосферы «конца века»— разумеется, не в хронологическом, а в толстовском смысле. Но ведь ее не вычтешь никак. Собственно, она и доминирует в этих книгах — независимо от сюжетов, форм повествования, стилистики и материала.

Впору заподозрить тут сознательную оглядку на умонастроения примерно столетней давности с целью проверить тогдашние предвидения накопившимся опытом. Очень возможно, что подобное намерение действительно присутствует. Но не только оно. Нужна известного рода духовная настроенность (а стало быть, и создающие ее социальные предпосылки), чтобы возникла сама мысль попытаться понять век, ощущая его как уходящий. Видимо, способ общения людей, который был типичен в общественном климате этого века, на самом деле отживает свое. И, пусть исподволь, сменяется другим уже сегодня, хотя мы еще не замечаем, как это происходит.

А литература заметила. В избитых сравнениях ее с сейсмографом есть справедливость, слишком часто подтверждаемая. Правда, с годами может выясниться, что показания такого сейсмографа не идеально точны. Но что поделаешь, в литературе лучших сегодня нет.

Размышление над социальным экспериментом, актуальным для нашего времени

Еще из записей Маковицкого, февраль 1906 года: «Парагвай, Уругвай — мы их не знаем. Через сто лет это будет историческая страна». С хронологией Толстой немного не угадал. То, что повсюду в мире названо «часом Латинской Америки», ставшей ареной великого исторического действа, началось не через сто лет, а раньше, с 60-х годов. Но что историческое действо переместится именно туда, Толстой почувствовал безошибочно.

Теперь уже трюизм, что латиноамериканский роман, возвестивший о конце «ста лет одиночества», неотделим от революции, которая свершается на континенте, и выразил ее диалектику с масштабностью, уникальной для современной литературы. У мексиканца Карлоса Фуэнтеса, одного из «грандов» этой прозы, были все основания назвать новый роман Латинской Америки «не только диалогом характеров, но диалогом языков, социальных сил, литературных жанров и исторических времен»; при всей кажущейся обобщенности такой формулы она, наверное, самая точная. И если латиноамериканские писатели, как признается почти единодушно, в постижении сегодняшнего хода истории опередили всех, естественно ожидать, что кто-то из них должен был взять на себя риск подведения первых итогов, создав книгу, касающуюся самых сложных, узловых проблем столетия.

Недавно мы прочли такую книгу. Нет возможности да и необходимости подробно обсуждать здесь творчество перуанского прозаика Марио Варгаса Льосы и его общественную позицию. Заметим только, что творчество очень многопланово, а позиция как раз достаточно узка, пристрастна и не случайно привела к конфликту писателя с левой интеллигенцией, не принимающей его, мягко говоря, консервативных взгля-

дов. Иные высказывания и поступки Варгаса Льосы весьма одиозны, но, отмежевываясь от них, не забудем, что перед нами фигура значительная, непростая: нужен крупный план, чтобы высветить ее целиком — и в литературном, и даже во внелитературном измерении.

Разумеется, крайности, очень свойственные этому писателю, оставили след и в произведении, о котором дальше пойдет речь,— в романе «Война конца света». Но книга эта примечательна не столько тем, что она добавляет к портрету своего автора. Важнее она как характерное свидетельство преобладающих сегодня творческих интересов, которые близки в том смысле, что все более определяются ощущением совсем уже близкого рубежа. И чувством, что его не миновать без существенных перемен «мировоззрения», не преодолеть — снова вспомним Толстого — без голода, смут, охладевшей любви...

Самое любопытное, что «Войну конца света» мы читали почти одновременно с платоновским «Чевенгуром», наконец-то переставшим быть для нас запретным плодом. На Западе «Чевенгур» издан давно, и, зная, как внимателен Варгас Льоса к нашей большой литературе, можно предположить, что томик Платонова, включающий эту грандиозную картину послереволюционной России, а также пророческий по своему смыслу «Котлован», был им проштудирован со всей тщательностью, когда он задумал собственную книгу о несостоявшейся утопии.

Это, понятно, лишь предположение. Оно отнюдь не принижает сделанного Варгасом Льосой. Просто слишком уж заметны параллели и переклички. Если они непредумышленны, сугубо объективны — даже интереснее: прочерчивается сквозная линия, тянущаяся через литературу нашего столетия. Для понимания этой литературы, как и самого столетия, такие линии дают куда больше, чем выяснение писательских приоритетов и влияний.

«Чевенгур» написан в 1929 году, «Война конца света» — пятьдесят два года спустя. Платонов как бы заглядывал вперед. Варгас Льоса обдумывает свершившееся. Тем более что и материал им взят хронологически отдаленный: крестьянское восстание в степных районах Бразилии — сертанах, происходившее почти сто лет назад.

Впрочем, к исторической прозе его повествование имеет лишь отдаленное касательство, пусть даже многие эпизоды основываются на документальных рассказах очевидца событий журналиста да Куньи. «Война конца света»— не хроника уже далекой от нас эпохи, а прежде всего размышление над социальным экспериментом, в высшей степени актуальным для нашего времени Ведь суть этого эксперимента — построение общества, «в котором нет ни брака, ни денег, где частная собственность заменена общественным достоянием». Иначе говоря, своего рода скороспелый социализм, такой, который, по словам одного платоновского персонажа «уж где-нибудь нечаянно получился, потому что людям некуда деться, как только сложиться вместе от страха бедствий и для усилия нужды».

Правда, получился он не так уж нечаянно что в Чевенгуре, что в Канудосе, городке среди сертанов. Толпы увечных и сирых стекаются к Канудосу «для установления на земле справедливости», которой нечего ждать от «государственного института, обуздывающего желания и чувства». Это порыв, импульсивное влечение, стихия. Но стихией движет ясная — и обладающая богатой историей — идея. Точно так же как распознаваема своя идея и в чевенгурском «немедленном коммунизме», хотя может показаться, что возник он исключительно от «нетерпения жизни».

По чертежам Томмазо Кампанеллы

В Чевенгуре нет труда и занятий, кроме перетаскивания поближе к коммуне домов и садов,— «за всех и для каждого работало единственное солнце, объявленное... всемирным пролетарием». Город Солнца, по собственному разумению перетолкованная и проводимая в жизнь мечта утописта Томмазо Кампанеллы. Вряд ли что-нибудь знают об этом итальянском мыслителе Чепурный или Прокофий с их смутными представлениями не то что о XVII веке. но и о куда более близкой истории. Однако совсем не обязательно знакомство с философскими концепциями по первоисточнику.

Греза, родившаяся в неаполитанской тюрьме, где бывший монах-доминиканец отбывал заключение за то, что возглавил заговор против испанских властей, никогда не оставалась исключительным достоянием посетителей библиотек. Из сферы книг она перешла в область народного сознания, поскольку сама теория лишь придавала стройность понятиям о земном рае, существующим с незапамятных времен. Революция превращает такие понятия из абстрактных мечтаний в дело, которое кажется не столь уж трудным, пока за волнами энтузиазма совсем не видно подводных камней. И утопию начинают возводить (или попросту объявляют наступившей), может быть, без сознательной оглядки на Кампанеллу, но в общем-то по его чертежам. Как это делают в Чевенгуре, где «мобилизовали солнце на вечную работу, а общество распустили навсегда».

А в Канудосе?

Там тоже строят утопию, хотя ее фундамент несколько иной. В Канудосе фундаментом служит доктрина хилиазма. Это очень старая ересь, всегда с беспощадностью истреблявшаяся церковью. У Варгаса Льосы она изложена словами Наставника, которого в Канудосе почитают как ангела: грядет конец света, и близок Страшный суд, но перед ним «настанет царствие святого духа... Прольются дожди на сертаны, и они зазеленеют; будет вдоволь скота и злаков, хлеба и мяса: исчезнет голод, и люди смогут хоронить своих усопших в обитых бархатом гробах». Только сначала надо одолеть Антихриста. Антихрист же — это государство. Власть. Социальный институт, организованный на ложных, бесчеловечных началах.

Реальный Чевенгур — типичное уездное захолустье: заросшие бурьяном дворы, яб-

лоневые сады, горячие купола, зовущие в «пустоту круглой вечности». А реальный Канудос — лишь нагромождение халуп среди раскаленной степи, под выцветшим от жары небом. Но и у Платонова, и у Варгаса Льосы это, конечно, города-символы, гигантские строительные площадки, на которых «созидается мир без угнетателей и угнетенных, мир, где все свободны и равноправны». Так выразился Галилео Галль, по ремеслу френолог, по призванию профессиональный революционер, выученик Бакунина и Прудона. В Канудосе он почерпнул доказательство любимой своей мысли, что нужно лишь смести обветшалый миропорядок и «на его обломках само со бой расцветет новое, свободное и справедливое общество». В Чевенгуре, доведись ему туда попасть, доказательств отыскалось бы еще больше.

Здесь, в Чевенгуре, не понимают, даже боятся губернских циркуляров, где сказано про «ряд последовательно-наступательных переходных ступеней», которые ведут в будущее. Чепурный убежден, что «в Чевенгуре наступит коммунизм, потому что больше нечему быть»; надо только «класс остаточной сволочи» вывести за черту уезда либо вообще за жизненную черту. Будущее должно наступить безотлагательно, а его облик чарующе ясен: покой, общее имущество, знамя братства, когда «для любой нечаянной души... найдется утешение в общей обоюдности», если, конечно, это пролетарская душа.

«Срочным устройством коммунизма» Чепурный хотел бы прекратить «долготу истории». Побуждение, типичное для тех, кто, подобно ему, только что отвоевал гражданскую. Однако, как выяснилось — хотя бы с помощью Варгаса Льосы,— вовсе не столь локальное во времени и пространстве. Потому что схожие намерения потом обнаруживались и в совсем иных обстоятельствах. На совершенно иных, не чевенгурских широтах.

Галилео Галлю они тоже знакомы. Он оправдывает «любое оружие» в борьбе за справедливое общество, решительно не слыша возражений своего оппонента, барона де Коньябрава: «Любое оружие... Да, этими словами можно определить время, в которое нам довелось жить, и наступающий век». Галилео Галль даже готов признать Канудос «интересным исключением из закона истории, согласно которому религия усыпляет сознание людей»; вот люди, славя Иисуса, восстали против бесправия, а это важнее, чем религиозные формы бунта. И у него всегда есть объяснение любым жестокостям, чинимым над теми, кто признан врагом Канудоса. Ведь еще Бакунин говорил, что общество само готовит преступления, а преступники — лишь орудия, которыми они совершаются.

Канудос не примет жарких уверений Галля, что его опыт революционера может быть полезен; в ответ послышится — «Благословлен будь господь Иисус Христос». Еретическая теология и коммунизм, по Бакунину ли, по Чепурному,— вещи, не приходится разъяснять, разные. Однако вовсе не так уж разнятся итоги экспериментов, поставленных в Канудосе и в Чевенгуре.

Если ограничиться фабулой, эти итоги просто идентичны — и там и здесь нападение врагов, отчаянное сопротивление, но все же гибель общины, которую ее создатели видели примером земного рая. Но важнее переклички не по сюжету, а по характеру развития коллизий. Община гибнет не из-за происков противника. Причина краха — в ней самой.

Самый маленький ребенок в Чевенгуре умирает от такого коммунизма, и Чепурному нечем защититься, слыша слова матери: «Тебе не мой ребенок дорог, тебе твоя дума нужна!» Среди несчастий и насилий, которыми изобилует роман, эпизод этот вроде бы крошечный, но смысл в нем поистине весомый, даже решающий. С трагической наглядностью опровергает он логику и Чепурного, и Порфирия, и председателя местной чрезвычайки Пиюси, помышлявшего «перебить в Чевенгуре всех жителей», чтобы не пришлось им потом помирать «на переходных ступенях», раз будущее не наступает в одночасье. Город Солнца возводят с расчетом на то, что «лучше будет постепенно уменьшать человека, а он притерпится»; так допускалось и самим создателем концепции. Но подобное философствование не бывает безнаказанным, по крайней мере в русской традиции, где есть возвращенный Иваном Карамазовым билет в царство высшей гармонии: «И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены».

Оттого и не наступит для Чевенгура «лучший день искупления в коммунизме», а сам этот коммунизм впрямь окажется, как сказал Чепурный, «светопреставлением», да только не в том смысле, что полетят к земле звезды и запоют по-человечьи птицы. У Варгаса Льосы мотив конца света вынесен в заглавие, у Платонова он присутствует не столь явно, но органично. Словно жители Канудоса, шепчутся про тысячелетнее царство Христово объявленные буржуями чевенгурцы, перед тем как Пиюся отправит их оборудовать небо для вечного блаженства. И когда это сделано, когда расстреляны все, кто не пролетариат, остается в городе всего одиннадцать человек, а дома стоят потухшими, ибо «жизнь отрешилась от этого места и ушла умирать в степной бурьян».

Таков желанный Чепурному, прочно им сопрягаемый с понятием коммунизма «конец истории, конец времени». Каждая утопия непременно желает остановить время: ведь идеал уже достигнут. Время, по этой логике, «идет только в природе, а в человеке стоит тоска» ввиду отсутствия дальнейшего дела.

Верная идея гарантирует моральную правоту?

Но время идет и в человеке. И в частности, внушает ему недоверие к утопиям, пусть самым замечательным по начальному своему замыслу. XX век можно назвать, среди многого другого, и столетием, когда

потерпело крах утопическое сознание. Произошло это прежде всего по той причине, что раз за разом строительство утопий заканчивалось попытками остановить историю на такой ступени общественной организации, когда, как в Чевенгуре, счастье отпускают «по мере классовой надобности» и «люди друг для друга как идеи», словно идеей исчерпан весь феномен человеческой личности.

Платонов знал, что истина бесконечно сложнее, чем выкладки всех его героев, и что на путях, ведущих в Город Солнца, каким он замышлялся своим архитектором, эту истину искать тщетно. Что Платонов знал это уже в 1929 году, долго будет удивлять, и тем сильнее, чем больше накапливается подтверждений его правоты. А их уже сейчас достаточно. Ведь и Варгас Льоса через полвека с лишним приходит, собственно, к тем же выводам.

У него, правда, возводят не Город Солнца, у него скорее насаждают вертоград среди духовной пустыни. Но результат почти одинаков с финалом чевенгурской гармонии. А предпосылки такого исхода заложены в знакомых стараниях установить справедливость, исповедуя отношение к людям исключительно как к идее — либо близкой, либо неприемлемой.

Если идея верна, она самодостаточна в качестве гаранта моральной правоты. Предполагается, что само собой, без сложнейшей и мучительной духовной работы, всего только за счет обретенной верности миропонимания какой-нибудь Жоан Сатана, терроризировавший сертаны вместе со своей разбойничьей шайкой, вдруг превратится в Жоана Апостола, отмеченного светом божественной истины. И тут уж ему сразу простят подвиги вроде поголовного оскопления мужчин в захваченной деревне, поскольку среди жертв, возможно, были полицейские осведомители.

А когда идея чужда, совершенно логично поступить с приверженцами плохой идеи, допустим, так, как поступили с одной из голодных женщин, которые сопровождали правительственные полки, стирая белье и даря походную любовь. Вспороть живот, вытащить плод, засунуть вместо него живого петуха...

Литература нашего века знает много картин насилия, написанных с предельной откровенностью, но роман Варгаса Льосы выделится и на таком фоне. Даже рядом с «Чевенгуром», где есть незабываемая сцена расправы над буржуями, когда Платонов вводит подробности почти отталкивающие — но необходимые по всей логике рассказа. Перуанский прозаик пошел по этому пути еще дальше. У него сажают на кол, перерезают горло младенцам, глумятся над трупами, «рубят головы, кладут их в мешки, насаживают на копья». Происходит это до того часто и с такой обыденностью, что по мере чтения возникает странное чувство, будто подобная вакханалия совершенно будничная в условиях, которые изображены автором.

Для чего все эти сцены? Их было бы трудно оправдать в романе, описывающем крестьянское восстание по следам его летописца да Куньи. Но, несмотря на исторические декорации, перед нами, конечно, XX век. И задача Варгаса Льосы — не историческое повествование, а книга о том, как рухнула утопия, казалось бы почти ставшая реальностью в Канудосе. Как не выдержала проверки условиями действительности хилиастическая доктрина справедливого общества, как выявила свою эфемерность эта мечта, столетиями жившая в народном сознании.

Поэтому при всем обилии сугубо вещных деталей рассказ у Варгаса Льосы все время кажется «вереницей странных, неправдоподобных событий», точно мы и правда погружаемся в «жизнь, лишь зыбкой гранью отделенную от смерти». Поэтому и война, бушующая на этих страницах, по характеру изображения поистине апокалипсическая война, какая возможна только в преддверье «конца света». Это не роман-реконструкция, а роман, говорящий о судьбе большой идеи. И самое главное в нем — проследить логику движения этой идеи, логику ее краха. Такие цели требуют и средств совершенно особых; фактография, смешавшаяся с гротеском,— возможный и, как доказано Варгасом Льосой, действенный вариант художественного решения.

Предупреждение об имманентной опасности

Но отчего само это видение жизни такой, как будто и вправду наступает конец света, откуда эти эсхатологические настроения? Очень легко обвинить писателя в беспросветном пессимизме, хуже того — в однобоком, пристрастном изображении крестьянской революции, которой, по существу, было движение, возглавленное Антонио Наставником. Платонова, мы знаем, тоже уличали в очернительстве, запрещали его книги как крамолу, и потребовался сегодняшний наш общественный климат, чтобы отнестись к ним как к пророчеству или по меньшей мере как к серьезнейшему предупреждению. «Война конца света» — предостережение не менее строгое. Оно обращено к будущему, чтобы не повторялись те искажения духа и смысла революции, те безоглядные, не считающиеся ни с какими жертвами прожекты «немедленного коммунизма», которые чудовищным бременем отяготили историю революций в наше столетие. Ведь если революция увенчивается, как у Платонова, умозрительной схемой, позволяющей «много лишнего у человека отнять», если, как у Варгаса Льосы, завершением революции становятся груды наваленных трупов, которые глодают обезумевшие псы,— если неотвратимы такие итоги, значит, Апокалипсис уже не метафора, потому что, как случилось в Чевенгуре, жизнь и вправду отлетела от этих мест.

Ближе к финалу «Чевенгура» Дванов, самый близкий Платонову персонаж, скажет, что «здесь... не механизм лежит, здесь люди живут, их не наладишь, пока они сами не устроятся. Я раньше думал, что революция — паровоз а теперь вижу, нет». У Варгаса Льосы толкуют не о паровозах, а об апостолах, обращающих язычников в истинную веру, о чудесах морального перевоспитания, о спасении души, но на поверку и

в Канудосе тот же самый, лишь иначе раскрашенный «паровоз», тот же «механизм», которому дела нет до того, как сложно «наладить» человека. На поверку и в Канудосе, как в Чевенгуре, нет никаких этических абсолютов и нравственных границ, а есть лишь обожествление идеи, которая узкой схемой обуздывает живую жизнь, чтобы превратить ее в лобовую оппозицию: сторонники Наставника на одной стороне, воинство Антихриста — на другой, а дальше все решается жестокостью. И в этом вот своеволии идеи, покончившей с настоящей нравственностью, видится Варгасу Льосе трагедия Канудоса.

Да, это трагедия, а не кровавый фарс, каким, скажем, была изображена революция Анатолем Франсом в романе «Боги жаждут». Дело не просто в различиях между двумя писателями, даже не в том, что латиноамериканская революция слишком несхожа с событиями 1789-го и последующих годов. Дело в особом содержании, которым понятие «революция» наполнил XX век. Франсу с его историческим опытом естественно было видеть причину перерождения революции в терроре, обернувшемся против своих приверженцев, то есть в методах борьбы. Но наше столетие заставило пойти дальше, коснувшись опасностей, которые присущи революционной стихии имманентно, изнутри, и могут быть преодолены только при условии, что они будут ясно поняты, а не заглушены жаждой сиюминутного социального совершенства. Расхождение между идеей и нравственностью — это, если верить литературе XX века, самая реальная из подобных угроз, и вот ею прежде всего порождено трагическое ощущение революции, которое лишь при очень пристрастном взгляде может быть отождествлено с неверием в нее как таковую, более того — с глумливой насмешкой над нею.

Революция целительна при всем ее трагизме

Движение истории — это муки истории: наше столетие удостоверило давно известную истину слишком многочисленными и красноречивыми примерами. Но при всей своей мучительности, при всех тупиках оно остается движением, без которого жизнь мертва. В романе Варгаса Льосы одно из важнейших мест принадлежит оказавшемуся в Канудосе интеллигенту-очкарику, которому столичная газета поручила писать отчеты о происходящем в сертанах. Он, типичный либерал со всеми расплывчатыми представлениями о реальности и прекраснодушными иллюзиями, обычными для людей подобного склада, попадает в эпицентр разъяренной стихии, видя ее смутно, неясно и в буквальном смысле: очки разбились — и он беспомощен. На его долю выпадает пережить такие сцены насилия и озлобления, что даже у человека куда более твердого характера содрогнется душа, а слова о романтике революции покажутся непростительной болтовней. Но когда все закончится, он в разговоре с бароном Коньябрава скажет: «Канудос очень сильно переменил мое отношение к истории, к нашей с вами стране, к людям. Но сильнее всего — к себе самому... Благодаря Канудосу я стал относиться к себе как нельзя хуже». Потому что там, в Канудосе, он увидел если не идеал, то хотя бы прообраз людской общности, которая «неведомыми путями, тычась в потемках и часто оказываясь в тупиках, пришла к освобождению от скаредных забот о хлебе насущном, от повседневной мелочной суеты, от требований плоти — от всего, что там, откуда он явился, остается главным».

Этому репортеру доверено выразить мысль исключительно важную в сложной идейной партитуре романа — мысль о том, что революция целительна при всем ее трагизме и что перед ее драмами ничтожны обольщения и разочарования вроде тех, какие испытывал он сам, пока целью жизни считал сделаться бразильским Оскаром Уайльдом. Оказавшись для репортера «неиссякаемым источником мук», Канудос тем не менее открыл ему истинное призвание человека как существа, ответственного перед историей. Ответственного и за то, чтобы исчезли ее потемки и тупики. Чтобы развеялись утопические грезы, на практике приводящие лишь к извращению самых высоких устремлений человечества. Чтобы торжество прекрасной идеи не оборачивалось, если вспомнить гениальную формулу Достоевского, «скверным анекдотом», чтобы оно не становилось пирровой победой над нравственным чувством, подавляемым во имя наглядности достижений, с надеждой, как выразился один персонаж Платонова, что «социализм придет моментально и все покроет».

Век революций, которым стал XX век, должен был создать литературу, впрямую касающуюся этих тяжелых, нередко трагических коллизий, и представляется закономерным, что они выступили с особой рельефностью сейчас, когда век на исходе. Ибо их содержание далеко не исчерпано, черта не подведена. Они протягиваются в будущее, а нелегкий опыт нашего столетия, запечатленный в его художественных свидетельствах, послужит стимулом и опорой поиска их решения, которое было бы действительно гуманистическим.

Еще один град осиянный

В Чевенгуре, в Канудосе испытывается определенная модель будущего как нового способа общения людей. Результаты испытания катастрофичны, но возврата назад уже не может быть, потому что прежняя вера, прежнее мировоззрение переменились необратимо,— «конец века», как это понимал Толстой, слишком явен. На развалинах уходящего века должно возникнуть нечто принципиально иное. Этому не способны воспрепятствовать ни голод, ни смуты.

Необходимо истинно органичное ощущение высшего разума истории, чтобы направленность ее к будущему не потерялась за всеми трагическими переломами, на которые она в наше столетие оказалась столь щедра. Этим ощущением в необыкновенной степени был наделен Платонов. У Вар-

гаса Льосы оно выражается не настолько отчетливо, и все же «Война конца света» не была бы написана, верней получилась бы совсем иной книгой, лишись она перспективы, которая развернута в историю приближающуюся, а не только в ту, что отошла. Такая перспектива вообще составляет свойство настоящей литературы. По крайней мере, трудно без него представить себе роман о переломе, о рубеже эпох, о «конце века».

Тут почва конфликта, в который этот роман почти неизбежно вступает: конфликта с атмосферой исторического рубежа, массовым сознанием, скорее травмированным, нежели окрыленным. Для подобного сознания перспектива замыкается настоящим с его охладевшей любовью, с его смутами, грозящим распадом и ужасом. Во множестве рождаются и получают мифологическое оформление предчувствия конца истории, гибели человечества, надвигающегося хаоса. А увенчивает всю эту стихийную эсхатологию стремление задержать время, повернув его вспять или отгородившись от него какими-то искусственно поддерживаемыми формами жизни, которая не желает оглядываться на календарь.

Надо ли бежать в горы? — спрашивал себя Толстой и, мы помним, отвечал: никуда не надо бежать. Тогда же, в 1905 году, Маковицким записано такое высказывание: «Весь мир — организм. Я — одна клеточка, которая должна исполнять свое (назначение)». Из организма клеточку вынуть нельзя, она умрет. И всякое бегство — иллюзия.

Но часто иллюзия становится действеннее, чем реальность. В романе японского писателя Кэндзабуро Оэ «Игры современников» (1979) бегство не метафора, а основное событие. Причем именно бегство в горы. На корабле дураков, ведомые Разрушителем, люди морскими дорогами, а затем по реке добираются до труднодоступных гор Сикоку и, взорвав скалы, загромоздившие вход в долину, основывают сообщество, именуемое деревней-государством-микрокосмом. Герой берет на себя функции собирателя мифов и легенд этой деревни, в письмах сестре излагая основные события ее жизни.

У деревни есть и собственное имя на официальной карте: Авадзи. Написанное разными иероглифами, оно может заключать в себе противоположные смыслы. Один из них — «наша мирная земля», другой — «наш позор». И есть еще несколько — «пена желаний», «спокойный край», «кровавая пена, непонимание, нелюбовь»...

На столкновении и пересечении этих смыслов многое держится в аллегорическом рассказе Кэндзабуро Оэ. Мы уже привыкли к многозначности символов, составляющей особую примету прозы этого мастера,— вспомним хорошо у нас известный роман Оэ «Объяли меня воды до души моей», а также «Записки пинчраннера»[1]. Но при всей своей философской насыщенности то были книги, очень тесно привязанные к чрезвычайно злободневной лет десять—пятнадцать назад проблематике, которую очертило молодежное движение с его левоэкстремистскими вывертами. Повествователь в «Играх современников» тоже изготовлял бомбы из обрезков труб, но все это для него позади, хоть и не прошло бесследно. Он в ту пору «оторвался от нашего края», вроде бы и хотел этого, а выяснилось, что он лишь поддался мимолетному искушению. Потому что освободиться от притягательной силы, которую источает деревня-государство-микрокосм, невозможно. Не оттого, что так сладок дым отечества. Зачаровывает идея, положенная в фундамент этого своеобразного государства. Повествователь скажет о ней впрямую: люди, «основавшие наш край, уже начиная с века мифов, стремились к тому, чтобы оградить себя от внешнего мира, оставшегося за лесом, стремились убедить его в том, что их община бесследно исчезла. В течение почти всей истории нашего края это стремление оставалось незыблемым...»

Как это знакомо по опыту нашего века: закрытые социальные структуры, глухие перегородки, на годы и десятилетия изолирующие от общего движения человечества целые страны, и коммуна религиозных фанатиков, укрывшаяся в непролазных лесах Гайаны, и тот же Канудос, сертанами отделившийся от неправедной жизни в столицах, и тот же Чевенгур, игнорирующий предписания из губернии, чтобы строить будущее на совершенно пустой площадке. Цели тут могут быть самые разные, но побуждение всегда сходно — выключиться из ритма, которому объективно подчинена действительность, игнорировать реальную историю, либо погоняя ее, либо тормозя.

Кэндзабуро Оэ интересует попытка торможения.

Собственно, когда происходят все те события, о которых узнаем мы из составивших роман шести пространных писем рассказчика своей умирающей от рака сестре? Хронологическое пространство рассказа кажется чрезвычайно широким, ведь летопись Авадзи включает в себя несколько эпох, условно именуемых периодом созидания, периодом возврата к старине, периодом освобождения от крайнего индивидуализма и т. п. Конкретные приметы времени почти размыты, они появятся только под самый конец в описаниях американской оккупации и гибели «микрокосма», неизбежно, хотя и насильственно, втянутого в современность, принужденного разделить судьбу, которая выпала Японии.

А до того как это произойдет, время сознательно не обозначается автором. Словно бы несущественно, когда наступил Век свободы и когда он оборвался. Когда происходила блистательная пятидесятидневная война с армией Великой империи (кстати, поразительно напоминающая сцены разгрома правительственных войск на подступах к Канудосу), когда заполнил долину странный гул, заставивший жителей покидать дома, когда производили передел имущества, когда строили Дорогу мертвецов. Словом, когда, в каких хронологических параметрах развертывалась вся эта история построения общины, мыслившейся как идеальное устройство социума, а на поверку оказавшейся все-таки образцом «непонимания» и «нелюбви», пусть иероглифы, которыми пишет-

[1] Опубликованы в «ИЛ» 1978, № 3—4; 1981, № 11—12.

ся слово Авадзи, способны прочитываться и совершенно, принципиально по-другому.

В каком-то смысле это и вправду несущественно — когда. Наверное, Кэндзабуро Оэ мог бы ответить: сегодня и вечно. Так написан его роман, где на первых же страницах дается емкая метафора времени — герой, читающий лекции по фольклору в Мехико, держит в руках «древний топор индейцев, согретый телом человека из деревни-государства-микрокосма, живущего во второй половине двадцатого века». Времена смыкаются, сливаются; важна не конкретика дат, но последняя стадия идеи, из которой возникло мифическое поселение в горах, важны исход и развязка, предопределенные реальностью XX века, а еще точнее — его конца.

Быть может, впоследствии, перечтя «Войну конца света» или «Игры современников», о заключительных десятилетиях этого века скажут, что они были периодом, со всею строгостью проверившим представления об идеальном обществе, которые, уходя своими корнями в седую старину, дожили до наших дней и лишь ситуацией сегодняшнего мира были опровергнуты, кажется, окончательно. Нам, находящимся внутри этого периода, сложно и опасно делать подобные выводы. Но не почувствовать вполне определенную антиутопическую тенденцию мы не можем, ибо слишком наглядны ее свидетельства в литературе последних лет. Роман Кэндзабуро Оэ — из самых весомых в этом ряду.

Ведь и та мысль, которая движет созидателями Авадзи, сама по себе далеко не нова, скорее традиционна, тем более для японского сознания. Силой специфических обстоятельств оно столетиями воспитывалось на концепции национальной замкнутости и исключительности, на химерах неподвластности законам мировой истории, на иллюзиях, теперь названных Оэ играми — жестокими, даже губительными в его изображении. Но одной лишь японской особостью суть конфликта, развернутого на страницах романа «Игры современников», далеко не исчерпывается. Существеннее само это желание «бежать в горы» с надеждой, забаррикадировавшись от холодных ветров мира, не приспособленного для утопии, воздвигнуть там град осиянный. В эпохи порубежные, переломные такие порывы повторяются особенно настойчиво, становясь типичной приметой «конца века». Подумается: случайное сходство. На самом же деле в усилиях этих выражается потребность, по-толстовски выражаясь, установить новый способ общения взамен бытующего, ибо последний утратил под собой всякое основание.

Нравственная цена социального эксперимента

«Конец века»— это действительно конец некоего миросозерцания, оттого и потребности в ином, в новом столь обостряются в такие времена. И каждый раз центральной оказывается проблема этической природы осуществляемого социального эксперимента, нравственной цены, которой он требует. Ищут новые формы бытия, опробуют различные модели жизнеустройства, но вся эта деятельность никчемна, пока способ общения, возобладавший в Канудосе ли, в Чевенгуре или в «деревне-государстве», не обретет лада с нравственностью в ее исходных и непререкаемых нормах. Роман Кэндзабуро Оэ сказал о том же, и в этом смысле его можно считать произведением, очень традиционным для гуманистической литературы. Ну что ж, подобная традиционность дороже любой новизны.

Что он собой реально представляет, «микрокосм», обозначенный в атласах сложным сочетанием иероглифов, так по-разному прочитывающихся? Коротко говоря, Авадзи есть нестабильное сочетание начал разрушительных и созидающих. Миф о Разрушителе, приведшем свою паству в ту горную долину, вообще главный среди всех легенд, сопрягаемых с «деревней-государством». Разрушитель, каким его сохранила народная память, бессмертен, словно семя папоротника, прорастающее по весне. А в его бессмертии повествователю видится доказательство «слияния начала и конца, крайних точек огромного исторического периода».

На поверку — не такого уж огромного, потому что история Авадзи по основным своим вехам совпадает с хронологией утопий вроде чевенгурской, где все уложилось в несколько месяцев. Впрочем, высчитывать сроки в этом случае столь же необязательно, как дознаваться, доподлинно ли сто лет обнимает действие знаменитой книги Гарсиа Маркеса. Разрушитель являет собой воплощенный миф о царстве справедливости и счастья, которое наступит непременно, лишь бы достало решимости уйти в горы, одолев препятствия, возводимые не столько природой, сколько социальными установлениями и самим порядком жизни там, на равнинах. И, читая роман Оэ, мы видим, как этот миф рушится. Как замышленное созидание останавливается, едва начавшись. Более того, само превращается в разрушительную работу, направленную уже не вовне, а на саму «деревню-государство».

Ассоциации с Платоновым преследуют и при этом чтении, только вспоминается скорее не «Чевенгур», а другая книга — «Котлован». Там роют землю, «чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества» и верят: «Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства». Чем сегодня оборачивается это будущее счастье, на примере «детства» как раз и видно всего отчетливее: кто же забудет мытарства Насти, потерявшей мать, которая умерла от голода, обучившейся совсем не детской жестокости доктринерского толка у подобравших ее строителей («плохих людей всех убивать, а то хороших очень мало») и рядом с котлованом нашедшей собственную могилу. Конечно, не случайность, что в предельно емкой повести Платонов все же отыскал возможность показать хотя бы одну человеческую биографию от истока до завершения, и это биография Насти. Она трагически реальна, коль вспомнить первый год коллективизации. И вместе с тем она

поднята до масштаба символического обобщения — тут дух эпохи и народная судьба.

У Кэндзабуро Оэ есть близкая параллель — сестренка, адресат писем рассказчика, который именует ее жрицей Разрушителя, пусть вовсе не для такой роли была предназначена дочь настоятеля и бродячей актрисы, когда-то дразнившая пробуждающееся эротическое воображение подростков из деревни. Сходятся не столько подробности, скорее сходными оказываются ситуации, заставляющие героинь Платонова и Оэ служить разрушению, которое дыханием смерти опалит их самих.

Это ситуации, когда, не считаясь с нравственным законом, подмененным соображениями сугубо идеологического толка, проводят, как выразился один платоновский персонаж, «четкую линию в будущий свет» и не замечают — не хотят заметить,— что котлован превращается в пропасть, где без следа исчезнут его энтузиасты. Раскулаченный мужик, которого, выгнав из избы, швыряют в снег, кричит оттуда: «Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!» — пророчество, страшное именно тем, что в нем не просто вопль отчаявшегося, но истина относительно социализма по Сталину. А у Кэндзабуро Оэ достроенный «микрокосм» в итоге заселит тоже единственный «главный человек»— Разрушитель, деспотически распоряжающийся новым обществом, возведенным на костях тех, кто это общество созидал.

В одном из кульминационных эпизодов романа Оэ отголосок «Котлована» становится буквально навязчивым, хотя очень может быть, что он непроизволен. Прокладывают Дорогу мертвецов — в своем роде олицетворение «незыблемости, рассчитанной на всю бесконечность времени». Такие монументы обязательно должны являть собой образец совершенства и могущества, свидетельствующего о расцвете державы, и в «государстве-микрокосме» неписаное это правило соблюдено самым строгим образом: огромный эллипс, выложенный вручную отесанным камнем, идеальное мощение, безукоризненная геометрия, которая потребовала высочайшего технического мастерства. Сам Разрушитель продумал этот проект и следил за его осуществлением. В тот день, когда работу закончили, он выстроил строителей в шеренги и отправил маршировать по новенькой дороге. Их тела «начали стремительно сокращаться, терять очертания, превращаться в бесплотные призраки». И рассказчику подумалось: «Не послужила ли Дорога мертвецов для созидателей, которым не дано было умереть собственной смертью, своего рода взлетной полосой, откуда они взмыли в тихое безмятежное небытие?»

Откройте «Котлован», прочтите сцену отправки выселяемых из деревни на плоту по реке, текущей к северному океану,— туда же, в «безмятежное небытие», которым для тысяч и тысяч оказалось в реальности «будущее неподвижное счастье», их же руками, их жизнями возводимое.

Еще раз: речь идет отнюдь не об установлении литературных влияний, не об уяснении первоисточников. Речь идет о тенденции, важной для мировой литературы, и обозначившейся особенно отчетливо теперь, когда пришло время подводить итоги века. О неверии в утопию. Об отказе принять грядущий рай, если он требует поступаться моралью и человечностью. О цели, дискредитированной средствами, примененными для ее достижения. О цене, которую пришлось выплатить за иллюзии наподобие Города Солнца, духовного вертограда или «деревни-государства», где ни диалектику истории, ни требования нравственности не постигают как первооснову всякой человеческой деятельности, если она хочет быть созидательной.

В романе Кэндзабуро Оэ созидатели заняты лишь тем, что разрушают созданное их предшественниками — но, разумеется, созданное неверно, не по тем принципам, которые признаны истинными на данный момент, не в той системе человеческих отношений, которую санкционировал очередной руководитель Авадзи. Разрушитель оттого и вечен, что подобная работа должна возобновляться бессчетное число раз, пока сама идея созидания как такового не превратится в чистую абстракцию. Эту ложную вечность в итоге разрушит сама история, ворвавшаяся и в «микрокосм», какими бы плотинами он ни пытался перегородить ее поток. Финальный результат тех «игр», которыми заняты персонажи Оэ, бесконечно печален. Идея бегства от исторической реальности предстает столь же несостоятельной, как мечта о ее стремительном опережении, а ведь с какими жертвами усваиваются эти уроки!

Но безысходности в книге Оэ нет. Как нет ее у Варгаса Льосы. Не говоря уже о Платонове с его влюбленностью в прекрасный и яростный мир.

Есть пафос правды, пусть предельно горькой. Он целителен, этот пафос. Не будь его, и пришлось бы оставить надежду, что когда-нибудь установится способ общения, достойный того времени, в которое мы живем.

Т. МОТЫЛЕВА

ДУХОВНАЯ ДРАМА БЕХЕРА

Мне несколько раз — десять-пятнадцать лет назад — доводилось во время поездок в ГДР беседовать с учащимися о жизни и творчестве Иоганнеса Р. Бехера. Его там очень высоко ценят и как писателя, одного из основоположников немецкой социалистической литературы, и как общественного деятеля. Его стихи и роман «Прощание» изучаются в школах. И само собой разумеется, что человек, лично знавший Бехера, свидетель его жизни в годы эмиграции, может вызвать любопытство, как у наших школьников вызвал бы любопытство свидетель заграничных поездок Маяковского. Мне задавали вопросы, например, такие:

— Может ли Бехер быть примером для нас? В чем именно?

— Был бы Бехер счастливым человеком?

— Бывал ли он в отчаянии?

— Как ему жилось в вашей стране?

Тут нельзя было ограничиться однозначными формулировками. Каждый человек неповторим, говорила я своим слушателям, и не может быть во всем образцом для других. Бехер, во всяком случае, может быть примером высокой верности революционной идее,— усвоив ее в молодые годы, он был ей предан всю жизнь. И он может быть примером критического отношения к себе, к своей работе, постоянной готовности пересматривать сделанное, искать новое.. Он сам сказал в стихотворении: «Мне кажется, я счастлив в жизни этой /Затем, что в исполинской битве века/ Я поднял меч за счастье человека» Но страданий, лишений, а главное, мучительных сомнений он испытал тоже немало — это понятно, в такую бурную и сложную эпоху, как наша. И отчаиваться он, конечно, мог; важно то, что он умел в конечном счете преодолевать отчаяние. А в нашей стране ему жилось вроде бы хорошо, именно здесь он мог широко печатать свои стихотворения и сплачивать вокруг журнала, который редактировал, антифашистов далеко за пределами СССР. Но тут были свои осложнения, и немалые. И мог ли быть вполне счастлив человек, оторванный на много лет от своей родины, глубоко принимавший к сердцу национальный позор?

Мне запомнились эти разговоры с юными читателями Бехера. За их прямо поставленными, как будто бы простыми вопросами стояли очень непростые проблемы, имеющие касательство, конечно, не только к судьбе Бехера, и даже не только к судьбе немецких антифашистов.

За последние годы мы узнали творчество Бехера с новых сторон. Завершено в ГДР многотомное Собрание его сочинений — туда вошло немало текстов, вариантов, которые не были известны ранее. Вышел том его переписки с издательством «Инзель», которое в свое время открыло ему доступ в большую литературу. Вышел цикл философских фрагментов и микроновелл, отразивших размышления и переживания писателя в первые годы после возвращения на родину,— «Восстание в человеке». И наконец, в 1988 году обнародованы под заголовком «Самоцензура» — в журнале «Зинн унд форм» и в сокращенном виде в нашей «Литературной газете» — страницы, вычеркнутые автором из корректуры его книги «Поэтический принцип» (1957). Об этих страницах речь пойдет ниже. Пока что стоит отметить: внутренний, скрытый драматизм бехеровского мышления и творчества раскрылся теперь перед читателями гораздо полнее, яснее, чем это было возможно при его жизни.

В сонете «Партия», который у нас неоднократно печатался. Бехер говорит, что именно коммунистическая партия спасла его от превращения во «взбесившегося мещанина», от духовного распада, предельного отчаяния, быть может от самоубийства. Это естественно было принять за некое поэтическое преувеличение. Но, читая переписку Бехера с просвещенными, доброжелательными руководителями издатель-

ства «Инзель», мы видим, что эти признания поэта — чистая правда. После мучительного разрыва с родительским домом, с чинной и душной средой консервативного бюргерства, молодой экспрессионист окунулся в среду артистической богемы, бродяжничал, пьянствовал, не мог справиться с напором стихийных творческих сил, которые бурлили в нем; он то ночевал на скамейках, то проводил долгие недели в психиатрических клиниках и санаториях (отчасти — чтобы уберечься от воинской повинности). Помощь издателей и друзей-меценатов, конечно, много для него значила. Но лишь после того, как он стал коммунистом (вначале — не без рецидивов и колебаний), он сумел найти ясную цель в жизни.

В 20-е годы — примерно с 1923 года — Бехер, выйдя из затяжного духовного кризиса, деятельно включился в низовую партийную работу. Жажда личного приобщения к правому делу побуждала его с охотой выполнять любые черновые поручения, вплоть до расклейки революционных плакатов на улицах. В то же время он деятельно сотрудничал в «Роте фане» и много писал — в новой для него манере, далекой от его недавних экспрессионистских экспериментов. Поэма «У могилы Ленина» (1924) знаменовала высшую точку его творчества того периода, который он сам впоследствии называл «пролетарско-революционной фазой». Вместо былых выкриков, призывов, стенаний — трезвые, логически упорядоченные строки, по стилю и ритму близкие к прозе. Строгий, впечатляющее суровый, но вместе с тем подчеркнуто упрощенный поэтический язык.

Тут мы подходим к острой проблеме, касающейся не только Бехера. Поиски речи точной и нагой, выражающей идеологию революционного пролетариата в форме, максимально доступной массам, влекли за собой не только завоевания, но и потери — излишнюю прямолинейность, схематизм, в конечном счете художественную обедненность. И Бехер это сознавал, но в течение известного времени мирился. Не раз уже цитировались его программные строки, впервые напечатанные в сборнике под характерным названием «Серые колонны»: «Я отказался от имени/ Меня зовут «товарищ»/. Я встал под красное знамя Коминтерна».

Мне запомнился облик Бехера, выступавшего в Харькове в ноябре 1930 года с докладом на Международной конференции революционных писателей. Спокойно-уверенная ораторская интонация, категоричность формулировок, одежда полувоенного образца — серая гимнастерка Союза красных фронтовиков — все это сливалось в целостный образ революционного организатора и лидера.

Пора эмиграции и борьбы с фашизмом потребовала от Бехера иных поэтических качеств. В его творческом развитии снова произошла крутая ломка. В поэзии 30-х годов он дал простор лирическому Я, раздвинул границы своего художественного мира, впервые ясно осознал свою связь с национальными традициями, которыми ранее пренебрегал. Именно в этот период возникли некоторые лучшие произведения его лирики, стихотворения-пейзажи, стихотворения-раздумья, поэтические образы Гёте, Рименшнейдера, Баха, Лютера. Можно понять радость Бехера по поводу высоких оценок, которые его новая поэзия получила от больших мастеров — Б. Л. Пастернака, Генриха Манна. Но ему доводилось слышать и критику, и притом несправедливую. Немецкие политические и литературные деятели, жившие в годы фашизма в Москве, не раз обсуждали новые вещи Бехера. Вилли Бредель пишет в своих воспоминаниях, что в среде антифашистской эмиграции оспаривалась, например, правомерность такой, унаследованной от прошлого, поэтической формы, как сонет: пристало ли пролетарскому поэту писать сонеты? Иные склонны были видеть в этом проявление эстетства, формализма — им больше нравились рифмованные лозунги и марши... Бехер отстаивал свою правоту, но подобная критика ранила его. Он прямо сказал об этом в стихотворении «Тассо» (сб. «Второе рождение», 1940). Лирический герой здесь мягко, корректно спорит со своими соратниками. Они ценят таких поэтов, которые готовы «бойко исполнить любое поручение», дать «к каждому событию требуемую приправу». Он с болью спрашивает себя: почему о поэзии берутся судить те, кто не понимают поэзии? Так или иначе, он никогда не отвернется от своих соратников, которые, как и он, борются за правое дело. Но он глубоко уязвлен... Вспоминая ту вульгаризаторскую критику, которой подвергались в сталинские времена видные мастера советского искусства, мы вправе предположить, что в стихотворении «Тассо» отразились не только споры в среде немецкой эмиграции, но и события более широкого масштаба.

Обобщающий смысл стихотворения подчеркивается самим его названием. Оно напоминает о трудной судьбе Торквато Тассо, героя известной драмы Гёте. Автор «Освобожденного Иерусалима» вынужден подчиняться герцогу Феррарскому, при дворе которого живет [1]. Можно условно сказать, что у Бехера в ходе общения с иными деятелями немецкого рабочего движения сложился некий «комплекс Тассо» — тягостное ощущение добровольно взятой на себя зависимости. В его стихотворениях разных лет, иногда и в статьях, мелькают сатирические фигуры доктринеров, догматиков — будь то «товарищ Безошибок» (Genosse Fehlerfrei) или «Всезнайка» (Besserwisser) — люди, чуждые искусству и очень бдительные по части чужих ошибок.

Сборник «Второе рождение» местами окрашен в сумрачные тона. И это понятно. Он вышел после заключения советско-германского пакта о ненападении. Бехер как

[1] Стоит прислушаться к суждениям А. Аникста о «Торквато Тассо» Гёте. Конфликт «художник и общество», к которому Гёте обращался и ранее здесь достигает особой остроты оттого, что «поэт здесь не цельная, не гармоническая личность, он раздираем противоречиями, склонен к крайностям... «Торквато Тассо» — трагедия, хотя герой и не гибнет» (А. Аникст. Творческий путь Гёте. М., 1986, с. 285).

дисциплинированный коммунист, старался понять смысл этого события, сделать все необходимые выводы применительно к собственному творчеству и к журналу «Интернационале литератур», главным редактором которого был. Антифашистская тема на время стала запретной, немецкие писатели-эмигранты выходили из положения кто как мог: Эрих Вайнерт переводил Лермонтова и Шевченко, Вилли Бредель взялся за большое повествование о прошлом немецкого рабочего класса «Родные и знакомые». Бехер тоже углубился в прошлое, закончил давно начатый роман «Прощание». Но он продолжал писать антивоенные и антифашистские стихи, находя для них «эзоповскую» форму. Его биограф Х. Хаазе лаконично свидетельствует, что в сборнике «Второе рождение» Бехеру пришлось «по политическим соображениям» внести некоторые поправки [2]. И в самом деле. Большое сатирическое стихотворение, где речь явно идет о гитлеровских палачах, озаглавлено «Капиталистический карнавал»; некоторые сонеты обрублены, сведены к двум терцинам. Все это оставляло болезненные шрамы в сознании поэта.

В конце мая 1941 года московские литераторы торжественно отметили пятидесятилетие со дня рождения Бехера. И тут поэт эзоповым языком выразил свои антифашистские убеждения, сказал в стихотворении «Признание» о высоком долге — расправляться с врагами своего народа, поблагодарил советских друзей за то, что они «сострадают» его народу... Это было сказано в момент больших успехов нацистов и их прихлебателей — гитлеровская Германия топтала пол-Европы,— уместно ли было в такой ситуации говорить о «сострадании» к подданным фюрера? Бехер считал, что уместно: поражение Германии в возможной войне с СССР было для него вполне реальной перспективой. И аудитория, собравшаяся в тот вечер в Центральном Доме литераторов, была солидарна с поэтом-изгнанником. (Мне было поручено сделать доклад о творчестве Бехера, и организатор вечера, осторожнейший М. Я. Аплетин, заранее предупредил меня: «Тут в зале могут быть люди из германского посольства, вы не скажите чего-нибудь лишнего!»)

Вернемся к стихотворению «Тассо». В 1940 году, когда вышел сборник «Второе рождение», это стихотворение вызвало недоброжелательные толки среди немецкой эмиграции. Толки эти дошли и до наших инстанций. В то время в аппарате ЦК ВКП(б) работала литературовед, старая большевичка А. А. Петросян. Я запомнила ее слова о Бехере, высказанные в личном разговоре: «Ну, зачем к нему придираются? Ведь если дойдет до серьезного, этот человек может сделать больше, чем сотни агитаторов!»

В то время не было принято прямо говорить о возможности войны с фашистской Германией, но все люди, способные думать, об этом думали. В начале июня 1941 года я с мужем была приглашена к Бехеру. Он добродушно подшучивал над статьями, опубликованными к его пятидесятилетию. «Эрнст Фишер написал, что все лучшее в моей сегодняшней лирике возникло под влиянием VII конгресса Коминтерна, а по-вашему, выходит, что решающее влияние на меня оказал Советский Союз». — «А вы сами как думаете, товарищ Бехер?» Он загадочно улыбнулся. А потом разговор за семейным столом Бехеров пошел о будущей войне с нацистской Германией, как о близкой и неминуемой реальности.

Так оно и оказалось. Бехер в течение войны делал все возможное для победы над Гитлером: писал стихи-листовки, обращенные к солдатам вермахта, создал в необычайно короткий срок драму «Битва за Москву», участвовал в деятельности комитета «Свободная Германия», активнейшим образом трудился как поэт и как публицист.

После разгрома фашизма перед Бехером, вернувшимся на родину, открылось богатейшее поле работы. Он создал и возглавил демократический Культурбунд, объединивший широкие круги интеллигенции; в 1954 году стал министром культуры ГДР. Он многое сделал для духовного обновления своей страны. Но его мечта о единой Германии не осуществилась. Началась «холодная война», и это наложило густую тень на последнее десятилетие его жизни.

Разумеется, созидательная работа в области социалистической культуры, общение с читателями, от которых он был так долго оторван,— все это доставляло Бехеру много радости. После массового праздника молодежи в мае 1950 года он записал в дневник, что этот день — вершина его жизни. Но тот же дневник за 1950 год содержит и записи иного рода. Были люди, которые мешали Бехеру работать. В сатирическом плане упомянут некий «чиновник от искусства» («Kunstbeamter»), который считает художников бездельниками и не видит существенного различия между искусством и политикой.

Позволю себе включить тут личное воспоминание. В первой половине 50-х годов Анна Зегерс, будучи в Москве, с огорчением рассказывала, что в области культуры в ГДР немалым влиянием пользуются люди, насаждающие упрощенческие, пролеткультовские взгляды. Я спросила: «А как на это смотрит Бехер?» Она ответила: «Бехер так же смотрит, как и я, но ничего не может поделать».

Следы горестных размышлений Бехера, вызванных вмешательством некомпетентных людей в сложные сферы культуры, остались в стихотворениях, которые он иногда писал «для себя» и не печатал. Приведу в собственном, почти дословном переводе маленькое стихотворение, написанное верлибром, хранящееся в архиве Бехера:

На могиле моей
Не поднимется крест.
Но Всезнайка
Подымет преважно
Свой перст указующий,
Потому что моя смерть
Последовала
Без его указания.

Я писал,
Как велело мне сердце,

[2] Horst Haase. Johannes R. Becher. Berlin, 1981, S. 148.

Как диктовал мне разум,
А не под диктовку,
Не по рецепту
Всезнайки,—
Непростительно!

В таком же духе написан сонет «Бюрократы», также оставшийся ненапечатанным. Поэт чувствует себя оскорбленным тем, что «какие-то люди» заседают и решают, что́ он, поэт, должен делать:

Решает некто, кто-то заседает,
И — глядь! — решенье вынес обо мне.
«Зачем тебя все это огорчает? —
Твержу себе.— Где смысл в их болтовне?»

Я должен исполнять их указанья.
Да что в них проку? Разве я готов
Внимать им? Нет, есть у меня призванье,
Как выстрел в сердце — этот тайный зов.

Но слышу я, как ерзают зады.
«Что значит «некто»? — Рвением объяты,
Мне говорят.— Здесь — шутка? Шутовство?»

О, бюрократы за щитом цитаты,
Творцы интриг — и больше ничего!
Несокрушимым задом вы горды...[3]

Нет, Бехер не против партийного руководства литературой, но он против того, чтобы с ним обращались как с подручным, подчиненным, чтобы ему указывали и его опекали. Ему такие указания — «как выстрел в сердце»... По-видимому, Бехер был одним из первых революционных поэтов Запада, кто подверг феномен бюрократизма критике с позиций искусства.

С годами у Бехера кристаллизовалось понятие «защита поэзии»; он так и назвал первую книгу из теоретической тетралогии «Опыты», над которой работал в последнее десятилетие своей жизни. Нужна, считал он, защита поэзии не только от буржуазно-коммерческих нравов, от преследований и клеветы со стороны международной реакции, но и от вульгаризаторов и упрощенцев в собственном политическом лагере.

Эта мысль проходит через весь его четырехтомный цикл и выражена с наибольшей прямотой в четвертой книге, «Поэтический принцип». Она вышла в 1957 году, и в ней чувствуется освежающее дыхание XX съезда КПСС. «Поэзию — на службу!» — что за непродуманный, поверхностный лозунг!» — пишет тут Бехер [4]. Столь же поверхностен, утверждает он, другой расхожий лозунг — «Искусство — оружие»: искусство — не всегда оружие, и не только оружие — «Не забудем и о волшебной флейте!». Он возражает против попыток увидеть в поэте лишь «иллюстратора и подпевалу», задача поэзии — самостоятельное эстетическое освоение мира. «Культ личности не только вреден для людей, вынужденных его создавать или же добровольно занимающихся этим,— он вредит и самой личности, являющейся объектом и жертвой таких преувеличенных восхвалений (...) Восхваляя выдающихся людей, мы должны предохранить их от культа личности и следить за тем, чтобы наши восхваления были умеренными».

Размышления автора о задачах поэзии непосредственно связываются здесь с попытками осмыслить итоги XX съезда КПСС.

Это осмысление давалось Бехеру нелегко — именно потому, что он был глубоко, всем сердцем привязан к Советскому Союзу, начиная с тех давних дней, когда написал свой «Привет немецкого поэта РСФСР». Советский Союз был для него воплощением самых радужных надежд, альтернативой и антиподом ненавистного старого мира. И Бехер воспевал Страну Советов в стихотворениях и поэмах, он видел и изображал ее, как правило, в возвышающем, идеализирующем аспекте. Он как бы исключал из сферы своего внимания тот факт, казалось бы, бесспорный, что у этой страны есть сложные проблемы, нерешенные задачи, свои провалы и ошибки. В книге Х. Хаазе, которая уже упоминалась, верно подмечено, что о трудностях социалистического строительства Бехер попробовал заговорить только в поэме о первой пятилетке, «Великий план» (1931), а в поэзии периода эмиграции мотивы трудностей и противоречий советской действительности вовсе отсутствуют — Советский Союз представлен по преимуществу как Царство Человека, как мир, где все вопросы решены. И даже те стихотворения, где встают картинки советских будней («Детские дома в Быкове», «В кафе Высоко-над-городом»), окрашены в идиллические тона. Это не значит, что Бехер не замечал теней в светлом советском мире. Но значит, что он как поэт н е х о т е л, не считал уместным их замечать.

О злоупотреблениях, преступлениях, незаконных репрессиях Бехер, конечно, многое знал. Немало немецких антифашистов-политэмигрантов стало жертвами этих репрессий. В их числе были ближайшие сотрудники Бехера по журналу «Интернационале литератур» — Ханс Гюнтер, Карл Шмюкле. Бехер, видимо, и не пытался за них заступиться, полагая, что такие попытки обречены на неудачу. Он и для себя мог ожидать подобной судьбы (о чем недвусмысленно сказано в его стихотворении «Москва. Лаврушинский переулок»). Он не оправдывал сталинских беззаконий, но, как можно предположить, заставлял себя не задумываться над ними. Сталин был противовесом Гитлеру, будущим избавителем Германии от кошмара фашизма: это для Бехера было главным. Он воздавал хвалу Сталину — и был в этом искренен.

Но теперь наступила пора горестных самокритических размышлений.

Они отразились прежде всего в его последнем прижизненном сборнике стихов «Шаг середины столетья» (1957). В нем нет единой тематической направленности, скорей это своего рода итог, завещание людям будущего — недаром он завершается кратким поэтическим обращением к тем, кто будут встречать XXI век.

Среди разноплановых, неравноценных по поэтическому качеству стихотворений, строк о любви и природе, о старости и смерти — раздумья, актуальные по теме или подтексту. Например — «Обо всей правде». Полуправда — еще не вся правда, она

[3] Переводы этого и следующего (см. стр. 220) стихотворений Бехера, выполненные Г. Ратгаузом, публикуются впервые. *(Прим. ред.)*

[4] И. Р. Б е х е р. О литературе и искусстве. М., 1981.

может быть искажением правды; надо заботиться о том, чтобы правда не только высказывалась, но и претворялась в дела. «Поэтому — выскажем правду/Убеждающую / Утверждающуюся / Неопровержимую/Неделимую — /Всю»...

Сатирический портрет оратора — болтуна, начетчика — дан в стихотворении «Дом зевоты». Целый дом — или даже целый город — покорно зевает, оратор читает написанную заранее речь, но в один прекрасный момент город просыпается, дружно начинает петь, а оратор, выронив рукопись, стоит молча, с широко разинутым ртом...

Лирически печально стихотворение «Вопрос и ответ». Что для поэта самое существенное — какое воспоминание, какое впечатление, какое поражение, какая победа? Ответ: «Грусть несказáнная, печаль без слез». Поэт постепенно настраивает читателя на тревожную волну — и появляются стихотворения, связанные с острыми проблемами дня. Лирический герой размышляет о «вычеркнутых именах», о мрачных тайнах, которые теперь перестали быть тайнами, о собственной причастности к вине перед умершими, о том, как он сам себя обманывал идиллиями; он утешает себя мыслью о неразрушимых достижениях, которые никто не может отнять,— и все-таки нота печали остается доминирующей. По-своему логично здесь и присутствие сонета «Ташкент»: поэт, как бы возмещая дефицит горькой правды в своих прежних произведениях об СССР, рисует в манере трагического гротеска свой путь в эвакуацию, из Казани в Ташкент: трупы в товарных вагонах, куски мертвых тел на рельсах, «армии вшей», озлобленные, измученные люди,— это т о ж е часть его жизни, об этом он тоже помнит... И не хочет больше умалчивать.

Но вот что удивительно. Самые сильные стихотворения, связанные с проблематикой XX съезда КПСС, не вошли в сборник «Шаг середины столетья» — Бехер их не включил.

Не вошло в сборник стихотворение о подсудимом, который согласился на самооговор в надежде на обещанное ему помилование — и был расстрелян. Не вошло стихотворение о человеке, который долгие годы доносил на друзей и коллег и, раскаявшись, покончил с собой. Не вошло, наконец,— и было напечатано уже после смерти Бехера в Собрании его сочинений, в разделе «Несобранное» — стихотворение «Свет и мрак», пожалуй, наиболее значительное из его произведений на данную тему:

Был славен человек, его свершенья
В почти нечеловеческих делах.
Но он дрожал в безмерном униженье,
Не в силах одолеть гнетущий страх.

Так мы узнали свет и мрак могильный —
Кто нашей силе преградит пути?
Но были мы, как никогда, бессильны:
Кто мог от подозрения уйти?

Друг друга все тогда подозревали,
Высок был взлет, но мы так низко пали!
И каждый думал: «Может, это враг?»

Величие мы видели воочью,
Но ждали мы: чью дверь откроют ночью?
Так жили мы. Был свет. И черный мрак.

Отметим, что этот графически четкий контраст черного и белого, света и мрака далек от уравновешивающего равенства. Поэт ясно видит, что б ы л свет, были в эту трагическую эпоху свои свершения, достижения, даже радости. Но м р а к налагал свою черную печать и на свет: в оригинале, как и в переводе, именно за мраком (Finsternis) остается последнее слово. Отметим также, что Бехер здесь не отделяет себя от советских людей,— лирический герой входит в коллективное м ы. Герой этот виноват и не виноват — как многие другие.

И все-таки: почему Бехер не включил в последний свой сборник именно это стихотворение и еще несколько сонетов на темы, связанные с XX съездом КПСС? У него не было оснований чего-либо опасаться. О редакторском нажиме или требованиях цензуры тут не могло быть и речи,— Бехер был сам себе редактором, сам себе цензором. В случае какого-либо противодействия он мог бы настоять на своем, тем более что он в 1957 году был тяжело болен, ждал смерти — этот мотив присутствует в его стихах. В чем же дело? По-видимому, тут сработал «комплекс Тассо», ложное чувство долга.

Вспомним. У нас в стране очень скоро после XX съезда КПСС проявились тенденции сдерживания, торможения. Окна, впустившие свежий воздух, стали понемногу прикрываться, открытыми оставались в лучшем случае форточки. Международное положение продолжало быть напряженным, напряженность эта усилилась и в связи с событиями в Польше и Венгрии. Все это сказалось и на идеологической жизни ГДР.

В послесловии двух литературоведов к последнему тому публицистических трудов Бехера говорится о конференции по вопросам культуры, состоявшейся в Берлине в октябре 1957 года. Там «развернулась критика и самокритика руководства процессами культуры, и Бехер осознал опасность беспринципного многоголосия», нараставшую по мере сохранения «общегерманской» культурной политики» [5]. Иначе говоря: Бехер подвергся критике за попытки наладить диалог с писателями ФРГ. И не только за это: из того же послесловия мы узнаем, что Бехера (и подчиненные ему учреждения) упрекали в «преувеличении значения классики» и в «недооценке пролетарско-революционных традиций». И Бехер принял эту критику.

В феврале 1958 года Бехер, превозмогая болезнь, выступил на собрании членов Культурбунда с докладом на тему «Социалистическая культура и ее национальное значение». Главную суть этого доклада составлял, если можно так выразиться, п а ф о с р а з м е ж е в а н и я. Тут никак не проявился присущий Бехеру вкус к диалогу, к свободному обмену мнений. В докладе немало интересных и верных мыслей. Но главная цель оратора — в том, чтобы обосновать шаблонный тезис о невозмож-

[5] Rolf Harder, Ilse Siebert. Nachwort. In: Yohannes R. Becher, Gesammelte Werke, 18 Band. Berlin und Weimar, 1981. S. 729—730.

ности мирного сосуществования с Западом в области идеологии. Этой цели служат и примеры преступной деятельности реакционеров в ФРГ, и цитаты из Мао Цзэдуна. Всю жизнь Бехер боролся с догматизмом, стремился не делать ему уступок даже в собственном сознании. Но его доклад на собрании Культурбунда — последний в ряду его программных публицистических работ — носит заметный отпечаток догматизма. Попадаются пассажи, которые просто неловко читать. Например: «Главный вопрос в строительстве социализма, учит нас Вальтер Ульбрихт,— это воспитание человека». «В свое время Вальтер Ульбрихт, выступив в Лейпциге перед интеллигенцией, значительно помог Культурбунду повысить свой духовный уровень» [6]. Бехер тут не лицемерил — он просто поддался идейному климату времени.

Ясно, что в такой контекст поздняя лирика Бехера не очень-то вписывалась. Поэтому он изъял из рукописи книги «Шаг середины столетья» — или с самого начала не включил в эту рукопись — некоторые стихотворения, которые показались ему неподходящими, не отвечающими задачам момента. Поэт в роли собственного цензора — случай не столь частый, но в трагической истории нашего века факт не единичный.

Параллельно с докладом о социалистической культуре и с подготовкой последнего сборника стихов Бехер завершал работу над четвертой частью своего теоретического цикла, «Поэтический принцип», о котором выше уже шла речь.

«Поэтический принцип», подобно другим частям того же цикла, изложен не в виде цельной монографии, а в виде серии заметок, набросков, наблюдений, размышлений. В этой кажущейся бессистемности есть свой умысел, своя система. Писателю совсем не хотелось, чтобы его заветные мысли воспринимались как нечто общеобязательное. Тут было и свое удобство для автора: он мог прибавлять или убавлять отдельные фрагменты без ущерба для книги в целом.

В наборной рукописи «Поэтического принципа» были страницы личной исповеди Бехера, были и выводы, которые он сделал для себя, и не только для себя, в связи с итогами XX съезда КПСС. Конечно, такие материалы выходили за рамки книги о поэтике, но они могли существенным образом обогатить содержание ее. Однако Бехер, по-видимому, решил, что в условиях напряженной политической ситуации, сложившейся в 1956—1957 годах, не время для размышлений на такие острые темы. И когда пришел срок чтения корректуры, самолично изъял из нее семь фрагментов, которые теперь опубликованы в третьей книжке журнала «Зинн унд форм» за 1988 год. На русском языке эти материалы появились в «Литературной газете» от 27 июля в доброкачественном, но слегка сокращенном переводе Е. Колесова: таким образом, можно предположить, что хотя бы часть наших читателей с этими текстами знакома: это дает мне право говорить о них кратко.

Отметим сразу: Бехер изъял эти страницы, но не уничтожил их, то есть не отрекся от них, а *отложил* их публикацию до будущих времен. Отметим также, что Бехеру, судя по всему, было крайне трудно решиться на признание, которое он сделал с первых строк, в *первом* фрагменте: «Я не должен больше молчать. Я не должен чувствовать себя соучастником вины из-за того, что я молчу»... Долгое время он носил в себе конфликт, который его «сжигал изнутри». Теперь, когда «задрожала земля и открылись могилы», он обязан нарушить молчание.

Отказ от мифов сталинизма потребовал от Бехера больших душевных усилий. Об этом свидетельствует медлительный, как бы заторможенный стиль, каким он повествует о своих раздумьях, и их нарочитая абстрактность, явное нежелание называть людей и события своими именами. В то же время ему хочется договорить до конца. И он возобновляет разговор на трудную тему: через десять страниц в корректуре книги «Поэтический принцип» появляется фрагмент *второй*. Поэт пытается объяснить свою преданность «этому человеку» — ведь он избавил немцев от «коварнейшего врага», воплощавшего в себе все зло Германии. «Но мне не хотелось бы умалчивать и о том, что я, в той же мере, в какой я любил и уважал Сталина, был охвачен ужасом по поводу некоторых событий, которые становились мне известны, когда я жил в Советском Союзе. Я не могу отговариваться тем, будто ничего об этом не знал. Я не вправе утверждать, что не хотел об этом знать. Я не только предполагал — я знал!» Бехер пытается объяснить жестокость сталинских репрессий тем, что социализм строился в отсталой стране, что он «должен был обороняться против нацистского варварства». И снова упоминает о собственной виновности: «Я чувствовал, что придет время, когда будет возможно разрешить все вопросы. И это время пришло. Тут нет моей заслуги. Я и пальцем не шевельнул, чтобы приблизить приход этого времени,— вот как обстоит дело». Далее Бехер говорит пространно и несколько туманно, что радикально покончить со злом прошлого может только «очистительная гроза».

В третьем фрагменте Бехер обращается к проблеме трагического, издавна занимавшей его и в эстетическом и в философском плане.

«Трагедия нашего века, превосходящая богатством трагического содержания трагедии античности, заключается не в том, что люди, у которых разные стремления, вступают в неразрешимый конфликт друг с другом, а в том, что люди, у которых одинаковые стремления, люди, одушевленные единой волей, втягиваются в противостояние настолько трагическое, что трагический конец обеих сторон или по крайней мере одной стороны, оказывается неминуемым. Эпоха, которая теперь закончилась (та, которой положил конец XX съезд КПСС), таит в себе множество подобных трагедий. Только теперь пришла пора воплотить их в образы...»

[6] Johannes R. Becher. Gesammelte Werke, Bd. 18.

Далее Бехер говорит о том, что недопустимо скрывать и предавать забвению трагические страницы прошлого. Нельзя трактовать их как нечто малосущественное, преодоленное. Нельзя воскресить безвинно погибших, но нужно постараться, «чтобы будущие поколения были избавлены от таких ужасов».

Не забывать, не замалчивать! Этим стремлением проникнут и фрагмент четвертый. Формой замалчивания, напоминает Бехер, может быть и бездумное, легковесное отношение к страшному прошлому. «Трагизм может быть преодолен, если мы осознаем его таковым и если к этому преодолению приложим силы, отвечающие размаху трагизма. Всемирная система, в какую ныне превратился социализм, не даст этому трагизму ускользнуть. Социализм дорос до восприятия трагизма, он может уделить ему подобающее место и справиться с ним. Сам по себе факт, что он указывает трагизму его место, является залогом того, что социалистическая система во всемирном масштабе не остановилась в своем развитии; она не успокаивается и не может успокоиться, пока все народы не включатся в эту систему — каждый народ органичным для него путем — и не признáют ее системой бытия человечества, осознавшего свою человечность».

В рамках этого же четвертого фрагмента — краткое изложение «романа, который можно было бы написать». Герой этого романа — молодой немец, приехавший в Советский Союз в качестве эмигранта. Через его восприятие передается «атмосфера того времени арестов и процессов, которою отмечена жизнь Советского Союза начиная с 1937 года». Вначале герой-повествователь принимает на веру решительно все, что ему говорят. Потом он задумывается — нет ли среди его собеседников «потенциальных фашистов»? Он всматривается в лица людей, провоцирует их на политические споры — «возникает атмосфера джунглей, где никто никому не верит и все друг друга подозревают». В конечном счете герой романа становится доносчиком и притом убежден, что он «служит правому делу, хотя и предосудительными средствами». Самый большой трагизм событий 1937 года, по мысли Бехера, именно в том, что орудием беззаконий могли быть и субъективно честные люди.

Пятый фрагмент, более пространный, чем остальные (и не включенный в публикацию «Литературной газеты»), представляет собой сатирическую притчу.

«Некто Икс» разработал проект «преодоления культа личности», в частности в области культуры. Согласно этому проекту, люди должны отказаться от собственных имен и фамилий — им будут присвоены номера. Поэты, писатели будут публиковать свои произведения под номерами, то есть практически анонимно. Это очень облегчит их работу: им не нужно будет заботиться о своем добром имени, о качестве своих сочинений. Художникам, скульпторам строго запрещается создавать портреты; актеры должны выступать в масках, чтобы зрители не могли их узнать. Все памятники выдающихся людей должны быть уничтожены, все улицы, носящие имена тех или иных личностей, должны быть переименованы. Запрещается праздновать дни рождения, так или иначе отмечать памятные даты, связанные с именами отдельных людей. Изучение истории должно быть преобразовано, с тем чтобы не выделять роль отдельных личностей в событиях прошлого. И даже названия разных вин должны быть отменены и заменены номерами...

Но оказывается, что «некто Икс», создав эту систему универсальной обезличенности, в былые времена активно насаждал культ личности! «Такой культ служил прославлению отдельных политических деятелей, что мотивировалось заботой об авторитете правительства, о поднятии уважения к нему со стороны населения». В этих целях улицы и площади получают имена правящих лиц, всюду висят портреты этих лиц, плакаты с цитатами из их речей; им еще при жизни сооружаются памятники. В этих условиях «некто Икс» проявил немалое усердие, изобретая «все новые способы почитания». Народу внушают, что предмет всеобщего преклонения уже в раннем детстве обнаруживал признаки гениальности и что он — выдающийся специалист решительно по всем отраслям знания — «сверх-Всезнайка, и не только лучший труженик, но и лучший человек, лучший стратег, лучший вождь, гений всемирного масштаба». Понятно, что в такой атмосфере любая критика высокопоставленных лиц становится бессмысленной и невозможной. Простые смертные в этой ситуации теряют собственное лицо — культ личности оборачивается культом безликости. По очевидной мысли Бехера, у того и другого культа общая основа, понятно, почему «некто Икс» может легко перейти от одной крайности к другой.

После этой сатирической интермедии Бехер с предельной прямотой раскрывает суть своей духовной драмы. Она — в разрыве идеала, к которому поэт стремился всю жизнь, и действительности, какой она оказалась после долгих десятилетий борьбы. Шестой фрагмент открывается признанием: «Коренное заблуждение моей жизни заключалось в том, что я предполагал, будто социализм покончит с человеческими трагедиями и устранит трагизм человеческого бытия вообще. В этом коренном заблуждении отразилось мелкобуржуазное, мещанское, идиллическое представление о социализме и вместе с тем — слишком усердное стремление истолковать в духе апологетики социалистический эксперимент, каким он являлся в действительности». Жизнь показала полную ошибочность представлений о социализме как «радостном будущем». Оказалось, что эпоха борьбы за социализм по богатству трагического содержания несравнима ни с одной из предшествующих эпох. Это — страшный урок для всех тех, кто мечтал о социализме как о «рае земном и счастье для всех».

В этом предпоследнем фрагменте Бехер касается и вопроса о народности литературы: тут чувствуются отголоски его многолетних споров с упрощенцами — «всезнайками». Иные присяжные ревнители народности литературы сами не понимают, как далеки они от народа. «Зато многие писатели так тесно связаны с народом,

что в известные времена не могут заставить себя писать произведения, приятные и полезные известным лицам... Этих писателей упрекают в бегстве от жизни, но, несомненно, более почетно впасть в красноречивое молчание, нежели «забежать вперед», туда, где поощряется работа на заказ и точное исполнение желаний заказчика».

Седьмой и последний фрагмент — краткий, остропроблемный — стоит привести целиком:

«С коренным заблуждением, о котором говорилось выше, связан взгляд, будто социализм, а также и коммунизм заранее исключают перемены революционного характера, и допускают разногласия только в «академической форме». Это, по-видимому, далеко не так. И наша новая общественная система не застрахована от искажений, которые необходимо устранить в иных случаях с помощью силы. Вместе с тем существует возможность, что отсталые слои, таящие недооцененные до сих пор опасности, попытаются воспользоваться разногласиями и переменами, чтобы поставить под удар новую общественную систему и заставить ее понемногу, под предлогом псевдореволюционных тезисов, дать «обратный ход».

Словами предостережения и тревоги закончил свою предсмертную политическую исповедь старый поэт-коммунист, преданный друг нашей страны.

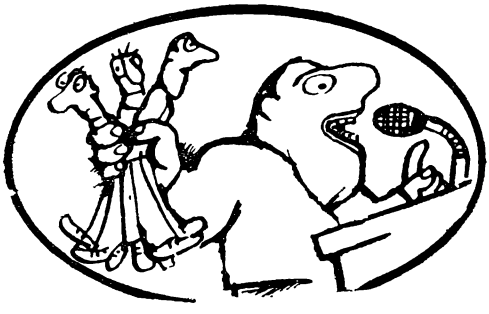
◆

ПО СТРАНИЦАМ БОЛГАРСКОГО ЖУРНАЛА «АПРОПО»

Болгарский дом сатиры и юмора в Габрово два раза в год выпускает альманах юмора и сатиры народов нашей планеты на болгарском, русском, английском и французском языках. Его издатели стараются знакомить друг с другом юмористов разных стран, популяризировать их произведения во имя взаимопонимания и мира на Земле. Приглашаем читателя перелистать вместе с нами страницы одного из номеров «Апропо», в котором преобладают рассказы и карикатуры балканских авторов.

РАДОЙ РАЛИН

Завет Кубрата



Умирал Кубрат. Прощался с жизнью хан Волжской Болгарии...

Его сыновья, следуя прекрасным народным традициям, окружили смертный одр в ожидании последнего отцовского слова, которому, вне всякого сомнения, предстояло обрести значение завета.

Кубрат велел принести связку прутьев.

— Это бессмысленно, отец мой, — тактично и уважительно возразил старший из сыновей. — Нынче от мала до велика, от образованного до служащего — все знают законы, открытые твоим предшественником. Всем хорошо известно, что, когда прутья связаны в пучок, их не сломать и не согнуть, но стоит им рассыпаться — и переломать их особого труда не составит.

Умирающий лишь снисходительно усмехнулся:

— Вы, молодые, все хвалитесь своим прагматизмом, а на самом деле многого еще не уразумели. Принесите тотчас прутья!

Примерные сыновья подчинились — не стоит огорчать умирающего.

Кубрат развязал прутья и дал каждому по одному:

— Ломайте!

Молодые, стараясь скрыть улыбки, принялись за дело. Но безуспешно! Прутья не поддавались, оставаясь целыми и невредимыми. Напрасно их терзали, сгибали и разгибали. Никакого толку.

Тогда Кубрат, весьма довольный предвиденным им результатом, продолжил:

— А теперь свяжите прутья плотным пучком. Потуже, потуже стяните что есть сил. Вот теперь каждый из вас, даже самый слабосильный, враз справится. Ну-ка, смелее!

Никто не спешил исполнить желание отца. Во-первых, оно казалось более чем абсурдным, а во-вторых, еще саднило руки от только что предпринятой неудачной попытки...

Тогда сам Кубрат, угасающий Кубрат, взял пучок в трясущиеся руки, легко коснулся колена и переломил прутья надвое.

Невероятно!

— Не забывайте, сыновья мои, — торжественно произнес отец, — что для каждой эпохи писаны свои законы. А люди подобны этим прутьям. Если слушать их поодиночке, они готовы до конца отстаивать собственное мнение, — не уломаешь. Стоит же созвать их вместе, да не куда-нибудь, а на собрание, поднажать как следует, вдалбливая обратное тому, что они на самом деле думают, — и вряд ли кто-нибудь осмелился противоречить...

Сказав это, Кубрат испустил дух.

А сказал бы он это, не собираясь умирать?

Перевод с болгарского РОЗЫ БРАНЦ

Рисунок Добри Мумджиева.

© A PROPOS — c/o Jusautor, Sofia, 1986.

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ

Пейзаж с собакой

Рисунок Отто Райзингера.

Одним прекрасным вечером пришел к нам наш благодетель Петров, покопался во внутреннем кармане и вытащил собаку.

Собака была величиной с теннисный мяч и такая же белая. Стоило Петрову поставить ее на стол, как она стыдливо потупилась, да так и смотрела все время на скатерть. Будто свататься пришла.

А Петров сказал:

— Ну вот — собака что надо.

Мы уставились на собаку.

— Хорошая собака, — сказал я неуверенно. — А теперь что?

— Как что? — сказал Петров. — Она твоя. Это тебе подарок.

Что-то не помню, чтобы мы с Петровым говорили о собаке. Я вообще ни с кем о собаке не говорил, вот уже лет пять-шесть я говорю со знакомыми только о квартире, потому что у меня таковой нету. Со своими тремя детьми мы жили в маленькой однокомнатной квартирке: всего-то и помещений что комната да кухня. К тому же наша квартирка была обречена — дом в любой момент могли снести, чтобы построить на его месте почту. Вот и смотрел я на белый мячик, расположившийся на столе, и не знал, что делать. Перспектива жить в крошечной квартире с собакой, пусть и портативной, меня не соблазняла. Верно, животное выглядело стыдливым и воспитанным, но эволюция преподносила нам всякие неожиданности.

— Как? — прервал Петров мои размышления — Неужели не нравится?

— Площадь у меня мала, — сообщил я. — Видишь: одна комната, кухня, трое детей, да еще и жена... А собачка хорошая. Белая.

— Что за ребячество! — отвечал Петров. — Ты ж видел, откуда я ее достал. Места она занимает не больше шариковой ручки.

— Пока да, — согласился я. — Но пройдет время... И вообще, при чем тут собака? Мы ж говорили о квартире...

— Тебе известно, что такое «альянация»? Отчуждение, — сказал Петров. — Альянация убивает человека вернее, чем инфаркт. Но постепенно.

— Это верно, — согласился я. — Но на такой площади...

— Площадь не имеет никакого значения, — заявил Петров. — Я, в своих пяти комнатах, так сильно страдаю от одиночества, пустые пространства так меня угнетают, что хоть волком вой. Человеку необходимо существо, о котором он заботился бы. И которое было бы к нему привязано.

— И все-таки... — пролепетал я.

— Собака необходима для твоего душевного спокойствия. — Петров был категоричен. — В наш век автоматизации нужна возможность проявить свою человеческую сущность, приблизиться к природе, к естеству. Иначе альянация тебя сокрушит.

Ясно, выбора у меня не было.

— Кроме всего прочего, эта порода собак даже в зрелом возрасте не больше какого-нибудь ботинка. Генетика.

— А какого размера ботинок? — поинтересовался мой младший.

— Сорок третьего, — сказал Петров. — Не более.

— И в высоту? — снова спросил малыш.

— В высоту они достигают горнолыжного ботинка, — ответил Петров. — Без лыжи.

А затем рассказал об уникальном случае, когда собака такой породы доросла до высоты сапога.

— Но это единственный случай за триста пятьдесят лет, — заверил он. — Причем дело было в Германии. Ныне восковая фигура той собаки находится в Британском музее.

— А как там с квартирой? — спросил я.— Надежда есть? А то плати тут хозяйке...

— Я привез тебе собаку из Швейцарии,— сказал Петров, — а ты все о квартирах. Ерунда это — квартира, ты лучше старайся вырваться из когтей альянации.

Потом, взглянув еще разок на собаку, стыдливо сидевшую на скатерти, он отправился восвояси.

Собаку мы назвали Мокасин.

Это имя показалось нам подходящим для собаки, которой никогда не перерасти ботинка.

Через десять дней после визита Петрова собака достигла величины ботинка сорок пятого размера. Мы ее водили специально в магазин «Гигант», мерить.

Я тут же позвонил Петрову по телефону, но он в составе какой-то делегации отбыл за границу.

Спустя еще три недели собака статью догнала среднего теленка, а когда через месяц после этого я вернулся из командировки, в коридоре меня встретил какой-то белый конь, напоминавший еще и собаку.

Я ему любезно кивнул, даже пробормотал: «Как поживаете?» — и в полном недоумении пробрался к жене на кухню.

— Что это там в коридоре? — спросил я шепотом. — Опять Петров приходил, что ли?

— Петров еще за границей,— сказала жена. — А это Мокасин.

— Что-о? — опешил я. — А как же сапог?!

— Сапог-то в Британском музее, а этот здесь вымахал, как верблюд, и сжирает по полкоровы за день. Боюсь, так в один прекрасный день и детей съест.

— Ну, это ты уж чересчур,— сказал я.— Собака — лучший друг человека.

— Посмотрим, — покачала головой жена. — Очень в твоих словах сомневаюсь.

Положение — хуже некуда.

Из-за своих солидных размеров пес был помещен в нашу единственную комнату, дети заняли кухню, а я — балкон.

Мои сбережения вылетели в трубу за двадцать дней — аппетит у Мокасина был необыкновенный, а меня преследовал страх, как бы он не посягнул на детей.

Когда мы выпускали его поиграть на улицу, объятые ужасом прохожие падали в обморок еще прежде, чем пес успевал игриво лизнуть их в нос.

В высоту-то Мокасин вымахал, но умственно оставался ребенком. Он крал соседскую обувь и таскал ее домой — это была его любимая игра. Да еще засовывал ее в самые неожиданные места, а когда я категорически отрицал наличие в нашем доме чужих ботинок и тапочек, тщательная проверка обнаруживала таковые в гардеробе, в холодильнике, в хлебном шкафчике. Так я стал любимцем товарищеского суда, который посвятил мне нескончаемые бдения и оживил таким образом свою в последнее время затухшую было деятельность.

Против меня ополчился весь квартал. Стоило только какому-нибудь ребенку заиграться и не вернуться вовремя домой, как к нам врывалась заплаканная мать в сопровождении стиснувшего зубы отца, вооруженного охотничьей двустволкой. Они обвиняли Мокасина в самом худшем.

Напрасны были мои объяснения, что он — дитя, увлеченное играми, что велик он только ростом, что движут им лишь самые невинные и дружеские побуждения, что у человека нет большего друга, чем собака.

Ночами я ползал по соседним дворам, тайком возвращая украденную псом обувь, которую днем прятал от проверочной комиссии квартальной общественности.

Первой не выдержала жена и предложила мне выбрать — она и дети или собака.

— Тебе известно, — хладнокровно заявил я, — что от этой собаки зависит наша квартира. Петров обещал посодействовать. Причем еще год тому назад.

— А мне наплевать,— стояла на своем она.

— Ну, продам я его, сделают из его шкуры барабан или там мокасины, ты этого добиваешься? — увещевал я жену.— И придется нам всю жизнь жить в одной комнате. А дети растут...

И она заплакала.

— Нельзя нам выкидывать подарок Петрова,— заключил я.— И слезы тут не помогут. Поможет выдержка.

Выдержали мы еще месяц.

А затем, чтобы хоть как-то выйти из положения, я написал директору Британского музея, уведомляя его, что являюсь владельцем собаки такой-то породы и таких-то размеров, а также что во имя науки и культурного сотрудничества между двумя нашими странами я готов подарить его музею. Совершенно безвозмездно, при одном только условии: чтобы под восковой фигурой стояла надпись: «Подарено Петровым».

Я надеялся, что Петрову польстит факт пребывания его подарочной собаки в залах Британского музея.

Вскоре пришел и ответ.

«Дорогой сэр,— гласило письмо.— Имеем честь уведомить Вас в нашей бесконечной признательности за Ваше щедрое предложение. Должны в то же время сообщить Вам, что у музея не имеется ни малейшей возможности принять столь знаменитое животное. Надо сказать — и знайте, что это святая истина,— собак у нас столько, что одной больше или меньше — положения не меняет. Примите нашу искреннюю благодарность и уверения в наших лучших к Вам чувствах».

Никакой радости, кроме обращения «сэр», это письмо мне не принесло.

Тем временем мне пришлось уплатить властям налог «собака-конь», сумма которого вдвое превышала нормальный, иммунизировать (в обязательном порядке) Мокасина против двух десятков болезней, что обошлось мне в зарплату за полгода. Да еще я разругался с Академией наук, которая не пожелала исследовать психофизические особенности головного мозга собаки путем термической обработки.

Тогда я решил убить Мокасина.

Ночами напролет мы с женой строили планы: где, как и чем совершить злодеяние. Дети даже стали называть нас «леди Макбет».

И вот все было готово: над головой Мокасина я занес тесло, кровь бешено стучала у меня в висках. Раздался звонок в дверь. Принесли телеграмму.

Телеграмма была из Лондона. Петров слал привет и интересовался собакой. Сообщал также, что купил ей весьма оригинальный ошейник.

Тесло выпало у меня из рук.

Мы продолжали жить по-старому, вот только мне пришлось еще оплатить телеграммы до Лозанны и Милана, чтобы ответить на вопросы Петрова о собаке.

А с ней все было в порядке. Ела она с аппетитом, не теряла игривости и после обеда по два часа отдыхала.

Но вот пожелтели листья, пришла осень, а затем и первые заморозки заставили осенние цветы в саду увянуть, потянулись по серому небу клочковатые облака, а там и зима наступила.

Спать на балконе стало теперь весьма неудобно, шел снег, и по утрам приходилось откапывать меня лопатами.

А Петров был все еще за границей.

Ударили и небывалые морозы, деревья и камни раскалывались от них со страшным треском, отменили занятия в школе, в атмосфере бесновались антициклоны, и стало ясно — речь идет о жизни и смерти.

А Петров все еще был за границей.

Тогда я дал в газету объявление, что меняю собаку на трехкомнатную квартиру.

Жена посмотрела на меня с состраданием, бодро сказала, что, разумеется, желающие тут же отзовутся, а потом собрала детей и заперлась вместе с ними на кухне.

Они проплакали всю ночь.

А утром в доме появилась энергичная молодая женщина и пожелала видеть собаку. Пришла она по объявлению в газете.

Я показал ей Мокасина.

Она сказала, что окрас у него идеальный, и потребовала родословное дерево.

Я сказал, что родословное дерево у него швейцарское и в данный момент находится в Цюрихе, на заверке.

Тогда она взяла Мокасина и без родословного дерева. Мы переехали в трехкомнатную квартиру, к которой, как оказалось, полагалась и мансарда — пятьдесят квадратных метров плюс ванная комната.

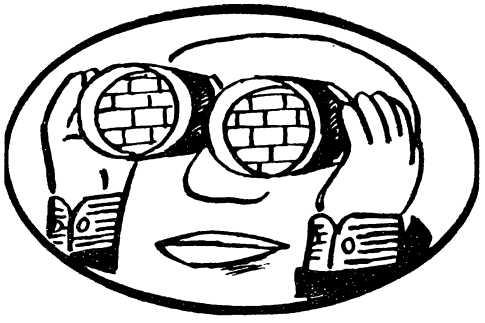
Пожили мы немного на новом месте и вдруг почувствовали, как в нас вливается альянация.

Надо написать Петрову, который все еще за границей, чтобы привез какую-нибудь собаку. В наш автоматизированный век человеку необходимо проявлять заботу о своих «братьях меньших».

Перевод с болгарского РОСЕНА ЯНКОВА

Рисунок Отто Райзингера.

АФОРИЗМЫ



ВЛАДА БУЛАТОВИЧ

Приятно иметь единомышленников, даже если нет мыслей.

Шесть с половиной миллионов считают себя грамотными.
Семь миллионов обязаны доказать свою грамотность, а все остальные — академики.

Честные люди проверяют цену своих сомнений на собственной шкуре.

Не по душе пейзаж: ухоженные крестьяне и неухоженные нивы.

Дед в поле, внуки в колледже. Отец обеспечивает связь.

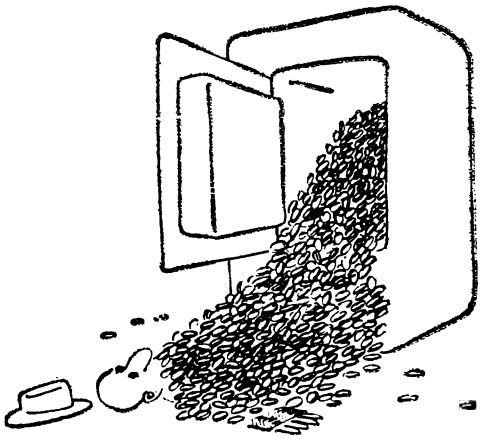


Рисунок Костаса Митропулоса.

Скажите на милость: почему можно контролировать рождаемость и нельзя контролировать накопительство? Какая страсть сильнее?

Равнодушие — одна из форм борьбы народа против глупости.

В лесу — дача,
возле дачи — «мерседес»,
в «мерседесе» — человек,
у человека — сердце,
в сердце — любовь
к рабочему классу.

Наши миллионеры сидят здесь, а деньги держат там.

Пролетарии едут туда, а деньги держат здесь.

Перевод с сербскохорватского ВАЛЕНТИНЫ ПОЛЯНОВОЙ

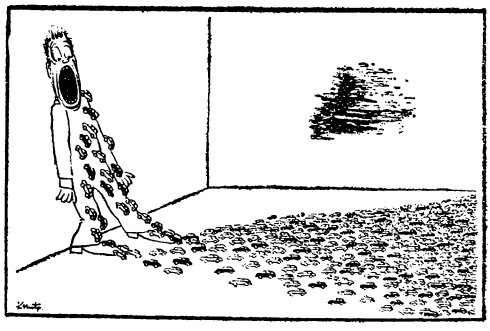


Рисунок Базила Ердогана.

БРАНА ЦРНЧЕВИЧ

Не стоит искать новых путей, их надо прокладывать.

Писатель, который желает властвовать, еще хуже власть имущего, который хочет писать.

Чувствую: многие пожертвовали бы моей жизнью ради собственных убеждений.

Я каждый день наблюдаю, как маленькие слабости сводят на нет большие успехи.

Конь — лучший друг человека. Нехорошо, когда кто-то ездит верхом на своем друге.

Никаких заслуг у меня нет, все мне уже оплачено.

Почему только церковь? Надо бы и дьявола отделить от государства.

Замечено, что больше всего лгут те, кому лучше всех известна истина.

Нелегко приходится начальнику, у которого нет ни одного школьного друга.

Только тот, кого сбрасывали с высокого поста на другой — подобный, знает, что за чу́дная штука — жизнь!

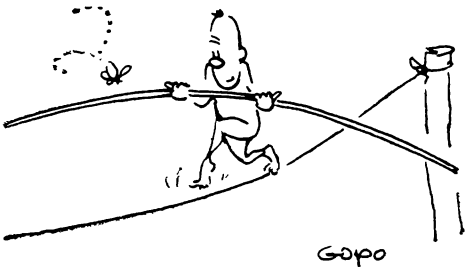
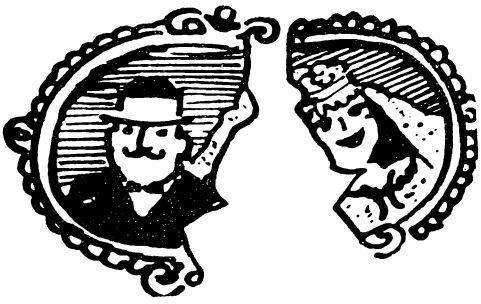


Рисунок Томова.

ЭДУАРД ЖУРИСТ

Малый специализированный словарь

Вечность — время между двумя разводами.



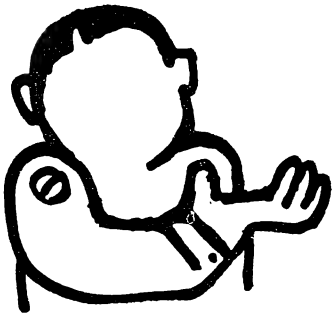
Герой — муж героини.

Делегация — самая желанная форма туризма.

Демагог — человек, который воюет за ваше добро, присваивая его себе.

Желание — право, которым может воспользоваться любой желающий.

Идеал — то, что невозможно пощупать руками.

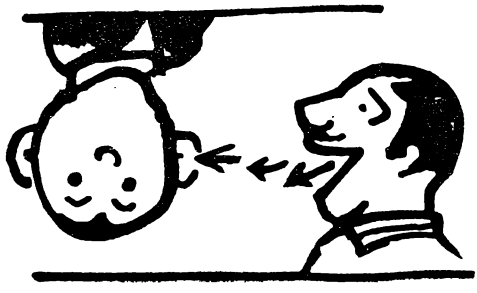


Идеалист — человек, который считает, что идеал можно пощупать руками.

Логика — совокупность принципов, неверность которым не карается законом.

Магазин — музей с распродажей.

Подпись — самая дорогая часть картины.



Святой — человек, живущий верой в обещания.

Шампанское — много шума из-за ничего.

Эгоист — человек, жертвующий собой во имя своей пользы.

Перевод с румынского
ВАЛЕНТИНЫ ПОЛЯНОВОЙ

ЯСЕН АНТОВ

Изящный Париж

Выйдя из гранд-отеля «Палас», я первым делом потерялся. Ничего, до встречи с шефом остается целых два часа, а за два часа мне случалось проделывать чудеса. Спокойным шагом я направился по Гран-бульвару, а мир вокруг блистал всеми цветами разрушения. Мир, подумалось мне, нуждается в коренной перестройке, но это не мое дело. Де муше не ме пик па.

Не кажется ли вам, что в беззаботном отношении Парижа к жизни есть что-то угнетающее?

Се ля ви, к сожалению.

Чтобы не прерывать плавного хода повествования, придется французские выражения дать в конце в сносках. Не все же знают французский.

Итак, у меня было два часа, в течение которых я мог отдаться воле океана, зовущегося столицей мира. Этого очага импрессионизма, неугасших амбиций колониального господства и венерических страданий. Погрузиться в атмосферу Триумфальной арки, Вандомской колонны и вечной Сены, помнящих голоса Сары Бернар, Мистингет и Пиаф.

Мон дье, как ужасно пахнет Сена! Парижский муниципалитет бездельничает. Мэру нужно бы серьезно задуматься.

Перед глазами внезапно — говорю «внезапно», ибо поток мыслей уводил меня от людского потока,— предстало нечто...

Подобного мне еще не приходилось видеть.

Какая женщина!

Естественно, я отправился следом. У нее была походка лани. Вспомнилась песенка Ива (я имею в виду Монтана): «Юн демуазель сюр юн балансуар...» — милая лань покачивалась передо мной действительно как на качелях. О боже!

Я воскликнул «о боже!», а не «мон дье!», как прежде, чтобы читатель не рылся в сносках, а сразу же все понимал. Я был влюблен.

Рядом с ланью шагало нечто коровообразное. Вол с пастбищ на берегах Луары. На пальце у него сверкал перстень не меньше чем за десять тысяч новых франков.

Господи, кто мне объяснит, почему в аду свиньи лакомятся райскими яблоками?

Они направились к одному из магазинов. Я, разумеется, тоже. У входа, уступая им дорогу, я поклонился и произнес: «Мадам... месье...» В том, как я умею поклониться, есть действительно нечто изысканное. Вы не замечали?

Он шумно задышал, как рабочий вол, она же одарила меня улыбкой. Наклонила головку к левому плечу и улыбнулась.

Бледная улыбка озарила мое лицо. Как я безнадежно влюблен! Вол увел ее вперед.

И вдруг меня ослепило какое-то пламя. Перед глазами заблистали молнии, завертелся нескончаемый хоровод ярких огней, людей, камер... Толкотня, шум, разговоры...

Лань исчезла. Я остался среди хаоса в одиночестве.

Невысокая женщина с раскосыми глазами поднесла мне букет. Розы, зимние парижские розы. Маленький человек — тоже раскосый — подхватил меня под руку. Семь или восемь репортеров совали мне под нос черные кругляши микрофонов. Лань исчезла..

— Господа,— сказал я. Нужно было объяснить, что меня с кем-то спутали.— Я вошел...

— Ваше имя?! — крикнул один из репортеров.

— Не ори,— ответил я.— Здесь какая-то ошибка.

— Исключено, сударь,— поклонилась мне невысокая раскосая женщина. — Наша электроника никогда не ошибается.

— Ваше имя?! — продолжал надрываться репортер.

— Ваше имя?! — кричали они уже все вместе.

Я назвал свое имя. Добавил еще, что родом я из деревни Горна-Диканя близ Радомира. Там, мол, родился, но покинул родной край ребенком. Учился в Софии. Женат, двое детей.

Репортеры умирали от восторга. Все записывали на магнитофоны. Фотоаппараты щелкали не переставая. Телевизионные камеры не выпускали меня из виду ни на секунду. Повернусь к японцу — сразу крупный план. Повернусь к японке — тоже, но в другом ракурсе.

Французские телевизионщики работают что надо!

Да, чтобы не забыть: низенькие люди действительно были японцами.

— Господа,— начал я,— должен сообщить вам...

Я заметил, что вол нехорошо улыбается — ему явно хотелось посмеяться над моим фраицузским произношением. Я знал, что это от зависти — все же интервьюируют меня, а не его, несмотря на роскошный перстень.

— Господа,— повторял я.

В этот момент заговорил японец. Он заявил, что исключительный интерес к их электронике стал причиной организации данной выставки в Париже. И что всего за три дня здесь побывало девять тысяч девятьсот девяносто девять посетителей. Исключительный рекорд для выставки, побывавшей во многих странах мира! И вот перед нами господин...

Я вновь назвал свое имя, несколько затруднившее японцев. Ничего, представители некоторых других народов тоже порой не сразу могут его запомнить.

— ...он стал нашим десятитысячным посетителем!

Вол позеленел. Моя учтивость у входа его просто уничтожила. Не уступи я ему дорогу, сейчас он стоял бы перед журналистами.

— Мерси, мадам, за великолепный букет,— поклонился я.— Только человек с ка-

менным сердцем не испытал бы волнения, принимая его из ваших рук.

Японка деликатно мне улыбнулась. В ее глазах промелькнула нежность.

— Благодарю вас, сударь,— обратился я к японцу.— Ваши слова несказанно меня обрадовали.

Всем своим видом японец показывал, что я ему симпатичен. Он поклонился сдержанно, но дружески.

Затем подали сакэ и шампанское. Я отдал должное обоим национальным напиткам, но в меру. Это вам не свадьба в Горна-Дикане. Телевизионщики снимали меня непрерывно.

Я заявил, что японская электроника занимает достойное место среди интересов болгарской технической интеллигенции. Не случайно поэтому, приехав в Париж, я заговорил с месье Алехандро Перейра Гонсалесом о японской электронике...

Вновь подали шампанское. Японцы на своем языке подняли тост за мое здоровье. Вол стоял в стороне с пустым бокалом и ненавидел меня.

Все было чудесно.

Затем мне пришлось вписать несколько слов в книгу для почетных гостей и сфотографироваться с директором и его супругой, а также принять в подарок миниатюрный карманный компьютер последней модели.

Вскоре шеф подал знак, и у входа в магазин застыл лимузин. До этого я вскользь упомянул, что опасаюсь опоздать на деловую встречу, и он предложил мне воспользоваться его автомобилем.

Уходя, я поклонился лани.

«Как все было прекрасно!» — пронеслось в голове, когда мы бесшумно пересекали пляс Конкорд, направляясь в сторону сверкавшего вдали Трокадеро. Не чувствовалось ни толчков, ни качки — автомобиль был высшего класса. Как хорошо, что я попал на эту выставку. Кажется, держался я на высоте, обеспечив тем самым неплохую рекламу Болгарии в глазах японского народа.

На встречу я опоздал. Попросив шофера остановиться, не доезжая одного квартала до нужного мне дома, я выскочил из машины и дальше передвигался бегом. Добравшись до дверей, я долго не мог отдышаться. От быстрого бега даже шляпа сбилась на затылок. «Экскюзе муа, мадам»,— с надрывом произнес я.

Забыл вам сказать, что шефом местной фирмы была дама.

Она царственно стояла в холле, и на ее губах играла сдержанная улыбка.

— Прошу прощения, мадам,— повторил я,— но пришлось обойти половину Парижа в поисках цветов, достойных вас!

И протянул ей огромный букет роз. Тот, что мне вручила японка.

— О-о-о-о! — разнеслось вокруг. Сотрудники мадам директорши так и вытаращились.

— О! — коротко воскликнула мадам.— Всего минуту назад мы злословили по поводу балканской точности. А в это время вы... Да, в Париже совсем не просто отыскать точно такие цветы.

Мне показалось, будто она с несколько особой интонацией произнесла «точно такие». Ее сотрудники безмолвствовали.

За ужином я не раз ловил на себе взгляд прекрасных глаз директорши. Ее лицо светилось печальной улыбкой. В ней мне виделось желание познакомиться ближе, заглянуть в глубину чужой души...

Мне было приятно, отрицать не стоит. Фигура у меня представительная — это факт. Манеры тоже производят впечатление.

Когда мы прощались, она задержала мою руку в своей. Наклонилась ко мне и прошептала... Так тихо, что я едва расслышал:

— Выглядели вы великолепно... по телевизору... с японцами и розами... всем нам было интересно...

В отеле мне сообщили:

— Звонили из японского торгпредства и спрашивали какого-то месье Гонсалеса. Якобы вашего друга и соседа по номеру. Мы им ответили, месье, что, к сожалению, человек с таким именем у нас никогда не останавливался. Явно, произошло недоразумение.

Я смотрел в окно моей комнаты на силуэт Триумфальной арки. Если уж не везет, так не везет...

Действительно, что-то вроде не то получается с рекламой Болгарии среди народов Японии и Франции.

Но зато на память мне остался карманный электронный компьютер последней модели.

И та краткая любовь — чуть было не забыл! — неудержимо вспыхнувшая в моем сердце...

Так любить можно только в Париже.

Перевод с болгарского
СЕРГЕЯ ДРАГОМИРЕЦКОГО

БРАНКО ЧОПИЧ

Фараон

Возвращаясь с похорон боевого товарища, Станко заметил справа от кладбища ровный, ухоженный и коротко подстриженный газон с каменной колоннадой, саркофагами и мраморными лестницами.

— А это еще что такое? — удивился он.— Спортивная площадка, что ли, или место для отдыха трудящихся?

— Для вечного отдыха, браток,— объяснил ему один знакомый, бывший военный интендант. Разыграть кого-нибудь для него было первым удовольствием.

— Как для вечного? Что-то я тебя не пойму.

— Чего не поймешь-то! Здесь будут хоронить наших избранных, видных товарищей. Удаленность от центра колоннады будет указывать на их ранг. Чем ближе к центру, тем, значит, более крупной шишкой был такой-то при жизни.

— Что ж это получается, значит, и на том свете они свои посты занимают? — не мог взять в толк Станко.— Значит, никакого перемещения?

— Никакого,— с легкостью согласился бывший интендант.— Кем был здесь, тем и там будешь. Система железная. Да ты разве не позаботился, чтоб тебя в какой-никакой список включили?

— Откуда мне знать, что и такое возможно?! — возмутился Станко.— Сегодня впервые слышу обо всем этом.

— Ну, дорогой, ты и о списках для пользования специальными магазинами не знал, пока я тебе не шепнул,— упрекнул его интендант.

— Ты прав, не знал. Еле-еле удалось потом вписаться дополнительно.

— Вот видишь, а как только тебя вписали, все стало гораздо легче. Ты оказался среди посвященных в тайну, среди избранных, так сказать. Знаешь ведь, и поп, когда служит обедню, поет: «Посвященные, посвященные, выходите вперед, а верные, верные...»

— Так-то оно так, да только...

— Ну, раз так, то и ладно. Тебя ведь не обошли: и специальными дачами ты пользовался, и специальными магазинами, и специальными охотничьими парками. Автомобиль импортной марки, пенсия тоже специальная.

— Откуда же знать человеку, что и после пенсии можно рассчитывать на кое-какие привилегии!

— Эх, дорогой! Надо быть начеку,— поучающе заявил интендант.— Ну, можешь ли ты позволить, чтобы тебя похоронили с какой-то там безымянной швалью, в чужой, перекопанной могиле? Лежать ведь вечность, а ты — будто угол снимаешь.

— Что ты говоришь, прекрати, пожалуйста.

— Углы у вечности пусть снимает тот, кто при жизни привык где попало ютиться, а ты... тебе нельзя ронять авторитет. По рангу не положено.

— Разумеется, товарищ! Да и здесь я не позволю, чтобы меня на отшибе положили,— преисполнился вдруг решимости Станко, гневно посматривая на непрестижные уголки вечного жилья для привилегированных.

Уже с завтрашнего дня Станко принялся осторожно расспрашивать, где составляются списки на специальное кладбище. Он прощупывал почву, искал связей и раздосадованно ворчал:

— Вот ведь черти полосатые, за спиной у меня все сладили и обтяпали, а я, балбес простодушный, в картишки с пенсионерами перекидываюсь, мировые проблемы решаю, нет чтобы делом заняться! Так мне и надо!

А люди, как и следовало ожидать, взглянули на этот вопрос со смешной стороны и, решив вволю повеселиться, принялись утешать Станко:

— Бог с тобой, старче, не все ли тебе равно, где лежать, когда — сто лет тебе жизни! — помереть придет время?

— Ну и ну! — гневается Станко.— Как-никак и я что-то собой представлял, с чего это меня должны в кусты забрасывать, на краю кладбища хоронить? Да меня по имени в одном докладе упоминали. Благодаря мне...

— Признаем мы, товарищ, и заслуги твои, и все прочее, но не понимаем, зачем тебе теперь?..

— Вот так признали! А мое место? На всех торжествах, собраниях, юбилеях я всегда сидел во втором ряду, за самыми ответственными товарищами, а вы вон что... Решили отправить меня на галерку, к фронтовикам и молодежи, так получается! Не выйдет! Я знаю, что мне положено!

Мотаясь как-то вокруг старой городской церкви, Станко обнаружил за алтарем потемневшие от времени надгробные плиты — архиерей Мардарий и блаженный отец Акакий, мученики за единственно спасительную веру, так гласила надпись. Станко рассердился еще больше.

— Вот, все оказывают уважение, выделяют из массы своих заслуженных руководителей, и только наши... скрывают список, сектанты такие. Твое место, товарищ Станко, не у алтаря. Ты — в безымянной толпе, обыкновенный избиратель.

— Ох, Станко, какой же ты! Когда придет время, нация сумеет каждому воздать по заслугам,— принялись вразумлять его серьезные люди, но наш герой знай бросает гневные взгляды да шипит:

— Дайте список, куда вы его спрятали? Я хочу видеть список. Значит, кое-кто под колоннадой, а я... Двенадцать раз, уважаемый, я стоял на торжествах в трех метрах от микрофона.

Утомленный напрасными хлопотами, угнетенный всем случившимся, Станко в конце концов принял демонстративное решение: распорядился, чтобы после смерти его останки перевезли в Белград и сожгли в недавно открывшемся крематории.

— Раз не пускают меня в первые ряды, тогда не хочу быть нигде, так и знайте. Чтобы Станко, товарищ с трибуны, затерялся на каком-то безымянном участке в муравейнике рядовых избирателей? Никогда!

Желание было выполнено. Ветер подхватил его серый бессмертный прах и понес на юг, к вечным пирамидам.

Перевод с сербскохорватского
РОСЕНА ЯНКОВА

◆

К нашим иллюстрациям

Кришна Хеббар

«Как художник я черпаю вдохновение в жизни, окружающей меня, и в обществе, в котором живу, но моя кисть и мое перо подвластны лишь моему собственному видению и воображению. Я считаю, что подлинным творением искусства может быть только то, которое несет на себе отпечаток взгляда художника и игры его воображения. Я стремлюсь выразить в своих рисунках ритм движения, и поэтому их называют «поющей линией». Найти точное сочетание цвета, формы и линии, чтобы выразить мысль и чувство, владеющие мной,— вот моя основная задача».

Каттинджери Кришна Хеббар, один из самых известных современных художников Индии, написал эти слова специально для читателей «Иностранной литературы», когда узнал, что журнал собирается вновь обратиться к его творчеству. Его знаменитые рисунки, которые четверть века назад мастер индийской прозы и публицистики Мулк Радж Ананд назвал «поющей линией», увидев в них наиболее полное выражение таланта художника, лирика и философа, публиковались на страницах журнала в 1966 году (№ 7). Сегодня эти рисунки К. К. Хеббара — классика современной индийской графики.

Кришна Хеббар убежден, что художником стать нельзя. Им нужно родиться. Хитро взглянув поверх своих больших квадратных очков в черной оправе, он добавляет, что каждый человек рождается художником, художником в своем роде. Хеббар часто вспоминает детство. Яркие красочные картины из жизни небольшой деревни на юге Индии стали первым источником его художественного вдохновения. Семидесятишестилетний мастер считает сегодня, что то первое и теперь уже далекое восприятие мира было единственно верным, органичным. Он помнит первые игрушки, вылепленные им из глины и большую «репродукцию» с картины известного художника Рави Вармы «Сарасвати», которую он «выполнил» на свежевыбеленной стене своей комнаты, пользуясь древесным углем и самодельными красками, замешенными на обычном клее. Трудно сказать, что послужило тому причиной — необычная техника исполнения или сам объект изображения (богиня Сарасвати — покровительница искусств) сыграл определенную роль,— но картина вызвала неподдельное восхищение соседей и родственников, вся деревня признала в Кришне одаренного живописца. Хеббар и сам о себе так думал, решив после школы поступить на отделение рисунка и живописи политехнического института в Майсуре.

Стать художником оказалось значительно труднее, чем им родиться. С утра до вечера в институте нужно было рисовать стул. Старинный, резной, стоящий в центре класса на возвышении. Стул никак не давался. «Свою борьбу с ним я помню до сих пор,— рассказывает Хеббар.— Хотя я неплохо рисовал и чувствовал перспективу, такая учеба мне быстро наскучила. В соседнем классе студенты упорно бились над натюрмортами. Их главной целью было повторить природу в мельчайших деталях. Обстановка бездумного копирования стала невыносимой, и я сбежал домой. Так закончилась моя первая попытка научиться искусству,— смеется художник.— Но внутренняя потребность самовыражения осталась. Именно она привела меня в Бомбей. Я понял, что единственный способ реализовать себя — это серьезно заняться живописью».

Вот уже пятьдесят пять лет Кришна Хеббар живет в Бомбее. Первые годы в огромном незнакомом городе прошли между работой в маленьком фотоателье (нужно было зарабатывать на жизнь) и вечерними уроками в частной студии живописи, где Хеббар покорно рисовал обязательные гипсовые греко-римские классические головы, унылые натюрморты и делал зарисовки с натуры. «Так я перемалывался в академической мельнице»,— вспоминает он. В 1937 году Хеббар поступает сразу на выпускной курс знаменитой Бомбейской школы искусств, бастиона академических канонов живописи и скульптуры. Новым директором школы только что был назначен Чарльз Джеррард, профессор Королевского колледжа искусств в Лондоне. Горячий поклонник импрессионизма, Джеррард сразу же призвал своих учеников порвать с академической рутиной. Увидев работы Кришны, профессор сказал: «Высокая техника—это еще не все, ищите собственный способ выразить ощущение. Запечатлеть действительность может и фотокамера. Нужно видеть мир изнутри, а не

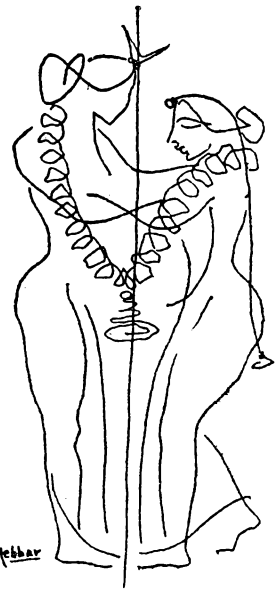
передавать его внешние приметы». Хеббар запомнил совет учителя.

Вернувшись однажды из поездки в пещеры Карли, где находятся древние буддийские храмы, величественные размеры которых не могут не поразить воображение, Хеббар по памяти написал маслом фронтон одного из них, использовав яркие контрастирующие цвета, чтобы передать необычное впечатление. Этюд был отмечен золотой медалью Калькуттской академии изящных искусств. Кришна Хеббар постепенно обретал уверенность.

Присуждение высокой награды совпало по времени с «открытием» художником индийского искусства. Слова крупнейшего знатока культуры Индии, профессора Ананда Кумарасвами о том, что «воспоминание или, вернее, обобщенный образ, основанный на прошлом опыте, составляет суть индийского искусства», поразили Хеббара. Он экспериментирует, много рисует по памяти, пробует акварель, тушь, темперу. На какое-то время его покоряет декоративность и яркие краски средневековой джайнистской миниатюры, двухмерная композиция которой помогла художнику по его собственному признанию, «освободиться от груза академического образования». Через год всего четырьмя цветами он пишет яркую, веселую деревенскую ярмарку, воссоздав по памяти впечатления детства и используя технику старинной индийской фрески. Картина имела большой успех.

Хеббар, как и многие в Индии накануне второй мировой войны, восхищался полотнами Амриты Шер-Гил, которая разрабатывала темы традиционного индийского искусства, используя при этом приемы западноевропейской живописи, за что ее нещадно ругали пуристы. В картинах Амриты Шер-Гил он видел влияние Гогена и Модильяни, но видел в них и воздействие индийских мотивов, и это импонировало ему. После короткого путешествия по югу страны (неожиданное «открытие Индии») Хеббар пишет серию полотен, вобравших впечатления художника от фантастических красок, звуков, танцев и фейерверков южноиндийского праздника «Пурам». «Я пытался представить, что чувствовал Гоген, оказавшись на Таити»,— вспоминал он много лет спустя в своей книге «Поиск художника». Серия этих полотен принесла Хеббару не только престижную золотую медаль Бомбейского общества искусств, но и признание индийского правительства, направившего художника на учебу в Европу.

Проходя стажировку в академии Жюлиана в Париже, Хеббар внимательно присматривался к всевозможным «измам», бурно соперничавшим между собой в пятидесятые годы, целыми днями пропадал в музеях и на выставках. Его очень привлекали рисунки Пикассо, декоративность линий Матисса, выразительные цветовые композиции Брака. Но хотя его первые персональные выставки в Париже, Лондоне и Женеве и были встречены благожелательно, в Европе Хеббар не нашел ответов на свои вопросы. Скорее наоборот. По его собственному признанию, в Индию он вернулся «подавленным и растерянным». Около года художник провел в бездеятельности, уехав с женой и тремя детьми на удаленный горный курорт. Затем снова начал экспериментировать, с тем чтобы больше уже никогда не останавливаться в своем поиске «точного сочетания цвета, формы и линии», стремясь постичь опыт Востока и Запада, выразить вечные общечеловеческие проблемы в сегодняшних формах экспрессии. В своих картинах «Ода Западу» и «Ода Востоку» Хеббар попытался показать неразрывную связь двух миров, их взаимозависимость, споря с теми, кто утверждает: «вместе им не сойтись». Вряд ли Редьярд Киплинг мог предположить, что именно в Бомбее, где преподавал его отец и где он сам родился, появится Группа прогрессивных художников — Хеббар, Хусейн, Ара, Бакре,— которые в своем творчестве пойдут по пути синтеза культур, и это принесет им успех и признание как на Западе, так и на Востоке.



«Достоинство современного произведения искусства определяется его эстетическим уровнем и доступностью для восприятия, а не рабской приверженностью конкретному стилю. Я стараюсь выбрать то, что мне кажется важным в народном искусстве моей страны. В то же время мне хочется использовать метафизическое видение, а также технические приемы, выработанные в нашем столетии на Западе», — пишет Хеббар в своей книге. Увлекшись индийской музыкой и танцами, он два года занимался изучением классической танцевальной школы Катхакали. Эти занятия, считает он, и сделали линии его рисунков «поющими». Слушая игру Иегуди Менухина, Хеббар пытается «увидеть музыку», выразив звуки в красках.

С годами все отчетливее ощущаются в его работах философские мотивы. В своей знаменитой серии «Космос» художник не только осмысливает подвиг человека («Ракета», «В космос!», «Мост к Луне»), но и пытается проникнуть в тайну мироздания («Рождение Луны», «Галактика», «Шарад-

пурнима»). Картины этой серии дали толчок недавнему циклу «Первоэлементы», где художник раскладывает мир на четыре изначальные субстанции. Картины «Огонь», «Вода», «Воздух» и «Земля» очень точно передают ощущение этих «элементов», различные комбинации которых, по представлениям многих древних народов, и создают окружающий нас мир.

Хеббар любит путешествовать, бывает в Европе, странах Юго-Восточной Азии. В Советском Союзе он был в 1953 году, когда группа художников независимой Индии впервые приехала на три месяца в СССР вместе с выставкой своих работ. Хеббар часто вспоминает поездку в Пенаты, свои встречи с Черкасовым, Ойстрахом, Коненковым, Герасимовым. Вспоминает, как на выставку пришел Илья Эренбург и как затем, уже у него дома, долго говорили о Пикассо (Хеббар запомнил висевший в гостиной портрет Эренбурга, написанный Пикассо). С Советским Союзом Хеббара связывает давняя дружба, осенью 1984 года он был удостоен премии имени Джавахарлала Неру. Его работы неоднократно выставлялись в советских городах, в том числе во время фестиваля Индии в СССР.

Если сорок лет назад о Хеббаре говорили как о «наследнике Амриты Шер-Гил», то сегодня уже говорят о «наследниках Хеббара», к числу которых следует отнести и дочь художника Рекху, работающую в собственной, не похожей на руку отца манере.

Картины Хеббара можно увидеть в Музее современного искусства в Париже, в собраниях Эрмитажа, Дрезденской картинной галереи, Национальной галереи современного искусства в Дели, Музея принца Уэльсского в Бомбее, многочисленных частных коллекциях в Индии, США, Австралии. Они написаны в разные периоды его творческого поиска, порой трудно поверить, что они принадлежат кисти одного художника. И все же что-то неуловимо «хеббаровское» присутствует в каждой из них. То, что сам он определяет как «смесь декоративности, идеализма и внутренней напряженности».

А. Т. ОРЛОВ
г. Бомбей

◆

Наши гости

Гизела Эльснер (ФРГ)

Имя Гизелы Эльснер, одной из самых значительных писательниц Федеративной Республики Германии, знакомо советскому читателю. В журнале «Иностранная литература» опубликованы ее повесть «Испытание на прочность» (№ 3, 1986) и статья Н. Литвинец «Гизела Эльснер. В обличье «злой дамы» (№ 7, 1987). В издательстве «Радуга» недавно вышел сборник избранных произведений Эльснер на русском языке. Надо отметить, что повесть «Хайлиг-Блют», напечатанная в сборнике, еще неизвестна западногерманскому читателю.

«Хайлиг-Блют» (буквально «Святая кровь») — название местечка в Баварском лесу, где происходит действие этой, безусловно талантливой, глубокой, антифашистской по сути своей повести.

Наш разговор начинается с того, что мы поздравляем Гизелу Эльснер с выходом книги.

— Я живу в Мюнхене. Этот город можно назвать провинциальной столицей. У нас довольно много писателей, но пробиться им трудно.

Гизела Эльснер рассказывает о своих друзьях — писателе, критике и переводчике Фридрихе Хитцере, много лет возглавлявшем литературно-критический журнал «Кюрбискерн» (недавно он закрылся), и о Гюнтере Хербургере — прозаике и поэте, авторе детских книг и сценариев.

— Оба они,— продолжает Гизела,— в тяжелом положении, особенно Хитцер. Его сейчас совершенно не печатают. Тем не менее он собирается писать роман. Я сейчас много занимаюсь его делами, пытаюсь ему помочь. Ведь это он связал меня с Советским Союзом, и я ему очень благодарна.

Что касается Хербургера, то у него нечто вроде мании преследования. Конечно, основания для этого есть. Я живу с ним в одном доме и вижу, как за нами следят. У нас в доме была консьержка, все знали, что она доносчица, ее даже прозвали Ильзой Кох. Но к сожалению, никто, кроме меня, ничего не предпринял, чтобы ее убрать.

Достаточно обратиться к повести «Испытание на прочность», упомянутой выше, чтобы понять ситуацию, о которой говорит Гизела.

— О каких книгах других писателей могли бы вы нам рассказать?

— Раньше я очень любила книги Гюнтера Грасса и Томаса Бернхарда, но последние их произведения меня не привлекают. Мне чужда экстравагантность стиля, которая свойственна этим писателям. Я не могу сейчас читать и Хандке, хотя его очень хвалят. Мне кажется, что у нас в литературе, особенно у молодых, чрезмерное увлечение психоанализом. Я их читать тоже не могу. А вот писатели-реалисты, Макс фон дер Грюн, Август Кюн и другие, на мой взгляд, популярностью не пользуются. Вообще у меня ощущение, что сейчас хвалят тех, кто сам себя умеет рекламировать. Я очень ценю Петера Хотьевица, но его както замалчивают. Он написал очень интересную книгу о группе Баадер — Майнхоф, она должна была появиться в издательстве «Бертельсман», но не появилась. Я бы рекомендовала перевести в Советском Союзе его роман «Властелины утренних сумерек». На мой взгляд, очень интересен Клаус Штиллер — у него есть сатирическая книга о Гитлере, написанная с истинным блеском. Но и он не пользуется признанием.

— Не может ли Гизела Эльснер написать для нашего журнала статью «Что читают в Федеративной Республике Германии»?

— Нет, к сожалению. Я ведь многого не знаю, картина будет однобокой. Мне вообще кажется, что уже двадцать лет пишут одно и то же. Лучше я пришлю две главы своей новой книги. Они у меня уже совсем готовы...

И тут, естественно, возникает вопрос: над чем работает писательница?

— Я пишу утопию. Это — рассказ от первого лица, его ведет журналист реакционного толка. В романе действуют судьи праведные и неправедные, различные чиновники, так называемые «народные комиссары»: по истреблению религии, по искоренению семьи, по уничтожению буржуазных достижений, по перераспределению имущества. Среди персонажей — папа римский. Мой утопический роман построен на абсурдных ситуациях, парадоксах. В конце концов папу римского убивают, журналиста казнят...

Гизела Эльснер очень благодарна журналу за внимание к ее творчеству. К сожалению, она не читает по-русски и повесть свою нашла лишь по портрету, но зато она теперь знает, как пишутся ее имя и фамилия кириллицей. Она рассказывает, что ее перевели в Египте и Японии. Нам известно, что поклонники ее творчества есть в одном из американских университетов, куда она посылает свои произведения, изданные на разных языках.

— Для меня очень важно, когда мне шлют журналы или книги, выпущенные в других странах. У меня много недоброжелателей, и если они особенно резко ополчаются на меня, я люблю выложить на стол эти издания и молча выйти из комнаты...

— А какое впечатление у нашей гостьи от Советского Союза?

— Здесь все необыкновенно интересно! У вас совершенно иной уклад жизни, другие обычаи. Я была в Ленинграде, посетила много мест, связанных с деятельностью Ленина, к которому с юности питаю огромное уважение. Меня так хорошо принимали, что иногда я думаю — не переехать ли в вашу страну... Мы сейчас внимательно следим за тем, что происходит в Советском Союзе. За последнее время очень вырос авторитет Горбачева. К сожалению, не все у нас настроены одинаково, обстановка сложная, и когда меня спрашивают, какие у меня проблемы, я отвечаю: проблемы большие, я коммунистка и живу в ФРГ.

Л. ХАРЛАП

◆

Среди книг

Издано в СССР

СУДЬБА И ВЫБОР ЦЕЦИЛИИ КИН

Ц. Кин. Выбор или судьба. Итальянская литература в преддверии XXI века. Москва, «Советский писатель», 1988.

У этой книги хорошее и, думаю, правильное начало. Едва открыв ее, читатель видит женщину, сидящую к нему в пол-оборота и кутающуюся в шерстяной оренбургский платок [1]. У женщины спокойное прекрасное лицо. В ее позе чувствуется достоинство и большая внутреняя свобода. Женщину зовут Цецилия Кин. Она давно работает в литературе. Цецилия Кин чаще всего пишет об Италии, но ее читают и те, кого Италия сама по себе вряд ли интересует. Читателей у Ц. Кин много. Тем из них, кто не знаком с ней лично, будет приятно убедиться, что прочитанные ими книги похожи на написавшую их женщину.

Слово «судьба» попало в заглавие последней книги Ц. Кин вовсе не потому, что в последнее время оно у всех на слуху. Цецилия Кин никогда ни к чему и ни к кому не приноравливалась. В ее жизнь вошла трагедия, но о том, что произошло лично с ней, она по-прежнему не любит рассказывать. Это не поза, а жизненная позиция: «Все, что выпало на долю мне, было болью и горем Родины, и такова была судьба. Я осталась жить, и единственное, что могло дать жизни какой-то смысл, была работа».

Судьба Цецилию Кин не сломила и уж тем более не согнула. Без особого сожаления расставшись с наивными иллюзиями молодости, она и теперь осталась такой же, какой была до ночи «на третье ноября проклятого 1937 года». «Мы думаем о политике,— пишет Ц. Кин,— и непременно думаем о морали, о личной этике». Аморальная политика для нее тождественна фашизму. Это уже не судьба, а выбор. Цецилия Кин пишет о современной итальянской писательнице, может быть, и не самой талантливой, но поразительно мужественной и целеустремленной: «Люче д'Эрамо сделала свой выбор на всю жизнь. Ее антифашизм абсолютен, и этим определяется все: работа, политическая жизнь, выбор друзей и собеседников, антиконформизм, в силу которого она не примкнула ни к одному литературному клану, не ищет благосклонности, не думает о конъюнктуре на книжном рынке... В основе ее личного морального кодекса — доброта и терпимость, никак не ненависть. Люче находит возможность диалога, искреннего, настоящего, глубокого, также с людьми, стоящими на других философских и идеологических позициях, например, со многими католическими деятелями культуры».

Это — почти авторитет. В предшествовавших «Выбору или судьбе» книгах атеистка Ц. Кин рассказала о писателях-католиках не только с большим пониманием, но и с искренней симпатией: «Я обязана Люче тем, что встретилась с Бартоломео Соруже, за что глубоко ей признательна, так как горжусь дружбой с Соруже». Несомненно, можно было бы упрекнуть автора книги «Выбор или судьба» в нечеткости и вместе с тем излишней категоричности отдельных оценок и формул, а также удивиться ее несколько старомодному максимализму. Но делать этого как-то не хочется. И не только потому, что Цецилия Кин часто говорит о своем максимализме. Подлинные идеалы не устаревают. Максимализм Цецилии Кин не только не перерастает в догматизм, но и оказывается формой его абсолютного нравственного отрицания. (Фашизм — а это с каждым днем становится все очевиднее — никак не сводим ни к гитлеровскому варианту национал-социализма, ни к той демагогической доктрине, которую разрабатывал бывший социалист Бенито Муссолини с помощью бывшего идеалиста и интеллектуала Джованни Джентиле.) Для русской интеллигенции нравственный ригоризм Цецилии Кин, не умеющей оправдывать плохую политику благими целями,— позиция само собой разумеющаяся и, насколько я понимаю, традиционная. Приятно прочитать: «Мы будем следовать традиции, хотя теперь с традицией считаются далеко не все историки».

Приведу еще одну цитату из лежащей передо мной книги. Она, как мне кажется, дает хорошее представление об авторе и, что, пожалуй, еще важнее, помогает понять то очень отрадное явление в нашей литературной жизни, которое некоторые критики уже обозначили как «феномен Цецилии Кин».

В 1983 году Ц. Кин впервые после долгого перерыва приехала в страну, о которой

[1] Фотография сделана итальянским писателем Л. Шашей. (*Прим. ред.*)

она писала многие годы и где у нее успели появиться свои друзья и недруги. Друзей, как и следовало ожидать, оказалось больше. «За все время моего пребывания в Италии,— рассказывает Ц. Кин в главе «Своими глазами»,— у меня было только два неприятных столкновения. Одно в Риме — по телефону. Сотрудник популярного еженедельника хотел получить у меня интервью исключительно для них, и по тону я почувствовала, что тут погоня за дешевой сенсацией, и резко отказалась. Второе столкновение было в Милане с известным журналистом Джорджо Бокка. Мы поспорили, и я сказала ему, что он по роду своей работы, вероятно, бывает вынужден менять свои позиции и суждения в зависимости от разных обстоятельств. Что же касается меня, я всегда и неизменно говорю правду, так как «лгать неэлегантно». Вышел некоторым образом скандал». За шутливой цитатой стоят серьезные жизненные принципы, обусловившие методы анализа сознательно отбираемого материала и сформировавшие ярко выраженный индивидуальный стиль.

Цецилия Кин пишет о самых разных предметах: о литературе, начав возвращать в нее намеренно забывавшиеся имена задолго до того, как за это дружно взялись наши тонкие и толстые журналы, об истории, общественной жизни, о газетах и газетчиках («В истории итальянской прессы — это мое старое убеждение — есть элементы криминального романа, она изобилует острыми сюжетами»), о священниках, политиках, ультракрасных и ультрачерных террористах, об астрологах и масонах («Джелли негодяй, в ложе много грязных дельцов, но из этого не следует, что все масоны преступники... Масонство оказалось удобной формой для организации, характер которой не вызывает сомнений. Для того чтобы обеспечить себе реальную власть в Италии, организация должна была закрепить за собой решающие позиции в экономике и в сфере идеологии»), о сицилийской мафии и неаполитанской каморре. Порой бывает трудно уследить, где, когда и каким образом один сюжет вытесняется другим. Ц. Кин оправдывается: «Мне никогда не удавалось раскладывать на отдельные полочки литературу, идеологию, политическую борьбу, жизненные факты». Однако созданию внутреннего единства это не помешало. У нее есть свои любимые герои, которые переходят из одной ее книги в следующую, и сквозная, всех их объединяющая тема. «Единственная проблема, которая меня волнует и интересует по-настоящему,— признается Ц. Кин,— это судьба итальянской интеллигенции».

«Выбор или судьба» непосредственно примыкает к предшествующим книгам: «Алхимия и реальность. Борьба идей в современной итальянской культуре» и «Итальянские мозаики. Статьи об итальянской литературе 70-х годов». Цецилия Кин знает, что у нее есть свой читатель и доверяет его памяти. В книге «Выбор или судьба» опять появляется Леонардо Шаша — это самый любимый герой Ц. Кин, но теперь ему отведена специальная глава — и в колоритном окружении разного рода газетчиков и издателей возникает крупная фигура Индро Монтанелли, «которого многие считают королем итальянского журнализма», но о котором, насколько мне известно, до Ц. Кин не писал ни один из наших итальянистов. Кроме того, в книге «Выбор или судьба» рассказывается история самой респектабельной итальянской газеты «Коррьере делла сера», подробно излагается драма финансового краха «Страуса»— издательства Джулио Эйнауди, сыгравшего огромную роль в развитии послевоенной культуры Италии, и в связи с выставкой в Венеции приводятся любопытные сведения о футуризме. Информации, как всегда, чрезвычайно много. Цецилия Кин знакомит своих читателей с тем, о чем они без нее вряд ли бы узнали. Тем не менее, в отличие от некоторых из ее почитателей, я не считаю, что главное в книгах Ц. Кин — обилие информации, хотя знаю, что именно она первой рассказала о многих замечательных книгах итальянских прозаиков, о которых в свое время избегали писать наши критики, но которые, надо надеяться, в конце концов появятся в русском переводе: не думаю, что так уж интересно читать о том, о чем не имеешь ни малейшего представления. Огромный успех книг Цецилии Кин у так называемого широкого читателя обусловлен не новизной материала, а необычностью способа его подачи. Поясню примером. Без цитат мне опять не обойтись, потому что в данном случае «как» не менее важно, чем «что».

В книге «Выбор или судьба» довольно много говорится об Итало Кальвино. Цецилия Кин писала о нем и раньше, причем именно о тех его произведениях, которые у нас, как правило, обходились молчанием. Статьи и рецензии Ц. Кин Кальвино нравились. Они переписывались. В 1983 году Цецилия Кин побывала у Итало Кальвино дома. Кальвино — писатель прогрессивный. Первый его роман—о партизанах Сопротивления — вышел в издательстве Джулио Эйнауди. После этого в течение тридцати шести лет все книги Кальвино печатались только с эмблемой страуса. Но когда над Джулио Эйнауди нависла угроза банкротства, Итало Кальвино сразу перешел в ныне процветающее издательство Гарцанти. И вот этого Цецилия Кин простить ему не смогла. «Как мог Кальвино в этот страшный для Эйнауди час перечеркнуть те тридцать шесть лет? Мотивировка: «Я живу на авторские гонорары». Верно, все писатели живут на авторские гонорары». Однако для Цецилии Кин это не довод. «Признаюсь: в каком-то смысле я жалею, что была в доме Кальвино. После того как сама там была, понимаю, что Кальвино и его жене никак не угрожала голодная смерть, если бы он на какое-то время забыл об авторских правах. Думаю, что в тот, вероятно, самый страшный момент его жизни Джулио больнее всего переживал измену людей, на которых имел право рассчитывать как на моральную опору. Перебираю газетные вырезки того времени. Под одной фотографией Кальвино подпись: «Перебежчик». Страшно, больно, но он дал основание так написать».

В сентябре 1985 года Итало Кальвино умер от кровоизлияния в мозг. Глава «То, что не может погибнуть» начинается словами: «Смерть подводит итоги, стирает «случайные черты», оставляет только то, что д о л ж н о остаться». Слов об измене Каль-

вино Цецилия Кин из этой главы не вычеркнула: «Мне больно писать об этом, но даже о мертвых, мне кажется, надо говорить только правду». «Люди есть люди, они могут менять свои взгляды, и в каждом отдельном случае надо попытаться понять, почему так произошло. Но существует слово «ренегат», а оно связано с понятиями: продажность, трусость, нравственный позор».

По-другому Ц. Кин рассказывает об Индро Монтанелли. Меняется тон или, вернее, интонации. Отношение к Индро Монтанелли у Цецилии Кин достаточно сложное. «Он пригласил меня на летучку в свою газету «Джорнале нуово», но я отказалась: газета правая. Однако Монтанелли лично меня интересовал, и я согласилась повидаться с ним в частном доме». Политическая позиция Монтанелли сомнений у Ц. Кин не вызывает: «Он антикоммунист... Против идеи коммунизма Индро Монтанелли борется как может и страшится победы этой идеи в лагере, к которому принадлежит, потому что наши ценности — не его ценности. Он воспитан на других и верит в другое. Он — индивидуалист, который «никогда не соглашается петь в хоре».

Казалось бы, с Монтанелли все ясно. Однако король итальянской журналистики заинтересовал Цецилию Кин отнюдь не как враг и даже не как идейный противник. Умение петь в хоре для нее еще не самая большая добродетель. Не прощая связанному с итальянскими коммунистами Итало Кальвино его измены Джулио Эйнауди, она говорит об антикоммунисте Монтанелли с пониманием, переходящим в симпатию, и объясняет почему: «Он пишет честно, это главное». И еще: «В политике он, без сомнения, консерватор, но и убежденный антифашист». Антифашизм Цецилии Кин не старомоден, а абсолютен.

Вероятно, в книге «Выбор или судьба», так же как и в других книгах Ц. Кин, можно отыскать противоречия и непоследовательность. Допускаю, что кто-то упрекнет Ц. Кин в дилетантизме, тем более что она не скрывает: «Я самоучка, не получившая никакого образования, привыкшая с детства читать только то, что мне интересно». Но я упрекать ее в этом не стану: я никогда не понимал, почему слово «дилетант»— бранное слово. Неужели писать о том, что ты любишь, менее почетно, чем заниматься тем, за что тебе платят деньги? А что до непоследовательности некоторых оценок автора книги «Выбор или судьба», то в них, пожалуй, еще больше, чем где-либо, проявились та непосредственность, искренность и человечность, которые всегда составляли главную и очень подкупающую особенность литературного и жизненного стиля Цецилии Кин. Именно стиль сделал ее самой читаемой из итальянистов. Человечность продолжает оставаться в дефиците. Самое интересное в книгах Цецилии Кин — это Цецилия Кин. Вот почему в рецензии оказалось так много цитат. Я писал ее и для тех, кому еще предстоит познакомиться с работами этой в своем роде действительно феноменальной женщины.

Р. ХЛОДОВСКИЙ

Издано за рубежом

ЧТО ЧИТАЕТ ФИНЛЯНДИЯ?

Мне кажется, советского читателя не запугать наступлением видеотехники, компьютерных игр, иллюстрированных журналов и его результатом — «новой неграмотностью», угрожающей человечеству. Кстати, это предсказание старше, чем видео- и электронно-вычислительная техника. Еще в 1930-е годы финский писатель Олави Пааволайнен объявил, что «картинка» уничтожит слово, ведь совершенствование полиграфической техники сделало распространение визуальной информации более широким, нежели раньше.

Но печатное слово в Финляндии стойко сопротивляется. Более того, статистика помогает установить постоянный рост книгоиздания и оборота публичных библиотек одновременно и невзирая на распространение видео и ЭВМ. Я думаю, боязнь утерять навык чтения сродни опасению разучиться ходить вообще из-за появления лифтов и трамваев, возникавшему у наших прадедов

Финны считают себя прилежными читателями с XVII века, когда церковь насильно приобщала свою паству к священному писанию. К счастью, это свойство не исчерпало себя и три века спустя: в 70-е годы нашего столетия пользование публичными библиотеками возросло в 2 раза и продолжает расти. Сейчас в библиотеках ежегодно производится 80 млн. выдач книг на дом, что достаточно много для пятимиллионной страны. Книгоиздание тоже находилось на подъеме: в 1985 году отечественной литературы было выпущено чуть ли не в два раза больше, чем в 1960-м, то же самое можно сказать и о переводной литературе.

Казалось бы, дела не так уж плохи, а слухи о засилии видео и о «неграмотности» преувеличены. Есть, правда, опасения, что большая часть потребляемой печатной продукции имеет отношение скорее к ассортименту табачных киосков, чем к изящной словесности, а серьезная литература остается в тени наднациональной масс-культуры, прежде всего импортируемой из Америки. Ряд покупателей, возможно, лишь украшает этими книгами свой интерьер, не пытаясь их прочитать. Немаловажно и то, что книгоиздание становится все более доходным делом; книга должна быстро пройти путь от издателя к покупателю и принести прибыль. Если в течение года книга не покидает полку магазина, ее беспощадно отправляют на ежегодную весеннюю распродажу, сбывая по цене за килограмм. Поэтому книг двухлетней давности в магазинах почти не найдешь, а их выбор, несмотря на увеличение издательских объемов, тем не менее сокращается.

Согласно результатам социологических исследований читательской аудитории группа поклонников «книжек-однодневок» пока малочисленна, хотя дальнейший ее рост не исключен. Другое дело — «читатель-книговладелец». В каждой конторе, на любом предприятии знают книготорговца, который появляется в обеденный перерыв; в одной руке у него торт, в другой — список, куда вносятся имена доверчивых жертв. Этот список сделает их обладателями собраний сочинений, энциклопедий, книг по искусству, матрикулов или альбомов с видами природы на сумму, равную месячной зарплате. Дальнейшая судьба тщеславных «потребителей»— год или два платить взносы за предоставленную в рассрочку роскошную, но головокружительно дорогую добычу. Членство в книжном клубе так же можно классифицировать, как полупринудительную форму покупки книг. Члены клуба ежемесячно получают по почте выбранный специально для каждого новый том, за который приходится платить, если через 10 дней не вернешь его назад.

Ну а что же англосаксонский, особенно американский «культурный империализм»? Если рассматривать лишь количество переводных книг, очевидно, что из них англоязычные составляют почти половину — это, конечно, очень много. Но по мнению исследователей, такая ситуация не нова: особенно в жанре легкой или развлекательной литературы англосаксонское влияние преобладало еще в первые десятилетия нашего века. В сфере высокой культуры положение англоязычной литературы гораздо скромнее. С точки зрения финна, никакая переводная книга, не считая Библии, не может соперничать с отечественными классиками и новыми бестселлерами: только финны способны писать о финнах и для финнов.

Поэтому я не ошибусь, если в ответе на вопрос, что читает Финляндия, назову два писательских имени. Одно из них — Алексис Киви. Более ста лет назад он рассказал о семи братьях, которые ушли от цивилизации в лесную глушь, чтобы жить по-своему, но потом «созрели» для возвращения и научились жить среди других людей (вечная проблема для финна). Наверное, не случайно сотни тысяч финнов, следуя примеру семерых братьев, каждое лето бегут в свои избушки, спрятанные в чащах или на берегах озер, где зачастую нет никаких удобств, а общество составляют лесные обитатели, среди которых комары — самые безобидные для человека.

Другой любимец финнов на все времена — осмелюсь так сказать — поныне здравствующий Вяйне Линна. За два десятка лет продано свыше 600 тысяч экземпляров его книги «Неизвестный солдат», что в наших условиях приближается к границе возможного. Эту книгу можно было бы назвать библией финского народа. Фантастическая популярность «Неизвестного солдата» объяснялась тем, что в книге впервые была показана многоликая реальность войны. Линна сломал обветшавшие стереотипы пропаганды, будто война — героическое сказание. Героев в его книге хватает, но они весьма прозаичны. Линна стер привычный глянец с изображения офицеров и их умения командовать подчиненными. Кажется, больше всего споров вызывал образ финского солдата, представшего своенравным «фрондером»: он хорошо делает свое дело, но никогда не принимает всерьез лозунги военной пропаганды и командиров слушается только в том случае, если считает их распоряжения разумными. Книга Линны в корне подорвала представление о привычных ценностях: это была вспышка финской «гласности» в середине 50-х годов, и, по-моему, резонанс, вызванный романами Линны, сравним с тем, какой в советской литературе имели книги Бакланова и Симонова о войне, а также книги Абрамова (он был знаком с творчеством Линны и высоко его оценивал) и, может быть, Распутина о деревне.

Трилогия Линны «Здесь под северной звездой» с полным основанием признана финской национальной эпопеей. Честолюбивой целью автора было написать историю финского крестьянина от 60-х годов прошлого века, когда болезни и голод унесли десятки тысяч жизней, до 30-х годов нынешнего, когда крестьянин, получивший в собственность землю, уже начал наслаждаться плодами растущего благосостояния. Острые дискуссии вызвала вторая часть романа, где гражданская война 1918 года в Финляндии показана без прикрас — жестокость, насилие, террор победителей. Отношение Линны к политике характеризуют его же слова: «Нет правды красной или белой, есть правда человеческая и поэтому — горькая» Вероятно, именно нежелание Линны начинать поиски правых и виноватых и было причиной необычайной популярности книги Вряд ли будет преувеличением сказать, что представления среднего и старшего поколений о недавнем прошлом страны в большой степени получены из книг Вяйне Линны. Его положение ведущего писателя и одновременно историка страны, даже в международном масштабе,— явление редкое.

Кроме книг Киви и Линны, вобравших, казалось бы, все проблемы старой аграрной Финляндии, финны все же читают и других авторов. Самый популярный из сегодняшних писателей — вот совпадение — тоже пишет о сельском мире 30—40-х годов,— это Калле Пяятало. В своих многочисленных, многостраничных романах подробно, часто на автобиографической основе, с сочувственным юмором он рассказывает о радостях и горестях жизни обыкновенного человека труда, не делая из главного персонажа ни героя, ни дурака.

Изучая своеобразный литературный вкус финнов, исследователи нашли некие константы любимых ими книг. Это природа, работа, деревня и юмор. Поколение, юность и зрелость которого отмечены бедностью и изнуряющим трудом, ищет оправдания тяготам своей жизни в тех книгах, где герои довольствуются малым: если не относиться к жизни чисто потребительски, упорный труд все же обеспечивает движение вперед. Популярность Пяятало на долгие годы обеспечена вниманием именно этого поколения.

Но молодежь не может интересоваться только проблемами отцов и дедов. У нее свои «проклятые вопросы», мало похожие на те, какие были десятилетия назад. Что в таком случае читают молодые? Есть ли

«городская» финская литература? Последний вопрос предполагает, конечно, утвердительный ответ, но сразу же призадумаешься: среди этих книг нет пока настоящего бестселлера. Обращает на себя внимание и то, что многие писатели-урбанисты — это писатели шведоязычные: Йорн Доннер, Кристер Чильман, Хенрик Тикканен. Из тех, кто пишет по-фински, по-настоящему известен прежде всего Ханну Салама, но и он изображает старую рабочую среду. Иногда говорят, что в Финляндии «городская» литература еще не родилась. Это, конечно, преувеличение, но популярность пишущих о городской молодежи и самих молодых авторов, таких, как Анья Кауранен, Ханну Ахо или Роза Ликсом, не сравнима с популярностью старых мастеров.

Наверное, этой близостью финской литературы к земле во многом объясняется и то обстоятельство, что западная переводная литература не заняла главенствующего положения в круге нашего чтения. Финны любят русских классиков, из которых Толстой, Достоевский, Чехов и Гоголь всегда были в первом ряду. Но Пушкина почти не знают. Хотя его переводы и нельзя считать плохими, они не передают по-настоящему совершенство пушкинского стиха. В Финляндии много поклонников и недавно опубликованных у вас романов. Например, «Белые одежды» Дудинцева выдержали несколько изданий, а «Дети Арбата» Рыбакова — козырь торговли. Наиболее сочувственно следит за советской перестройкой поколение, которое родилось в годы после второй мировой войны и опыт развития которого вобрал левый радикализм 60—70-х годов, явление, встряхнувшее весь западный мир. Радикализм сейчас сошел на нет, но интерес к русской и советской литературе, идущий от исторических контактов прошлого века, исключительно силен.

Как и их двоюродные братья эстонцы, финны не слишком увлечены поэзией, по крайней мере той, что есть в продаже. Чуть ли не каждая поэтическая книга печатается с убытком, и тираж в тысячу экземпляров можно считать хорошим. Но у поэзии есть прочный круг поклонников, и, судя по радиопрограмме «Я хотел бы услышать это стихотворение», старая рифмованная поэзия более любима, чем сегодняшние эксперименты в области формы.

Говоря с иностранцами о нашей литературе, всегда попадаешь в неловкое положение: редко кто слышал имена финских писателей, еще реже читал их книги. Как уже говорилось, финны — весьма своеобразный народ, они интересуются прежде всего самими собой. И нет ничего удивительного в том, что книга, имевшая успех в Финляндии, никогда не становилась событием международного значения, а восприятие финских реалий нередко оказывалось делом почти непосильным. О погрешностях в переводах книг Вяйне Линны написано целое язвительное исследование. Когда о себе и своих проблемах пишет вчера еще аграрный народ, у которого есть страсть — избегать общества других людей, трудно ожидать, чтобы нашлись заинтересованные читатели в урбанизированном мире Европы или Америки.

Правда, и у нас есть несколько писателей с мировым именем, таким как Мика Валтари, чьи исторические романы были и остаются любимыми и на родине. Но получается так: если писатель «типично финский», значит, за границей ему успеха не видать. Валтари — совершенно не типичен, это относится и к Вейо Мери, Пааво Хаавикко или Мярте Тикканен, книги которых хорошо расходятся за рубежом. Мартти Ларни, популярный в СССР, у нас почти неизвестен.

Финляндию в последнее время часто характеризуют как одну из самых «американизированных» стран мира. Такое определение все же довольно поверхностно. Финская культура глубоко отличается от американской, что сразу выясняется и по выбору любимых книг. Если американской цивилизации присущ культ преуспеяния, оценка индивидуальности как товара, пристальное внимание к собственному «я», то финская ей прямо противоположна. Любимый герой финской прозы — мало преуспевающий в жизни, но трудолюбивый, честный и неприхотливый человек из народа. Он замкнут и сдержан, но морально стоит выше, чем преуспевающие и непринужденные в общении «господа». Со своей стороны, финский писатель в современном западном мире — тоже необычное явление, потому что его основная цель — не изготовить раскупаемое чтиво (есть, конечно, и исключения), но сказать о том, какие мы, каков этот мир. Когда в центре художественного исследования — финны, уехавшие из деревни в город только после второй мировой войны, финны, свойства характера которых служат темой для анекдотов, понятно, что свою литературу не заменит никакой импорт. Если Финляндия и «американизируется», это может произойти только в следующих поколениях, но не при нынешнем среднем: его корни еще глубоко остались в финской деревне.

Так что же все-таки читает Финляндия и почему? Сильно упрощая, скажем, что она читает серьезные книги о себе. Книги, которые не поймет никто другой, но никто другой ими и не заинтересуется. С точки зрения национального самосознания дела обстоят нормально. С точки зрения иностранца, пристрастия финского читателя вполне вписываются в образ финна, созданный Йормой Этто в любимых нами стихах. В них говорится, что финн — это некто, сидящий на противоположном конце стола в большой меховой шапке; он не отвечает, когда его спрашивают; спрашивает, когда не ему отвечают, отвечает, когда не спрашивают. С другим финном его разлучит только смерть или полиция...

ТИМО ВИХАВАЙНЕН

г. Хельсинки

Перевод с финского О. БАСИНСКОЙ

◆

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Сборник статей ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА. Издательство «Народна култура».
Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Игра». «Партиздат».
Повесть БОРИСА ВАСИЛЬЕВА «Летят мои кони». Издательство «Народна култура».
Книга МИХАИЛА ЖВАНЕЦКОГО «Встречи на улицах». «Профиздат».
«Избранное» в двух томах ВИКТОРА КОНЕЦКОГО. Издательство «Георги Бакалов».
Письма БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Народна култура».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Христо Г. Данов».
Повесть КОНСТАНТИНА СИМОНОВА «Дни и ночи». «Партиздат».

БРАЗИЛИЯ

Книга ВЛАДИМИРА ПРОППА «Морфология сказки». Издательство «Форенсе».
Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». Издательство «Рекорд».

ВЕНГРИЯ

Роман АЛЕКСАНДРА БЕКА «Новое назначение». Издательство «Европа».
Роман ВЛАДИМИРА КАРПОВА «Полководец». Издательство «Зрини».
Книга ЮРИЯ ЛОТМАНА «Александр Сергеевич Пушкин». Издательство «Европа».
Роман БОРИСА ПАСТЕРНАКА «Доктор Живаго». То же издательство.
Стихи АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО. То же издательство.

ГДР

Повесть ВАЛЕРИЯ АГРАНОВСКОГО «Остановите Малахова!». Издательство «Хеншель».
Роман ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Июль 41 года». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Пороги». Издательство «Ауфбау».
Поэма ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО «Фуку!». Издательство «Фольк унд вельт».
Рассказы ВЯЧЕСЛАВА КОНДРАТЬЕВА. Издательство «Ауфбау».
Повесть ПАВЛА НИЛИНА «Жестокость». Издательство «Фольк унд вельт».
Повесть Н. ОГНЕВА «Дневник Кости Рябцева». Издательство «Нойес лебен».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар». Издательство «Фольк унд вельт».

ИТАЛИЯ

Поэма АЛЕКСАНДРА БЛОКА «Двенадцать». Издательство «Шайвиллер».
Очерки АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА «Драматическая педагогика». Издательство «Каппелли».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Свидание с Бонапартом». Издательство «Иль куадрате эдиционн».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Живи и помни». Издательство «Е/О».

КУБА

Повесть ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Пегий пес, бегущий краем моря». Издательство «Эдиториаль арте и литература».
Книга МИХАИЛА БАХТИНА «Проблемы литературы и эстетики». То же издательство.
Повесть АРКАДИЯ И ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРОВ «Город принял» То же издательство.
Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Кафедра». То же издательство.

НИДЕРЛАНДЫ

Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар» и «Сибирские повествования». Издательство «Арбайдерсперс».
Рассказы ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. Издательство «Саймонс».

ПОЛЬША

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «И дольше века длится день...». Издательство «КиВ».
Роман ВАСИЛИЯ АРДАМАТСКОГО «Последний год». Издательство «ПИВ».
«День Чика и другие рассказы» ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА. Издательство «Наша ксенгарня».
«Юношеский роман» ВАЛЕНТИНА КАТАЕВА. Издательство «ПИВ».
Повесть ВЛАДИМИРА КРУПИНА «Живая вода». Издательство «КиВ».
Сборник стихов ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Круг жизни». Издательство «Выдавництво литерацке».
Роман БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Мерси, или Похождения Шипова». Издательство «ПИВ».
«Избранные стихи» ПАРУЙРА СЕВАКА. Издательство «Выдавництво лодзке».

ПОРТУГАЛИЯ

Фантастический рассказ КИРА БУЛЫЧЕВА «Половина жизни». Издательство «Каминьо».
Роман ВЛАДИМИРА САВЧЕНКО «Открытие себя». То же издательство.

США

Роман АНДРЕЯ БИТОВА «Пушкинский дом». Издательство «Штраус энд Жиру».
«Избранные рассказы» АЛЕКСАНДРА ГРИНА. Издательство «Ардис».
Книга АРСЕНИЯ ГУЛЫГИ «Кант». Издательство «Биркхаус».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Литтл, Браун энд компани».

ФРАНЦИЯ

Автобиографические рассказы о детстве ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Конь с розовой гривой». Издательство «Фламмарион».
Переписка БОРИСА ПАСТЕРНАКА и ОЛЬГИ ФРЕЙДЕНБЕРГ. Издательство «Галлимар».
Эссе МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ «Мой Пушкин» и «Пушкин и Пугачев». Издательство «Клеман Ивёр».
«Колымские рассказы» ВАРЛАМА ШАЛАМОВА. Издательство «Декуверт/Файар».

ФРГ

Повесть И. ГРЕКОВОЙ «Вдовий пароход». Издательство «Ташенбух».
Рассказы ВЛАДИМИРА МАКАНИНА. Издательство «Нойер Маликферлаг».
Ранние новеллы АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА. Издательство «Ханзер».
Роман ТИМУРА ПУЛАТОВА «Черепаха Тарази». Издательство «Зуркамп».
Рассказ ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Рудольфио». Издательство «Дамниц».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

«О» АНДРЕЯ ВОЗНЕСЕНСКОГО. Издательство «Одеон».
Повесть НИКОЛАЯ ЕВДОКИМОВА «Страстная площадь». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА «Наука расставания». Издательство «Словенски списователь».
Роман ГРИГОРИЯ КАНОВИЧА «Слезы и молитвы дураков». Издательство «Лидове накладателстви».
Стихи ЭДУАРДАСА МЕЖЕЛАЙТИСА. Издательство «Чехословенски списовател».
Стихи БУЛАТА ОКУДЖАВЫ «Мой Арбат». Издательство «Смена».
Книга прозы БОРИСА ПАСТЕРНАКА «Воздушные пути» Издательство «Одеон».
Роман АЛЕКСАНДРА ЧАКОВСКОГО «Неоконченный портрет». Издательство «Лидове накладателстви».

ШВЕЙЦАРИЯ

Повесть ЭММАНУИЛА КАЗАКЕВИЧА «Двое в степи». Издательство «Л'аж д'ом».
Рассказы МИХАИЛА ПРИШВИНА. Издательство «Манессе-ферлаг».
Сборник рассказов ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. Издательство «Амман-ферлаг».

Из месяца в месяц

Великобритания

«ЧТО ДЕЛАЕТ ШЕКСПИР СЕГОДНЯ?»

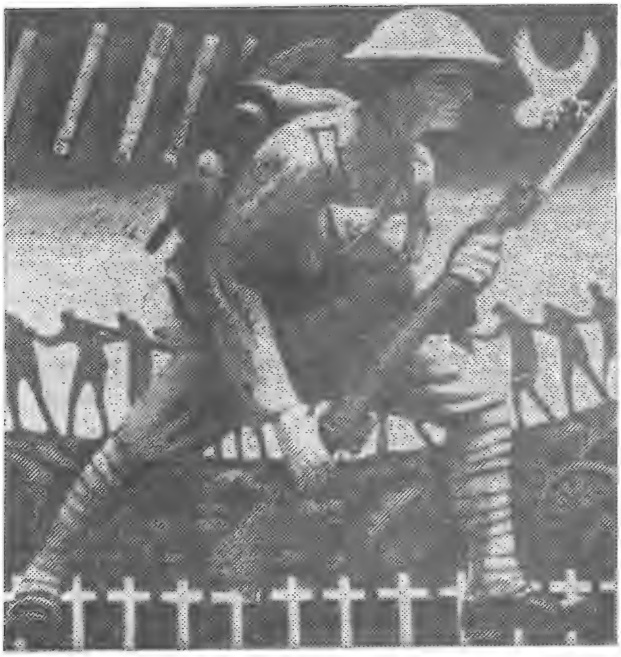
Под таким интригующим заголовком журнал «Букс» опубликовал статью Николетты Джоунс о ныне живущих и пишущих потомках великих писателей-классиков.

Николас Шекспир, недавно ставший литературным редактором газеты «Дейли телеграф», является, как утверждает Королевская геральдическая палата, прямым потомком Уильяма Шекспира. Николасу предоставлено почетное право иметь герб великого драматурга.

Однако принадлежность к столь прославленному имени в английской литературе, сказал Н. Шекспир, не имела существенного значения при выборе им профессии: «Уильям Шекспир жил 400 лет назад, к тому же он не писал романов». А Николас последние три года работает над романом о проблемах терроризма и религии в Перу, первый вариант которого уже окончен. В предыдущей книге Н. Шекспира «Лондонцы», состоящей из интервью с жителями города автор создал «портрет английской столицы».

В отличие от Николаса Шекспира граф Николай Толстой говорит о себе: «Имея подобное родство невозможно жить и не испытывать на себе его влияния». Дед Николая был двоюродным братом Льва Толстого. В апреле этого года вышел в свет первый роман Н. Толстого «Приезд короля», открывающий трилогию о короле Артуре. Этому роману предшествовали 7 книг по проблемам русской истории. Однако теперь, по словам Н. Толстого, он «не будет писать ничего, кроме романов».

Моника Диккенс приходится правнучкой великому английскому романисту. Ею написаны уже 42 книги, среди которых — художественные произведения, публицистика и литература для детей. Однако, по ее словам, вовсе не славное литературное имя вдохновило ее взяться за перо — скорее наоборот «Чарльза Диккенса так глубоко почитали мои дедушка и бабушка, что полагали: в нашей семье никто больше не будет пи-



В журнале «Бритиш бук ньюс» напечатан большой обзор книг английских прозаиков и поэтов о первой мировой войне, опубликованных в разные годы, в том числе и в последнее время.
В поле зрения автора обзора Джона Силкина — восприятие писателями войны, исследование ими ее социальных и этических последствий. Большое внимание критик уделяет, в частности, «неистовому отношению» к войне известного английского поэта Уилфреда Оуэна. Сборник его стихов, вышедший сразу после окончания первой мировой войны и впоследствии выдержавший не одно издание, передает, по мнению критика, состояние шока, растерянности, вызванное ужасами бойни. Недавно в Великобритании были опубликованы три тома мемуаров Гарольда Оуэна, брата поэта. Подзаголовок, который Г. Оуэн дал своим мемуарам — «Путешествие из тьмы»,— весьма символичен, полагает Дж. Силкин.
На снимке: иллюстрация к статье Дж. Силкина, вынесенная на обложку журнала. Художник — Марк Олдройд.

(Журнал «Бритиш бук ньюс»)

сать. Когда я работала прислугой, меня попросили написать об этом книгу. Так все и началось. Если у меня и есть что-то общее с Чарльзом Диккенсом, это душа репортера». Повлиял ли великий писатель на творчество Моники? Да, по ее собственному признанию, чтение книг Диккенса «заставляет ее писать лучше».

МАРГИНАЛИИ КОЛРИДЖА

Необычную публикацию — серию из пяти томов под общим названием «Маргиналии» — подготовило к выпуску издательство «Раутледж энд Киган Пол», сообщает рецензент еженедельника «Таймс литерари сапплмент» Г. Линдон. Это собрание сочинений английского поэта, критика и философа Сэмюэла Колриджа (1772—1834), но не собственно сочинений, а маргиналий, пометок на полях в книгах других авторов.

Идея создания этой серии принадлежит Томасу де Квинси и была высказана им еще в 1839 году, а ее реализации тридцать пять лет жизни посвятил Дж. Уэлли, так и не доживший до выхода в свет своего титанического труда. Пометками Колридж испещрил более 700 книг, семьдесят из них утеряны, маргиналии к двумстам книгам из числа сохранившихся и составили первые два тома, они «весьма изящны по слогу, поражают точностью и глубиной оценок».

«Методика работы Уэлли с этой грудой материалов образцова и весьма четка. Книги с пометками Колриджа представлены в алфавитном порядке по фамилиям авторов; абзацы, привлекшие внимание Колриджа, набраны черным шрифтом, а сами пометы — коричневым. Внизу страницы следуют примечания Уэлли»,— пишет газета.

Колридж «читал практически все». По упомянутым в «Маргиналиях» книгам видно, что его излюбленная тема — теология, которая, замечает рецензент, «питала мысль Колриджа». В собрании таких книг около девяноста, и они особенно густо испещрены пометками.

Характер записей, естественно, меняется от книги к книге. Одни произведения имеют обширнейшие комментарии, в других же помет либо немного, либо нет совсем. Разумеется, пометы Колриджа разноплановы: это и восхищение (например, «Сонетами» Баулса: «Эта книга дала моей душе больше, чем все другие, не считая Библии»), и едкая критика (например, о книге Бакстера: «Опять эти по-женски мелочные упреки!»). Здесь есть «реплики» (рядом с признанием Бакстера о том, что он «безумно влюблен в книги», Колридж заметил по-гречески: «И я тоже!») и даже обращения, похожие на записки или письма (шутливое извинение в сборнике стихов Дж. Донна при возвращении книги владельцу: «Дорогой Чарльз Лэм! Я скоро умру, так что не обессудьте, что исчеркал ваши книги»).

Всего этих пометок — около восьми тысяч. Английских читателей ждет знакомство с высказываниями С. Колриджа о Лютере, Шекспире, Сведенборге, Тейлоре, Вордсворте и многих других.

Венгрия

«НЕПРОСТОЙ ПУТЬ «ДОКТОРА ЖИВАГО»

Появление на венгерском романа Б. Пастернака «Доктор Живаго» (издательство «Аркадиа», перевод Юдит Пор) вызвало настоящий поток откликов в венгерской прессе. Авторы критических статей отмечают глубочайший философский пафос романа, подчеркивают сосредоточенность его на «вечно кровоточащей теме»: человек, интеллигент в эпицентре исторических катаклизмов. По их мнению, для прозы Пастернака органически неприемлема какая бы то ни было «внешняя» сенсационность, а ведь на нее подчас рассчитывали. «Кое-кто ожидал скандала, а получил шедевр, и не каждому такая замена оказалась по вкусу»,— пишет Тибор Залан в статье «Долгий, непростой путь «Доктора Живаго», опубликованной в еженедельнике «Элет эш иродалом».

Сама Юдит Пор, известная переводчица русской поэзии и прозы, также не раз выступала в печати, делясь соображениями об особенностях пастернаковской прозы, о задачах, возникавших при переводе романа («Борис Пастернак и Юрий Живаго» — в журнале «Надьвилаг», «Работая над переводом» — в журнале «Кёньввилаг»). В статье «Работая над переводом» Юдит Пор пишет: «Сложности технического, внешнего характера многочисленны, но еще сложнее выразить главное — красоту и притягательность странных, пышных, одухотворенных пейзажей Пастернака, его утонченные и удивительно сильные описания состояний человеческого духа. Я старалась как можно бережнее воссоздать его своеобычные фразы, взволнованные, барочно-витиеватые, его юмор, проявляющийся в едва уловимом стилистическом пародировании. Мне так хотелось добиться понимания — понимания его образов, хода мысли, всего громадного замысла романа».

Обложка венгерского издания «Доктор Живаго».

ГДР

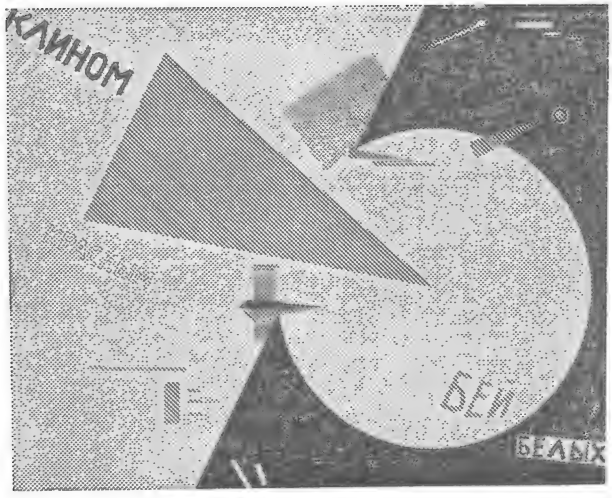
НА СЦЕНЕ — ПЬЕСА ФОЛЬКЕРА БРАУНА

В Театре имени Максима Горького (Берлин) поставлена сатирическая комедия Фолькера Брауна «Переходное общество», написанная в 1982 году. Героинь не случайно зовут Ольгой, Машей, Ириной — Фолькер Браун использовал в пьесе мотивы «Трех сестер» Чехова.

Журнал «Театер дер цайт», опубликовавший и текст комедии, и статью о спектакле, отмечает, что «Переходное общество» «как бы переносит «Трех сестер» в наши дни». Среди других действующих лиц — брат трех сестер Вальтер, их дядя Вильгельм, ученый Бобанц, писатель Пауль Антон. Незримо присутствует недавно умерший отец — в прошлом активный антифашист.

Сюжет пьесы трудно пересказать, в ней много рассуждений, споров, разговоров. Место действия меняется на глазах — то чеховская Россия, то ГДР семидесятых годов. В гротескном ключе, при помощи сатирических гипербол Фолькер Браун ставит серьезные вопросы этики, морали, взаимоотношений между людьми разных поколений, обращается к прошлому, рассказывает о мечтах людей, о новом обществе, преодолевающем застойные явления.

Критик Герхард Эберт подчеркивает в газете «Нойес Дойчланд», что Фолькер Браун создал интересные, сложные характеры. «Эта пьеса займет свое место в драматургии ГДР, — пишет критик. — Спектакль очень тепло встретили зрители, чему способствовала блестящая режиссура Томаса Лангхофа и великолепная игра актеров».



В Берлине с успехом прошла выставка «Искусство Октября», посетители которой смогли познакомиться со многими — прежде не экспонировавшимися — произведениями Кандинского, Шагала и других выдающихся художников, сообщает обозреватель еженедельника «Нойе берлинер иллюстрирте». Эта экспозиция, включающая двести гравюр, литографий и плакатов из государственных картинных галерей и частных коллекций, позволила ее посетителям составить представление о советском искусстве периода 1917—1924 годов, о его направлениях и достижениях, считает обозреватель.
На снимках: Гравюра Эль Лисицкого (вверху). Марк Шагал. «Художник у мольберта».

(Еженедельник «Нойе берлинер иллюстрирте»)

Египет

«ПОСЛАНИЕ ЛЮБВИ И СТРАСТИ»

В популярной серии книжных приложений к журналу «Аль-Хиляль» (Каир) вышла в свет новая книга известного писателя Гамаля аль-Гитани «Послание любви и страсти».

Это во многих отношениях необычное произведение трудно отнести к какому-либо определенному жанру. По форме оно представляет собой пространное письмо автора старому другу. В нем рассказывается, казалось бы, о конкретном событии — поездке в Советский Союз на встречу архитекторов, посвященную проблемам охраны древних памятников Средней Азии. Однако старинные дворцы и мечети Самарканда и Бухары, прекрасные виды зимней заснеженной Москвы служат только фоном для основного сюжета. Роман аль-Гитани — история страстной и возвышенной любви автора «Послания» к молодой женщине-переводчице на архитектурном симпозиуме (зовут ее Валерией). Добившись взаимности, он не стремится к обладанию возлюбленной и хочет навсегда сохранить в памяти ее образ чистым и незамутненным.

Язык аль-Гитани богат, глубоко поэтичен. «Послание любви и страсти» — подлинный гимн прекраснейшим свойствам человеческой души.

Арабские критики отмечают несомненное влияние на поэтику романа литературы суфиев — средневековых мусульманских мистиков, воспевавших в страстных стихах любовь к Всевышнему. Об этом подробно пишет египетский критик Мухаммед ас-Сейид Ид в статье «Романтический опыт в сфере суфизма» опубликованной в журнале «Аль-Хиляль». Критик высоко оценивает «Послание...» однако сомневается в реальном существовании героини произведения — Валерии, считая, что ее образ создан лишь фантазией автора.

Ирландия

НЕИЗВЕСТНЫЙ РОМАН БЕККЕТА

Издательство «Пикадор» выпустило в свет не публиковавшийся ранее роман «Мерсье и Камье» известного ирландского писателя и драматурга Сэмюэла Беккета. Как отмечает рецензент журнала «Лиснер», после присуждения в 1969 году С. Беккету Нобелевской премии в области литературы были опубликованы или же переизданы буквально все его ранние произведения, большинство из которых вполне того заслуживало.

«Мерсье и Камье» — первый роман Беккета на французском языке, написанный за два года до его знаменитой пьесы «В ожидании Годо», хорошо знакомой советским читателям (см. «ИЛ», 1966, № 10) и зрителям. Автор, отмечает «Лиснер», никогда не высказывал желания публиковать «Мерсье и Камье» — эту «странную, сложную книгу», которая соединяет «особенности ранних произведений» писателя с зачатками будущих, «классических» его творений.

Действие романа происходит в стране, напоминающей «милую родину» Сэмюэла Беккета — Ирландию и вымышленную воюющую Францию. Два главных героя, Мерсье и Камье, в присущей беккетовским персонажам манере обмениваются философскими каламбурами. Им не чужд «юмор висельника» и взаимный «словесный садизм». Их необыкновенные приключения спутаны в удивительный клубок, пишет рецензент.

Эта книга, по мнению журнала «Лиснер», — не самое лучшее произведение Беккета, однако в ней «немало по-настоящему веселых эпизодов и отрывков, полных непонятной, завораживающей красоты».

Испания

СЮРПРИЗ «ОТШЕЛЬНИКУ ИЗ ФИГЕРАСА»

Сальвадор Дали, — по определению многих энциклопедий «самый популярный художник XX века после Пикассо» — впервые приехал в Париж в 1927 году. Здесь он сблизился с сюрреалистами и стал одним из крупнейших представителей этого направления. И сегодня спустя более чем 60 лет слава «каталонского отшельника» по-прежнему в зените, пишет французский журнал «Нувель обсерватёр». Доказатель-

Сальвадор Дали.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

ство тому — бесконечный поток подделок под его произведения, остановить который практически невозможно: в свое время Дали имел обыкновение подписывать чистые листы литографской бумаги, а фальсификаторы, пользуясь этой причудой метра, получали возможность изготавливать оттиски «сомнительной принадлежности».

Недавно Сальвадору Дали, напоминает «Нувель обсерватёр», исполнилось 84 года. Ко дню рождения Франция преподнесла ему своеобразный «подарок» — титул командора ордена Почетного легиона в области искусств и литературы.

Италия

РОМАН ЗВЕВО НА ТЕЛЕЭКРАНЕ

Мастер экранизаций литературной классики Саидро Больки (на его счету, в частности, телевизионные версии «Обрученных» А. Мандзони, «Братьев Карамазовых» и «Анны Карениной») сделал двухсерийный телефильм «Самопознание Дзено» по знаменитому роману, созданному в 1923 году Итало Звево (1861—1928), «итальянским Прустом».

В романе Звево мир изображен через призму воспоминаний Дзено: по поручению психоаналитика герой-повествователь запечатлевает свою жизнь на бумаге. Преображающая работа памяти лишает исповедь непосредственности, и только случайные «обмолвки» позволяют заглянуть в глубины истинного «я» героя — человека, который осознает свою никчемность и как будто бы желает от нее избавиться. Однако на самом деле инертный созерцатель Дзено не хочет становиться активной, сильной личностью — он хочет только, чтобы казалось, будто он этого хочет...

Экранизовать Звево С. Больки мечтал еще тогда, когда учился в Триесте — городе, где писатель провел всю свою жизнь. Именно там велись натурные съемки, рассказывает обозреватель газеты «Унита» Сильвия Гарамбуа.

«Взяв за основу инсценировку романа, которая была осуществлена Туллио Кезичем и еще с 1964 года определяла структуру всех театральных постановок «Самопознания Дзено», С. Больки и Д. Гуардаманья сделали повествование более близким традиционному роману, отказавшись от создания «череды портретов» и упорядочив события хронологически», — отмечает в еженедельнике «Эуропео» Энрико Регаццони. «Почему-то, когда мы пытаемся представить себе идеального Дзено, перед нами встают Чаплин и, пожалуй, Бестер Китон, а из современных актеров — их соотечественник Вуди Аллен»,— писал в газете «Унита» накануне премьеры Оттавио Чекки. Сандро Больки выбрал на главную роль Джонни Дорелли, действительно придав ему некоторые внешние черты чаплинского Чарли. «Без Дорелли я не смог бы сделать этот фильм, — утверждает режиссер. — Благодаря его легкости, ироничности нам, кажется, удалось избежать серьезности, присущей прежним, театральным, постановкам. Для меня было особенно важно, чтобы фильм вызывал смех. Ирония и сарказм, отличающие наш фильм, есть и в романе Звево. Мы лишь добавили в некоторых сценах гротескные штрихи».

О САВИНИО-КОМПОЗИТОРЕ

«Яркий, насмешливый талант Альберто Савинио (1891—1952) — романиста и драматурга, автора фантастических рассказов и биографий деятелей искусства, театрального и музыкального критика, художника, композитора, создавшего четыре оперы и пять балетов, — до сих пор не оценен по достоинству», — пишет в еженедельнике «Панорама» Роберто Барболини. Именно многогранность дарования Савинио, полагает критик, снискала ему славу «талантливого дилетанта». К тому же Савинио (его настоящее имя — Андреа Де Кирико) долгое время находился «в тени» своего брата Джорджо — наиболее видного представителя «метафизической живописи».

Но если литературное и художественное наследие Савинио, мастера парадоксов и гротеска, в последние годы открыто заново, подверглось переоценке, то значительная часть созданного Савинио-композитором не известна публике вооб-

Альберто Савинио. Автопортрет.

(Журнал «Панорама»)

ще. Восполнить этот пробел призвана вышедшая в издательстве «Марсилио» книга молодого исследователя Микеле Порцио «Савинио-музыкант. Метафизический звук». Она посвящена анализу музыки, существующей главным образом в рукописных партитурах и клавирах, и наряду с изысканиями, адресованными специалистам-музыковедам, содержит сведения, интересные для любого читателя. Критик устанавливает соотношение между музыкальной поэтикой Савинио и «метафизической живописью» (по аналогии с уже классическим «соотнесением» музыки Дебюсси с кубистскими полотнами Пикассо).

«Я старался показать, что музыка Савинио — своего рода метафизический театр или, если угодно, — положенные на музыку картины», — пишет М. Порцио. Критик подчеркивает, что с живописью — прежде всего с картинами Джорджо Де Кирико — больше связаны бунтарские сочинения 1912—1915 годов, построенные зачастую по принципу коллажа, в то время как музыкальные творения последних лет жизни Савинио обнаруживают тесную связь с литературой.

НЕОБЫЧНОЕ ИЗДАНИЕ «ЖИЗНЕОПИСАНИЙ» ВАЗАРИ

В издательстве «Спес» завершается подготовка параллельного издания двух вариантов «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», созданных Джорджо Вазари в 1550 и 1568 годах. «Такая идея возникла еще в 1950 году, на одной из первых конференций по творчеству Вазари,— сказала обозревателю еженедельника «Эуропо» Марко Валлоре искусствовед Паола Барокки готовившая издание вместе с филологом Розанной Беттарини.— Практически это единственная возможность проследить эволюцию взглядов создателя первой истории искусств, содержавшей в сжатом виде программу всего искусствознания».

В начальном варианте «Жизнеописаний» Вазари — в недавнем прошлом бродячий художник, предлагавший свои картины монахам-бенедиктинцам,— выступает прежде всего как создатель биографических портретов-новелл: согласно гуманистическим воззрениям эпохи, он ставит в центр повествования личность художника как наиболее яркое воплощение ренессансного идеала человека, добиваясь выразительности портретов, живости и увлекательности повествования.

Во втором издании, к которому добавились 34 новых очерка, Вазари-портретиста заметно теснит Вазари-исследователь. Его занимают общие тенденции развития изобразительных искусств, анализ стиля и техники отдельных мастеров и целых художественных школ. Будучи придворным художником флорентийского герцога Козимо Медичи и его личным консультантом по делам искусств, он уже не рассматривает произведения лишь как естественное выражение творческого порыва художника, в полной мере осознавая степень их обусловленности социокультурными факторами и — не в последнюю очередь — волей заказчика. Имея опыт перестройки флорентийского дворца Палаццо Веккьо, он уделяет теперь большое внимание материалам, да и прикладным видам искусства. Несмотря на свой непререкаемый авторитет, Вазари относится к собственной деятельности критически и в процессе подготовки второго издания совершает несколько больших путешествий по Италии — чтобы увидеть творения, о которых прежде писал понаслышке, исправить возможные ошибки, заполнить пробелы, а также побеседовать с учениками и последователями великих мастеров.

В шеститомное издание помимо подробнейших комментариев включены оценки, которых удостаивался труд Вазари на протяжении веков.

Китай

«ЛИСТЬЯ ТРАВЫ» ЗАЗВУЧАТ ПО-КИТАЙСКИ

Китайские читатели в скором времени смогут познакомиться со сборником поэм «Листья травы» классика американской литературы Уолта Уитмена. О выходе в свет перевода «Листьев травы» на китайский язык сообщает газета «Интернэшнл геральд трибюн». Автор предисловия и переводчица Чжао Ложуй в беседе с обозревателем газеты Эдвардом Гарганом рассказала о работе над сборником.

76-летняя Чжао Ложуй, до прошлого года работавшая преподавателем английского языка в Пекинском университете, полностью посвятила себя завершению «труда всей своей жизни». «Листья травы» — не первая встреча Чжао Ложуй с американской литературой: еще в конце 30-х годов китайская интеллигенция зачитывалась ее переводами произведений Т. С. Элиота.

Десять лет ушло у Чжао Ложуй на создание «китайских» «Листьев травы». «Десять лет — вроде бы большой срок, — размышляет она. — А для Уитмена это так мало...»

«Переводить Уитмена вообще-то решила не я, это решили за меня — вспоминает Чжао Ложуй. — В Шанхае на базе двух издательств работал специальный комитет, он-то и определял, что и кому переводить. В 1962 году я получила заказ на перевод Уитмена». Однако, отмечает рецензент, из-за «культурной

Чжао Ложуй.

(Газета «Интернэшнл геральд трибюн»)

революции» и политических катаклизмов, сотрясавших тогда Китай, работа была начата лишь 16 лет спустя.

Приступая к переводу, Чжао Ложуй прочитала все научные труды об Уитмене и все его произведения — поэзию и прозу, а затем заново все труды и заново все произведения. «И я поняла, — признается она на страницах газеты, — чтобы переводить Уитмена, надо знать и чувствовать его личность».

Переводчица с благодарностью вспоминает своих американских друзей: с их помощью она сумела глубже и полнее понять сложный язык Уитмена. По словам Чжао Ложуй, она «стремилась передать неповторимость живой, человеческой речи в его стихах — ведь в ней красота и сила поэзии Уитмена».

Появление «Листьев травы» — книги, «воспевающей свободу, личность и любовь», — по мнению рецензента Эдварда Гаргана, знаменательно в стране, где «духовная жизнь лишь недавно начала возрождаться».

Марокко

ПРОБЛЕМЫ АРАБСКОГО РОМАНА

Союз писателей Марокко совместно со всеобщим союзом арабских писателей организовал конференцию, посвященную проблемам арабского романа, сообщает журнал «Аль Хиляль». В работе конференции приняли участие писатели и критики из ряда арабских стран. Самой многочисленной была делегация хозяев конференции — марокканских литераторов, которую возглавлял председатель Союза писателей Марокко Ахмед аль-Ябури. В ее составе были Мухаммед Баррада, Мубарак Рабиа, Идрис ан-Накури Ибрахим аль-Хатыб Ханната Беннуна.

В докладах участников конференции отмечает обозреватель журнала, большое внимание было уделе-

но современному египетскому роману, творчеству таких его представителей, как Санаалла Ибрахим, Яхья ат-Тахир Абдалла, Эдвар аль-Харрат, Гамаль аль-Гитани, Абд аль-Хаким Касем, что «свидетельствует о большом значении нового египетского романа в арабской литературе».

В ходе конференции развернулась бурная дискуссия между представителями традиционного направления в романистике и сторонниками «нового» романа. Большинство выступавших марокканцев проявило сдержанное отношение к модернистскому течению.

Работа конференции широко освещалась марокканскими средствами массовой информации: газетами различных направлений, телевидением и радио.

Единственный упрек, который, по мнению обозревателя журнала «Аль-Хиляль», можно бросить организаторам конференции,— это почти полное отсутствие на ней писательниц и критиков-женщин: в ее работе приняли участие лишь марокканская романистка Ханната Беннуна и уроженка Ирака Фарияль Газуль, выступившая с докладом о творчестве египетского писателя Эдвара Харрата.

На торжественном вечере в Касабланке по случаю закрытия конференции выступил министр культуры Марокко Мухаммед Бен Иса, объявивший об учреждении двух ежегодных премий министерства: премии за лучший арабский роман и премии за лучший марокканский рассказ.

Польша

ПРЕМЬЕРА ПЬЕСЫ «МИСТРАЛЬ»

В Плоцке, на сцене Драматического театра имени Ежи Шанявского, состоялась премьера пьесы Ольги Кучкиной «Мистраль». Написанную семь лет назад драму привез в Польшу, перевел и в необычайно короткий срок поставил постоянно сотрудничающий с плоцким театром варшавский режиссер Гжегож Собочинский. Главные герои пьесы — Винсент Ван Гог и Поль Гоген. Рецензент газеты «Эхо» Романа Куффель отмечает, что встреча великих художников — лишь предлог для разговора «о внутренней жизни человека, об одиночестве значительной личности». Говоря об актерских работах, Куффель выделяет Яцека Монку (Ван Гог), которому удалось показать и трагическую сущность, и духовное богатство своего героя, а также Халину Рабенду, сдержанно, с большой драматической глубиной играющую проститутку Рашель (согласно замыслу автора, Рашель по ходу действия перевоплощается в женщин, которых Ван Гог в своей жизни любил).

В газете «Штандар млодых» опубликовано интервью с автором пьесы. На вопрос, каково ее впечатление от спектакля, Ольга Кучкина ответила, что если к начальным сценам у нее были некоторые претензии, то волнующий, великолепный финал заставил забыть о всех недочетах. Оценка актерских работ автором совпадает с мнением польских рецензентов: «В Ван Гоге Яцека Монка есть та анормальность, свойственная людям с богатым внутренним миром, которая противится обывательской норме. Большое впечатление произвела на меня Халина Рабенда. Внешняя сдержанность в соединении с необычайным драматизмом — именно то, что мне более всего дорого в искусстве». Тема интервью не была ограничена «Мистралем»: речь шла и о других сторонах творческой деятельности автора, в которой есть место стихам, прозе, критике, журналистике.

Рецензент газеты «Глос работничы» призвал своих читателей посмотреть пьесу «Мистраль», чтобы убедиться, сколь разнородны темы, воплощаемые советскими писателями, и сколь универсальной может быть литература, «возникающая на наших глазах».

«ВЫСОЦКИЙ — СО СМЕРТЬЮ НА «ТЫ»

Так называется новый спектакль краковского театра «Багатэля». Постановку осуществил по собственному сценарию Станислав Носович. Чтобы сделать спектакль о Высоцком, считает поместивший заметку о премьере журнал «Пшекруй», режиссеру понадобились одержимость, смелость, энергия. Автор же замысел своего произведения объясняет так: ему хотелось показать, сколь легко сегодня завладеть легендой и приторговывать ею. Причины этого, по мнению Ст. Носовича, в том, что прост сам механизм присвоения легенды — он приходит в движение почти автоматически, едва ветер истории меняет свое направление. Сегодня, когда с Высоцкого снят ярлык «бунтовщика», продолжает журнал, многие стараются «примазаться» к его легенде, используя представившуюся конъюнктуру, их-то спектакль высмеивает и разоблачает.

Действие разворачивается в ходе подготовки и проведения торжественного мероприятия, посвященного памяти Высоцкого, с милицейскими кордонами и толпами беспокойных поклонников, нарушающих казенный ритуал официозности. Фокусируя внимание зрителя на лицемерности «празднества», шаблонности лозунгов «из речи экскурсоводов туристического бюро», не менее опасном фанатическом поклонении почитателей, артисты «Багатэли», пишет рецензент, предпринимают попытку уберечь правду о герое спектакля от фальсификации. Свою задачу они видят в том, чтобы вызвать в душе зрителя категорический протест против умаления роли Высоцкого — талантливого композитора и певца, необыкновенного человека.

Постановка спектакля «Высоцкий — со смертью на «ты», отмечает автор заметки, решена в сценических традициях московского Театра на Таганке: режиссер «в быстром темпе, выразительно, в плакатном стиле, с публицистической страстностью накаляет атмосферу в зрительном зале, подобно Любимову. Спектакль не только критикует и разоблачает, но вместе с тем и глубоко волнует, заставляет задуматься».

Финляндия

СБОРНИК НОВЕЛЛ БАРГУМА

Отец, жаждущий сделать приятное своей маленькой дочке, везет ей любимого хомяка по кличке Гамлет. Везет самолетом в Париж, где она теперь живет со своей мамой и новым папой. Везет втайне ото всех в полотняном мешочке, привешенном на груди под пиджаком. И смутно чувствует, что все напрасно.

Так начинается новелла «Гамлет» из нового сборника Юхана Баргума «Домашние животные». Имя этого финского прозаика, пишущего на шведском языке, известно читателям в СССР; в «ИЛ» (1983, № 12) был опубликован его роман «Темная комната». Романы и новеллы Ю. Баргума, его пьесы для театра, радио и телевидения привлекают не только занимательными сюжетами, но и тонким психологизмом, оригинальностью стиля, своевременностью проблематики. В центре внимания автора — человек в современном мире, его отчужденность, одиночество, некоммуникабельность. Сборник «Домашние животные», за который Ю. Баргум был удостоен Государственной премии (1987), открывает новую грань творчества этого писателя. Среди «героев» новелл — собака, хомяк, кот, обезьянка. Но, рассказывая о животных, автор дает нам представление и об их хозяевах. Обычно это люди, обойденные судьбой, во всем давно разочаровавшиеся. И если на их долю выпадает случайная радость или хотя бы надежда на радость, то она, так уж получается, связана с их «меньшими братьями». Это либо дружба между человеком и животным, либо контакт с другим человеком, возникший благодаря «посредничеству» животного. Собаки, кошки, обезьянки оказываются той силой, которая толкает людей навстречу друг другу, заставляя ломать привычные модели поведения.

Рецензент журнала «Хорисонт» К. Эстман, высоко оценивая художественный уровень новой книги, особо подчеркивает мастерство Баргума в построении диалогов. Как это и бывает в жизни, за коротенькой фразой у него стоит многое, но еще больше угадывается между строк, а кое-что проясняется только после повторного прочтения. Манера повествования этого автора вообще необычна, считает К. Эстман. Неизвестное изображается так, будто читатель уже знает обо всех предшествующих событиях, он как бы сразу, без всякой подготовки оказывается в гуще происходящего, потому что «жизнь у Баргума,— пишет рецензент,— говорит сама за себя, он не крошит ее с помощью отдельных слов на мелкие кусочки и не пытается ее объяснить, и в этом его сила».

ФЕСТИВАЛЬ СКАНДИНАВСКИХ ТЕАТРОВ

В Хельсинки состоялся фестиваль театров Дании, Исландии, Норвегии, Швеции и Финляндии. Свои спектакли привезли известные режиссеры и драматурги Стаффан Гёте и Аллан Эдвалль из Швеции. Норвежские театры представили два мюзикла в исполнении групп «Данс дизайн» и «Коллаж». Национальный норвежский театр показал новую версию «Гамлета» в постановке Стейна Винге. В фестивале участвовал также театр с Фарерских островов.

«Инициатива и заслуга организации этого интересного и представительного фестиваля принадлежит Скандинавскому союзу театров — филиалу Международного института театров, действующему в рамках культурной программы ЮНЕСКО, — отмечает обозреватель газеты «Фрихетен» Арне Линдер Нэсс.— В ближайших планах Скандинавского союза театров — проведение международного семинара по творчеству Ибсена».

Франция

ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АВАНГАРДА

В женевском Музее искусства и истории, а позже — в парижском Музее современного искусства прошла выставка под названием «Взгляды на «Минотавра», объединившая произведения живописи, графики, скульптуры, литературные тексты, фотографии, с которыми знакомил своих читателей литературно-художественный журнал «Минотавр» (Париж 1933—1939). Основанный женевским издателем Альбером Скира, журнал был призван отражать развитие новейших направлений в искусстве. Он получил имя мифического существа, сочетавшего в себе человеческое и животное начала,— образ Минотавра символизировал идею сюрреалистов о поиске связей между контролирующим деятельность человека сознанием и тайнами стихии подсознания.

Обложка журнала «Минотавр» работы Рене Магритта.

(Журнал «Нувель обсерватёр»)

Коллаж для обложки первого номера журнала выполнил Пабло Пикассо, изображенное на ней чудовище и положило начало его знаменитой серии «Минотавромахия». Создатели последующих обложек — С. Дали, А. Матисс, Р. Магритт, М. Дюшан, Д. Ривера.

«Чрезвычайная популярность журнала объяснялась тем, что он вводил читателя в творческую лабораторию, знакомил его со свежими, еще не «отстоявшимися» художественными идеями, с экспериментальными, спорными произведениями, выполняя при этом исследовательские функции»,— отмечает в итальянском еженедельнике «Эспрессо» Анн-Мари Созо. Одной из основных задач журнала было выявление движущих творцом бессознательных импульсов (проникнуть в подсознание художника должны были помочь, к примеру, «автоматические» рисунки). Для этого порой использовались довольно неожиданные способы: так, по замыслу Поля Элюара, журнал представил читателям его коллекцию открыток, ибо поэт считал ее лучшим «ключом» к поэтике своих сюрреалистических стихотворений.

«Публиковавшиеся в журнале тексты,— отмечает А.-М. Созо, — не были пояснениями к фотографиям и репродукциям (их в 13 номерах журнала появилось более полутора тысяч), репродукции же никогда не иллюстрировали текст. Между ними как бы шел напряженный, стимулировавший мысль и фантазию читателя диалог».

На страницах «Минотавра» находили отражение не только новейшие веяния в изобразительном искусстве и литературе. Значительное внимание уделялось этнографии: предполагалось, что изучение предметов материальной культуры примитивных народов даст импульс развитию той эстетики, начало которой в европейском искусстве положил кубизм. Второй номер журнала — целиком «этнографический» — обобщал результаты знаменитой экспедиции по маршруту Дакар — Джибути (1933) и создавался под началом ее руководителя Мишеля Лейриса.

В последних, предвоенных номерах журнала ощутимо усиливаются мотивы «борьбы добра и зла». Прекратил свое существование «Минотавр» с началом второй мировой войны.

ЕЩЕ ОДНА СКАЗКА ФРАНЦУЗСКОЙ ШЕХЕРЕЗАДЫ

Вышедшая недавно новая, пятнадцатая по счету, книга уроженки Ливана Венеры Хури-Гата «Баярмина» — «прекрасная возможность убедиться в том, что отныне этой писательнице принадлежит свое, особое место в современной французской литературе», — отмечает на страницах журнала «Магазин литтерер» писатель и поэт Ален Боске.

Во всех произведениях Венеры Хури-Гата — будь то поэмы, стихи, романы или книги воспоминаний — неизменно ощущается противоборство и взаимодополнение двух различных культур, продолжает А. Боске. От арабской культуры она унаследовала талант рассказчицы, увлекающей читателя в мир фантазии, мечты и нескончаемых метаморфоз. «Европейскую» часть ее мировоззрения определяет философское учение Декарта, «питающее разум тем, что отнято у воображения».

Столкновение цивилизованной Европы и загадочного Востока происходит и в романе «Баярмина», который рецензент образно называет «взглядом с Запада на Малую Азию, но это взгляд женщины, родившейся на берегах Босфора».

Сюжет романа довольно прост: одна француженка

Венера Хури-Гата.

(Журнал «Магазин литтерер»)

отправляется на родину пропавшего без вести мужа-турка, память о котором свято чтит, лишь теперь она понимает, как жил муж до их встречи. Но главное здесь не раскрытие тайн, указывает А. Боске, а выявление всей сложности любящей натуры. Уважать другого — значит «стать немножко им». Стать другой помог вдове попавший к ней дневник арабской женщины, наложницы султана, полюбившей одного из его рабов — абиссинца. Не свободы и не первенства в сердце султана желает наложница, а взаимности в любви и добивается ее. «Чтобы понять чувства другого человека, нужно побывать в его шкуре»,— отмечает критик. Именно это и происходит с главной героиней романа. В душевном смятении возвращается она на родину, сделавшись совсем другой...

«Во всей современной французской романтической литературе нет другого равного по выразительности произведения о желании любящих подчиниться законам любви»,— пишет в заключение «Магазин литтерер». Этим и интересна еще одна сказка «французской Шехерезады».

«Королевой Монпарнаса» считали Алису Прэн (1901—1952) парижские художники 10—20-х годов нашего века. Ее писали Сутин, Фужита, Кислинг, Ван Донген, Дерен, Паскин. Заинтересовавшись манифестами дадаистов, красавица бургундка по прозвищу Кики подружилась с Тристаном Тцара, вошла в их круг. Здесь девушку увидел Мэн Рей, который вскоре стал ее возлюбленным. Именно ему, рассказывает Лу Молльгор в книге, посвященной королеве «безумных лет» и выпущенной издательством «Лаффон», мы обязаны серией ее блестящих фотопортретов, а также появлением на свет собственных полотен Кики.

(Журнал «Магазин литтерер»)

Издательство «Л'аж д'ом» опубликовало сборник манифестов и статей 20-х годов, написанных «русскими конструктивистами, которые работали в области живописи, скульптуры, архитектуры, прикладных искусств и литературы», — В. Маяковским, В. Татлиным, Эль Лисицким, К. Малевичем и другими. Антология снабжена прекрасными иллюстрациями и подробным комментарием. К выпуску ее подготовил известный искусствовед и критик Жерар Коньо.

На снимке: Любовь Попова. Эскиз прозодежды актера (1921).

(Журнал «Кензен литтерер»)

КТО ВЫ, НАТАЛИ САРРОТ?

На этот вопрос отвечает книга, вышедшая в серии «Кто вы?» издательства «Манюфактюр». Она представляет собой запись бесед писательницы и ее интервьюера, режиссера Симоны Банмусса Они близко знакомы: Симона Банмусса поставила два спектакля по произведениям Натали Саррот (по «Детству» и «Из-за всяких пустяков»), а Натали Саррот, в свою очередь, играла в одной из ее постановок (по «Свежей воде» Вирджинии Вулф).

Шанталь Байрон пишет на страницах журнала «Авансен. Театр»: «Их беседы позволяют нам уловить те смутные ощущения, которые зарождаются где-то в глубинах нашего естества. Описание подобных «тропизмов» и составляет суть творчества Натали Саррот. Именно благодаря умению Симоны Банмусса слушать собеседника писательница так легко открывает нам свою душу. Воспоминания о путешествиях, о встречах с другими писателями (Ж.-П. Сартром, Вирджинией Вулф) перемежаются с рассказами Натали Саррот о себе, о том, что ее радует или огорчает, о дочерях, о муже и о том чувстве одиночества, которое впервые ощутила она после его смерти. Охотно рассуждает она о творчестве любимых авторов — Л. Н. Толстого, Марселя Пруста, Генри Джеймса.

Но важнее всего в этой книге — размышления о литературе. Натали Саррот объясняет, каким образом она попыталась решить проблему «повествователя» и косвенной речи, что хотела выразить в своих произведениях.

По словам оформителя ее книг, известного художника Пауля Клее, Натали Саррот стремится сделать «видимое — невидимым» и превратить восприятие самых ничтожных вещей, тысяч житейских пустяков в еще неизведанные ощущения. «Наш внутренний мир столь велик, и в нем происходит столько постоянных изменений, что связь с внешним бытием почти утрачена».

А на вопрос, поставленный книгой, писательница отвечает словами из своего романа («Между жизнью и смертью»): «Я не Ничто».

ФРГ

РАССКАЗЫ ЗИГФРИДА ЛЕНЦА

Новый сборник рассказов известного западногерманского писателя Зигфрида Ленца «Сербская девушка» выпустило гамбургское издательство «Хофман унд Кампе». По мнению рецензента еженедельника «Цайт» Мартина Арендса, большинству рассказов сборника присуща как бы акварельная «расплывчатость», проявляющаяся и в тоне повествования, и в самих сюжетах.

Герой рассказа «Способ защиты», молодой человек, проникает ночью в кабинет старого писателя, чтобы обокрасть его. Вдруг голос из темноты окликает юношу: хозяин, случайно оказавшийся дома, просит юношу принести ему чаю, чтобы запить таблетку (у него сердечный приступ), а потом начинает рассказывать историю, над которой он якобы сейчас работает. На самом деле это экспромт, сочиненный специально для незваного гостя. Юноше любопытен загадочный старик, тайны его профессии. Вымышленная история проливает свет на историю реальную...

Такой же «переливающейся» оказывается и фабула рассказа «Экзамен». Ленц описывает двух молодых людей, исповедующих «высокий идеализм», влюбленных друг в друга. После ночи, проведенной в горной хижине, они расстаются — без особой драмы.

Через несколько лет они встречаются в доме университетского преподавателя: девушка стала его женой, юноша должен сдавать ему экзамен. Казалось бы, классическая ситуация для взрыва страстей, тоски, ревности. И эти мотивы действительно проявляются, но «как бы в виде клише из старых фильмов», пишет рецензент. «В сценарии 80-х годов таким

чувствам нет места... Молодые люди привыкли, что ни к чему не надо относиться слишком серьезно. Они играют роли хорошей жены и хорошего ученика». Когда преподаватель ненадолго отлучается, подруга дает юноше деловые советы — как получить приличную оценку.

Наиболее удачным рецензент считает рассказ «Составитель речей». Герой его пишет речи для своего шефа. В один из выходных дней он приезжает на дачу босса вместе со своей семьей, чтобы поработать над речью о «немецком национальном характере», а заодно и отдохнуть в свое удовольствие. Однако от намерения совместить то и другое приходится отказаться. Нет времени рассказать дочке сказку на ночь: надо работать. «Составитель речей» сидит за столом, вымучивая из себя фразы о «прискорбной неспособности немцев ощущать сегодняшний день», об их «склонности пренебрегать настоящим во имя абсолюта», — и не замечает, что эти слова относятся в первую очередь к нему самому. «Тяжко наблюдать, как он отгораживается, защищается от реальной жизни, которая буквально стучится к нему в дверь, прежде всего от детей», — пишет Мартин Арендс.

Сразу после выхода в свет, подчеркивает «Цайт», книга Зигфрида Ленца привлекла внимание читателей, заняв одно из первых мест в списках бестселлеров.

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ

Сто лет назад вышел в свет первый том знаменитого «веймарского» собрания сочинений Иоганна Вольфганга Гёте. Работа над этим замечательным изданием началась по распоряжению Софии, герцогини Саксонской и Веймарской, получившей наследие великого поэта по завещанию его внука, и продлилась не одно десятилетие: последний, сто сорок третий том появился на книжном рынке лишь в 1919 году. «Веймарское» собрание сочинений стало библиографической редкостью, высоко ценимой исследователями и почитателями творчества Гёте.

«В связи с юбилеем, — сообщает журнал «Культуркроник», — издательство «Дойчес ташенбух» приняло решение, заслуживающее самой высокой похвалы: осуществить факсимильное переиздание «веймарского» собрания. Все сто сорок три тома выйдут в карманном формате, на прекрасной бумаге и при этом будут очень дешевы, что сделает издание доступным широкому кругу читателей».

НОВЫЙ ФИЛЬМ ТОМАСА БРАША

Американский режиссер Корнфилд, составивший себе имя телесериалами о собаках и лошадях, приезжает в Западный Берлин, чтобы снять фильм о нацистском прошлом. Сразу же по

И. В. Гёте.

(Журнал «Культуркроник»)

приезде он рассказывает репортеру, что в основу замысла хочет положить подлинные события. В 1942 году Геббельс поручил кинорежиссеру Кёрнеру снять пропагандистский антисемитский фильм. Чтобы фильм выглядел достоверней, ему разрешили использовать в качестве исполнителей евреев-заключенных из концлагеря. В виде награды их обещали после окончания съемок отпустить на свободу в Швейцарию. Фильм, однако, не состоялся, заключенные были возвращены в лагерь смерти.

Таков сюжет новой работы известного западногерманского писателя и кинорежиссера Томаса Браша «Пассажир». «Его фильм рассказывает, как снимался фильм о фильме», — пишет рецензент газеты «Франкфуртер альгемайне» Дитер Зайдель. Такая «тройная перспектива» порождает многочисленные параллели, удвоения, переклички. «Времена смешиваются, как краски на палитре художника», события 1942 года причудливо отражаются в съемках 1987-го, персонажи из прошлого находят своих двойников в настоящем.

Корнфилд (артист Тони Кёртис) арендует ту же самую студию, где начинал свои съемки нацист Кёрнер (артист Маттиас Хабих). Закончив отбор актеров, он репетирует сцену отбора «исполнителей» в концлагере. Этот отбор («селекция» на языке Освенцима) был поручен заключенному-раввину. «Дёрдь Табори потрясающ в этой роли», — пишет Дитер Зайдель.

Среди тринадцати отобранных — два юноши из Будапешта, Янко и Барух, связанные узами братской дружбы. Узнав, что режиссер фильма утратил благосклонность Геббельса и что им предстоит вернуться в концлагерь, они решают бежать. Гримерша Софи, влюбившаяся в одного из друзей (ее роль исполняет известная актриса Катарина Тальбах), вызывается им помочь, изменив их внешность. Однако бежать удается только одному, другого убивают, самой Софи гитлеровцы перебивают позвоночник...

Вся эта история раскручивается не сразу, а в ходе фрагментарных съемок. Актеры не знают сценария фильма, который снимает Корнфилд, они не понимают целого, не понимают, чего хочет режиссер, каков его замысел. Знает ли сценарий сам Корнфилд?

Лишь под конец фильма зритель начинает догадываться, что Корнфилд, родившийся в Будапеште и звавшийся когда-то Корнфельдом, — один из этих тринадцати участников событий, единственный, кому удалось тогда бежать и спастись. Но какой ценой? На съемочной площадке, «словно фурия памяти», появляется в инвалидной коляске старуха, бывшая гримерша Софи; она как будто дает понять, что бежавший когда-то юноша спас свою жизнь ценой гибели друга. Но так ли это на самом деле? Или это лишь одна из возможных версий, которые перебирает режиссер, осмысливая собственное прошлое? Возможно ли установить истину — и хочет ли человек ее знать?

Фильм Браша рассказывает о мучительной попытке разобраться в «вине невиновных», о невозможности искупить вину, о том, как трудно постичь правду о событиях того времени, пишет в еженедельнике «Цайт» рецензент Карстен Витте.

Нацист Кёрнер вынужден был прекратить свои съемки и отправиться на фронт. Не дано состояться и замыслу Корнфилда: он тоже прерывает работу и сжигает весь отснятый материал. Вопрос об исторической правде, вине и невиновности остается открытым: над ним предложено размышлять зрителям этого сложного фильма.

Швейцария

ИСТОРИЯ ГЛАЗАМИ ГРАББЕ

Сын тюремного надзирателя, неудавшийся актер, военный судья, уволенный из армии «по причине пренебрежения своими обязанностями», «абсурдный гений», оставивший заметный след в истории немецкой литературы...

Споры вокруг имени Кристиана Дитриха Граббе (1801—1836) не утихают по сей день. Его пьесы считаются «не сценичными», и каждая последующая постановка как будто только подтверждает это суждение. Тем не менее исследователи и режиссеры снова и снова обращаются к литературному наследию Граббе, которое, по мнению критики,

К. Д. Граббе. Портрет 1831 г.

(Журнал «Театер хойте»)

приобретает сегодня особую политическую и эстетическую актуальность.

Вершины своего творчества Граббе достиг в пьесе «Наполеон, или Сто дней» (1831). Об этой пьесе и ее современном звучании размышляет в журнале «Театер хойте» искусствовед Гюнтер Шольц.

«Наполеон» Граббе, — пишет он, — не традиционная историческая драма, а великолепная сценическая эпопея, повествующая о роли Героя и Массы в Истории, о Революции и Реакции, о безуспешности всяких попыток повернуть вспять всемирно-исторический процесс. Граббе не стремится дать психологический портрет Наполеона, ему важно показать, что Наполеон отнюдь не творец истории, а всего лишь «флажок на древке революции».

Пьеса Граббе, полагает Г. Шольц, очень современна в своем построении и стилистике. Сцены и картины сменяют друг друга с нарастающей скоростью, непрерывно меняется перспектива: события подаются то общим, то средним, то крупным планом, как в калейдоскопе, мелькают лица: Наполеон, Блюхер, Бюлов, Веллингтон, Ангулемы, Людовик XVIII, Фуше, герцог Брауншвейгский, гвардейцы, берлинские добровольцы, парижские портные, егеря из Гарца, шотландцы, эмигранты... По замечанию рецензента, «произведение, поначалу вполне реалистическое, постепенно перерастает в гротескную фантасмагорию».

«Эта пьеса, — завершает статью швейцарский искусствовед, — в которую Граббе вложил всю свою революционность, всю ненависть к тирании, к попранию свободы, не уступает по художественной силе и достоверности историческим драмам Шекспира. Осуществить эту постановку, вернуть пьесу зрителю — достойная задача для любого театра».

ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ ФРИДРИХА ДЮРРЕНМАТТА

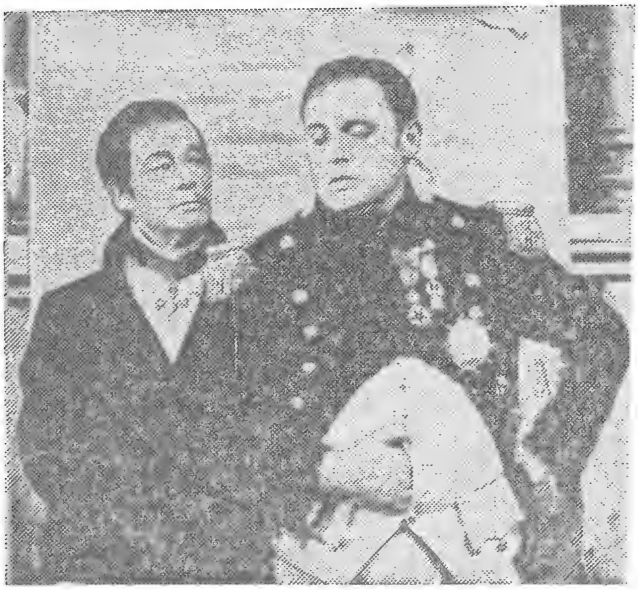
Главный герой телеспектакля «Осенние вечера», поставленного по произведению Фридриха Дюрренматта, — писатель, Нобелевский лауреат, авантюрист — описал в своих двадцати двух романах двадцать два убийства. И все эти убийства он совершил сам — собственноручно, или подстроив несчастный случай, или доведя живых прототипов своих будущих романов до самоубийства. Что делать, объясняет он, «если у писателя нет фантазии, он должен позаботиться о том, чтобы у него не было недостатка во впечатлениях».

И читателям не приходит в голову его осуждать. Напротив, им как раз это и нравится. Они хотят быть свидетелями и участниками такой полной сенсаций жизни.

В основу телеспектакля, пишет западногерманская газета «Франкфуртер альгемайне», положена радиопьеса, написанная Дюрренматтом еще в 1956 году. Уже тогда его занимала тема: литература как заменитель жизни, своего рода наркотик. Мысль Дюрренматта о том, что потребители литературы, не довольствуясь вымыслом, вполне могут предпочесть созерцание реального убийства, показалась в ту пору гротескным преувеличением, отмечает обозреватель. Но прошло немного времени, и мы убедились, что такого рода наркотик стали искать не только в литературе, но и в видеофильмах. Пресса давно уже пишет о возбуждающем, нездоровом действии, которое оказывают на публику видеофильмы ужасов. Утверждают даже, что некоторые сцены пыток в этих фильмах не выдуманы: перед видеокамерой пытают взаправду. В 1984 году стал известен случай, когда во время съемок такого фильма была задушена 37-летняя учительница.

Сцена из спектакля по пьесе «Наполеон, или Сто дней».

(Журнал «Театер хойте»)



«ОЧАРОВАННЫЙ ЖИЗНЬЮ УЛИЦ»

В Центральном выставочном зале г. Монтрё развернута экспозиция, включающая более 500 работ известного живописца и графика Теофиля Стейнлена (1859—1923), созданных им в период 1885—1921 годов, сообщает журнал «Нувель де Франс». Уроженец Лозанны, Т. Стейнлен в 1881 году поселяется на Монмартре, сближается с издателем Альфредом Виллеттом и, по традиции того времени, посвящает свой талант рисовальщика созданию рекламных афиш, плакатов, рисунков, карикатур, шаржей, живописных полотен. «Молодой швейцарец был буквально очарован жизнью парижских улиц»,— пишет на страницах журнала искусствовед и критик Гастон Дьель. Художник прекрасно передал ощущение этой жизни в своих ярких, выразительных жанровых картинках — такова, например, его работа «Улица» (1896), хранящаяся ныне в парижском Музее плакатов и рекламных афиш.

Гастон Дьель отмечает постоянную близость Т. Стейнлена к простому народу, демократичность общественной позиции художника и социальную направленность его творчества.

Большую часть работ для этой интересной выставки, сообщает журнал «Нувель де Франс», предоставил женевский музей «Пти-Пале».

Теофиль Стейнлен. Афиша «Улица».

(Журнал «Нувель де Франс»)

Швеция

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА

Еще до недавнего времени в скандинавской критике бытовало мнение, что большинство маститых писателей отдают предпочтение роману и поэзии, а жанр новеллы переживает сейчас упадок.

Мнение это было решительно опровергнуто результатами конкурса, проведенного норвежским еженедельником «А-Магасинет» среди прозаиков Норвегии, Швеции и Дании.

К удивлению организаторов конкурса, авторитетному жюри, состоявшему из известных литературных критиков — датчанина Харальда Могенсена, шведа Оке Рунквиста, норвежцев Ингвара Юстведта и Терье Стемланда,— пришлось ознакомиться более чем с 900 рукописями. Свои новеллы на конкурс прислали и такие признанные мастера этого жанра, как, например, Бьёрг Вик (Норвегия).

Три произведения были отмечены премиями. Победителем конкурса стал швед Кристер Перссон, представивший на суд жюри четыре новеллы одна из которых — «Самый прекрасный день» — названа лучшей.

Имя Кристера Перссона советскому читателю пока не знакомо. Писатель, уроженец юга Швеции, дебютировал в 1968 году романом «Победитель Дракона», через три года вышел в свет второй — «Внутренний враг». Обе книги, были одобрены критикой, получили литературные премии. К. Перссон написал также несколько пьес для радио и театра. Сейчас он работает над новым романом, где главными станут проблемы экологии, охраны окружающей среды — ключевые в его творчестве.

«ЭДИП-ЦАРЬ» АЛЛАНА ЭДВАЛЛЯ

Трагедия Софокла «Эдип-царь», написанная 2400 лет тому назад, не теряет своей актуальности и в наши дни, особенно в современной Швеции, считает популярный шведский актер и писатель Аллан Эдвалль (советскому зрителю он известен по экранизации повести А. Линдгрен «Рони — дочь разбойника»). А. Эдвалль поставил перед собой цель отойти от традиционной трактовки трагедии Софокла и «снять ее с котурнов в прямом и переносном смысле слова». Свою оригинальную постановку он осуществил на сцене стокгольмского театра «Брунстеатерн».

А. Эдвалль является режиссером и единственным исполнителем всех ролей в «Эдипе-царе», вплоть до ... хора. Весь реквизит спектакля — античные маски на длинных ручках, декорация — коринфская колонна на фоне белой драпировки.

Рецензент газеты «Афтонбладет» отмечает, что с помощью этих скупых средств Эдвалль сумел создать спектакль, приносящий зрителям большое эстетическое наслаждение. А его великолепная, полная напряженного ритма игра не оставляет публику равнодушной к «трагической судьбе сверхмужественного человека, слишком дорого заплатившего за разгадку тайны собственной жизни».

Аллан Эдвалль с масками для спектакля «Эдип-царь».

(Газета «Афтонбладет»)

Авторы этого номера

ГЕНРИХ БЁЛЛЬ (HEINRICH BÖLL; 1917—1985) — известный немецкий писатель (ФРГ), лауреат Нобелевской премии (1972). Многие произведения Г. Бёлля переведены на русский язык: романы «Где ты был, Адам?», «И не сказал ни единого слова», «Дом без хозяина», «Бильярд в половине десятого», «Глазами клоуна» («ИЛ», 1964, № 3), «Групповой портрет с дамой», «Женщины у берега Рейна», повести «Поезд прибывает по расписанию», «Хлеб ранних лет», «Долина грохочущих копыт», «Ирландский дневник», «Самовольная отлучка», «Чем кончилась одна командировка» («ИЛ», 1966, № 11, 12), «Потерянная честь Катарины Блюм, или Как возникает насилие и к чему оно может привести», а также рассказы, радиопьесы, публицистические выступления, в том числе «Письмо моим сыновьям, или Четыре велосипеда» («ИЛ», 1985, № 12).
Роман «Под конвоем заботы» вышел в Кёльне в 1979 году („Fürsorgliche Belagerung". Köln, Verlag Kiepenheuer & Witsch).

РУДНИЦКИЙ МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский критик и переводчик с немецкого, кандидат филологических наук. Автор книги «Перед лицом правды» (1987), ряда статей по проблемам зарубежной литературы. В его переводах опубликованы стихотворения Райнера Мария Рильке, повести Петера Хандке «Короткое письмо к долгому прощанью» (1978), Кристы Вольф «Нет места. Нигде» (1983), Адольфа Мушга «И больше нечего желать» (1984), пьеса Бертольта Брехта «Человек как человек» (1985), роман Дитера Веллерсхофа «Победителю достанется все» (совместно с Н. Федоровой, «ИЛ», 1986, № 6—8).

ТОМ ГАНН (THOM GUNN; род. в 1929 г.)— английский поэт. Окончил Кембриджский университет, начал печататься в 50-е годы. Лауреат премии имени Сомерсета Моэма и других литературных премий. Автор книг стихов «Основы» («Positives», 1966), «Прикосновение» («Touch», 1967), «Замок Джека-Соломинки» («Jack-Straw's Castle», 1976) и др. На русском языке опубликованы два стихотворения Тома Ганна в антологии «Английская поэзия в русских переводах. XX век» (М., 1984).
Предлагаемые стихи взяты из сборников «В противоборстве» („Fighting Terms", London, Fantasy Press, 1954), «Чувство движения» („The Sense of Movement", London, Faber and Faber, 1957), «Мои печальные капитаны» («My Sad Captains», Faber and Faber, 1961), «Моли» («Moly», Faber and Faber, 1971).

АЛОНСО САМОРА ВИСЕНТЕ (ALONSO ZAMORA VICENTE; род. в 1916 г.) — испанский писатель, лингвист, литературовед, профессор Мадридского университета, академик; с 1971 г. бессменный секретарь Испанской королевской академии. Автор многих литературных произведений, научных трудов, среди них: «От Гарсиласо до Вальье-Инклана» („De Garcilaso a Valle-Inclán", 1950), «Классики в наши дни» („Presencia de los clasicos", 1951), «Лопе де Вега. Жизнь и творчество» („Lope de Vega, Vida y obra", 1961), «Язык, литература, внутренние связи» („Lengua, literatura, intimidad", 1966), сборников рассказов «Первые листки» („Primeras hojas", 1955), «Голос буквы» („Voz de la letra", 1958), романа «Вегас Бахас» („Vegas Bajas", 1987). На русском языке в сборнике «Современная испанская повесть» напечатана повесть А. Саморы Висенте «Застолье» (М., 1984).
Публикуемые новеллы взяты из сборников «Картишки усопших» („Tute de difuntos", Santander, La isla de los ratones, 1982) и «Эстампы улицы» („Estampas de la calle", Madrid, Ediamérica, 1983).

КОСС АЛЕКСАНДРА МАРКОВНА — советский переводчик. С испанского в ее переводе публиковались повести Мигеля де Унамуно «Святой Мануэль добрый мученик», Алехо Карпентьера «Царство земное», Р. Вальье-Инклана — цикл пьес, рассказы и роман «Да здравствует мой хозяин», сборник прозы Альфонсо Гроссо «Сети», Франсиско де Кеведо-и-Вильегаса — стихи и эссе «Сон о смерти», А. Самора Висенте повесть «Застолье», а также переводы с французского, португальского, каталанского.

А. Косс принадлежит перевод, составление и комментарий к сборнику испанской поэзии XVII века.

АРТУР МИЛЛЕР (ARTHUR MILLER; род. в 1915 г.) — американский драматург. Творчество Артура Миллера знакомо советским читателям и зрителям, многие его пьесы переведены на русский язык и вошли в репертуар советских театров: «Все мои сыновья», «Вид с моста» («Иностранная литература», 1957, № 4), «Воспоминание о двух понедельниках», «Это случилось в Виши» («ИЛ», 1965, № 7), «Смерть коммивояжера», «Цена» («ИЛ», 1968, № 6), повесть «Неприкаянные» и др. Ему присужден ряд литературных премий — Пулицеровская, Национального института искусств, премии Тони, О. Генри и др.
Перевод пьесы «Часы Америки» выполнен по изданию International Creative Management. New York, 1988.

ЗЕНКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (род. в 1954 г.) — советский литературовед, критик, переводчик, кандидат филологических наук. Автор работ по классической и современной литературе Франции. Переводил на русский язык письма Ромена Роллана, статьи Ролана Барта.

ФЕРНАНДО ПЕССОА (FERNANDO ANTÓNIO NOGUEIRA PESSOA; 1888—1935) — португальский поэт. Стихи для перевода отобраны по изданию «Неизданные стихи Фернандо Пессоа» («Novas poesias inéditas de Fernando Pessoa». Lisboa, Edições Ática, 1973).

СТЕПАНОВ ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1929 г.) — советский публицист, экономист, востоковед. В его переводах публиковались книги английских, американских и индийских авторов.

◆

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

Два рассказа на античные сюжеты, представляющие творчество «позднего ФЮМАНА», Фюмана — «мифотворца».

ПАТРИК МОДИАНО. «Смягчение приговора». Новая повесть писателя, прочно занявшего свое место среди виднейших прозаиков современной Франции. Поиски юным героем правды о прошлом окрашены тоской по человечности.

Ирония, граничащая с гротеском, фарс, граничащий с абсурдом. Таковы характерные приметы творчества известного итальянского писателя АКИЛЛЕ КАМПАНИЛЕ. В полной мере проявились они и в его пьесе «Бедный Пьеро».

«ЛИ ЯКОККА: Автобиография». Это повествование о жизни президента автомобильной корпорации «Крайслер» стало бестселлером, завоевавшим международный книжный рынок.

■

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Ч. Т. АЙТМАТОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
С. С. АВЕРИНЦЕВ, А. М. АДАМОВИЧ, Н. А. АНАСТАСЬЕВ (первый зам. главного редактора), **О. С. ВАСИЛЬЕВ** (зам. главного редактора), **Л. Н. ВАСИЛЬЕВА, Т. П. ГРИГОРЬЕВА, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, Я. Н. ЗАСУРСКИЙ, Г. П. ЗЛОБИН, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, В. С. ПЕРЕХВАТОВ, А. Н. СЛОВЕСНЫЙ** (отв. секретарь), **Е. В. СТОЯНОВСКАЯ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора).

Художественный редактор **Е. Н. Черняев.** Технический редактор **Е. П. Поляков.**

Адрес редакции: 109017 Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41, тел. 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР». Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 26.08.88. Подписано в печать 04.11.88. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Объем 16 п. л., 22,4 усл. п. л., 27,86 уч.-изд. л.

Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1 — 350 000 экз.) Зак. 2788.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Уничтожение

Цена 1 руб. 80 коп.

ИНДЕКС 70394